Иностранная литература

10

1968

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ — Шпиль 3
РАМОН АМАЙА АМАДОР — Операция «Горилла» (Окончание) 110

РАССКАЗЫ

БЕРТА ВАТЕРШТРАДТ — Дверь-вертушка . 173

СТИХИ

ИЗ ШВЕДСКОЙ ПОЭЗИИ — Карл-Эмил Энглунд 107
АХМАД КЕДИДИ Стихи 170
САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО 189

КРИТИКА

В. ДНЕПРОВ — Субъективное в морали . . . 193
А. ЕЛИСТРАТОВА — Уильям Голдинг и его роман «Шпиль» 211

ПУБЛИЦИСТИКА

ФРЭНК ХАРДИ — Пасынки Австралии (Фрагменты из книги) 219

10

ОКТЯБРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

З. ПЫШНОВСКАЯ — Тео Бальден 245

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Ц. КИН — Пазолини, студенты и полиция . 252
Е. АЗЕРНИКОВА — Крайности сходятся . . 258

НАШИ ГОСТИ

Л. ХАРЛАП — О том, как находят себя (Криста и Герхард Вольф в «Иностранной литературе») 261

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Геннадий Ярославцев — В светлом мире. ◇ С. Прожогина — О людях Африки — писателях и их героях 264

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Ю. Архипов — Йозеф Рот — справа или слева? ◇ Радий Фиш — Писатель, его город, его народ. ◇ О. Тимофеева — Пароль: «справедливость и братство» ◇ Е. Книпович — Тщательно и с любовью 267

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 288

На обложке: гравюра индийского художника ЧИТТАПРАСАДА «ДЕРЕВНЯ».

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

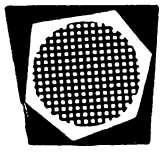
Шпиль

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА

Посвящается Джуди

Глава первая



н смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. Бог-Отец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога-Отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки.

Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля — о радость...

— Полжизни ждал я этого дня!

Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцеллярий, его бледное старческое лицо было в тени.

— Возможно, милорд настоятель, возможно.

Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.

— Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка... сколько в ней длины?

— Восемнадцать дюймов, милорд канцеллярий.

— Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла...

— В четыреста футов высотой.

Канцеллярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего-то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.

— Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на бога.

Канцеллярий, наконец, нашел то, чего искал,— он вспомнил:

— Ах, да...

И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть:

— Ну конечно. Утреня.

Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью».

Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.

— Вот так.

Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф — его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны — раскинутые руки, хор — туловище, а капелла Пресвятой девы, где отныне будут совершаться богослужения,— голова. И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие — новый шпиль. «Они не знают,— подумал он,— не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль — это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».

Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!» Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места, и все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора, и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.

Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемей в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка у ступеней хора, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветви и стволы становились цветом, только цветом — медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты ста пяти-

десяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.

Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп,— подумал он,— я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломами, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо),— жрецы, свершающие какой-то неведомый обряд... Господи, прости.

Вот уже полтораста лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет, наконец, совершенство. А сейчас я встану на молитву».

Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит,— знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.

И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе».

И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей,— подумал он, исполненный любви к ней.— Отсюда ее безрассудное детское любопытство. Впрочем, это забота Пэнголла или отца Ансельма». И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь царства. Он рассудительно кивнул.

— Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки переменится.

Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо; а потом в тишине раздались новые негромкие звуки: «Тук, тук, тук». Он повернул голову влево — там, на цоколе колонны, сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями.

«Тук, тук, тук».

— А знаешь, Гилберт, он, кажется, велел тебе ваять с меня, потому что я подолгу стою на месте!

Немой поспешно вскочил. Джослин улыбнулся ему.

— Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку, как потвоему?

Немой улыбнулся преданной, собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джослин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна.

— Спроси эти четыре опоры на средокрестии, есть ли от них прок!

Немой засмеялся и кивнул.

— Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной, будешь сидеть смирно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пэнголл выметет тебя из капеллы Пресвятой девы, как сухой листок. Не надо сердить Пэнголла.

Тут раздался новый шум. Джослин сразу забыл про немого, повернул голову, прислушался. «Нет,— сказал он себе,— не может быть, им не успеть так быстро!» И он поспешил в южный неф, откуда можно было, через средокрестие, заглянуть в северный трансепт. Возле капеллы Пиверела он остановился. И прошептал, исполненный радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма:

— Нет, это правда. После стольких лет неустанных трудов. Слава Господу.

Ибо совершалось невероятное. «Ведь я проходил здесь столько лет изо дня в день,— подумал он.— И всегда то, что снаружи, было отделено от того, что внутри, так же четко, так же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри — гладкий, расписной камень, снаружи — грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет,— сегодня, только что между ними была неодолимая преграда. А теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцеллярия, где, быть может, сейчас ждет Айво.

Мужайся. Слава Господу. Это начало свершения. Одно дело велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого горожанина. А это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург, я поднес нож к животу, бесчувственному от макового отвара...»

Он пытался представить себе это, и негромкие звуки утрени казались ему слабым дыханием бесчувственного тела, распростертого на спине.

По другую сторону капеллы раздались молодые голоса.

— Что ни говори, он обуян гордыней!

— И погрязает в невежестве.

— Знаешь, он возомнил себя святым! Это он-то — святой!

Но увидев в полумраке настоятеля, оба дьякона упали на колени. Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости.

— Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клевещете?

Потупившись, они молчали.

— Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него. Ну-ка, ну-ка.

Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратил к себе сначала одно бледное лицо, потом другое.

— Попросите канцеллярия наложить на вас епитимью. Воспримите епитимью как должно, дети мои, и она даст вам великую радость.

Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из кольцевой галереи к средокрестию, стоял Пэнголл; он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу.

— Преподобный отец...

— Мне сейчас некогда, Пэнголл.

— Сделайте милость!

Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пэнголл протянул загрубелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил

— Ну, что тебе? Опять все то же?

— Они...

— До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда.

Но Пэнголл не отступал, пристально глядя на Джослина из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли, пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него был хриплый от пыли и злости.

— Позавчера они убили человека.

— Я знаю. Но послушай, сын мой...

Пэнголл покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пэнголл поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел настоятелю в лицо.

— Когда-нибудь они убьют и меня.

Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пэнголла и крепко сжал их.

— Не убьют. Никто тебя не убьет.

— Ну, так выживут отсюда.

— Никто не сделает тебе вреда. Истинно говорю тебе.

Пэнголл яростно сжал метлу. Он выпрямился. Губы его кривились.

— Преподобный отец, зачем вы это сделали?

Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.

— Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего.

Пэнголл ощерился.

— И для этого надо его разрушить?

— Остановись, пока ты не сказал лишнего.

Но Пэнголл не отступался, и в словах его прозвучал вызов:

— Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?

Он ответил ласково, как ребенку:

— Много раз. И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой.

— Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки...

— Пэнголл!

— Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?

— Успокойся, Пэнголл, успокойся.

— Зачем? Зачем?

— Ну, я слушаю.

— Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть: загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропило. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. Вы это знали?

— Нет.

— А я знаю. Мы знаем. Все это...— Он ткнул метлой в груду хлама и пыли.— Взломанный пол, яма... позвольте, я сведу вас на крышу.

— У меня есть другие дела, и у тебя тоже.

— Мне надо с вами поговорить...

— Но разве ты не говоришь со мной?

Пэнголл отступил на шаг. Он взглянул на опоры и высокие, сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.

— Преподобный отец. На крыше... у самой двери над лестницей в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело.

— Это хорошо. Ты предусмотрителен.

Пэнголл взмахнул свободной рукой.

— Пустяки. Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали...

— Все вы верно служили храму. Я тоже делаю все, что в моих силах.

— Мой отец и дед... И тем более я — потому что я последний.

— Она праведная женщина и верная жена, сын мой. Надейся и уповай на Господа.

— Они играют моей жизнью себе на забаву. Но им и этого мало. Это еще не все... Пойдемте, я вам покажу мой дом.

— Я его видел.

— Нет, вы поглядите, что с ним сделали за эти недели. Пойдемте, пойдемте же.— И Пэнголл, маня его одной рукой, а другой волоча за собой метлу, торопливо захромал в южный трансепт.— Это был наш дом. А что теперь с нами станется? Глядите!

Он указал через низкую дверку на двор, лежавший меж крытыми галереями и стеной собора. Чтобы выглянуть, Джослину пришлось нагнуть голову, покрытую скуфьей. Он стоял у двери рядом с Пэнголлом и, увидев, что творится на дворе, изумился. Весь двор был завален грудами обтесанных камней. Они громоздились меж контрфорсами до самых окон. Все свободное от камня пространство было заняго бревнами — оставалась лишь узенькая дорожка. Слева от двери, у стены, стоял верстак под тростниковым навесом. Там были сложены стекла и свинцовые пластины, и двое подручных главного мастера работали: «Треньк, треньк».

— Видите, отец мой? Я еле пробираюсь к собственной двери!

Джослин боком протиснулся вслед за ним меж кучами.

— Вот все, что они мне оставили. И когда это кончится, отец мой?

Свободное место перед домиком было не более часовни, а у самой его стены растеклись вонючие лужи. Джослин с любопытством посмотрел на домик, потому что никогда еще не бывал подле него так близко. Прежде, обходя храм, он лишь бросал через дверь благосклонный взгляд во двор, и этого было достаточно; что ни говори, а двор и домик, хоть и принадлежали собору, были царством Пэнголла. Каждое утро тень домика ложилась на юго-восточное окно, подобно памятнику, выросшему вопреки воле строителя. А теперь сам домик был перед глазами Джослина, и снова то, что снаружи, соприкасалось с тем, что внутри. Домик прилепился к углу собора, словно выступ под карнизом старинного дома, где бесчисленные поколения ласточек и воробьев оставили свои следы и скелеты гнезд. Он притаился, смиренный и в то же время дерзостный; он был построен здесь без разрешения, и его молчаливо терпели, будто не замечая, потому что семья, которая жила в нем, была незаменима. Он закрывал контрфорс и половину окна. На стены его пошли каменные плиты, такие же серые и древние, как сам собор. В одном месте нелепо торчал надоконный желоб, хотя окна не было. С камнем соседствовали старые брусья, некогда обитые дранкой и оштукатуренные. А кое-где виднелись плоские тисненые кирпичи, гораздо древнее домика, да и собора, попавшие сюда из давно заброшенной гавани, на берег которой вот уже тысячу лет не ступала нога римлянина. Один скат кровли был из настоящего свинца, другой — из аспидных плиток, точно таких же, какими крыта кухня у викариальных певчих. Потом шла полоса тростника, но он стал таким трухлявым, что съежился и проро травой. Одно окно было нарочно подогнано под квадрат великолепного цветного стекла; другое было узкое, забранное роговыми пластинками вместо стекол. За какие-нибудь полтора столетия это нелепое строение приобрело почтенный и дряхлый облик. Домик весь съежился, как грост-

ник на крыше, его чужеродные части словно бы притерлись друг к другу, обрели вечный покой.

Джослин посмотрел на домик, покосился на кучи камней и бревен, обступивших его со всех сторон,— одна дерзость теснила другую.

— Вижу.

Едва он сказал это, в домике раздалось нежное пение. Гуди вышла из двери, увидела его, оборвала свою песенку, улыбнулась, посмотрела на него искоса и опростала деревянное ведро у стены собора. Она ушла в дом, и оттуда снова послышалось ее пение.

— Так вот, Пэнголл. Сейчас я отвечу тебе. Мы с тобой старые друзья, несмотря на разницу в положении, поэтому давай смотреть на вещи разумно. Они будут строить — тут и говорить не о чем. Скажи мне лучше, что тревожит тебя на самом деле.

Пэнголл поспешно отвернулся и поглядел на мастеровых, которые, насвистывая, резали стекло. Джослин наклонился к нему.

— Ты тревожишься за жену? Они работают слишком близко от нее?

— Нет, не в том дело.

Джослин подумал и понимающе кивнул. Потом продолжал мягко:

— Они смотрят на нее, как мужчины иной раз смотрят на улице вслед женщинам? Отпускают шуточки? Говорят непристойности?

— Нет.

— Так что же?

В лице Пэнголла не было злобы. Только растерянность и мольба.

— Уж если хотите знать, я скажу. Зачем они привязались ко мне? Один я здесь, что ли? Зачем они потешаются надо мной?

— Надо терпеть.

— Каждую минуту... Что бы я ни делал. Хохочут, орут. А стоит мне оглянуться...

— Сын мой, ты слишком обидчив. Надо смириться.

Пэнголл поднял к нему лицо.

— Но до каких же пор?

— Это тяжкое испытание для всех нас. Я знаю. Оно продлится два года.

Пэнголл со стоном закрыл глаза.

— Два года!

Джослин положил руку ему на плечо.

— Подумай сам, сын мой. Камни и бревна постепенно поднимутся вверх. У тебя под носом не вечно будут бить стекло. Возведут шпиль, и наш храм станет еще прекрасней.

— Я не увижу этого, преподобный отец.

— Но почему, скажи мне ради...

Он замолчал, подавляя в себе внезапную досаду, но когда он взглянул сторожу в глаза, досада столь же внезапно вспыхнула вновь. Он читал мысли Пэнголла так ясно, словно они были написаны у него на лбу: *«Потому что под собором нет фундамента, и Джослиново безумство рухнет, прежде чем на верхушке утвердят крест».*

Он сжал зубы.

— Ты не лучше остальных. И не похож на своего прапрадеда. У тебя нет веры.

Но Пэнголл смотрел в землю. Он приблизился, наступая на тень Джослина. Его грязные, бурые, цвета навоза волосы были на шесть дюймов ниже лица настоятеля и почти касались его рясы. Джослин, охваченный досадой, уловил чуть слышный хриплый шепот:

— Как мне это вынести? Я все время опасаюсь, отовсюду жду подвоха. Мне стыдно перед людьми, перед собственной женой. Все это копится вот здесь, внутри, и с каждым днем, с каждым часом...

Что-то отрывисто стукнуло по башмаку Джослина; он взглянул, увидел влажную звездочку с тонкими лучиками и крошечные капли воды, которые скатывались в грязь по смазанной жиром коже. Он нетерпеливо вздохнул, не зная, что сказать. Но солнце, игравшее на камне, увлекло его взгляд вверх, в пустоту над нефом, где зубчатая башня ожидала главного мастера и его подручных. Он вспомнил о рабочих, которые взламывали пол нефа, и радостное волнение вернулось, заглушая досаду.

— Я же сказал, надо терпеть! А я поговорю с мастером, обещаю тебе.

Он потрепал сторожа по кожаному плечу и быстро ушел, боком протискиваясь меж груд дерева и камня. Мастеровые у верстака стояли к нему спиной. Он нырнул в дверку и помедлил немного в трансепте, жмурясь в пыльном сиянии. Он увидел, что каменные плиты уже сложены в стороне, у опор, и оба землекопа стоят по щиколотку ниже пола. Сквозь пролом в стене позади них было видно далеко, и он заметил среди могил, под тростниковым навесом, кучу бревен. Он стоял, сморщив в улыбке нос и вскинув голову, а через неф к нему спешил священник — отец Адам с письмом в руке. Джослин отмахнулся от него.

— Потом, любезный. Сейчас я должен встать на молитву.

Окрыленный своей радостью, он с улыбкой быстро прошел по галерее между хором и ризницей. Служба кончилась, и там не было никого, кроме двух викариальных певчих, которые разговаривали, стоя у внутренней двери. Посреди капеллы Пресвятой девы для него уже поставили скамеечку с пюпитром. Он склонился пред алтарем, потом встал на колени. Слышно было, как где-то совсем рядом немой принялся осторожно постукивать и скрести по камню. Но ему не пришлось отгонять от себя эти негромкие звуки, потому что радость была его молитвою, изливавшейся из самого сердца.

«Что еще могу я сделать в этот величайший из дней, когда мое видение начало, наконец, воплощаться в камень, как не вознести благодарение богу?

А посему, вкупе с ангелами и архангелами...»

Радость, как солнце, озарила его слова. И они воспылали.

Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувствовал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя; и пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, он почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. «Моя молитва никогда еще не была столь простой; поэтому она и длилась так долго».

И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной,—сильное и в то же время нежное неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его хребет.

Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился. Я здесь, словно бы вещал неведомый, не двигайся, мы здесь и пребудем вместе вовеки.

И тогда осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной:

«Это мой ангел-хранитель.

Я творю волю Твою, и Ты послал вестника Твоего, дабы утешить меня. Как некогда в пустыне.

Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».

Радость, огонь, радость.

«Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне сохранить смирение!» И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым, но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев,— ангел покинул его.

«Тук. Тук. Тук».

«Скр-р-р».

«Ты исполнил славою избранников Твоих, подобно солнцу в окне».

Джослин оперся о пюпитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и, наконец, выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джослина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша, он легко держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг; Джослин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом; ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть настоятелю в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джослин оглядывал юношу, и все улыбался, и был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, к широкой груди, где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, к кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота на рукавах под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли.

— Кажется, сегодня я дал тебе довольно времени!

Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джослин все улыбался, глядя в его преданные собачьи глаза. «Он последует за мной всюду. Если б он был главным мастером! Быть может, когда-нибудь...»

— Покажи-ка, сын мой.

Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял к груди. Джослин вскинул голову и засмеялся.

— Ну нет, нет! У меня не такой длинный нос! Даже вполовину не такой длинный.

Он взглянул снова и замолчал. Нос — как орлиный клюв. Рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины; глаза ввалились; он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти. Потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, щелкая зубами.

— Нет, нет, сын мой. И волосы у меня не такие густые!

Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки.

— Птица? Какая птица? Может быть, орел? Или Святой дух?

Рука повторила движение.

— А, понимаю! Ты хочешь передать ощущение полета!

Лицо немого расплылось в улыбке, он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом, радость...

Теперь оба молча смотрели на камень.

Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижности, волосы разметаны, реют, подхваченные веянием духа, рот раскрыт, но не дождевая вода изольется из него, а осанна и аллилуйя.

Джослин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением.

— А ты не мог бы воплотить мое смирение, изваять ангела?

Мычание, покачивание головы, собачьи преданные глаза.

— Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту двухсот футов, с четырех сторон башни, и пребуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и нощно, вплоть до Судного дня? Поверни-ка лицо ко мне.

Немой повернул камень и послушно держал его перед Джослином. Они долго стояли молча, не шевелясь, и Джослин разглядывал острые, торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые, словно два крыла, рвались унести в вышину длинный нос и широко отверстые, слепые глаза.

«Воистину так. В миг видения телесные очи слепы».

— Откуда ты знаешь все это?

Но немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом. Джослин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул.

— Наверно, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний и сковал твой язык.

Мычание в горле.

— Ну, ступай. А завтра можешь снова ваять с меня.

Джослин пошел было прочь, но вдруг остановился.

— Отец Адам!

Он поспешил через капеллу Пресвятой девы к священнику, стоявшему в тени, под самыми окнами.

— Все это время вы ждали?

Тщедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос задрожал в воздухе:

— Я не смел ослушаться, милорд.

— Простите, отец, я виноват перед вами.

Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаянье из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий.

— Отец Адам. Вы ничего... вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колена?

Мышиный голос пискнул:

— Нет, милорд.

— А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание.

В галерее он остановился. Над головой простирались солнечные ветви и стволы, но священники стояли в тени, у стенки, отделявшей хор от широкой кольцевой галереи. Джослин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх, к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованый каблук наступил на мягкие пальцы.

— Отец Адам!

Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло. «Может быть, это потому,— подумал Джослин,— что у него вовсе и нет лица. Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка». Джослин со смехом сказал, глядя на его лысину, окруженную каемкой жидких волос:

— Простите, отец Адам. О вас так легко забываешь,— и добавил, смеясь от радости и любви: — Я буду звать вас отец Безликий.

Священник по-прежнему молчал.

— Ну ладно. Давайте это противное письмо.

В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он услышал, как запели псалом. Процессия двинулась; сначала ясней всего звучали детские голоса, потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они, из капеллы Пресвятой девы взмыл одинокий голос: «А-а-а-а» — и,

подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, настигая сам себя.

— Скажите, отец... Ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой?

— Да, милорд.

— Надо всегда быть милосердным — даже к ней, какова бы она ни была теперь... или прежде.

Снова молчание. «Двумя крылами закрывал он ноги свои. Ангел Твой — моя опора. Теперь я могу вынести все».

— Что же говорят люди?

— Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд.

— Я хочу знать.

— Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля.

— Это правда. Что еще?

— Говорят, что даже тот, у кого грехи как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола.

— Так говорят?

Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству повеяло дыханием весны. И Джослин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду.

— Оно смердит!

Одинокий голос в капелле Пресвятой девы смолк.

— Читайте вслух!

— «Моему племяннику и...»

— Громче.

(А в капелле Пресвятой девы опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого бога...»)

— ...«духовному отцу Джослину, настоятелю собора девы Марии».

(А в часовне молодые и старые голоса слились: «...видимым же всем и невидимым...»)

— «Это письмо писано по моей просьбе магистром Годфри, поскольку ты, среди своих пастырских трудов и хлопот о шпиле, не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти три года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе, тогда ты отвечал не мешкая. Будем говорить начистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила, и всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством, мученической кончиной. С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов».

(«...при Понтийском Пилате и страдавша...»)

— «Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарево? Я исполняла это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере, среди королей, он обещал это, но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями».

(«...судить живых и мертвых»).

— «Магистр Годфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоем соборе все останки столь уж безгрешны? Ты, верно, думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай, но я уповаю на лучшее. По южную сторону от престола есть, или во всяком случае был до тебя, уголок, который освещает солнце, между каким-то усопшим епископом и капеллой первого настоятеля. Надеюсь, меня будет видно

от престола, и бог благосклонней тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца».

(«...во оставление грехов... и жизни будущего века»).

— «В чем дело? Тебе нужны еще деньги? Ты хочешь выстроить два шпиля вместо одного? Знай же, что я намерена разделить свое состояние — он и в этом был щедр, как и во всем прочем,— между тобой и бедняками, оставив лишь, сколько нужно, на свое погребение, заупокойные службы и еще вклад во спасение души твоей матери, с которой мы были очень дружны...»

Он дотянулся и скомкал письмо в руках священника.

— Мы прекрасно обойдемся без женщин, отец Безликий. А вы как думаете?

— Милорд, о них сказано: «Лукавы и коварны».

(«Аминь».)

— А ответ, милорд?

Но Джослин теперь вспоминал о начале свершения, об ангеле и о невидимых очертаниях шпиля, которые уже сейчас открывались глазу посвященного над собором в солнечном небе.

— Ответ? — переспросил он со смехом.— Но зачем же менять решение? Ответа не будет.

Глава вторая

Он вышел из галереи через деревянную дверцу и мгновение постоял у опор, моргая от яркого света. Через пролом в северном трансепте мог бы проехать целый фургон, и солдаты из армии главного мастера обтесывали края. Пыль стала гуще прежнего, она клубилась, как желтый дым, и он закашлялся до слез. Двое землекопов углубились в землю уже по пояс, и пыль над ними висела так густо, что Джослину показалось, будто их лица искажены чудовищной гримасой, но потом он разглядел, что они просто завязали себе рты тряпками; на тряпках запеклась корка пыли и пота. Возле ямы дожидался подручный; он поднял наполненный землей лоток и пошел через северный трансепт, а его место занял другой. Миновав густую завесу пыли, подручный с лотком на плече натужно запел. При первых же словах Джослин поспешно зажал уши и, глотая пыль, хотел было усовестить певца, но тот не обратил на него ни малейшего внимания и, распевая, двинулся дальше через пролом в стене. Джослин быстро вошел в неф и огляделся. Он поискал в сумраке возле опор, но не нашел никого. Тогда он решительно свернул в южный трансепт; потом распахнул тяжелую дверь аркады, рывком поднял занавесь. Но в скриптории прелата не оказалось; только дьякон сличал две рукописи, уткнувшись носом в страницы.

— Где ризничий?

Юноша вскочил, подхватив книгу.

— Милорд, он прошел здесь...

Джослин отдернул следующую занавесь, но в учебной галерее тоже никого. Скамьи стоят вкривь и вкось, одна опрокинута. Он подошел к парапету, оперся обеими руками о каменную плиту, на которой были вырезаны клетки и валялись костяные шашки, и выглянул наружу. Ризничий сидел на скамье, вынесенной из школы. Он дремал на солнце, опершись спиной о колонну и сложив руки на коленях.

— Отец Ансельм!

Весенняя муха ударилась в нос отца Ансельма и метнулась прочь. Он приоткрыл затуманенные глаза и снова опустил веки.

— Милорд ризничий!

Джослин поспешно раздвинул еще одну занавесь, вышел во двор,

остановился перед отцом Ансельмом и, подавляя раздражение, сказал спокойно, как ни в чем не бывало:

— В соборе пусто. Там никто не сторожит.

Хотя казалось, будто отец Ансельм дремлет, он едва заметно дрожал. Он открыл глаза, но не смотрел на Джослина.

— Там пыль, милорд. Вы же знаете, какая у меня слабая грудь.

— Но вам незачем сидеть там самому. Отдайте распоряжение.

Ансельм сдержанно кашлянул. «Кха, кха».

— Как же мне требовать от других то, чего я не могу сделать сам? Дня через два пыли станет поменьше. Так сказал главный мастер.

— А пока, стало быть, пускай себе распевают любую мерзость?

Как ни старался Джослин сдержаться, он повысил голос, его правая рука сжалась в кулак. Он заставил себя сразу же разжать кулак — будто случайно согнул и разогнул пальцы. Но ризничий заметил его движение, хотя смотрел в этот миг на большой кедр. Он по-прежнему дрожал, но голос у него был спокойный.

— Если вспомнить, милорд настоятель, сколь много теперь у нас против устава творят, то песня, прошу прощения, какой бы мирской она ни была, право, кажется мне невинной. Ведь у нас двенадцать алтарей в боковых нефах. Из-за этой... этой нашей новой затеи там не горит ни одной свечи. И кроме того — еще раз прошу прощения,— поскольку эти чужие люди, собранные неизвестно откуда, по всякому поводу готовы на злодеяние, я полагаю, лучше уж пускай поют.

Джослин открыл было рот, но так и закрыл, не сказав ни слова. Он вспомнил мучительные колебания капитула; а ризничий уже отвернулся от кедра и смотрел теперь прямо на него, склонив голову набок.

— Право, милорд настоятель. Пусть себе поют день-другой, а там хоть пыль осядет.

Джослин перевел дух.

— Но ведь капитул решил!..

— Кое-что было оставлено на мое усмотрение.

— Они оскверняют храм!

Ризничий окаменел, как колонна у него за спиной, и уже не дрожал.

— Но они хотя бы не разрушают его.

Джослин вскрикнул:

— На что это вы намекаете?

Ризничий развел руками, и они замерли в воздухе.

— Я? Ни на что, милорд.

Он осторожно опустил руки и сжал их на коленях.

— Прошу вас, поймите мои слова правильно. Не удивительно, что эти невежественные люди оскверняют воздух своими словами, так же как оскверняют его пылью и вонью. Но они не разрушают воздух. И не разрушают самый храм.

— А я разрушаю?!

Но ризничий был настороже.

— Разве я говорю о вас, милорд?

— С тех пор, как вы перед капитулом высказались против шпиля...

Негодование комом стало в горле, и он замолчал. Ансельм едва заметно улыбнулся.

— Увы, то была прискорбная слабость веры, милорд. Дело решено, и теперь я понимаю, что мы все должны служить ему, не щадя живота.

«Служить, не щадя живота» — ведь это слова из его речи, и негодование, комом стоявшее в горле Джослина, прорвалось злобой.

— Воистину, прискорбная слабость веры!

Ризничий улыбался спокойно и даже ласково.

— Не каждый чувствует себя божьим избранником, милорд.

— Неужели вы думаете, что я, при всей вашей осторожности, не слышу в этих словах обвинения?

— Я сказал только то, что сказал.

— И не соблаговолили встать.

Какие-то ничтожные причины, сплетаясь, приводили Джослина в ярость. Когда он заговорил снова, голос его то и дело пресекался.

— Мне кажется, устав основателя храма еще не утратил силы.

Ризничий не пошевелился. Только бледное лицо как будто слегка порозовело. Потом он подобрал под себя ноги и медленно встал.

— Милорд...

— В соборе все еще нет сторожа.

Ризничий промолчал. Он сжал руки, едва заметно наклонил голову и пошел к двери. Джослин порывисто протянул руку ему вслед.

— Ансельм!

Ризничий остановился, повернулся к нему и ждал.

— Ансельм, я не хотел... Из старых друзей у меня никого не осталось, кроме вас. До чего мы дошли!

Ответа не было.

— Вы же знаете, я не хотел вас обидеть. Простите меня.

На порозовевшем лице не мелькнуло и тени улыбки.

— Да, пожалуйста.

— Ведь у вас под началом больше десятка людей. Пошлите хоть того мальчика, что сейчас в скриптории. Златоуст может и подождать. Он ждет уже так давно!

Но к ризничему вернулось спокойствие, и он покачал головой.

— Сегодня я никого не стану просить об этом. Там пыльно.

Они помолчали.

«Как же мне быть? Что ж, пустое огорчение, оно скоро пройдет. Но это урок на будущее».

— Ваше распоряжение не отменяется, милорд?

Джослин круто повернулся и поднял голову. Он увидел крытую галерею со стрельчатыми арками, контрфорсы и высокие окна южной стены; глаза его скользнули вверх вдоль угла между этой стеной и трансептом, где была квадратная плоская крыша над средокрестием. Солнце заливало стену, не нагревая ее; каменные утесы тянулись к небу, чисто вымытому ночным дождем. Оно было безоблачно, но предвещало ветер. Джослин созерцал стройные, ему одному видимые линии, которые сами собой вырисовывались над зубцами, в вышине, там, где кружила птица, и сливались воедино на высоте четырехсот футов.

«Да будет так! Любой ценой».

Он снова повернулся к ризничему и успел заметить на его лице сочувствие и в то же время злорадство. «Я твой друг,— говорила его улыбка,— твой духовник и, кроме того, друг». И еще она говорила (а ответить было нельзя): «Незримая громада там, в вышине, это Джослиново безумство, которое рухнет и погребет под собою весь собор».

— Я жду, милорд.

Джослин сказал спокойно:

— Нет. Ступайте.

Ризничий сжал руки и склонил голову. Это было безропотное повиновение и даже нечто большее, потому что нить, связывавшая их, перетерлась. У двери трансепта ризничий замешкался; и в том, как он тихонько поднял щеколду и осторожно, с едва слышным скрипом отворил дверь, был неуловимый упрек, какая-то дерзость — и перетертая нить лопнула. «Что ж,— подумал он,— значит, конец». И он вспомнил, какой крепкой и длинной была эта нить, этот канат, связывавший их сердца, и его сердце сжалось. И он знал, что, когда пройдет неголование, он будет тосковать, вспоминая монастырь у моря, сверкающую воду, солнце.

«Это назревало уже давно.

Я не знал, какую цену мне придется уплатить за тебя, высота в четыреста футов. Я думал, ты будешь стоить только денег. Но все равно, любой ценой...»

Он вернулся в собор и, очутившись в трансепте, совершенно забыл про Ансельма, потому что в воздухе стало меньше пыли, а та, что еще оставалась, понемногу оседала. Землекопы сняли свои намордники, пыль над ними уже не стояла столбом. Видны были только их головы да взлетавшие вверх лопаты. Опускаясь, лопаты не звенели о щебень, а с легким шорохом врезались во что-то мягкое, и подручный тащил лоток с черной землей. Но Джослина интересовал не подручный и не землекопы: по ту сторону ямы стоял Роджер-Каменщик и пристально всматривался вниз. На миг он поднял глаза к опорам, скользнул по Джослину невидящим взглядом и снова уставился вниз. Это не могло удивить Джослина, потому что взгляд у главного мастера часто был невидящий, и когда он смотрел на что-нибудь, то ничего другого словно не замечал, не слышал и не чувствовал. В такие минуты его взгляд как будто схватывал и обтесывал то, на что был устремлен, или вбирал это в себя целиком. Но теперь он смотрел не так. Он пристально вглядывался вниз, и его смуглое лицо выражало попросту удивление и недоверие. Синий капюшон был откинут и лежал складками вокруг толстой шеи, и Роджер поглаживал свою коротко остриженную круглую голову, словно хотел убедиться, что она на месте.

Джослин остановился у ямы и спросил мастера:

— Ну как, Роджер? Ты убедился?

Мастер не ответил и даже не взглянул на него. Он стоял подбоченясь, широко расставив толстые ноги и чуть наклонив вперед крепкое тело в коричневой блузе. Он сказал вниз, в яму:

— Попробуй щупом.

Один из землекопов выпрямился и утер рукой потное лицо. Другой нырнул вниз, и оттуда послышался скрежет. Мастер быстро встал на колени и, ухватившись за край плиты, еще больше подался вперед.

— Есть что-нибудь?

— Ничего, мастер. Вот, глядите!

Появилась голова землекопа и его руки. Он держал железный прут, прихватив большим пальцем одной руки прощупанную глубину, а другой придерживая сверкающее острие. Мастер не спеша смерил прут взглядом от пальца до пальца. Он взглянул сквозь Джослина, сложил губы, словно собирался свистнуть, но не издал ни звука. Джослин понял, что на него нарочно не обращают внимания, и оглядел неф. В дальнем конце он увидел благородную седую голову Ансельма, который сидел у самой двери, повинуясь букве его приказа, но в таком месте, где он ничего не слышал и почти ничего не видел. И Джослин снова с горечью подумал, что он совсем не такой, каким казался, хоть этому и трудно поверить. «Что ж, если не хочет бросить свое ребячество, пусть сидит там, покуда не прирастет к камню! Я не скажу ни слова».

Он опять повернулся к мастеру, и на сей раз его заметили.

— Ну как, Роджер, сын мой?

Мастер выпрямился, смахнул пыль с колен, отряхнул руки. Землекопы возобновили работу, лопаты зашуршали.

— Вы поняли, что это значит, преподобный отец?

— Лишь то, что легенды правы. Но ведь легенды всегда правы.

— Вы, священники, выбираете себе легенды по вкусу.

«Вы, священники!»

«Надо быть осторожным, не то он рассердится,— подумал Джослин.— Пока он повинуется мне, пусть болтает что угодно».

— Согласись, сын мой, ведь я говорил тебе, что этот храм — чудо, а ты не верил. Теперь ты видишь своими глазами.

— Что?

— Чудо. Ты видишь фундамент или, вернее, видишь, что фундамента нет.

Мастер презрительно и насмешливо фыркнул.

— Фундамент есть. Но он едва выдерживает собор. Взгляните вниз, по стенке,— видите, как это сделано? Вон до тех пор щебень, ниже — что-то еще, а дальше — только жидкая грязь. Они настлали бревна, а сверху насыпали щебень. Но этого мало. А ведь где-то есть твердый грунт, и он должен лежать у самой поверхности. Должен, или же я ничего не смыслю в своем ремесле. Наверное, здесь была отмель, намытая рекой. А эта жижа скопилась просто случайно.

Джослин торжествующе засмеялся. Он вздернул подбородок.

— Вот то-то: мастерство не дает тебе уверенности, сын мой! Ты говоришь, они настлали бревна. Так почему же не поверить, что собор плавает на этом настиле? Проще верить в чудо.

Мастер молча дождался, пока он кончит смеяться.

— Отойдемте-ка в сторонку и поговорим без помех. Вот сюда. Пускай, если вам угодно, собор плавает. Дело не в слове. Положим, это так...

— Именно так, Роджер. Мы всегда знали это. Теперь ты убедился, что мне можно верить. Эта яма совсем не нужна.

— Я копаю, чтобы убедить своих людей.

— Твою армию? А я-то считал тебя военачальником.

— Бывает, армия ведет начальника.

— Плох такой начальник, Роджер.

— Послушайте меня. Фундамент, или настил, если хотите, едва выдерживает собор. Больше ему не выдержать, разве только самую малость. И теперь мои люди это знают.

Джослин старался соблюсти торжественность, но в его голосе невольно прозвучала снисходительная насмешка:

— Ведь эта яма и для меня, правда, Роджер? Вы роете яму настоятелю?

Но Роджер-Каменщик не улыбнулся. Он по-бычьи смотрел на Джослина из-под густых бровей.

— Как это понимать?

— Пускай настоятель убедится, что построить шпиль невозможно. Этим летом нет работы ни в Винчестере, ни в Чичестере, ни в Лейкоке, ни в Крайстчерче, нигде не строят аббатств, монастырей или соборов. И новый король не закладывает замков. Здесь, подумал ты, мы переждем лето, а настоятелю Джослину покажем, какой он дурак. Так можно сохранить армию, пока не подвернется что-нибудь другое, потому что без армии ты — ничто.

Теперь мастер слегка улыбнулся.

— Скоро я найду твердый грунт, преподобный отец, и тогда мы подумаем еще. А если нет...

— Если нет, ты согласишься построить невысокую башню, робко, с опаской и все время поглядывая, не начал ли собор оседать. Ты слишком надеешься на свою хитрость! Ведь строительство башни можно прекратить когда угодно, правда, Роджер? А тем временем твоя армия перезимует здесь и совершит еще не одно убийство.

— Эта драка стоила мне лучшего каменотеса.

— И все ради какой-то жалкой башни. Ну нет, Роджер!

— Я ищу твердый грунт. Это и есть настоящий фундамент.

Но Джослин качал головой и улыбался.

— Ты увидишь, как я подвигну тебя ввысь силою своей воли. Ибо это воля божия.

Мастер перестал улыбаться. Он сказал сердито:

— Если б они хотели построить шпиль, то заложили бы для него фундамент!

— Они хотели.

Роджер-Каменщик сразу заинтересовался:

— А план?

— Какой план?

— Всего собора... Вы его видели? Сохранился он у вас?

Джослин покачал головой.

— Нет никаких планов, сын мой. Тем людям не нужны были картинки, нарисованные на пергаменте или нацарапанные на доске. Но я знаю: они собирались построить шпиль.

Мастер почесал в затылке, кивнул.

— Пойдемте со мной, преподобный отец, осмотрим опорные столбы.

— Я и без того их знаю. Не забывай, волею божией этот собор — мой дом.

— Нет, вы взгляните на них моими глазами.

По углам средокрестия было четыре опорных столба. Каждый поднимался кверху, словно густая купа деревьев, кроны которых поддерживали свод. Вверху, на высоте ста двадцати футов, было сумрачно, и глаз не мог проследить сплетение ветвей вокруг деревянного щита, которым была прикрыта отдушина посередине. Мастер подошел к юго-западной опоре и хлопнул ладонью по одному из стволов. Камень был гладкий, и пыль не держалась на нем; рука встретила свое искаженное отражение.

— Они кажутся вам толстыми и прочными, отец мой?

— Беспредельно.

— Но приглядитесь, как они тонки в сравнении с собственной длиной!

— В этом их красота.

— На них опирается только свод. Они никогда не были рассчитаны на тяжесть, много бóльшую своего веса.

Джослин вздернул подбородок.

— И все же они достаточно прочны.

Теперь мастер улыбался так же двусмысленно, как ризничий.

— Преподобный отец, а как вы стали бы строить такую опору?

Джослин подошел к опоре и пристально вгляделся в нее. Каждая колонна была толще человека. Он провел пальцами по камню.

— Видишь? Тут проходят поперечные щели или швы. Как они у вас называются? Стыки? Наверное, обтесанные камни клали один на другой, как дети складывают кубики.

Улыбка мастера становилась все мрачней.

— Вы называете этих людей праведниками, преподобный отец, что ж, возможно, они были честные. Но можно было сделать и по-другому.

Мимо опор, хромая, прошел Пэнголл. Следом за ним, передразнивая его, крался подручный. Он точно так же ковылял бочком, точно так же держал голову, и даже взгляд у него был такой же свирепый. Пэнголл резко обернулся, подручный остановился как вкопанный и грубо захохотал. Пэнголл, что-то бормоча, ушел в свое царство.

— А теперь вот что, Роджер. Этот человек...

— Пэнголл?

— Он верный слуга. Вели своим людям оставить его в покое.

Мастер молчал.

— Роджер?

— Он дурак. Почему он не понимает шуток?

— Шутка или не шутка, а пора это прекратить.

Мастер равнодушно взглянул на дверь в Пэнголлово царство и промолчал.

— Роджер... Зачем непременно издеваться над ним?

Мастер быстро взглянул на Джослина. Где-то глубоко внутри оба ощутили толчок, словно колесо вдруг попало в колею; и Джослин почувствовал, как на губах у него трепещут слова, и он мог бы их вымолвить, если б не эти темные глаза, которые так прямо смотрят в его глаза. Словно что-то вот-вот должно было случиться.

— Роджер?

Из капеллы Пресвятой девы шла по галерее кучка прихожан, и впереди всех — Рэчел, без умолку треща языком. И слова, трепетавшие на губах Джослина, замерли .

— Зачем это?

Роджер-Каменщик уже снова отвернулся к яме.

— Чтобы отвести беду. Есть у нас такая примета.

А Рэчел, покинув остальных, быстро шла к ним по каменному полу, она размахивала руками и быстро разевала рот, а потом они услышали ее голос:

— Им-то и не снилось, что ихний фундамент раскопают прежде Судного дня, а ведь тоже небось подрядились сделать все по совести, и вот теперь мой муж...— Она кивала и вся тряслась от рвения и не просто придерживала подол, а задирала его так, что открывались неуклюжие ноги.— Ведь ты знал, что там щебень и березовый настил, правда, Роджер? Он всегда все знает, милорд...— «Милорд!» Как будто она не женщина, а каноник и имеет право голоса на капитуле! Она словно говорила всем телом, вытаращив черные глаза, совсем не такие, какие должны быть у добропорядочной, скромной англичанки («не такие, как у застенчивой Гуди Пэнголл, моей возлюбленной дочери во Христе»), будто смыслила что-то в строительном деле и смела прекословить мужчине! Эта Рэчел, темноволосая, темноглазая, напористая, неуемно болтливая, могла в случае надобности послужить самым убедительным доводом в пользу безбрачия...— Простите, милорд, но скажу вам, я в этих вещах кое-что смыслю, и, помнится, старый мастер, который выучил Роджера, говорил: «Дитя,— это он меня так называл, потому что Роджер был тогда у него в подмастерьях,— дитя, шпиль должен уходить вниз настолько же, насколько вверх», или нет, кажется, наоборот: «вверх настолько же, насколько вниз». Понимаете, он что хотел сказать...— Она склонила голову набок, загадочно улыбнулась и ткнула пальцем чуть ли не в самое лицо Джослину.— Он хотел сказать, что тяжесть снизу должна быть такая же, как сверху. И ежели строить на четыреста футов в высоту, так и в глубину надо на четыреста футов. Правильно, Роджер? А, Роджер?

Она трещала без умолку, намолчавшись за время молебна, что было для нее тяжким испытанием, и теперь ее смуглое лицо и все тело сотрясались от потока слов, как труба, из которой хлещет вода. Они все-таки казались странной четой — Роджер-Каменщик и Рэчел. Они были не только неразлучны, но и схожи внешне — скорее брат и сестра, чем муж и жена: оба темноволосые, крепкие, красногубые. Они жили особой жизнью, словно бы на острове. Роджер ни разу не поднял на нее руку, частые ссоры у них были подобны вспышкам, которые сразу же задувал ветер, и все снова становилось как прежде. Они вращались друг возле друга, и со стороны это казалось невероятным. Никто не понимал, как они ладят, хотя, если присмотреться, оказывалось, что у них были свои хитрости в совместной жизни. Например, Роджер-Каменщик иной раз вел себя с Рэчел так, что она выглядела смешной, вот как сейчас. Словно не замечая ее, он только повысил голос, чтобы его можно было слы-

шать и понимать. Самого Роджера все это ничуть не раздражало, зато раздражало постороннего, когда этот посторонний облечен высоким духовным саном.

— ...и не так просто, как вы думаете.

Но лицо Рэчел дергалось, и она снова заглушила слова мастера. Джослин сам повысил голос, вступая в дурацкую игру и в то же время сердясь:

— Мы говорили о Пэнголле!

— Она такая миленькая, жаль, что у нее дет детей, но ведь и у меня тоже нет, ничего не поделаешь, милорд, приходится нести свой крест!

— ...я построю, сколько смогу.

— ...нет, сколько дерзнешь.

И вдруг Джослин без помех услышал свой голос. Рэчел отвернулась. Поток ее болтовни теперь поглощала яма.

— Что толку в малых дерзаниях, Роджер? Мои дерзания вознеслись высоко.

— Куда же это?

— На четыреста футов ввысь!

— Стало быть, я вас не убедил.

Джослин улыбнулся и кивнул многозначительно.

— Начинайте строить. Больше мне ничего не нужно.

Они обменялись взглядами, каждый с уверенностью в своей правоте, молча чувствуя, что они ни о чем не договорились и что это лишь краткое перемирие. «Я погоню его вверх — камень за камнем,— думал Джослин.— Ведь ему не было видения. Он слеп. Пускай воображает, будто может прекратить постройку башни, когда вздумает...» Но тут Рэчел повернулась к ним, и они услышали, что в яме ужас как темно и землекопы устали, лошадь и то можно загнать, а тем более смирную, пора кончать работу.

Джослин отвернулся, злясь на себя, и на эту глупую женщину, и на ее мужа, который умеет не обращать на нее внимания, а совладать с ней не умеет. С удивлением он увидел, что солнце уже светит в западные окна; и сразу голод дал о себе знать. Это тоже его рассердило; и совсем слабым утешением было слышать, как мастер обругал Рэчел:

— Дура набитая!

Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек, а скорее всего — просто так, чтобы отвести беду, и что через пять минут они снова будут вращаться друг возле друга, хохотать, или прогуливаться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но в общем-то она праведница: из всех слухов и любовных историй на Новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался радостью и великими событиями,— подумал он.— Было начало, и был мой ангел. Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить». Он увидел вдали отца Ансельма, который величественно восседал под огромным порталом, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос, и к его досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вещавшим с окон, сказал:

— Пускай сердится, если ему угодно.

У него за спиной, в трансепте, раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэчел ушла; он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему,— подумал он.— Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот. А что, если мэр потребует суда? И я не сказал даже половины того, что хотел. А все эта женщина с ее наглым подергивающимся лицом и бесконечной бол-

товней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность, пусть знает свое место. В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с нею терпеливо, объясню, как она должна себя вести.

Господи, какими орудиями приходится пользоваться!»

Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и не медля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений — безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился за каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел.

— Неужели вы не можете подождать, отец Адам?

Отец Безликий...

Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом:

— Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедля, милорд.

Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжали всю радость:

— Ну что ж, давайте сюда.

Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца. Он читал, и лицо его прояснялось, досаду сменило удовлетворение, потом восторг.

— Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне!

Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джеаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джеаном и сказал:

— Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так прибывать, копать глубже нельзя, придется ждать не одну неделю. А может, и не один месяц.

Джослин постучал пальцем по письму.

— Вот тебе ответ, сын мой.

— Что это?

— Милорд епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, он помнит о своей далекой пастве.

Мастер сказал нетерпеливо:

— Вы что, нарочно не хотите меня понять? Я говорю, что из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю.

Джослин со смехом покачал головой.

— А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться. Не деньги посылает епископ. В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное...— Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием.— Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пребудет там до конца дней. Милорд епископ посылает нам святыню, Гвоздь с креста господня.

Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем нефа. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал к старику через весь неф, размахивая письмом.

— Отец Ансельм!

На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.

— Отец Ансельм. Дружба — бесценное сокровище.

Все то же непроницаемое лицо. Джослин, окрыляемый радостью, не отступал.

— А мы что с ней сделали?

— Вы ждете от меня ответа, милорд, или же это вопрос риторический?

Джослин со всех сторон обволакивал его любовью.

— Хотите прочесть это письмо?

— Вы приказываете мне, милорд?

Джослин громко рассмеялся.

— Ансельм! Ансельм!

Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо: «Кха, кха, кха».

— Если письмо касается капитула, милорд, мы, без сомнения, узнаем его содержание в должное время.

— Ансельм. Я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании... В конце концов я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять, вы, мой духовник, пастырь моей души.

— Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?

— Вот именно.

Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял, величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил:

— А грамота?

Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил, за что ухватиться, потому что хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу: *«Коль скоро один из четырех прелатов о чем-либо договаривается с другим, да будет оный договор писан в грамоте»*. Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова:

— *«Во изменение же писаного да будет тоже дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих прелатов»*.

— Да, я знаю.

Ансельм снова заговорил холодно и спокойно. Он уже не кашлял.

— Это все, милорд?

— Да, все.

Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги ризничего. «Надо забыть о нем,— подумал он.— Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни».

Он посмотрел на письмо епископа. «Мы словно на весах,— подумал он.— Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел. Канцеллярий, мастер и его жена...»

Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться! Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярости:

— Теперь уж я сменю духовника!

Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом.

Глава третья

На другое утро, проснувшись чуть свет, он услышал шум дождя, сразу вспомнил слова мастера и, среди прочего, помолился о хорошей погоде. Однако дождь лил три дня, а потом дал лишь полдня передышки, но облака висели низко, и воздух был сырой — хозяйки сушили белье у очагов, где оно не столько сохло, сколько чернело от сажи; потом ветер снова принес дождь, который не унимался целую неделю. Когда настоятель выходил из своего дома и, закутавшись в плащ, торопился к собору, облака висели над самой крышей, так что даже зубцов не было видно. А сам собор, эта священная книга, высеченная из камня, уже не возглашал славу, а лишь бормотал скучную проповедь. Он весь был скользкий, вода струилась по мху, лишайнику и растресканным камням. Когда дождь уныло моросил, время тянулось так же уныло, медленно, тоскливо. А когда начинался ливень, тысяча каменных голов словно оживала, и тогда вспоминалось, что те, с кого они изваяны, давно гниют на погостах подле собора или у приходских церквей. Из разинутых ртов извергалась вода, словно то была новая, неслыханная еще адская мука, и эта вода вливалась в потоки, которые струились по стеклам, свинцу, каменному кружеву, по контрфорсам, башенкам, зубцам и подзорам, а потом с журчанием и бульканьем стекали в канаву у подножия стены. Когда налетал ветер, он не разгонял туч, а только вслепую бил по воздуху, с каждым ударом словно опрокидывая на землю ушат воды, и когда он хлестал сзади, даже сам настоятель пошатывался, а при встречном порыве втягивал голову в плечи, будто над ним занесли кулак, и плащ трепыхался у него за спиной, как крылья. Когда ветер стихал, облака опускались ниже, и Джослину не видны были даже верхние окна; из-за непрестанной завесы дождя он уже не чувствовал величия храма. Теперь ему приходилось довольствоваться тем, что было доступно взору,— углом какого-нибудь мокрого камня, где каждая мелочь казалась огромной и было множество изъянов, словно на коже, когда рассматриваешь ее слишком близко. В углах на северной стороне собора — но теперь не стало солнца, по которому можно было определить, где север, а где юг,— гнездился застарелый запах мочи. Река, выйдя из берегов, затопила дорогу и, не побоявшись стражи у городских ворот, ворвалась на грязные улицы. Мужчины, женщины и дети сидели, съежившись, у очагов, и под каждой крышей витал дым от сырых поленьев или торфа. Только в трактирах было людно.

Землекопы уже не работали у опор. Однажды Джослин, стоя подле главного мастера, следил, как тот опускает в яму свечу на веревке, и вдруг увидел, что на дне сверкнула вода. Из ямы несло смрадом, и Джослин отступил. Но мастер не обращал внимания на смрад. Он стоял, мрачно уставившись на свечу. Джослин забеспокоился, всполошился. Заглядывая Роджеру-Каменщику в лицо, он спросил:

— Сын мой, что ты думаешь делать?

Роджер проворчал:

— Дел тут по горло.

Он осторожно отстранил настоятеля, подошел к винтовой лестнице и стал подниматься по ней; вскоре Джослин услышал его медленные шаги над сводом, на высоте ста двадцати футов.

С тех пор как на Джослина впервые повеяло вонью из ямы, многое для него переменилось. Теперь он замечал, как этот омерзительный запах примешивается по всему собору к запаху ладана и сгоревшего воска: видно, вода незаметно просочилась в могилы сильных мира сего по обе стороны хора и под арками нефов. И оказалось, замечал это не он один. Живые, которые сделали презрение к жизни своим ремеслом, сочли это напоминанием слишком бесцеремонным и отправляли службы с неприличествующим отвращением на лицах. Проходя из капеллы Пресвятой девы к опорам — в эти дни тут было темно,— он настойчиво повторял себе: «Здесь, где теперь смрадная яма, много лет назад мне было явлено то, что я узрел, и я пал на лицо свое. Нужно всегда помнить об этом».

Теперь мастер и некоторые из его подручных работали под самой крышей. Они взломали свод, и когда в соборе было хоть немного света, вверху виднелись стропила. Люди исчезали на внутристенных лестницах и снова появлялись в трифории, крошечные, как мухи, а другие тем временем возводили леса у юго-восточной опоры. Они поднимали подмости все выше, словно ткали паутину, и в конце концов опора стала похожа на елку с обрубленными ветвями. Теперь работа уже не так мешала богослужениям, потому что сверху доносился лишь слабый шум. Смрадную тишину нефа нарушали только редкие удары молота где-то под крышей. А потом под взломанным сводом повисли канаты, они медленно колыхались, словно собор, по стенам которого снаружи и внутри теперь проступила сырость, пророс каким-то гигантским мхом. Канаты были приготовлены для бревен, которые рабочие станут понемногу подтаскивать сюда через пролом в трансепте, но они были похожи на мох, и запах еще усиливал впечатление. В темноте и сырости даже сам Джослин лишь мучительным усилием воли заставлял себя помнить, какое важное дело здесь совершается; и когда один из мастеровых сорвался и упал с высоты, рассекая отчаянным криком воздух от свода до пола, до того плотный, что крик, казалось, застыл, как бы вытесанный в этом плотном воздухе безжалостной рукой, Джослин не удивился, что никакое чудо не спасло человека от каменной плиты, неумолимо ждавшей его внизу. На собрании капитула отец Ансельм не сказал ничего, но негодование в его глазах было красноречивей слов, и Джослин понял, что и эта смерть записана в счет, который когда-нибудь будет ему предъявлен. Не темная ночь окутывала собор, а полдень, серый и потому кощунственно безнадежный. Мальчишки из хора истерически хохотали, когда канцеллярий, который ковылял вслед за ними из ризницы, поворачивал налево, как привык делать вот уже полжизни, вместо того чтобы пойти направо, в капеллу Пресвятой девы. Несмотря на этот смех и хихиканье, богослужения продолжались и все шло своим чередом; но людей словно давила какая-то незримая тяжесть. Члены капитула брюзжали; ученики певческой школы поскучнели, капризничали, кашляли; мальчики ссорились, сами не зная из-за чего. Младшие плакали без всякой причины. У старших подолгу стояли перед глазами ночные кошмары: безносые скелеты, которые всплыли под плитами пола и прижимали плоские лица к тяжелым камням. Неудивительно, что дети рады были посмеяться над канцеллярием. Но однажды, повернув налево, он не остановился, и тогда за ним пошли двое певчих. Они отыскали его в полутьме у дощатой перегородки, он шарил по ней, словно хотел пройти к престолу; они вывели его на свет и увидели, как сильно дрожит его правая рука и какое бессмысленное у него лицо. Дряхлого канцеллярия отвели домой, и пожилых священников начал терзать новый страх перед старческим безумием. В смрадной полутьме днем и ночью совершались богослужения, и свечи ничего не освещали, лишь тесные нимбы сияли в сыром

воздухе, и плыли кверху голоса, в страхе перед старостью и смертью, в страхе перед глухими, исполинскими стенами, в страхе перед темнотой и беспредельностью, в которой нет надежды.

— Господи, услышь моление мое!

А потом пополз слух, что в городе началась чума. И лица, взиравшие на свет алтаря, который знаменовал присутствие Святого духа,— напряженные, безмолвные лица с горящими глазами,— множились, толпа росла. Джослин никогда не подходил к этой толпе, потому что у него был ангел, который время от времени утешал, согревал и укреплял его. Но как хороший военачальник он видел, что людям нужна поддержка; даже ему было ясно, что эти люди, эти орудия, которыми приходилось пользоваться, теперь без толку лазают по стенам, как обезьяны. Чтобы ободрить их, он велел вынести макет со шпилем на середину храма и поставить у северо-западной опоры. Макет стоял на столике, и, казалось, он один был чистым во всем соборе, но стоило притронуться к нему, и палец становился мокрым.

Так прошло рождество. Да возликует небо и возрадуется земля пред господом, ибо он грядет.

Так и считалось, что он грядет, но облака по-прежнему висели над собором, и если мелкий дождь ненадолго переставал, люди недоверчиво поднимали головы и ощупывали свои лица. Однажды, когда дождь стих, но в сырой пещере нефа стояло особенно сильное зловоние, Джослин пришел к макету, дабы самому ободриться. Он с трудом вытащил шпиль из гнезда, потому что дерево разбухло, и держал его благоговейно, как святыню. Он нежно гладил его, покачивал в руках, смотрел на него, как мать на дитя. Макет шпиля был восемнадцати дюймов, нижняя половина, сделанная в виде четверика, была прорезана высокими окошечками и оканчивалась целым лесом стройных башенок, над которыми поднималось острие, тонкое, без единого украшения, с крохотным крестиком на конце. Крестик был меньше нательного. Джослин стоял у опоры и все покачивал шпиль, все твердил себе, что теперь вода непременно пойдет на убыль. Ведь вот уже целую неделю нет дождя. Март выдался безветренный, но хмурый, и все же можно было надеяться, что отсыревшее солнце пробьется сквозь тучи и высушит рыхлую грязь на полях. Поглаживая шпиль, он услышал, как Джеан ругается у пролома в трансепте. Он закрыл глаза и подумал: «Мы выдержали! Отныне да будет все по-иному!» И он словно увидел закрытыми глазами, как теплые, сухие дни набирают силу, устремляются к свету. На крыше раздались удары молота, и шпиль, который он держал в руках, вдруг привел его в волнение; он вспомнил стройные линии, сходившиеся в воздухе над собором, и задохнулся от восторга. Он ожил. Вздернув подбородок, он открыл глаза и рот, готовый вознести благодарение богу.

И он замер, не вымолвив ни слова.

Из Пэнголлова царства появилась Гуди Пэнголл. Она сделала три быстрых шага вперед. Потом остановилась и отступила на шаг. И снова пошла, уже медленней, пошла на середину собора, но смотрела она не туда. Она смотрела в сторону. Одной рукой она стягивала ворот плаща, другую с корзиной подняла к груди. Она смотрела в сторону, словно обходя быка или жеребца. Ноги влекли ее подальше от опасного места, она едва не задевала плечом стену, но уйти не могла. Глаза чернели словно два пятна на бледном, осунувшемся за долгую зиму лице, рот приоткрылся, она выглядела бы глупо, но такое нежное существо не может выглядеть глупо, и к тому же этот неприкрытый страх... Джослин проследил за ее взглядом; и тут время понеслось вскачь или, может быть, вовсе остановилось. И поэтому Джослин ничуть не удивился, когда понял, что знает, на кого она смотрит, хотя еще и не видел мастера.

Роджер-Каменщик стоял одной ногой на стремянке, под лесами, окружавшими опору. Он спустился вниз и смотрел на Гуди. Вот он повернулся. Вот пошел по каменным плитам, а она двигалась все медленней, прижимаясь к стене. Она отступала, отступала, повернув к нему голову. Но он словно пригвоздил ее к месту и что-то серьезно говорил ей, опустив глаза, а она все смотрела на него, приоткрыв рот и качая головой.

Джослин как будто прозрел. Он все понял, все теперь знал. Знал, что это не первая их встреча. Знал, как они страдают и мучаются. Знал— и это было подобно откровению во время молитвы, — что самый воздух вокруг них стал иным. Некий шатер скрывал их от людей, и оба они боялись этого, но были бессильны. Они разговаривали серьезно и тихо, и хотя Гуди все время качала головой, она не уходила, не могла уйти, затворенная вместе с ним в незримом шатре. Она была в плаще, с корзинкой, собралась на рынок, и ей не о чем было говорить с мужчиной, а тем более с Роджером; но в таком случае ей довольно было покачать головой; она могла бы вовсе не обратить внимания на этого сильного человека в кожаных штанах, коричневой блузе и синем капюшоне, даже останавливаться было незачем — прошла бы мимо него, отвернувшись, ведь он же не схватил ее. Но она стояла, обратив к нему лицо, и ее черные немигающие глаза и ее губы твердили: «Нет». И вдруг она рванулась, будто в самом деле хотела разорвать висевшую в воздухе преграду, но тщетно, потому что незримый шатер, откуда им не было выхода, только растянулся и не выпустил ее. Она осталась внутри, и так будет всегда, она всегда будет внутри, как сейчас, хотя она и бежит прочь по южному нефу и лицо ее, только что бледное, пылает. А Роджер-Каменщик смотрел ей вслед, и казалось, ничто на свете не существовало для него, ничто и никто, кроме нее одной, и он был бессилен перед этим и невыносимо страдал. Когда за Гуди захлопнулась дверь, он повернулся спиной к Джослину и, как лунатик, пошел к лесам.

И тогда в Джослине словно из какой-то ямы поднялась злоба. Перед глазами возникло ее лицо, которое изо дня в день склонялось перед ним, когда она подходила под благословение, он услышал, как она беззаботно распевала в Пэнголловом царстве. Он вздернул подбородок, и из темной глубины, где бушевали возмущение и боль, вырвалось одно только слово:

— Нет!

Мир, пробуждавшийся к новой жизни, вдруг стал мерзок Джослину, словно его окатило грязью, он едва не задохнулся и, увидя перед собой пролом в трансепте, бросился туда, где брезжил дневной свет. Его настигли насмешливые возгласы мастеровых, и, хотя жгучее чувство терзало его, он понял, какой прекрасный повод для пьяных шуток будет у них теперь: сам настоятель выскочил из пролома в стене, обеими руками неся перед собой свое безумство. Он бросился назад, под своды. Но по северному нефу двигалась небольшая процессия; впереди шла Рэчел, бережно держа бесценную ношу; он заученно благословил и поздравил ее, но жена коннетабля поспешно отобрала у нее ребенка и с важностью направилась к капелле Пресвятой девы, где была купель. А Рэчел осталась, что-то удержало ее на месте, и хотя перед его невидящими глазами стояли Роджер и Гуди Пэнголл, он постепенно понял, почему она осталась. Он никогда не поверил бы, что женщина, даже оскорбленная (глаза ее вылезли из орбит, черные пряди волос разметались по щекам), может сказать такую мерзость. На этот раз его сковал не поток слов, а самый их смысл. Рэчел — лицо ее дергалось, дрожало, как оконное стекло во время грозы, — объясняла ему, почему у нее нет ребенка, хоть она и молит об этом бога. Когда они с Роджером в первый раз были вместе, она в самую неподходящую минуту засмеялась, никак не могла удержаться, но она не бесплодна, как некоторые думали и даже говорили, нет, избави

боже! Просто она не могла удержаться от смеха, и он тоже не мог удержаться...

Джослин стоял, удивленный, не веря своим ушам, а она исчезла, наконец, в северном нефе, торопясь поспеть на крещение. Он стоял у лесов, и его ожгла мысль, что таковы все женщины: девять тысяч девятьсот девяносто девять раз они бывают скромны, хоть и болтливы, и в десятитысячный изрыгнут столь чудовищное непотребство, так грубо обнажат самое сокровенное, словно само взбесившееся чрево обрело язык. И из всех женщин в мире это сделала именно она — невероятная, невозможная и все же существующая Рэчел... принуждена была сделать, потому что не совладала со своим болтливым нутром, в неподобающем месте, в неподобающую минуту, перед самым неподобающим человеком. Она сорвала покровы с жизни, обнажив такие глубины, где царят ужас и смешная нелепость — красно-желтый шут размахивает в страшном застенке своей палкой, на которой подвешен свиной пузырь.

И он со злобой сказал деревянному шпилю, который держал в руках:

— Наглая и бесстыдная женщина!

Шут ударил его в пах свиным пузырем, а он засмеялся дребезжащим смехом, от которого по телу прошла судорога.

И громко воскликнул:

— Грязь! Грязь!

Он открыл глаза и услышал, как его слова гулко отдались под сводом. А там стоял Пэнголл со своей метлой, он застыл, изумленный, у двери в дощатой перегородке. Невольно пытаясь вложить в свои слова хоть какой-нибудь смысл и скрыть их истинное значение, Джослин воскликнул снова:

— В соборе полно грязи! Они все загадили!

Но из северного трансепта вышли старый каменотес Мел и главный помощник Роджера Джеан. Джеан хохотал, словно не замечая Джослина.

— Разве это жена? Да она просто сторожиха при нем!

У Джослина кровь еще шумела в висках, он попытался заговорить с Пэнголлом как ни в чем не бывало, но почувствовал, что задыхается, словно бегом пробежал через весь собор.

— Как твои дела, сын мой?

Но Пэнголл глядел на него враждебно, озлобленный какими-то своими неудачами или стычкой с мастеровыми.

— Какие там дела...

Джослин уже овладел собой и сказал почти спокойно:

— Я говорил с главным мастером. Ну как, ты помирился с ними?

— Я? Какое там!.. Вы правду сказали, преподобный отец. Они все загадили.

— Но тебя оставили в покое?

Пэнголл сказал угрюмо:

— Они никогда не оставят меня в покое. Я для них заместо шута.

«Чтобы отвести беду». Его губы сами собой повторили эти слова, как ноги сами собой идут по привычному пути.

— Ничего не поделаешь. Все мы должны мириться с ними.

Пэнголл, который пошел было прочь, обернулся.

— А почему вы не обратились к нам, отец? Я и мои помощники...

— Вам этого не сделать.

Пэнголл открыл было рот, но смолчал. Он стоял, не двигаясь, и пристально смотрел на Джослина; угол его рта кривился, и если бы не его преданность и благочестие, это можно было бы принять за усмешку; а в воздухе между ними носились невысказанные слова: «И им тоже не сде-

лать, никому не сделать. Из-за грязи, и воды, и непрочного настила, и высоты, и тонких опор. Это невозможно».

— Они тяжкое испытание для всех нас, сын мой. Я признаю это. Но мы должны терпеть. Ты же сам сказал мне как-то, что собор — твой дом. В твоих словах была греховная гордыня, но в то же время — верность и рвение. Пусть никогда не будет у тебя мысли, сын мой, что тебя здесь не понимают или не ценят. Скоро они уйдут. А у тебя, когда будет угодно богу, родятся сыновья...

Рот Пэнголла уже не кривился.

— И храм, который им суждено хранить и оберегать, станет неизмеримо величественней, чем ныне. Подумай сам. Посередине вознесется к небу вот это...— он торжествующе поднял перед собой шпиль,— ...и они будут рассказывать своим детям: «Это сделано во времена нашего отца».

Пэнголл сгорбился. Метла, которую он держал на весу, задрожала. Его взгляд застыл, оскаленные зубы сверкали. Мгновение он стоял так, уставившись на шпиль, который в упоении протягивал ему Джослин. Потом взглянул на настоятеля из-под насупленных бровей.

— Неужто и *вы* издеваетесь надо мной?

Он повернулся, быстро заковылял прочь через южный трансепт, дверь его царства захлопнулась, и по всему собору отдалось эхо.

На крыше бил молот: «Бам, бам, бам». Стук двери, и удары молота, и запахи, и воспоминания, и поток невыразимых чувств — все разом вдруг обрушилось на Джослина, и он задохнулся. Он знал, где можно вздохнуть всей грудью, ноги, спотыкаясь, сами понесли его туда, и он упал на колени перед алтарем, озаренным неярким светом. Он смотрел на алтарь, жадно открыв рот.

— Я не знал...

Но чистота света оставалась недостижимой, она была как крошечная, бесконечно далекая дверца. Джослин стоял на коленях, мысли его кружились в бурном водовороте, и он не сразу понял, что смотрит на плиты пола, украшенные геральдическими зверями. А еще ближе, перед самыми глазами, стояли люди, четверо — и он снова содрогнулся — Роджер и Рэчел, Пэнголл и его Гуди, словно четыре опоры средокрестия.

Потом, все еще содрогаясь, он поднял голову и увидел потускневшее великолепие витража, а свет на алтаре раздвоился и теперь сиял отдельно в каждом глазу.

Он прошептал:

— И Ты послал ангела Твоего, дабы он укрепил меня.

Но ангела не было; только водоворот чувств, бурлящий, мучительный, жгучий, и ужас перед злом, которое зреет и разрастается всю жизнь, достигая жуткого, непостижимого могущества на полпути между рождением и старостью.

— Ты, Господи! Ты!

Два света слились в бесконечной дали, и ему захотелось уйти. Но вместо ангела за его спиной прыгали и вопили те четверо, и свет вновь раздвоился. А потом их осталось двое в шатре, он и она, но теперь Джослин, захлестнутый скорбью и негодованием, закрыл глаза и со стоном стал молить бога о спасении возлюбленной своей дочери.

— Укрепи ее, Господи, по великой милости Твоей, и ниспошли ей успокоение...

И тут в голове у него, как живая, забилась мысль. Она пронзила мозг острым копьем. Только что глаза его были закрыты, а сердце переполняла сладостная скорбь. Но теперь в душе не осталось чувств, ничего, кроме этой мысли, которая, казалось, пребывала там с первого дня творения. Никаких чувств, ничего, только одна эта мысль, и он снова ощутил бремя своего тела. На груди, у самого сердца, лежала тяжесть,

болели руки, болела правая щека. Открыв глаза, он понял, что судорожно прижимает к себе шпиль и острая грань впилась ему в щеку. Он снова увидел плиты пола, и на каждой было по два зверя — когтистые лапы занесены для удара, змееподобные шеи переплелись. Где-то, то ли над плитами, то ли за спиной, где являлся ангел, то ли в беспредельности, которая была у него в голове, возникла яркая картина: Роджер-Каменщик, полуобернувшись, глядит с лесов, и невидимые веревки притягивают его к женщине, припавшей к стене. Это Гуди, она тоже стоит, полуобернувшись, и смотрит не мигая; она чувствует, как натягиваются веревки, качает головой, ее объемлет ужас и желание, Гуди и Роджер в шатре, который всегда пребудет вокруг них, куда бы они ни пошли. И тогда-то всплыла эта мысль, отчетливая, словно надпись поверх картины. Она была так чудовищна, что заглушила в нем все чувства, и теперь он читал ее с полной отрешенностью, а грань шпиля жгла ему щеку. Так чудовищна была эта мысль и так подавила она все остальные чувства, что ему пришлось произнести ее вслух, а перед глазами его все стояли те двое, связанные меж собой.

— Она удержит его здесь.

Он встал с колен, не глядя на свет алтаря, и медленно пошел к опорам сквозь оглушительную тишину. Он приблизился к столику, где распластался макет, и втиснул шпиль в квадратное гнездо. Потом он вышел из собора и побрел к дому. Он с любопытством поглядывал на свои руки и сосредоточенно кивал. Лишь поздно ночью чувства вернулись к нему; и тогда он снова упал на колени, и слезы хлынули из глаз. И тут, наконец, явился ангел, который согрел ему душу, и он немного утешился, и уже мог переносить эту картину и эту чудовищную мысль. Ангел не оставлял его, и он сказал, засыпая:

— Ты нужна мне. И только сегодня я по-настоящему понял зачем. Прости меня!

Ангел согревал его.

Но словно для того, чтобы он не забывал о смирении, диаволу была дана власть терзать его всю ночь нелепым и беспросветным кошмаром. Джослину снилось, будто он лежит навзничь в своей постели; а потом он лежал навзничь в болоте, распятый, и руки его были трансептами, и Пэнголлово царство прилепилось у него под левым боком. Приходили люди, мучили его, осыпали насмешками: Рэчел, Роджер, Пэнголл — и все они знали, что у собора нет и не может быть шпиля. А сам диавол, который налетел с запада, облаченный в сверкающую шерсть, стоял над нефом и терзал его так, что он корчился в теплом болоте и громко кричал. Он проснулся в темноте, исполненный омерзения. Взяв бич, он нанес себе семь жестоких ударов по спине, которую недавно согревал лучезарный ангел, по удару за каждого беса. А потом уснул крепко, без сновидений.

Глава четвертая

С тех пор Джослин ревностно принялся за труды. Натянув кожаные ноговицы, он объезжал по глубокой грязи окрестные церкви, проверял своих викариев, произносил проповеди перед изможденными прихожанами. Он проповедовал и в городских церквах, где состоял архидиаконом. В соборе святого Фомы, вещая с высоты трифория, над серединой нефа, где полукружьем стояли люди, поднявши кверху лица, он вдруг поймал себя на том, что исступленно говорит о шпиле и постукивает кулаком по каменному пюпитру. Но люди стонали и били себя в грудь не от его слов, а потому, что он говорил с таким исступлением, и еще потому, что стояла пора дождей, наводнений, голода и смерти. Поутру ветер разогнал дож-

девые тучи, и когда Джослин вернулся в собор, то мог наконец снова окинуть взглядом весь храм. Но теперь это было самое обыкновенное здание — столько-то футов в длину, ширину и высоту, лишенное блеска и величия. Джослин взглянул в холодное небо, но там ничего не было. Он пошел к себе и стал смотреть в узкое оконце, потому что в раме окна стены собора иногда обретали особую четкость и значительность, как на картине. Но теперь перед ним был просто огромный сарай. И к тому же собор как будто стал ниже, хотя Джослин знал, что ему это только кажется. У канавы, под стеною, земля, поросшая жесткой травой, вспучилась от сырости, словно камень выдавливал землю, и теперь он ощущал не столько величие славы божией, сколько тяжесть громады, сложенной людскими руками. А видение шпиля стало далеким, как сон, запомнившийся с детства. И когда он думал о старом Ансельме, с которым было связано его детство, в голове всплывала мысль: кому же он теперь будет исповедоваться. Но он с досадой встряхнулся и сказал в пустоту сквозь стиснутые зубы:

— Я творю волю моего Небесного Отца.

В эти дни он оставил без ответа еще одно письмо леди Элисон.

И все же ветер принес перемены. Он разогнал тучи и, задувая в открытые двери, очистил собор от вони. Полые воды понемногу спадали, оставляя гниль и разрушение повсюду, кроме троп, которые уже подсыхали, и мощеных дорог, где могли проехать повозки. Теперь, подходя к порталу, он видел, что каменные головы присмирели, замерли и ждут, напряженно разинув рты, что будет дальше. Он останавливался и раздумывал о том, с каким тщанием и вдохновенностью гиганты строители возводили собор, потому что эти головы словно выросли, вздулись на камне, как нарывы или прыщи, очищающие от недуга, жертвуя собою ради чистоты и здоровья всего тела. Теперь, когда дождя не было, он видел мхи и лишайники, зеленые и черные, отчего казалось, что некоторые из голов поражены болезнью, они бросали по ветру немые кощунства и злобные насмешки, бесшумные, как смерть, которая косит людей где-то далеко, в чужих землях. Святые и мученики, исповедники и праведники у западной стены бесстрастно перенесли зиму, а теперь обсохли и готовы были так же бесстрастно перенести летний зной.

Он чувствовал, что силы как будто понемногу возвращаются к нему. Вспоминая о Роджере-Каменщике, который был орудием в его руках, и о женщинах, вращавшихся вокруг него, он говорил себе: «Она праведница!» — и верил, что этого довольно. Потому что все постепенно налаживалось. На собраниях капитула реже слышался кашель, и только один из каноников умер — дряхлый канцеллярий неверными ногами переступил последний порог; и поскольку смерть его не была ни мучительной, ни скоропостижной и над ним успели совершить все положенные обряды, следовало скорее радоваться, чем скорбеть. Тем более, что новый канцеллярий был молод и смиренен. Незаметно пришло время снять занавеси в аркаде, и мальчики из певческой школы теперь играли на воздухе, стараясь залезть на высокий кедр. А однажды утром, войдя в собор, он вдруг увидел, что храм снова полон мирской суеты. Люди глазели на яму у опор или на дыру в своде. Теперь, когда река вернулась в берега и на небе сквозь облака проглядывала синева, вода из ямы ушла, и Роджер-Каменщик, спустив туда свечу, не увидел ее отражения. Его армия приободрилась, рабочие насвистывали, взбираясь по лесам к своду и по винтовой лестнице в трифорий. Возвращаясь оттуда налегке, или с пустым лотком, или с корзиной, они возвещали о своем приближении свистом или песней, столь же безразличные к строгости Великого поста, как каменные изваяния. Напрасно Джослин жаловался Роджеру-Каменщику, что его армия слишком шумит. Под тростниковым навесом у северного трансеп-

та все время что-то строгали, а с крыши беспрестанно доносились удары и топот. Но Джослин в эту пору Великого поста готовился к решительной битве и, поглощенный приготовлениями, был бессилен перед веселой армией, как девчонка, которая пасет слишком многих гусей. Он беспомощно слушал, как они распевают свои песни; беспомощно видел, как передразнивают Пэнголла; беспомощно смотрел на Роджера и Гуди в шатре.

И все твердил:

— Я творю волю моего Небесного Отца!

Однажды утром, войдя в собор («Поднимите, врата, верхи ваши!») и остановившись у ямы, которая больше уже не смердела, он уловил что-то новое в шуме, доносившемся сверху. Он запрокинул голову, так что заболела шея, и в глаза ему засиял клочок неба, звонкий, головокружительный, невероятный, чудесно голубой. И подобно тому, как рама его узкого оконца порой придавала глубину и выразительность тому, что открывалось за нею, края маленького отверстия были словно оправой, в которой клочок неба сверкал, как драгоценный камень. Наверху строители разбирали крышу, отгибали свинцовые полосы. Голубой просвет разрастался в длину и ширину, объединяя землю с небом как раз там, где скоро, очень скоро вознесутся стройные линии, воплощая собой бесконечность. Запрокинув голову и открыв рот, он смотрел вверх прищуренными, влажными глазами. Он видел, как там суетились люди, которые делали, что им велено, но не ведали, что творят; видел, как белая полоска вторглась в голубизну, потом исчезла; слышал, как подошла Рэчел, трещa языком, но не обратил внимания на ее болтовню и не знал, долго ли она пробыла рядом и куда ушла; шея его болела, но он не замечал этого, радуясь, как радуется ребенок, бегающий по цветущему лугу, а голубое пятно, расширяясь, затуманилось в его глазах и превратилось в искрящийся каскад. Наконец, он дал отдых шее и погрузился в паутину света, медовых полос, протянувшихся от окон, призрачных огней, которые плыли в его голове и старались затмить голубизну неба, еще дрожавшую перед глазами.

И отныне, всякий раз как армия Роджера работала на крыше, небо смотрело прямо в жадно разинутую пасть ямы. Вскоре стало видно сплетение балок; потом их убрали одну за другой. Рабочие на полозьях втащили в собор огромный кусок парусины, к которому с купола протянулись канаты. Парусину с пением вздернули кверху. Когда работы кончались, она закрывала небо, иногда на нее обрушивался ливень, и там, наверху, словно проходила процессия и слышался рев. А когда погода прояснялась, возвращались строители и снова открывали небо. Каждый день главный мастер осматривал яму. Один раз он сам спустился туда, но сразу же вылез, качая головой, и на ногах у него налипла грязь. Он молчал, зато Рэчел объясняла, как подвигается дело, всякому, кто хотел, а иной раз и не хотел ее слушать.

Великий пост кончался, близилась пасха, Джослину приходилось выслушивать жалобы, что шум с крыши слышен даже в капелле Пресвятой девы, и он решил, что пора ему самому залезть наверх и все осмотреть. Он осторожно, с трудом, поднялся по винтовой лесенке и, наконец, очутился над сводом, на высоте ста двадцати футов, откуда яма казалась крошечной черной точкой. Перед ним был огромный четырехугольник, огражденный зубцами, залитый светом и воздухом. Он пробрался среди таинственных деревянных и каменных сооружений и выглянул наружу; внизу был двор, посреди которого бугорком торчал кедр. Мальчики из певческой школы играли на траве в пятнашки или сидели, склонясь над шашками, на парапете аркады. И Джослин вдруг почувствовал, что любит всех чистой и радостной любовью. Волнение переполняло его. Он

отдернул голову — пролетавший ворон едва не задел его по лицу, — огляделся и вновь почувствовал волнение. Оказалось, он стоит у начала новой кладки — первый ряд камня уже обозначил четверик. Каменщик клал слой известкового раствора, тонкий, как пленка яичного белка. Джослин стиснул руки, поднял голову и торжественно воззвал ко всем разом — и к мальчикам, и к немому, и к Роджеру-Каменщику, и к Гуди: «Ликуйте, дщери иерусалимские!»

Наступила пасха, и это особенно чувствовалось в капелле Пресвятой девы, где праздник возвестил о себе покровом из небеленого холста на алтаре. Свечи тоже были как небеленый холст, прихожане валили толпой, и гроб ждал ангела, несущего благую весть, что Он воскрес. А у опор, куда свет легко проникал через узорные стекла, пасха явила себя по-иному — шумом и сиянием солнца.

Каменная кладка стала быстро расти, и однажды Джослин, выглянув в окно своего дома, увидел, что белый камень уже поднялся выше зубцов. Вскоре четверик в свою очередь начал обрастать лесами, сперва появился один настил, потом второй. Бревна из леса Айво вползали в собор через пролом в северном трансепте. Со свода спускали канаты, и бревна уходили вверх торчком, как стрелы, а люди сторонились их. Джослин захотел было посмотреть, что с ними делают потом, но мастер не пустил его. Когда же он, наконец, снова поднялся наверх, то увидел, что бревна из леса Айво — или его отца — образовали четырехугольную основу для перекрытия, которое должно было появиться на уровне прежней крыши. Но посередине оставалось квадратное отверстие, и небо все так же низвергалось сквозь него. Каменная кладка с четырех сторон стала расти неравномерно. Каменщики оставляли просветы, и Джослин понял, что здесь будут окна высотой в пятьдесят футов, освещающие башню.

Капелла Пресвятой девы украсилась цветами, бледные лица прихожан ожили, нежные уста детей источали хвалу. Пришел Айво в полном облачении — его должны были рукоположить в каноники. Он предстал перед тремя прелатами и читал из толстой Библии, а может быть, просто повторял на память — определить было трудно, потому что читал он «Отче наш» и «Богородицу»; однако новый канцеллярий сказал, что теперь Айво читает неплохо. Последовало торжественное рукоположение, и солнце заглядывало в маленькие окна, озаряя житие святого Альдхельма. Джослин сидел за пюпитром и всем существом своим чувствовал, как растет башня. Он ждал Айво, который подошел с подобающим достоинством. И вот в капелле Пресвятой девы Джослин взял его теплую руку в свою. Обычные вопросы, благословение, рука в пастырской руке, переносный алтарь; и наконец, среди свечей и цветов, поцелуй мира.

А потом Айво снова отправился на охоту.

Тем временем воздух и земля становились все суше; и вот снова появилась пыль. Джослин тщательно обдумал, как с ней справиться, но ему пришлось молча махнуть на все рукой, потому что Пэнголл и его помощники пали духом. Грязь, оставшаяся в нефах, высохла и повисла пыльным облаком. Кроме того, пыль летела через квадратное отверстие над опорами. Она лежала повсюду небольшими кучками и холмиками. Она сверкала в лучах солнца, расползалась и бугрилась по надгробиям. Крестоносцы, застывшие в геральдическом безмолвии на каменных плитах меж колонн нефа, уже не сверкали родовыми гербами, а оделись в грязные кольчуги или латы навозного цвета, словно здесь же и были повержены в кровавом побоище. По эту сторону дощатой перегородки храм стал мирским, как конюшня или пустой сарай для сбора десятины. Весь его божественный смысл сосредоточился теперь наверху, в квадратной башне. Леса внутри башни поднимались все выше, и снизу казалось, будто смотришь в печную трубу, где усердно вьют гнездо птицы. Оттуда

свисали канаты, подмости суживали просвет, прямые стойки лесов словно сходились далеко вверху, наклонные стремянки были переброшены от настила к настилу. И повсюду неутомимо сновали строители. Они уже не шумели и не смеялись, как в первые дни весны, а стали молчаливыми и сосредоточенными. Прежде, работая внизу, они держались небрежно и самонадеянно. Но теперь, на высоте почти двухсот футов, они словно постигли какие-то тайны, недоступные никому другому, и оттуда почти всегда доносился лишь деловой шум: там стучали, строгали, тесали, скребли. Идя в капеллу Пресвятой девы служить мессу или предаваться одиноким размышлениям у алтаря, Джослин иногда останавливался и, взглянув вверх, видел, как кто-нибудь из рабочих проходит на головокружительной высоте по шаткой доске, перекинутой наискось с бревна на бревно. Он смотрел, как очередной камень из Пэнголлова царства медленно поднимается кверху в деревянном лотке или раскачивается, повиснув на канате. Он смотрел, как Роджер-Каменщик тяжело и осторожно взбирается по стремянкам, и под мышкой у него угольник, а с пояса свисает свинцовый отвес. Кроме того, он носил при себе еще какой-то странный металлический снаряд с дырочкой для глаза. Роджер часами нацеливал это приспособление вдоль стен или из угла в угол. Проделав измерения угольником или металлическим снарядом, он повторял их в обратном порядке и всякий раз опускал отвес; при этом он отрывал от дела двоих, а то и больше рабочих. Видя, как они теряют время, Джослин задыхался от отчаянья и не уходил, пока неотложные обязанности или письма, принесенные отцом Безликим, не заставляли его опомниться. Но, улучив минуту, он снова возвращался к опорам, смотрел вверх, вскрикивал, и немому юноше, который ваял уже третью каменную голову настоятеля Джослина, было нелегко работать.

Однажды он увидел, что люди собрались на самом верху кучками и о чем-то спорят. Он видел, что Роджер-Каменщик то старается их развеселить, то заискивает перед ними, притворно сердится или взывает к их благоразумию, но они потеряли понапрасну не один час и лишь потом нехотя вернулись к работе. Тогда мастер вместе с Джеаном спустился вниз, и они занялись каким-то делом. Джослина Роджер со злобой отстранил. Он ставил на пол плошки с водой, подкладывал снизу дощечки, нацеливал свой снаряд. Он сделал зарубки на всех четырех опорах и поверх каждой зарубки поставил отметку мелом. Теперь он по два и по три раза в день возвращался к этим отметкам. Иногда он становился у входа в южный трансепт и смотрел на каждую отметку, а потом — на их отражения в плошках с водой. Когда мел осыпался, он ставил новую отметку.

Но Джослин радовался и, проходя мимо него, со смехом качал головой. Время от времени он спрашивал Роджера:

— Как! Сын мой, неужели ты до сих пор не обрел веры?

Мастер не отвечал и только раз, казалось, хотел что-то сказать. Накануне ангел так укрепил Джослина, что он чувствовал в себе силы взвалить на плечи весь собор. Когда он возвращался через главный неф, по которому в тот миг быстро проходила Гуди, ему захотелось излить перед кем-нибудь свое торжество, и он крикнул Роджеру, который стоял над плошкою с водой:

— Видишь, сын мой! Я тебе говорил... Опоры не оседают!

Роджер открыл рот, но ничего не сказал, потому что увидел Гуди, которая теперь быстро шла через северный неф; и Джослин понял, что мастер сразу забыл о его существовании. Он продолжал свой путь, чувствуя, что его торжество как будто слегка потускнело.

К тому же Рэчел в эти дни особенно докучала ему. Когда Джослин смотрел вверх, она стояла рядом, но вверх не смотрела, а без конца болтала, трещала языком, не давала покоя, и у него оставалось только одно,

уже испытанное средство — не обращать на нее внимания. Она говорила, что от высоты у нее как на грех кружится голова, а Роджер почти все время работает наверху, и это так опасно. Зато она всегда поджидала Роджера у лесов; и едва он спускался, оба снова начинали вращаться друг возле друга, словно были одни и никого больше на свете не существовало. Видя это, Джослин всякий раз содрогался и думал, что они казались бы скорее братом и сестрой, чем супругами, если б он не знал о них этой грязной и нелепой истории: он — смуглый, вспыльчивый, тяжеловесный, но ловкий; она — вспыльчивая, смяглая, крепкая, неугомонная. А Пэнголл тем временем одиноко жался к стене, или стоял в задумчивости, опершись на метлу, или ковылял куда-то, преследуемый насмешками мастеровых; Гуди Пэнголл проходила мимо опор—хотя могла бы попасть домой и другой дорогой, — низко, к самой груди, склонив голову; Роджер-Каменщик наводил свой снаряд на меловые отметки... Иногда Джослин сам себе удивлялся; или, вернее, его удивлял какой-то темный уголок в его душе, заставлявший губы произносить слова, которые представлялись бессмысленными, и однако эти слова выражали торжество или отчаянье:

— То ли еще будет!

Но потом, тщательно все рассудив, он предвидел, как обернется дело, кивал головой, шел к себе и ждал ангела, у которого обретал утешение, но не совет.

Однажды в июне Джослин пришел в собор с головной болью. Накануне ангел, утешавший его, был особенно щедр, и теперь он то робко, то исполняясь гордости, то снова робко, без конца возвращаясь к одной мысли, сушившей его ум, повторял себе, что это — награда, ибо несмотря ни на какое сопротивление он заставил рабочих построить первый ярус башни. А потом он понял, что ангел приходил предостеречь его; ибо диаволу была дана власть терзать его ужасней прежнего, и последний час перед пробуждением был отравлен чудовищными кошмарами. Ранним утром он пришел в собор помолиться. Уже рассвело, и он надеялся застать армию Роджера за работой. Но пыльный сарай был пуст и безмолвен. Он остановился возле высохшей ямы, посмотрел вверх и почувствовал, как в голове разгорается пламя, рождая новую боль, потому что птичьи гнезда в каменной трубе покинуты, канаты висят, колеблемые сквозняком, а вокруг все неподвижно, только розовое облачко потихоньку ползет над собором, застилая просвет сверкающим покрывалом. Он опустил голову и, повинуясь какой-то смутной тревоге, поспешил в Пэнголлово царство, но в домике было тихо, и стеклорезы куда-то исчезли. Он вернулся в собор, быстро прошел меж опорами, где шаги его отдавались громким эхом, в северный трансепт и выглянул через пролом, отыскивая мастеровых; и тут он увидел всю их армию. Они столпились под навесом, где с осени лежали бревна. В стороне молча, не шевелясь стояли женщины. Мужчины залезли на бревна, которые еще не были убраны. И в глубине виднелся Роджер-Каменщик, его голова и плечи темнели у дальнего края навеса. Он что-то говорил, но Джослин не мог расслышать слов, потому что был далеко, и к тому же вся толпа шумела и волновалась.

Выглядывая из-за неровного края пролома, Джослин умудренно и скорбно кивнул в ответ на свои мысли, а голову его терзала жгучая боль.

«Они хотят, чтобы я прибавил им пенни в день».

Он ушел в капеллу Пресвятой девы, где уже ожили восточные окна, и помолился за мастеровых. И словно вызванные молитвой, они пришли к опорам, он услышал их голоса и шум, еще не успев сосредоточиться. С омерзением обратился он мыслью к козням диавола, скорбя о своей непокорной плоти. Но шум в нефе и собственные его воспоминания мешали ему. Он понял, что не молится, а думает — преклонив колени, подперев

рукой голову и глядя перед собой пустым взглядом. «Предстоит самое тяжкое испытание, — сказал он себе, — и надо собрать все силы».

А потом вдруг его вырвали из задумчивости. Рядом стоял немой без кожаного фартука и без обтесанного камня в руках, он что-то мычал пустым ртом. Он даже коснулся Джослина, зовя его за собой, и снова убежал в шум и суету, к опорам.

«Надо пойти к ним», — подумал Джослин, глядя вслед немому сквозь боль, от которой пылала его голова.

Он сказал вслух:

— Моя пища слишком скудна. Великий пост истощил меня. Разве смею я умервщлять свою плоть, она ведь потребна для святого дела.

Возле опор раздались крики, и он в тревоге вскочил. Он быстро прошел через галерею и остановился у опор, мигая от яркого света. Солнце радужными нимбами сияло перед его глазами, и без того ослепленными пылающей болью, но он наморщил лоб и отчаянным усилием воли заставил глаза прозреть. Он не сразу понял, что происходит, потому что к нему бросилась Рэчел, она вертелась вокруг него, треща языком, и потребовалось еще одно усилие воли, чтобы перестать ее слышать. Вся армия собралась у опор, целая толпа. Женщины, кроме Рэчел, теснились в северном трансепте. И он сразу заметил, что толпа растет, подходят все новые люди и, пошептавшись, напряженно застывают на месте. Как будто труппа лицедеев готова начать игру и ждет лишь удара барабана. Тут была Гуди Пэнголл, и сам Пэнголл, со своей метлой, и Джеан, и немой, и Роджер-Каменщик; они напоминали фигуры на башенных часах, которые замерли в неживых позах и ждут, когда часы начнут бить. Они стояли неровным кругом, обступив яму. У края ямы — и как ни был Джослин удручен и встревожен, он оценил хитроумное приспособление — была установлена на треножнике металлическая пластина, которая отражала солнечный свет, направляя его вниз, на дно. Джеан и Роджер присели на корточки по другую сторону и смотрели вниз.

Джослин быстро подошел к яме, и Рэчел не отставала от него, треща над самым ухом; но едва он приблизился, мастер поднял голову.

— Ну-ка, отойдите все подальше, живо! Прочь к трансептам!

Джослин только было открыл рот, но тут Роджер яростно зашипел на Рэчел:

— Эй ты, не засти света! Прочь во двор!

Рэчел исчезла. Роджер-Каменщик снова склонился над краем ямы. Джослин встал рядом с ним на колени.

— В чем дело, сын мой? Скажи.

Роджер пристально всматривался вниз.

— Глядите на дно. Не двигайтесь и глядите.

Джослин оперся на руки, наклонился вперед, почувствовал, как через шею в затылок словно хлынул кипяток, и еле удержался от крика. Он зажмурил глаза и ждал, пока в них погаснут вспышки мучительной боли. Над ухом раздался шепот Роджера:

— Глядите на самое дно.

Он поднял веки, и отраженный солнечный свет мягко коснулся его глаз В яме было тихо и пусто. Джослин видел все пласты сверху донизу. Сначала — камень, те самые плиты толщиной в шесть дюймов, которые были под их коленями; потом, словно свисая с этой каменной губы,— щебень, сцементированный известкой. Дальше, слоем в несколько футов, какие-то волокна — быть может, обломанные и расщепленные концы бревен. Под ними темная земля вперемешку с галечником, и еще более темное дно, тоже усыпанное галечником. Джослину казалось, что смотреть здесь не на что, но мягкий свет, отраженный металлическим зеркалом, давал отдых глазам; кругом все притихли.

И вдруг Джослин увидел, как вниз полетел камень и два комка земли; а потом прямо под ним обвалилась глыба не меньше квадратного ярда и с глухим стуком легла на дно. Она увлекла за собой камни, и они упали на свое новое ложе, тускло поблескивая в отраженном свете. Джослин ждал, пока они улягутся, и вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись. Вот один дрогнул, словно забеспокоился; и Джослин увидел, что все они движутся, подергиваются, как личинки. Сама земля двигалась под ними, и от этого личинки копошились, словно каша закипала в горшке; дрожь пробегала по ним, как по пыльной шкуре барабана, на котором выбивают дробь.

Джослин быстро простер руку, словно хотел охранить дно. Он взглянул на Роджера-Каменщика, который не сводил глаз с личинок, плотно сжав губы, и лицо его отливало прозрачной желтизной, особенно заметной в отраженном свете.

— Что это, Роджер? Что это?

Там было нечто живое, нечто запретное для глаз, неприкасаемое; сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала.

— Что это? Скажи!

Но мастер все смотрел вниз напряженным взглядом.

Судный день грядет из глубины; а может быть, там, внизу, крыша ада. Может быть, это корчатся грешники, осужденные на вечные муки; или безносые скелеты ворочаются в могилах и хотят восстать; или же просыпается, освобожденная наконец от оков, живая языческая земля — Dia Mater*. Джослин невольно зажал себе рот; и вдруг судороги прошли по его телу, и он, раз за разом повторяя все то же движение, подносил руку к губам.

У юго-западной опоры всплеснулся пронзительный крик. Там стояла Гуди Пэнголл, и около ее ног перекатывалась упавшая корзина. Под ступенями, которые вели в хор, отгороженный дощатой стенкой, раздался мощный удар; Джослин стремительно, рывком повернул голову и увидел, как брызнули во все стороны каменные осколки, словно кто-то разбил замерзшую лужу. Треугольный обломок величиной с его ладонь долетел до края ямы и упал на дно. И в то же мгновение возник звенящий, невыносимый, немыслимый звук. Он исходил неведомо откуда, его нельзя было проследить, потому что он всюду был одинаков; он острыми иглами впивался в уши. Еще камень упал, рассыпался, осколок звякнул о металлическое зеркало.

А вокруг уже бушевали человеческие голоса — крики, проклятия, визг. Все задвигалось, и это движение сразу стало яростным и безудержным. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги, только бы выбраться наружу. Джослин вскочил, попятился, увидел руки, лица, ноги, волосы, блузы, кожаные робы — все это промелькнуло перед ним, не задевая сознания. Зеркало с грохотом упало. Джослина отшвырнули к опоре, и кто-то — но кто? — взвизгнул совсем рядом:

— Земля оползает!

Он закрыл лицо руками и тут услышал голос мастера:

— Ни с места!

И словно чудом шум замер, осталось лишь пронзительное, безумное, звенящее напряжение. Тогда мастер крикнул снова:

— Ни с места! Слышите? Тащите камень, какой попадет под руку... заваливайте яму!

И снова шум, но теперь он звучал протяжным хором:

— Заваливайте яму! Яму! Яму!

Джослин прижался к опоре, а толпа бурлила, откатывалась. «Теперь я знаю, что мне делать,— подумал он.— Вот для чего я здесь!» Тол-

* Матерь богов (*лат.*).

па уже возвращалась, чьи-то руки несли каменную голову настоятеля Джослина и швырнули ее в яму, а он тем временем скользнул за опору, в галерею. Он бросился не в капеллу Пресвятой девы, а в хор и упал на колени перед пюпитром, у самого престола. Камни пели, этот звук пронзал его, но он отбивался, стиснув зубы и кулаки. Его воля вспыхнула яростным пламенем, и он вогнал ее в четыре опоры, втиснул в камень вместе с болью в затылке, в висках, в спине, возрадовался в помрачении чувств огненным кругам и вспышкам — пускай бьют прямо в открытые глаза, сильней, еще сильней! Стиснутые кулаки тяжело лежали перед ним на пюпитре, но он не замечал их. Смятенный, но упрямый, он чувствовал: это тоже молитва! И он стоял на коленях, недвижный, скорбный, терпеливый; и пение камней неумолчно звучало в его голове. Под конец он вообще перестал что-либо понимать и знал лишь одно: что держит на своих плечах весь собор. Он замер, время словно остановилось, и вокруг была пустота. Только когда он с недоумением увидел перед собой два бугра, пришло ощущение, что он вернулся издалека, неведомо откуда; вглядываясь в эти бугры сквозь огненные вспышки — они теперь были не такие яркие и не метались, а как бы плыли,— он понял, что это его кулаки, все так же вдавленные в пюпитр. Вдруг он спохватился, почувствовал, что ему чего-то не хватает, и чуть не вскрикнул от ужаса, но тут же понял, что просто камни перестали петь; наверное, они уже сделали свое дело у него в голове Он глянул поверх своих кулаков и увидел Роджера-Каменщика, который стоял перед ним и чуть заметно улыбался.

— Преподобный отец...

Джослин сразу опомнился, хотя все еще был оглушен. Слишком многое переменилось, предстало в ином виде. Он облизал губы и заставил себя разжать кулаки; но над тем, что сжималось у него внутри, он не был властен.

— Что скажешь, Роджер, сын мой?

Роджер-Каменщик улыбнулся— теперь уже открыто.

— Я смотрел на вас и ждал.

(«А видишь ли ты, как накалена моя воля, упрямец? Я боролся с ним, и он не одолел меня».)

— Я всегда рад тебе помочь, когда у тебя есть нужда во мне.

— Вы?..

Мастер сцепил руки на зытылке и качнул головой, словно стряхивая что-то. «Вот оно что,— подумал Джослин.— Он почувствовал себя свободным. Он думает, что теперь свободен. Он не понимает. Не знает. У него сейчас легко на сердце».

Мастер опустил руки и задумчиво кивнул, как бы соглашаясь.

— Ваша правда, отец. Я не спорю, вы всегда принимали нашу работу близко к сердцу. Конечно, вы не могли предвидеть... Но ведь все решилось само собой, верно? И отчасти я рад. Или нет. Я рад от души. Теперь все ясно.

— Что же именно?

Роджер-Каменщик рассмеялся безмятежным смехом в полумраке хора.

— Да ведь тут и говорить не о чем. Строить дальше нельзя.

Губы Джослина скривились в улыбке. Роджер маячил где-то далеко, совсем крошечный. «Вот сейчас,— подумал он.— Сейчас посмотрим».

— Объясни мне.

Мастер пристально осмотрел свои ладони, отряхнул с них пыль.

— Вы сами все знаете не хуже меня, преподобный отец. Выше нам не подняться.

Он усмехнулся.

— Как-никак, первый ярус готов. Можно поставить башенки по углам, и над каждым окном будет по голове настоятеля Джослина — кстати, их придется ваять заново. Мы наведем крышу, и посередине можно будет установить флюгер. Если сделать больше, земля снова начнет оползать. Да, вы были правы. Это невероятно даже для тех времен, но у собора нет фундамента. Вообще никакого. Под ним просто земля.

Выдерживая страшную тяжесть собора и ожидая, что ангел вот-вот вернется, Джослин выпрямился и сложил руки на коленях.

— Что нужно, Роджер, чтобы тебя успокоить? Я хочу знать — как сделать шпиль надежным по всем правилам твоего искусства и мастерства?

— Это невозможно. Или скажем так: мы тут не можем ничего поделать. Будь у нас сколько угодно времени и денег, я уж не говорю о мастерстве... Ну, тогда мы могли бы разобрать весь собор по камешку. Мы вырыли бы котлован сто на сто ярдов и, скажем, футов на сорок в глубину. А потом заполнили бы его камнем. Но, конечно, сперва его залило бы водой. Посчитайте, сколько потребуется людей с ведрами? И представьте себе, что неф все это время стоит на краю трясины! Вы меня понимаете, отец мой?

Джослин повернулся и сквозь пламя, пылавшее у него в голове, взглянул на престол. «Вот как это бывает,— подумал он,— вот как бывает, когда приносишь себя в жертву и жертва угодна богу».

— Ты боишься дерзнуть.

— Я дерзал до последнего.

— Какое там. Где же твоя вера?

— Думайте что угодно, отец мой, но теперь —конец! И говорить больше не о чем.

«Вот что чувствуешь, когда твоя воля слита с великой, беспредельной Волей».

— Видно, Роджер, ты нашел, наконец, другую работу. Где же это — в Малмсбери?

Мастер равнодушно посмотрел на него.

— Пусть так, если хотите.

— Да я не хочу, а знаю, и ты тоже знаешь. Там ты думаешь перезимовать и получить работу для своей армии.

— Надо же людям жить.

У опор всколыхнулся шум, который пробудил в Джослине досаду. Он закрыл глаза и сказал сердито:

— Кто это там?

— Мои люди. Они ждут.

— Ждут нашего решения.

— Земля решила за нас!

Тяжелое дыхание мастера раздавалось совсем близко, у самых зажмуренных глаз Джослина.

— Отец, надо остановиться, пока не поздно.

— Пока есть другая работа для твоей армии!

Теперь и в голосе мастера зазвучала злоба.

— Ну что ж. Я спорить не стану.

Джослин почувствовал, что дыхание удаляется, и быстро простер руку.

— Подожди. Подожди минутку!

Он сложил руки на пюпитре и осторожно опустил на них голову. Он подумал: «Сейчас все тело мое вспыхнет огнем, и сердце будет корчиться в пламени. Но это мое предназначение».

— Роджер, ты здесь?

— Ну?

— Выслушай меня. Что на свете ближе, чем брат брату, дитя — матери? Ближе, чем рот и рука, мозг и мысль? Видение, Роджер. Я знаю, этого ты понять не можешь...

— Нет, могу!

Джослин поднял голову и вдруг улыбнулся.

— Можешь, да?

— Но есть предел, за которым видение — не более чем детская сказка.

— А! — Он медленно, осторожно покачал головой; и огни поплыли перед глазами.— Значит, ты ничего не понимаешь. Ничего.

Роджер снова подошел к нему по гладким плиткам пола и остановился, глядя на него сверху вниз.

— Преподобный отец. Я... я восхищаюсь вами. Но против нас сама земля.

— Ближе чем земля к ступне...

Роджер упер руки в бока, отбросив последние сомнения. Голос его зазвучал громче:

— Слушайте. Можете говорить что угодно. Я все решил.

— Ты, но не я.

— Конечно, я понимаю, что́ это для вас значит. Поэтому я и хочу вам все объяснить. Видите ли, тут есть еще помеха. Меня заманили.

— В шатер.

— В какой шатер?

— Нет, это неважно.

— Я чуть не попался, но теперь, когда строить дальше нельзя, я могу уйти, уйду и все забуду, чего бы это ни стоило.

— Порвешь путы.

— Ведь в конце концов это лишь тоненькая паутинка. Кто бы мог подумать!..

Осторожно, не спуская глаз с расставленной западни, Джослин поманил зверя.

— Да, всего только паутинка.

— И еще одно. То же, что для священника — святость его сана. Вы должны понять, отец мой, что это такое. Честь мастера, если угодно.

— И выгодная работа для твоей армии в Малмсбери.

— Да поймите же вы!..

— Таким способом ты думаешь сберечь и честь, и свою армию. Но все не так просто. Цена огромна, Роджер.

— Ну что ж. Тогда — прощения просим.

В голове у Джослина, среди пламени, закружились Гуди Пэнголл и Рэчел. И лица всех каноников... «Мне было видение. Я защитил бы ее, если б мог,— защитил бы их всех. Но каждый сам в ответе за свое спасение».

— Ты один можешь построить шпиль. Так говорят все. Ты, знаменитый Роджер-Каменщик.

— Его никому не построить!

У опор раздался яростный вопль, потом взрыв смеха.

— Как знать, Роджер. А вдруг найдется человек смелее тебя...

Упрямое молчание.

— Ты просишь освободить тебя от подряда, скрепленного печатью. Это не в моей власти.

Роджер пробормотал:

— Ну и пусть. Будь что будет — я решился.

Решился бежать от паутины, от страха, от самого себя, которому не дано дерзать.

— Не торопись, сын мой.

У опор снова раздались крики, и шаги мастера стали удаляться по каменным плитам. Джослин снова простер руку.

— Постой.

Он услышал, как мастер остановился и повернулся к нему. «До чего я дошел? — подумал он растерянно.— Что я делаю? Но иного пути нет!»

— Да, отец?

Джослин сказал с досадой, прикрыв глаза руками:

— Подожди. Подожди минуту!

Нет, ему не нужно было оттягивать время: решение уже пришло само. Где-то позади глаз всплыла мучительная тревога, но не потому, что шпилю грозила опасность; нет, именно потому, что шпилю ничто не грозило,— он будет построен, это предопределено и теперь еще более неизбежно, чем прежде. И он знал, что делать.

Он задрожал всем телом, как, наверное, дрожали камни, когда начали петь. А потом эта дрожь утихла так же внезапно, как пение камней, и он стал спокоен и холоден.

— Я написал в Малмсбери, Роджер. Аббату. Я знал о его намерениях. И известил его, что вы еще долго будете заняты. Он наймет других.

Он услышал быстрые приближающиеся шаги.

— *Вы!..*

Он поднял голову и осторожно открыл глаза. В хоре теперь было почти темно, но скупые блики света превратились в огненные вспышки и ореолы, озарившие все вокруг. Они окружали мастера, который обеими руками стиснул край пюпитра. Его руки так сжимали доску, словно он хотел ее разломить. А Джослин, щурясь от сияния, заговорил тихо, потому что слова эхом отдавались в голове, причиняя ему боль:

— Сын мой. Когда столь великое дело предопределено, оно неизбежно должно быть вложено в душу... в душу человека. И это ужасно. Только теперь я начинаю понимать, как это ужасно. Это подобно горнилу. О цели человек, быть может, и знает кое-что, но не знает, какой ценой... Да отчего они там не помолчат? Отчего не подождут смирно? Нет, не знает. Мы с тобой избраны, чтобы свершить это вместе. Свершить великое и славное дело. Теперь я истинно знаю: оно погубит нас. Но в конце концов, кто мы такие? И я заверяю тебя, Роджер, всей душой своей: шпиль можно построить, и мы построим его, невзирая ни на какие козни диавола. Его построишь ты, потому что никому другому это не под силу. Я знаю, надо мной смеются. И над тобой, наверное, тоже будут смеяться. Пусть. Мы строим для них и для их детей. Но только я и ты, сын мой, друг мой, только мы, когда перестанем мучить самих себя и друг друга, будем знать, из какого камня, и бревен, и свинца, и известки он построен. Ты меня понимаешь?

Мастер смотрел на него. Он уже не сжимал пюпитра, а цеплялся за него, как за обломок доски в бушующем море.

— Отец, отец... ради Господа, отпустите меня!

«Я делаю то, что должен сделать. Этот человек уже никогда не будет прежним перед лицом моим. Никогда он не будет прежним. Я победил, теперь он мой, мой пленник, и он исполнит свой долг. Вот сейчас западня защелкнется».

Шепот:

— *Отпустите меня.*

Щелк!

И молчание, долгое молчание.

Мастер разжал руки и медленно попятился сквозь сияние в клокочущий шум за перегородкой. Голос его звучал хрипло.

— Вы не знаете, что будет, если мы станем строить дальше!

Он пятился, широко раскрыв глаза; у двери он остановился.

— Вы не знаете!

Ушел.

Шум у опор затих. Джослин подумал: «Нет, это не камни поют. Это у меня в голове». Но тут тишину рассек яростный рев, а потом он услышал крики Роджера-Каменщика. «Надо идти,— подумал он,— но к нему я не пойду. Я лягу. Только бы добраться до постели».

Ухватившись за пюпитр, он с трудом выпрямился. Он подумал: «Это уж его забота. Пускай все улаживает он, раб моего великого дела». Он осторожно вышел через хор в галерею. На ступенях он помедлил, прижался спиной к стене, закинул голову и закрыл глаза, собираясь с силами. «Они в бешенстве, но все равно придется пройти через их толпу»,— подумал он и неверными шагами спустился со ступеней.

Его встретили взрывом хохота; но смеялись не над ним. Звуки казались тусклыми, как огни, кружившие у него в голове. Повсюду были коричневые блузы, кожаные робы, синие блузы, ноги, обмотанные крестнакрест, кожаные котомки, бородатые лица, оскаленные зубы. Вся эта громада двигалась, бурлила и шумом своим оскверняла святость храма. Он взглянул на яму, по-прежнему черной пастью зиявшую в полу; сквозь лес ног он увидел, что яма засыпана не доверху. Он знал, что это кошмар: все, что он видел, запечатлевалось в глазах как при вспышках молнии. Он увидел людей, которые насмехались над Пэнголлом, держась подальше от его метлы. Это было словно апокалипсическое видение — мастеровой, приплясывая, приблизился к Пэнголлу, и макет шпиля бесстыдно торчал у него между ног... А потом вихрь, шум, звериные морды обрушились на Джослина, швырнули его о камень, и он уже ничего не видел, только услышал, как Пэнголл рухнул... Услышал протяжный волчий вой, с которым он побежал через галерею, услышал, как вся свора, улюлюкая, устремилась следом. Едва дыша, он чувствовал, что немой стоит над ним на коленях, а коричневые туши лезут, напирают, давят на него сзади. Он лежал, ожидая, что дрожащие руки вот-вот не выдержат, дрогнут, и страшная тяжесть раздавит их обоих, и в этот миг понял, что еще одна картина навеки запечатлелась в его глазах. Всякий раз, как он окажется в темноте, не занятый мыслями, эта картина будет представать перед ним. Это была... была и всегда будет Гуди Пэнголл, стоящая у каменной опоры, где ее накрыла людская волна. С нее сорвали платок. Пряди волос разметались, упали на грудь лохматым рыжим облаком; болталась спутанная, перекрученная коса с развязавшейся зеленой лентой. Гуди прижималась к опоре спиной, хваталась за камень, и сквозь дыру в разодранном платье сверкал белый живот с впадинкой пупа. Она повернула голову, и Джослин знал, что до скончания времен не забудет, куда устремлен был ее взгляд. С того мгновения, как раскинулся шатер, ей больше некуда было смотреть, некуда повернуть лицо с побелевшим, стиснутым ртом, кроме как к Роджеру, который стоял по другую сторону ямы, простирая руки в терзаниях и мольбе, покоряясь и признавая свое поражение.

И тут руки немого дрогнули.

Глава пятая

Когда он очнулся у себя в спальне, пение зазвучало снова, но он не мог вспомнить, откуда оно исходит. От этого оно не давало ему покоя, он вертел головой и тревожился тем более, что сам был заперт, как в клетке, в собственной голове, где царила почти полная пустота. А то немногое, что там было, без конца кружилось, тщетно пытаясь найти

свое место. Меж потоками событий образовался некий водораздел, связанный с каким-то разговором, и он помнил, что это был разговор с Роджером-Каменщиком, кажется, в темном хоре. И еще были встрепанные рыжие волосы, разметавшиеся по зеленому платью, и каменная опора позади. Это мучило его невыносимо, потому что, несмотря ни на какие усилия, он не мог снова увидеть под этими волосами тихую женщину, ту самую, которая так тихо, с улыбкой, входила в собор, останавливалась и осеняла себя крестным знамением, когда он ее благословлял. Эти рыжие волосы, так неожиданно обнажившиеся из-под строгого платка, словно нанесли прошлому смертельную рану, или совсем стерли его, или же смешали череду дней. Он старался вновь увидеть эту женщину, вернуться к прежним, безмятежным временам, но не мог, потому что перед глазами стояли рыжие волосы. А пронзительное пение звучало неотступно, и все остальное было как бы ненужным привеском.

Отец Ансельм, молчаливый и отчужденный, пришел исповедать его, но он ничего не помнил, кроме того, что хотел сменить духовника, и отец Ансельм ушел. Тогда Джослин встревожился и несколько раз посылал узнать, что происходит; он боялся, что армия прекратила работу. Но отец Безликий принес удивительную весть:

— Они работают смирно и прилежно. Все тихо.

И Джослин понял, что великое дело по-прежнему не в людских руках.

И тогда он спросил о Роджере.

— Он бродит по собору. Говорят, ищет чего-то. Но чего, никто не знает.

— А она?

— Как всегда, ходит за ним следом.

— Я не об этой спрашиваю. Я о рыжеволосой. О жене Пэнголла.

— Ее почти не видно.

«Это от стыда,— подумал Джослин.— Другой причины нет. Она прорвала шатер, и эти люди видели ее полунагую, растрепанную».

И тут отец Безликий заговорил снова:

— А муж ее, Пэнголл, сбежал.

Тогда голова Джослина произнесла перед отцом Безликим проповедь о цене камня и бревен. У этой проповеди было странное свойство — после всех блужданий она, как планета, снова и снова возвращалась к исходной точке. В какой-то миг, посреди проповеди, голова, истерзанная болью, погрузилась в глубокий, исцеляющий сон. Пробудившись, она уже знала, где она и что происходит вокруг. Более того, во сне она обрела новую крепость, словно погружалась в него не для отдыха, а для исцеления. Она обрела пылающую уверенность, в сравнении с которой прежняя уверенность могла показаться лишь детским упрямством. «Я должен встать»,— подумал он; пошатываясь и смеясь, он встал с постели. К нему бросился отец Безликий, но он обеими руками оттолкнул тщедушного священника.

— Нет, нет, отец Безликий! Пустите. У меня важное дело!

И эти слова исторгли у него визгливый смех, который прозвучал на двух высоких нотах. В этом смехе была некая неизбежность. Он спустился с лестницы, вышел во двор, под сентябрьское солнце, и поплелся к собору зигзагами, словно брел через высокие хлеба. У портала он остановился, тяжело дыша, овладел собой и вошел, а в голове у него пылала новая уверенность, наполняя его мучительной радостью.

Увидев опоры, он сразу вспомнил, откуда исходило пение; и едва он вспомнил это, звук смолк, и в голове воцарилось каменное безмолвие. Он постоял немного, наслаждаясь тишиной, сознавая, хоть и смутно, что все-таки он человек. Он понял, что теперь все ничтожное и мелкое отри-

нуто — повседневные обязанности, молитвы, исповедь; осталось лишь его неизбежное единение со шпилем. Джослин увидел Роджера, который разговаривал у лесов с кем-то из мастеровых, и побрел туда, часто дыша. Он с наслаждением присел у опоры и прислонился к ней спиной. Мастеровой ловко полез наверх, к свету, сиявшему в башне; и тогда Джослин крикнул Роджеру-Каменщику:

— Ты видишь, Роджер, я вернулся!

И опять каждое слово рождало в нем тяжесть, которую мог облегчить лишь визгливый смех на двух нотах. Он услышал свой смех и понял, что ему не подобает так смеяться, но ничего не мог поделать, было уже поздно. Смех отзвучал, и башня поглотила его. «Плохо,— подумал он.— Так больше нельзя». Он снова взглянул на Роджера-Каменщика, но тот уже лез вслед за мастеровым, размеренно и тяжело взбираясь по стремянкам. Джослин вытянул шею, запрокинул голову и проводил его взглядом до самой квадратной трубы с правильным узором птичьих гнезд, которая устремлялась в поднебесную высь. Он видел, как отвесно поднимались вверх белые стены и высокие оконные проемы, куда уже вставляли цветные стекла. В небе появилось нечто новое, насквозь пронизанное солнцем, и Роджер-Каменщик, который лез вверх неуклюже, как медведь, был обвит солнечной спиралью. Джослин вдруг понял, что он в своей голове подгоняет мастера, подталкивает его все выше, выше, и так будет до тех пор, пока Роджер, призвав на помощь все свое мастерство, не увенчает шпиль огромным крестом на высоте четырехсот футов. Сияние в каменной трубе, прикрытой шапкою облаков, ослепило его, он опустил голову, вытер слезящиеся глаза и, моргая, уставился в пол. Но пола словно не было. Осколки камня, щепки, стружки, обрезки, пыль, грязь, доски, что-то похожее на обломок метлы — весь этот хлам небрежно свалили у опор, очистив место вокруг ямы. Это рассердило его, и с языка уже готово было сорваться гневное восклицание: *«Да где же Пэнголл?»* — но тут он вспомнил, что Пэнголл бросил ее. Потирая лоб, он сказал себе, что Пэнголл не сможет жить без собора, в котором был заключен весь его мир. «Он вернется,— подумал Джослин,— хотя, быть может, не раньше, чем уйдет армия. И надо позаботиться о Гуди». Он огляделся, почему-то надеясь увидеть ее где-нибудь поблизости. Но собор был пуст — только пыль, солнце, пронзительный шум из каменной трубы и отдаленное пение в капелле Пресвятой девы. «Нужно позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась»,— подумал он; но тут же забыл, зачем это нужно. С кучи мусора ему на ногу упала веточка, и подгнившая ягода бесстыдно прильнула к башмаку. Он с досадой отшвырнул ее; и, как это теперь часто с ним случалось, уже не мог забыть веточку с ягодой, и она потянула за собой целую цепочку воспоминаний, тревог и случайных сопоставлений. Он поймал себя на том, что думает о корабле, построенном из такого же вот непросушенного дерева, веточка в его трюме проросла зеленым листом. И тотчас перед его глазами мелькнул шпиль, искривленный, обросший побегами и сучьями; от ужаса он вскочил на ноги. «Надо все разузнать,— думал он,— надо проследить, чтобы не было ни дюйма такого дерева». Но тут он вспомнил, что шпиль еще не начат и даже башня не готова; он сел и, моргая, стал смотреть вверх.

Отверстие, над которым строилась башня, стало меньше, потому что часть бревен нижнего перекрытия уже легла на место. Но посередине еще оставался широкий проем, через который наверх поднимали камни и бревна. И все же этот поднебесный мир, где кипела работа, был теперь как бы отделен, отгорожен бревнами и потому казался ярче, там сплетались солнечные лучи, косолапые людские фигуры, помосты, канаты и почти отвесные стремянки. На самом верху, в углу, была подвеше-

на будка, словно ласточкино гнездо. Джослин видел, как мастер, пятясь, вылез оттуда и нацелил на что-то свой металлический снаряд. «Я и не знал, как все это сложно,— подумал он.— Я прочертил в небе простые линии, и вот теперь, чтобы достичь этого, моей воле приходится удерживать там, наверху, целый мир. А веточка могла отломиться от лесов — ведь леса, наверное, делают из непросушенного дерева, и уж во всяком случае их снимут, когда все будет кончено».

Он услышал знакомое постукивание и скрежет, повернул голову и увидел немого юношу; тот сидел у опоры, и на коленях у него был новый камень. Джослин встал и медленно пошел к нему. Юноша поспешно положил камень рядом с собой и вскочил, улыбаясь, кивая, тихонько похлопывая в ладоши.

Джослин благословил его.

— Сын мой. Ведь я обязан тебе жизнью.— Он почувствовал, что следом уже рвется визгливый смех, и кое-как скрыл его под обычным смешком. Юноша развел руки и пожал плечами.— А тебя самого не ранили?

Юноша беззвучно засмеялся и коснулся своего носа, который распух и покраснел. Потом он вытянул правую руку, с улыбкой согнул ее в локте и тронул пальцем мускулы. Джослин, охваченный внезапным порывом любви, обнял юношу, прильнул к нему, как к каменному столбу или к стволу дерева.

— Сын мой, сын мой!

Немой улыбался, что-то мычал и робко похлопывал его по спине.

— Я отблагодарю тебя, сын мой.

Юноша затих в его объятиях и только легонько похлопывал настоятеля по спине: «Хлоп, хлоп, хлоп». «Он мой сын,— думал Джослин,— а она — дочь». Но рыжие волосы упали, застили свет; он зажмурился и застонал. А потом он почувствовал бесконечную усталость, ушел к себе и лег. Ночью снова явился ангел; и после этого диавол терзал его, но не слишком долго.

Мало-помалу он окреп и радовался, что лето не спешит уходить, как бы в награду за весенние грозы и наводнения. Наконец, листья облетели, они лежали на земле, жухлые и сухие. Жесткая трава у собора хрустела под ногами; она была бурая и ломкая, как старый веник; а каменные головы, осужденные на какие-то непостижимые и бесконечные муки, теперь разевали рты, словно ловили капли воды в сухом воздухе. Они никогда не знали покоя. Они были в аду и не могли надеяться на лучшее, вот и все. В этом сухом воздухе воля Джослина уже не пылала, а горела спокойным, ровным огнем, освещая и поддерживая одни только растущие стены башни. Немой тесал камни, строители лезли вверх по лесам, Рэчел кружила вокруг Роджера; а Гуди Пэнголл лишь изредка мелькала в дальнем конце собора — рыжие волосы покрыты платком, голова опущена: самая обыкновенная женщина, занятая своим делом. Джослина она обходила стороной, прибавляя шагу и отворачиваясь, словно перед ней был черный кот, или призрак, или могила самоубийцы. Но он знал, что она просто стыдится, ведь ее бросил муж; и от жалости у него щемило сердце. «Но я не могу ей помочь, моя воля нужна для другого,— думал он.— Моя воля сильна, она отринула все, кроме главного. Я как цветок, который несет в себе завязь плода. Когда завязь начинает расти, а лепестки увядают, цветок поглощен лишь судьбою плода; и все растение поглощено этим, листья осыпаются, все вянет, кроме наливающегося плода. Иначе и быть не может. Вся моя воля в

опорах и растущей кладке. Я принес себя в жертву; и я из всего извлекаю урок».

Иногда он видел, как Рэчел кружит у опор и пристает ко всем со своей болтовней, а потом останавливается и глядит, как ее медведь взбирается на башню; эта болтливая Рэчел, завидев настоятеля, бросала все и устремлялась прямо к нему. Но однажды он понял, как легко с ней совладать. Он просто перестал обращать на нее внимание, научился не слышать ее голоса, раздававшегося над самым ухом. Она забегала вперед и о чем-то спрашивала, а он не слышал ни звука, и только в воздухе словно бы повисал вопросительный знак. Он стоял и смотрел на нее с высоты своего роста. Она постарела, осунулась, но это его не интересовало. И даже заметив, как усердно она стала красить лицо, он не испытал ничего, кроме гадливого чувства, от которого по телу пробегала дрожь, и сдержал визгливый смех. И тогда он решил не смотреть больше на нее, стал смотреть сквозь нее, молча, без единого слова, и потому не видел удивления на ее нарумяненном лице.

Шли дни, и он убедился, что такое безразличие очень полезно. Он мог теперь вежливо разговаривать с канцеллярием, когда тот приходил к нему на дом, и понятия не иметь, о чем шла речь. Но иногда, прибегая к этому превосходному способу — так было однажды с регентом хора,— он видел на лицах людей странное выражение и, подумав, решил, что это ужас. А потом, в туманные осенние дни, когда огромный кусок парусины закрывал просвет под растущей башней, он убедился, что может заставить людей замолкать в любой миг, стоит ему только пожелать. Он просто говорил, как сказал отцу Безликому, который укорял его в том, что он не читает писем, если они не касаются шпиля: «Мне надо на башню».

Несмотря на парусину, туман просачивался в собор; но этот туман был бессилен перед его волей. И перед немым юношей, который все тесал и скреб камень. «Право,— подумал Джослин, рассматривая вторую из четырех голов, которые ваялись заново, взамен сброшенных в яму,— право, мне кажется, лицо очень уж худое. И рот слишком широко раскрыт. И разве бывают такие большие глаза?» Но он не сказал ни слова, потому что любил своего сына во Христе, как и свою дочь во Христе; этот юноша не только спас ему жизнь, а стало быть, спас и его волю, которая поддерживает опоры, но смотрел на него преданно, по-собачьи, а вот Гуди никогда так не смотрела, даже если ему удавалось встретиться с нею лицом к лицу.

Она со своими рыжими волосами не давала ему покоя, но он теперь испытывал лишь сострадание к ее стыду и странную тревогу. В начале декабря все четыре головы были готовы и вместе с немым юношей были подняты на башню, где их ждали четыре ниши. С утра Джослин смотрел, как их поднимают, а Рэчел снова кружила возле него и трещала языком. Поскольку немого юноши не было рядом, им целиком завладели мысли о Гуди, брошенной Пэнголлом. «Как мог я пренебречь ею? Ведь я ей нужен!» И при этой мысли она словно явилась на зов, быстрым шагом прошла вдоль стены, увидела его и сразу свернула в сторону, мимо опор, в галерею, все прибавляя и прибавляя шагу.

— Дитя мое...

Он подумал: «Я должен сделать это ради нее, пусть даже я на время отвлекусь от главного». И он быстро направился к галерее; она шла все тем же торопливым шагом и хотела прошмыгнуть мимо.

— Дитя мое!

Он вышел ей навстречу со смехом, хотя в душе была смутная досада, и расставил руки, преградив ей путь. Она прижалась к стене и от-

вернула голову. Волосы ее были скромно покрыты платком, она смотрела в сторону, и ему была видна лишь впалая щека.

— Дитя мое, я хотел сказать...

«Но что? Что я могу ей сказать? О чем спросить?»

А она уже молила его, подняв глаза:

— Отпустите меня, отец мой. Прошу вас, отпустите!

— Он вернется.

— Прошу вас!

— И потом... все эти годы... дитя мое, ты так мне дорога...

Он вдруг с ужасом увидел, как побелели и раздвинулись ее губы, открывая оскал зубов. И еще он увидел, какими огромными, недвижными, темными могут быть глаза, словно и они были оскалены, как зубы. Поднятая корзина дрогнула у ее груди, и он едва расслышал шепот:

— Неужели и вы тоже...

Она бросилась прочь, плача и задыхаясь, проскользнула мимо него и бегом пустилась по темной галерее, а ее тяжелый плащ трепыхался, и юбки, развеваясь, приоткрыли щиколотки ног.

Он обхватил голову руками и сказал сердито, в совершенном недоумении:

— Что все это значит?

Чувствуя, что мысли о ней опутывают его, он отбросил их прочь, потому что они могли повредить делу. «Надо отринуть все ничтожное,— решил он.— Какова бы ни была цена, я пожертвую всем. И что толку думать об этой женщине, если все равно нельзя ей помочь? Я должен свершить великое дело. Дело! Дело!»

И тут ему пришла в голову такая прекрасная мысль, что он сразу понял — это наитие свыше, озарение. «Надо подняться над всяческой суетой!» И вслед за этой мыслью снова вырвался неприятный, визгливый смех. «Я вознесу свою пламенеющую волю на башню». Он взглянул на свою рясу и понял, что так лезть наверх нельзя; тогда он нагнулся, подхватил подол сзади, пропустил между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс. Один из строителей, который встретился ему на нижней площадке, посторонился и постучал себя костяшками пальцев по лбу. А Джослин вдруг почувствовал легкость в голове. Наконец-то вокруг него сверкало солнце. Он упорно взбирался вверх; поднявшись в темный, неогороженный трифорий, он продолжал путь по винтовой лесенке, куда свет проникал лишь сквозь узкие, как стрельницы, окна, словно проделанные для лучников на случай осады. Лесенка кончилась, и теперь перед ним были бревна, недавно положенные над сводом. Дальше он поднимался по стремянкам, освещенным нижними окнами башни.

— Вот так! — воскликнул он.— Так!

Он почувствовал, как сердце колотится о ребра, и остановился передохнуть. Он присел на краю настила, словно ворон на скале. Строители, сновавшие вверх и вниз, поглядывали на него с любопытством, но молча. Он подвинулся на самый край и свесил ноги. Держась обеими руками за стойку, он наклонился и посмотрел вниз.

Устои, стены и окна башни уходили вниз и казались тонкими, едва способными выдержать собственный вес. Все сверкало чистотой и новизной. Восьмидесятифутовые проемы, по два в каждой из четырех стен, помосты и стойки, стремянки и свежеоструганные бревна блестели на солнце. И он ощутил пугающий восторг, как мальчишка, который впервые в жизни, вопреки запретам, взобрался на верхушку дерева. Голова у него кружилась, дух захватывало, но он, радуясь этому, все смотрел вниз, вниз сквозь глубины и бездны, на бесконечно далекий мир там, внизу. Пол был темный, как дно ямы, обесцвеченный глубиной и полумраком. Головокружение прошло, остались ясность мысли и восторг.

— Вот так!

«Наверное, нечто подобное испытывает птица, когда вольно порхает среди ветвей или парит в небе. Глядя на нас, она видит только головы и плечи, мы кажемся ей вот такими же серыми, ползучими, прикованными к земле». Едва подумав об этом, он увидел Рэчел, которая ползла по полу через средокрестие, словно ее вдруг извергла сама потревоженная земля. Он почувствовал себя свободным от нее, отвернулся и стал смотреть на стремянки, уходившие вверх. Потом он встал и снова начал подниматься, не смущаясь непристойной белизны своих оголенных ног. На высоте более двухсот футов она была пристойной. Он взбирался все выше и неотрывно глядел вверх, туда, где каменщики возводили кладку к самому небу. Шум работы теперь снова громко звучал вокруг него. Он остановился передохнуть подле ласточкина гнезда и увидел, что этот домик, висящий в углу башни, не меньше его спальни, и свет проникает туда через незастекленное отверстие. Роджер-Каменщик стоял, нацелив свой снаряд на камень у противоположной стены. Сияющий Джослин остановился около него на помосте в четыре доски и крикнул в восторге, покоренный высотой:

— Ты видишь, сын мой! Опоры не оседают!

Мастер отозвался угрюмо, не отнимая своего снаряда от глаза:

— Почем нам знать, что там творится? Может, у каждой опоры отдельный фундамент.

— Нет, Роджер, я же тебе объяснил. Они плавают!

Мастер сердито передернул плечами.

— Не кричите, я и так вас слышу.

— Роджер.

Он простер руку, но Роджер-Каменщик отстранился, словно боясь прикосновения. Он отступил к самой стене и прижал свой инструмент к груди.

— Я вам давно сказал, отец мой... и сейчас повторяю то же самое!

— Как ты можешь так говорить, Роджер, когда пред тобой чудо? Как ты не понимаешь этого? Здесь ты должен черпать силы, отсюда извлекать уроки, смотреть, как чудо преображает все.

Они помолчали, глядя друг на друга, а наверху стучали молотки каменотесов. Роджер медленно скользнул взглядом по башмакам Джослина, по его белым ногам, туловищу, лицу. Потом они посмотрели друг другу в глаза, и мастер хмуро усмехнулся.

— Да, это верно, оно преобразило все.

Он повернулся, открыл дверь ласточкина гнезда; потом вдруг глянул через плечо и крикнул в ярости:

— Не видите разве, что́ вы наделали?

И исчез, так хлопнув дверью, что домик закачался.

Джослин посмотрел на стены.

— Я все знаю! Все! Я знаю, поверь!

Его вдруг захлестнула волна радости, и он со смехом шагнул к стремянке; а когда он взобрался по ней, то забыл и о Роджере, и о каменных плитах пола далеко внизу.

Потому что теперь перед ним был самый верх, здесь росла башня. Ее опоясывали подмости в три доски, на которых работали каменщики. Здесь почти не разговаривали. Каменщики склонялись над стеной, которая была им по колено, и росла ступенчато, камень за камнем. В одном месте лишь первый ряд кладки поднимался над досками, но раствор уже лежал поверх тонким слоем, и рабочие подтаскивали следующий камень; в другом — и так по всем четырем стенам — над досками вообще не было кладки, а только деревянное кружало. Дуги арки уже почти сомкнулись, оставалось лишь отверстие для замкового камня; и он знал, что

под аркой будут два окна, она соединит их плавными полукружьями, так что сквозные проемы станут частью общего целого, единого свершения. Подле каждого кружала он видел каменную голову, и эти головы безмолвно кричали и ликовали в поднебесье, среди света. Немой юноша стоял на коленях подле одной из голов, что-то подправляя резцом,— он поднял глаза и засмеялся безмолвно, как и голова, над бездонной пропастью. И Джослин почувствовал, что сам смеется от души, радуясь обновлению и чуду. Вслед за смехом пришла мысль, и он, забыв о своем достоинстве, крикнул немому:

— Здесь мы свободны от всяческой суеты!

И верный пес засмеялся в ответ; а потом снова склонился над своей работой.

Джослин услышал какой-то новый звук. Это не был человеческий голос, стук камней или удары молотка. Звук был беспрестанный, не похожий ни на глухое бормотание, ни на звонкое пение камней. Джослин чутко прислушался и понял, что это ветер бьет в камни. Он опустился на колени, потом сел, держась за стену, и стал слушать ветер. На время он обрел покой, и мысли свободно бродили в его голове, появлялись и исчезали сами собой; умиротворенный, он сидел спокойно.

Мир камня и дерева открылся ему во всей своей новизне. Там, внизу, стоял макет, такой тонкий и хрупкий, его ничего не стоило обхватить ладонями, и окна на нем были едва различимы; но здесь, наверху, тонкие, как бумага, стены обернулись каменными глыбами, а проволочки внутри — толстенными бревнами, по которым свободно могут пройти двое. И вдруг Джослин понял, какая невероятная тяжесть чудесным образом повисла здесь, и несмотря на его умиротворение мир словно опрокинулся. «Надо быть поласковей с Роджером,— подумал он.— Эта тяжесть, о которой я раньше и не подозревал, все время давила на него. И к тому же у него нет веры».

Чтобы вернуть равновесие поколебленному миру, он снова сосредоточил мысли на макете, который стоял внизу, в темном нефе. Но едва он сосредоточился, как вместе со шпилем перед его глазами появилось то, чего он не хотел, что он отринул в тот самый день, когда поползла земля и запели камни. И он снова прислушивался, затаив дыхание. Вот между коричневой и синей блузами мелькнул Пэнголл, один из рабочих, приплясывая, подкрадывается к нему, держась подальше от метлы, и шпиль бесстыдно торчит у него между ног. А потом упали, разметались рыжие волосы. И он почувствовал, что стискивает руками камень, и глаза его зажмурены, рот разинут, а ребра давят, не дают дышать. В голове у него снова все смешалось. Он сказал невнятно: «Вот какой ценой... Мне следовало знать. И я не могу помолиться за них, потому что вся моя жизнь стала единой молитвой воли, вплавленной, влитой в камень.

Смилуйся! Или наставь меня».

Но ответа не было. Только ветер овевал камни.

Джослин открыл глаза и понял, что смотрит не на башню, а на мир с ее высоты; потому что мир вдруг переменился. Он изогнулся чашей, которая была видна как на ладони, объемля голубыми краями всю ширь окоема. В удивлении и восторге Джослин ухватился за камень и, приподнявшись, встал на колени. «Вот что это такое — быть птицей»,— подумал он, и, словно подтверждая его мысль, у самого его лица пролетел ворон, вперекор ветру, хрипло негодуя на людей, которые так нагло вторглись в его царство. А внизу — Джослин теперь отпустил камень и выпрямился, чтобы склоненные спины строителей не мешали смотреть,— были видны три реки, которые сливались у стен собора. Они стремили свое сверкание к башне; и места, такие далекие друг от друга, сопрягаемые лишь усилием разума, поистине воссоединились. На

северо-востоке Джослин видел три мельницы, три отдельных каскада, словно водяные ступени, но их связывала длинная лента воды, которая, змеясь, тянулась к собору. И река в самом деле текла под гору. Он видел новый каменный мост, белевший у Стилбери, видел даже монахинь на монастырском дворе, по меньшей мере двух,— хотя они были скрыты стеной, его взгляд как бы взламывал стену на расстоянии. Поняв это, он устремил взгляд на новый мост, прищурился и увидел цепочку навьюченных мулов, ослов, ломовых лошадей, разносчиков и нищих, крестьян с овощами, которые тащили свой товар к торговым рядам у дальнего конца моста. Значит, в Стилбери базарный день, а здесь, в городе, никто не торгует, он и раньше это знал, но теперь охватил все взглядом и видел воочию, что это именно так. Радость билась в нем, как птица. «Я хотел бы, чтобы шпиль был высотой в тысячу футов,— подумал он,— тогда я мог бы видеть все окрест». Он дивился самому себе, но потом вспомнил, во имя кого будет возведен шпиль. И словно в ответ на свое удивление он почувствовал у себя за спиной ангела, который согревал его на холодном ветру. «Значит, это правда, инстинная правда; ибо здесь, наверху, среди стука, звяканья и треска, здесь, возносясь к облакам, я весел, как поющий ребенок. Я и не знал, что способен испытать такое блаженство!» Он стоял на ветру и ждал, что блаженство отрешит его от суетных мыслей. Он разглядывал полоски и квадратики полей, покатые склоны, поднимавшиеся к лесистому, зубчатому хребту. Они были мягкие, теплые и гладкие, как юное тело.

Он опустился на колени, суровый, непоколебимый, закрыл глаза и стал молиться, осеняя себя крестным знамением. «Даже сюда, в горние Твои выси, я принес греховные помыслы. Ведь мир вовсе не таков, каким я его вижу. Земля — это скопище безносых, ощеренных скелетов; там виселицы, куда ни глянь, там дети рождаются среди крови и пахарь поливает борозду потом, там притоны, там пьяные валяются в канавах. И нет ничего благого во всей этой юдоли, кроме великого дома, ковчега, прибежища, корабля, который один может спасти всех этих людей, и отныне у него будет мачта. Прости меня».

Он открыл глаза, встал, почувствовал, что блаженство вдруг покинуло его, и попытался понять, куда же оно исчезло, глядя в небо, в немыслимую высоту, куда вознесется верхняя часть башни и шпиль. Огромная птица парила там на распростертых крыльях, и он, вспомнив евангелиста Иоанна, сказал громко:

— Это орел.

Но немой юноша, который подправлял каменный рот, тоже поглядел вверх, улыбнулся и покачал головой. Джослин подошел к нему по доскам, наклонился и потянул за курчавые волосы.

— Ну что ж. А для меня это все-таки орел.

Но немой уже снова принялся за работу.

У ближней гряды из земли вставали бугры и холмики, словно там по волшебству вырастали кусты. Они тянулись кверху и прямо на глазах оживали, превращались в людей. А за ними другие бугры превращались в лошадей, жеребых ослиц, навьюченных корзинами,— это был целый караван. Путники перевалили через хребет, синевший вдали, и миновали ближнюю гряду. Они теперь спускались по склону прямо к глазу Джослина, к башне, к собору, к городу. Они не взяли западнее, в обход Холодной бухты, по тропе, выбитой копытами за долгие годы. Они берегли время, не щадя сил. И ему вдруг открылось, что другие ноги протопчут прямую, как стрела, дорогу к городу, он понял, что башня овладела всей округой, преобразила ее и господствует над ней, одним своим существованием изменяя лик земли повсюду, откуда она видна. Он окинул взглядом горизонт и убедился, сколь истинным было его видение. Повсюду возникали новые дороги, люди кучками прокла-

дывали себе путь меж кустов и вереска. Округа покорно обретала иной вид. Вскоре город, подняв кверху огромный палец, будет похож на ступицу колеса, появление которого предопределено, непреложно. Новая улица, Новая гостиница, Новая пристань, Новый мост; и вот по новым дорогам уже идут новые люди.

«Мне казалось, это будет просто. Мне казалось, шпиль завершит каменную Библию, станет каменным Апокалипсисом. В своем безумии я и не подозревал, что с каждым шагом мне будет дан новый урок и новая сила. И некому было наставить меня. Я должен был строить, повинуясь лишь своей вере, не слушая ничьих советов. Другого пути не было. Но при этом люди притупляются, как плохой резец, или срываются, как топор с топорища. Я слишком был поглощен своим видением, чтобы принять это в расчет; и, кроме видения, не нуждался ни в чем».

Он поглядел вниз, на узенький прямоугольник Пэнголлова царства, где кучи камней уже изрядно поредели; ему был виден маленький квадрат двора между аркадами. Он разглядел даже белые шашки, которые мальчики из певческой школы оставили на парапете. Он взглянул на дома, обступавшие собор. За красными островерхими крышами он увидел задние дворы, где пятнышками шевелились коровы и свиньи. Какой-то старик добрел до отхожего места и, уверенный, что за оградой его никто не видит, оставил дверь настежь. А через три дома женщина — белый кружок поменьше и коричневый побольше — готовилась разносить по домам свой товар. На дворе, у ограды, стояли два деревянных ведра и лежало коромысло. Прищурившись, Джослин разглядел, что в ведрах молоко; и увидев, как она долила в ведра воды, он невесело улыбнулся. Она подняла ведра, островерхая крыша скрыла ее, а потом она появилась уже на улице и перешла на другую сторону, обходя пьяного, который валялся в канаве, слабо дергая рукой, а над ним, задрав лапу, стояла собака.

— Слизняк.

Он вздрогнул и обернулся. Но Роджер-Каменщик смотрел не на пьяного. Он смотрел на юго-восток, в сторону невидимого отсюда моря.

— Гнида.

За семью сверкающими излучинами, на берегу реки, стояла кучка домов.

— Что ты там увидел, Роджер?

— Поглядите на этого ворюгу! Он сейчас засядет в «Трех бочках». А барка с камнем, который нам позарез нужен, простоит всю ночь и весь завтрашний день, покуда он не накачается вином. Ему плевать, что мы будем сидеть без дела!

— Сын мой...

Мастер закричал на него:

— Да мне-то что! И вам горя мало! Все равно ваша взяла!

Сразу стало тихо. Тишина была оглушительная, как после удара грома. Строители подняли головы. Ни стука, ни скрежета.

— Спокойно, Роджер. Спокойно.

— Спокойно! Да я...

Роджер закрыл лицо руками. И не отнимая их, отрывисто бросил:

— Эй, вы! Работать!

Стук сразу возобновился. Роджер опустил руки, но не смотрел на Джослина. Он отошел, не сказал больше ни слова и тяжело, по-медвежьи косолапо стал спускаться вниз.

Джослин проводил его взглядом, и в голову ему пришла новая мысль. «Я боюсь спуститься,— подумал он.— Мне бы остаться здесь на всю жизнь. Но делать нечего, надо спускаться, никто не может вечно жить среди орлов». И он заставил себя пройти по стремянкам, мимо

ласточкина гнезда, с одной подмости на другую, а потом по темной внутристенной лестнице, в серый, плотный сумрак у опор. Ему надо было поговорить с мастером, но Рэчел вклинилась между ними, ее болтовня так и лезла в уши: ах, милорд теперь гораздо лучше выглядит, эти упражнения ему на пользу, как бы она хотела, ах, как хотела быть с Роджером на самом верху, но высота для нее страшней чистилища,— и ее накрашенное лицо дергалось, и все тело дергалось под напором слов,— вот и приходится торчать тут, среди мусора, а Пэнголл настоящий преступник — забыл свой долг, мужчины все таковы, впрочем, нет, конечно, не все, есть и хорошие, она знает, но этот сбежал неизвестно куда, и о нем ни слуху, ни духу, бросил Гуди, а она, на беду, наконец, ждет ребенка, бедняжка, такая милая, славная, а он ее бросил...

Ярость захлестнула Джослина, отчаянная злоба на пьяницу, который валялся в канаве, и на второго пропойцу, который торчал в «Трех бочках». Он крикнул Роджеру, который стоял отвернувшись:

— Сын мой! Данною мне властью я приказываю тебе: пошли человека на хорошей лошади в «Три бочки». Вели ему захватить с собой хлыст и в случае нужды пустить его в ход!

Он шел через неф, прочь от мусора и болтовни, шел, и по щекам его катились слезы. «Сколь ужасны уроки, которые мне дано извлечь,— думал он,— сколь огромна высота, и власть, и цена...»

У двери он овладел собой. Повернувшись к престолу, он сказал хрипло:

— О Господи, Ты приклонил ухо Твое к моим молитвам. И на глазах у меня слезы радости, потому что Ты вспомнил рабу Твою.

Глава шестая

Когда он снова поднялся на башню, каменные головы, изливающие изо ртов осанну, уже были вмурованы над каждым окном. Он перегнулся через край кладки и увидел их сверху — волосы разметаны, носы торчат, как клювы. Головы кричали, взывая к новым дорогам, которые обозначились по склонам холмов, и не замечали птиц, маравших их беловатыми подтеками. Заглянув внутрь башни, он увидел, как перестроили свод,— там теперь осталось лишь круглое отверстие, сквозь которое глаза с трудом нащупывали пол, совсем смутный, почти невидимый. Через отверстие торчком втаскивали бревна, и люди подхватывали их наверху. Он и сам испытал — или, вернее, увидел со стороны, оттиснутый в угол,— некое безумие, насыщенное скрежетом, грохотом и криками, когда бревна укладывали там, где они должны были образовать второе перекрытие. Ведь башне предстояло подняться еще на восемьдесят футов, и там опять будут окна и головы, изливающие изо ртов осанну, и опять подмости и стремянки, и при мысли об этом у него захватывало дух; так было по крайней мере здесь, наверху, где эта громада повисла в воздухе на высоте птичьего полета, и сердце трепетало при виде каменных четвериков, становившихся все меньше, а потом завершавшихся круглым отверстием, которое было дном и вершиной.

И чувствуя в себе всепоглощающую, неколебимую волю, он знал, что великое дело благословенно. В декабре настали странные дни, когда в храм ни разу не заглянуло солнце и неф был похож на пещеру. В эти дни он приходил в темный храм и не мог приняться ни за какое занятие, только носил в себе свою волю, зная, что в конце концов все будет хорошо, хотя нижний ярус башни и растущий над ним верхний ярус тяжким гнетом давили на него, распирали голову. И он спе-

шил наверх, как ребенок, который тянется к матери. Но о матери он не вспоминал. А если вспоминал, тотчас же Гуди со своими рыжими волосами врывалась в его мысли и исторгала слезы из глаз.

В один из таких дней он шел от своего дома к собору, едва видя собственные ноги в тумане; и хотя в неф туман не проникал, там царила почти непроглядная темнота. Он стал подниматься наверх, взобрался по винтовой лестнице до первого перекрытия и окунулся в яркий свет. Здесь, наверху, сияло солнце, но лучи, пронзавшие башню, меркли перед тем светом, который сверкал выше, озаряя свинец, стекло, камень и бревна перекрытия, так что видны были даже следы топора. Когда он поднялся сквозь это лучистое сияние по стремянкам и подмостям туда, где работали люди, чьи руки казались голубыми, на самый верх башни, к ее неровной оконечности, его ослепило по-настоящему, до боли, и он невольно закрыл глаза руками. Вокруг видны были только вершины холмов, ничего больше. Туман сияющей, искристой пеленой покрыл долину и город, и хотя пелену эту еще не пронзал шпиль, ее уже пронзала башня. И Джослин почувствовал странное успокоение, в эту минуту в душе его царил почти ничем не омраченный мир.

Но порой туман затоплял даже башню. И тогда работа еле шла или прекращалась вовсе, и он вынужден был оставаться внизу и платить всю цену сполна. Армия работала под навесами и в сараях, словно под скалами на морском дне. Там плотничали. Под навесом, у пролома, рубили восьмиугольные венцы, и каждый верхний венец делали поменьше нижнего. Эти венцы поднимались выше человеческого роста. Потом плотники ставили на каждом бревне какую-то метку и снова все разбирали, а Роджер-Каменщик в мрачной задумчивости рассматривал решетчатый деревянный макет, похожий на колпак. К Роджеру редко кто подходил, строители сторонились его. Он стал слишком угрюм, слишком груб, слишком часто давал волю своему бешенству, а потом уходил, и одна только Рэчел шла за ним следом, осунувшаяся, накрашенная Рэчел, которая трещала без умолку и кружила возле него. Джослин испытывал сострадание к этому рабу великого дела и удрученно смотрел, как он взбирается по лесам, медленно, упорно, или стоит, тщательно нацеливая свой снаряд то вверх, то вниз, или прислушивается у опор.

А там почти всегда можно было что-нибудь услышать. В конце декабря камни снова начали петь. Они пели не беспрерывно; иногда по целым неделям кряду ничто не мешало богослужениям в капелле Пресвятой девы. Но потом люди начинали ощущать какое-то смутное беспокойство, старались понять, в чем дело, и решали, что воздух слишком сух или слишком холоден; но в конце концов они чувствовали по иголке в каждом ухе, и дыхание перехватывало без всякой причины. А потом вдруг иголки становились звуком, и тогда из груди вырывались тяжкие вздохи и в душу заползали ожесточение и страх. Горожане и проезжие толпились у портала, внимая чуду — грозному пению камней; но теперь никто не заходил в собор, как раньше. Строители, заслышав это пение, бросали работу и переглядывались, потом снова склонялись над кладкой. Теперь они редко смеялись. Один лишь Джослин, распятый на кресте своей воли, с улыбкой говорил, почувствовав иголки в ушах:

— Это пройдет.

Но с приближением весны, по мере того как ростки тянулись к земной поверхности, а башня — к небу, камни стали петь чаще.

И в это самое время Джослин узнал о Роджере нечто новое. Он пристально следил за мастером, оценивая свое орудие, считал каждый

его шаг по стремянкам, ждал того мгновения, когда орудие притупится и надо будет снова его наточить или покрепче загнать клин в рукоятку; и все-таки, сколько Джослин ни приглядывался, он ничего не мог рассмотреть под знакомой внешностью и привычными движениями Роджера. Но однажды он глядел вниз сквозь отверстие в своде, а Роджер в это время поднимался на башню; и Джослин с удивлением понял, что мастер боится высоты не меньше Рэчел. Он боялся, но преодолевал страх. Высота была неотделима от его работы, она была его жизнью, но она, видно, никогда не доставляла ему радости, как Джослину, он не знал ликования, от которого захватывает дух, когда под ногами только шаткая доска и уже не слышно пения камней, а доска дрожит и колеблется над пустотой. И теперь, поняв это, Джослин с состраданием смотрел, как Роджер поднимается наверх. Он двигался размеренно, неторопливо, без той небрежности, которой щеголяли иные из его помощников, и всегда смотрел прямо перед собой; Джослин видел все до самого пола, где над ямой стлался полумрак, и понимал, почему Роджер держится поближе к стене, а не посреди стремянки. Мелкий дождик, подхлестываемый ветром, окроплял непокрытую голову Джослина, но он стоял, поджидая Роджера, и когда его голова и плечи поднялись над верхним настилом, Джослин явственно увидел, что они опутаны сетью.

— Отчего ты боишься, сын мой?

Мастер стоял перед ним, тяжело дыша. Он ухватился одной рукой за поручень.

— Они опять поют.

— Ну и что? Так было уже не раз, а потом все кончалось.

Джослин поднял голову и сквозь завесу дождя посмотрел вверх.

— Роджер, знаешь о чем я думал? Крест... тот, что будет вон там, наверху...

— Да.

— Ведь он будет выше человеческого роста, верно? А на макете он такой крошечный, его мог бы носить на шее ребенок.

Мастер закрыл глаза и скрипнул зубами. Он застонал.

— Что с тобой, Роджер? Говори, я тебя слушаю.

Мастер посмотрел на Джослина, стоявшего перед ним на фоне неба, и пробормотал хрипло:

— Смилуйтесь.

— Опять?

— Преподобный отец...

— Ну?

— Я не могу больше...

Джослин улыбался, но теперь улыбка застыла у него на лице, как маска. Мастер протянул к нему свободную руку.

— Их ослепил блеск того, что вы... что мы...

Он отвернулся, облокотился на поручни и закрыл лицо ладонями; голос его был теперь едва слышен.

— Прошу вас, смилуйтесь.

— Кроме тебя, некому это сделать.

Мастер помолчал, не отнимая рук от лица. Потом он заговорил, но так и не поднял головы:

— Я попробую рассказать вам, в чем для меня загвоздка. Камни поют. Я не знаю почему и могу только догадываться. Понимаете, в этом моя беда. Я только и делаю, что строю догадки. Я ведь ничего не знаю. Не то что вы...— Он искоса взглянул на Джослина.— Не то что вы, когда говорите проповедь. Понимаете?

— Разумеется, понимаю.

— Да, мы вынуждены гадать. Мы решаем, что вот это или вон то выдержит, но покуда нет всей нагрузки, не можем сказать наверняка. И даже ветер, тот самый ветер, который сейчас едва шевелит волосы у вас на голове...

Он со злобой посмотрел на Джослина.

— Отец мой, есть у вас снасть, которой можно измерить напор ветра? Дайте мне ее, тогда я скажу, что устоит, а что обрушится.

— Но ведь опоры не оседают. Я же тебе говорил...

— Они запели.

— Разве ты не знал, что камни поют?

— Никогда! Здесь для нас все внове. Вот и приходится гадать и строить дальше.

Он запрокинул голову на мощной шее и посмотрел в небо.

— А еще этот шпиль, сто пятьдесят футов. Отец мой... я не могу больше.

В голове Джослина уверенно заговорила воля. Он услышал ее голос.

— Я понимаю тебя, сын мой. Ты по-прежнему не осмеливаешься дерзать. Объяснить тебе, в чем смысл нашей жизни? Подумай о мотыльке, который живет один только день. А вон тот ворон кое-что знает о вчерашнем и позавчерашнем дне. Ворон знает, что такое восход солнца. Быть может, он знает, что завтра солнце взойдет снова. А мотылек не знает. Ни один мотылек не знает, что такое восход! Вот так и мы с тобой! Нет, Роджер, я не собираюсь читать тебе проповедь о том, сколь кратка наша земная жизнь. Ты сам знаешь, что она непереносимо длинна, и тем не менее ее надо перенести. Но в нашей жизни есть смысл, потому что мы — избранники. Мы как мотыльки. Мы не знаем, что нас ждет, когда поднимаемся вверх, фут за футом. Но мы должны прожить свой день с утра до вечера, прожить каждую его минуту, открывая что-то новое.

Роджер смотрел на него в упор, облизывая губы.

— Нет. Я не понимаю, о чем вы тут толкуете. Но я знаю, каков будет вес шпиля, а какова будет его прочность — не знаю. Поглядите вниз, отец мой, вдоль окон и зубцов, вниз, до самой верхушки кедра, что растет во дворе.

— Я гляжу.

— Пускай взгляд ваш ползет вниз, как насекомое, фут за футом. Вы думаете, эти стены прочны, потому что они каменные, но я-то знаю... Это всего лишь кожа из стекла и камня, распяленная на четырех каменных ребрах, по одному в каждом углу. Понимаете? Камень меж устоями не прочнее стекла, потому что на каждом дюйме я должен выгадывать прочность за счет веса или вес за счет прочности, ломать себе голову, прикидывать, отмеривать, взвешивать, и при одной мысли об этом у меня заходится сердце. Смотрите вниз, отец мой. Не на меня— вниз! Видите, как скреплены устои? Я скрепил камни, но не в моих силах сделать их прочней, чем они есть. Камень ломается, трескается, крошится. Но хотя опоры поют, есть надежда, что, если на этом остановиться, они выдержат. Я могу настлать крышу и, пожалуй, поставить флюгер, который будет виден за много миль.

Джослин замер, насторожился.

— Говори, сын мой.

— А построить шпиль попросту невозможно! Отец мой, верьте мне, уразуметь это можно только здесь, на такой высоте. Ведь это будет каменная кожа на каменных костях. А внутри — сруб из таких вот восьмиугольных венцов, каждый верхний поменьше нижнего. Но не забудьте про ветер, отец мой! Мне нужно скрепить венцы и подвесить их

на каменном яблоке, чтобы они своей тяжестью натягивали кожу. Тяжесть, тяжесть и тяжесть! Она все растет, все сильней давит на устои, на тонкую кожу стен, на поющие опоры...

Он коснулся рукава Джослина.

— Но и это еще не все. Как бы я ни старался, шпиль не будет давить отвесно. Он будет давить на эти четыре устоя и распирать их! Чтобы укрепить их, я мог бы, должен был бы поставить над каждым устоем башенки, но их нельзя поднять до нужной высоты, потому что это — лишняя тяжесть. Где та черта, которую мне нельзя переступить, не пожертвовав одним ради другого? Да, можно установить первый венец, и второй, и даже третий...— Он судорожно сжал руку Джослина.— Но рано или поздно мы услышим новый звук. Отец мой, смотрите вниз! Рано или поздно мы услышим удар, грохот, рев. Эти четыре устоя раздвинутся, как лепестки цветка, и все, что здесь есть: камень, дерево, железо, стекло, люди — все рухнет сверху прямо в собор, как горная лавина.

Он снова умолк. Потом послышался его шепот:

— Говорю вам... все прочее в моем ремесле сомнительно, но это — несомненно. Я знаю. Я уже видел, как рухнуло здание.

Джослин стоял, закрыв глаза. В голове у него все выше и выше громоздились венцы из дубовых бревен и каждое бревно было толщиной в фут. Он стиснул зубы, и на миг ему показалось, что камни под ним шевелятся, шатаются из стороны в сторону. Колпак высотой в полтораста футов затрещал, стал с грохотом расползаться и рушиться, среди пыли и дыма, все быстрей и быстрей, взметая пламя и искры, падал, сокрушая неф, и каменные плиты пола прыгали, как щепки, пока развалины не погребли их под собой. Он ощутил все это так ясно, словно сам рухнул вместе с устоем, который навис над аркадой, согнувшись коленом, и разнес книгохранилище, словно гигантский цеп. Он открыл глаза — от стремительного падения его мутило. Он цеплялся за стену, а аркада внизу ходила ходуном.

— Что же нам делать?

— Остановиться.

Этот ответ был неизбежен, и прежде чем прошла тошнота и аркада утвердилась на месте, Джослин своим настороженным нутром понял, как ловко мастер подвел его к такому ответу.

— Нет, нет, нет, нет.

Он бормотал это, качая головой, и постепенно понял все. Он понял, что приговор вынесен бесповоротно, что последнее средство, разговор на языке строителей, эта загвоздка, о которой ему ничего не сказали на земле, заставив с коварным умыслом подняться сюда, на башню,— это последнее средство, наконец, пущено в ход, словно рычаг повернулся на оси и привел в действие колесо головокружения; все было задумано так, чтобы в один миг сломить его волю.

— Нет!

Теперь голос его, наконец, прозвучал уверенно. Это был ответ клинка на клинок, бряцание стали.

— Роджер, говорю тебе: это можно исполнить!

Мастер в ярости отпрянул и остановился в углу башни, спиной к Джослину. Он смотрел сквозь дождь невидящим взглядом.

— Слушай, Роджер.

«Что сказать? Каких-нибудь десять минут назад я что-то говорил о мотыльках, но уже ничего не помню. Пусть же с ним говорит моя воля».

— Ты хотел запугать меня, как пугают ребенка привидениями. И все старательно рассчитал, ведь так? Но ты сам знаешь, что тебе

не уйти. Не уйти. Не убежать. Твой сильный, пытливый ум все время искал пути, чтобы преодолеть невозможное. И ты нашел путь, потому что в этом твое назначение. Ты не знаешь, правильное ли это решение, и не находишь другого. И боишься. Все лучшее в тебе готово дерзать, а худшее хнычет и скулит.

Он подошел к Роджеру вплотную, остановился за его широкой спиной и сказал в дождь, в пустоту:

— Я открою тебе то, чего никому не дано знать. Наверное, люди считают меня сумасшедшим. Что ж, пускай. Они узнают это потом, когда я... Но ты услышишь сейчас, я скажу тебе это с глазу на глаз, здесь, на недостроенной башне, где мы одни, без соглядатаев и свидетелей. Сын мой. Наш собор — это чертеж молитвы. А шпиль — чертеж той из молитв, которая вознесется превыше всех прочих. Господь открыл это мне. Он явил видение недостойному служителю своему. Он избрал меня. И тебя Он тоже избрал, дабы ты претворил чертеж в стекло, железо и камень, потому что сынам человеческим нужно видеть это воочию. И ты еще надеешься уйти? Ты не в моих сетях — поверь, Роджер, я понимаю, как это тяжко, мучительно, невыносимо, но ты не в моих сетях. Это Его сети. Ни я, ни ты не можем отринуть великое дело. Но и это еще не все. Теперь я вижу, нам не дано понять все до конца, потому что каждый новый фут открывает новую сущность, новую цель. На твой взгляд шпиль — это нелепость. Он пугает и лишен смысла. Но с каких пор избранники божии взыскуют смысла? Шпиль называют Джослиновым безумством, верно?

— Да, так я слышал.

— Но сеть не моя, Роджер, и замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это божий замысел. От века бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это он предоставил им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владычествуют. Но вот из сокровеннейших глубин доносится глас, который повелевает содеять нечто совершенно бессмысленное: построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое.

Он замолчал, глядя в спину Роджеру под колючим дождем. «Это был мой голос,— подумал он.— Или нет. Не мой. То был голос всепоглощающей воли, моей владычицы».

— Роджер.

— Да?

— Ты достроишь шпиль. Ты думаешь, это дело твоих рук, но ты заблуждаешься. Ты думаешь, это твой ум работает, упорно ищет выхода, а потом втайне гордится успехом. Но и тут ты заблуждаешься. И не от меня исходят слова, которые сейчас произносят мои уста.

Вновь наступило молчание; и Джослин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у него за спиной и согревает его.

Мастер сказал безучастно и покорно:

— Сталь. Может быть, сталь выдержит. Я не уверен. Попробуем опоясать башню стальной лентой и связать камни. Но я не знаю... В нашем деле никто еще не употреблял столько стали. Нет, я ничего не знаю. И потом это будет стоить денег, много денег.

— О деньгах не беспокойся.

Джослин протянул руку и почти робко коснулся плеча мастера.

— Роджер... Поверь, Он никогда не бывает бессмысленно жесток. В случае нужды Он даже посылает слабым утешителя, который стоит у них за спиной! Он согревает их под ветром и дождем. А ты нужен. Подумай, как тяжко бывает резцу, который много часов подряд вколачивают, вонзают в твердое дерево. Зато потом его смажут, обернут тря-

пицей и положат на место. Хороший мастер никогда не пустит в ход орудие, непригодное для дела. Он бережет свой инструмент.

Он помолчал, задумавшись. «Кажется, это я не только о нем говорю, но и о себе. Раньше была радость. Но как странно — ее больше нет. Я жажду лишь покоя».

— И когда ты завершишь это, когда шпиль вознесется вот здесь, у всех на виду — тогда сеть, быть может, порвется.

Мастер пробормотал:

— Ничего не пойму...

— Но надо строить быстрей, как можно быстрей! Иначе над тобой восторжествует зло, и сеть не порвется никогда...

Мастер повернулся к нему, еще ниже опустив голову.

— Оставьте свои проповеди при себе!

— ...а я не хочу этого, потому что каждый из вас стал дорог моему сердцу... и ты, и другие... в вас теперь моя жизнь.

— О чем это вы?

«О чем я? — подумал он.— Кажется, о Гуди и о Рэчел — надо поговорить с ней вот так, как я сейчас говорил с ним, или нет, не я говорил с ним, а сама воля».

Он многозначительно кивнул мастеру.

— Мне пора, Роджер. Меня призывают дела.

Он начал спускаться вниз, и ангел не покидал его. Он слышал, как Роджер прошептал ему вслед:

— Вы дьявол, вот вы кто. Сам дьявол.

А потом голоса Роджера не стало слышно, и опоры снова пели, и спустившись в неф, он из-за этого пения забыл, что́ собирался сделать.

Почти целый месяц башня не росла вверх, но зато вокруг нее появилась целая рощица мелких башенок — всего их было двенадцать, по три с каждого угла, одна высокая и две пониже. Роджер-Каменщик реже бывал наверху, поручив надзирать за работой Джеану, который весело покрикивал на строителей и сыпал шутками. Джослину пришлось заняться своими пастырскими обязанностями, но все дела были запутаны, и наверстать упущенное он не мог. А Роджер теперь почти все время проводил внизу, толковал с кузнецами, и Рэчел тут же перетолковывала каждое его слово. Из-за этого Джослин не мог к ним подступиться; на башне было тесно, и он наблюдал ход работы лишь урывками, снизу, вытянув шею. Он видел, как на высоте двухсот пятидесяти футов Джеан весело отдавал беззвучные команды, и каменщики делали борозды, чтобы стальная лента, которая обовьет стены, плотно прилегла к камню. В тех редких случаях, когда Джослин оказывался среди леса башенок на верху главной башни, он видел, как оживает длинный сарай у реки. Оттуда шел дым. С утра и до самой полуночи там, словно разноголосые колокола, били молоты; а когда темнело, он видел в реке отражения огней. Внутри башни в обоих перекрытиях оставались лишь узкие отверстия. По мере того как росли башенки, строители убирали ненужные леса. Они выдернули из стен крепления и почти все отверстия забили камнем. Оставшиеся дыры с бесстрастным интересом разглядывали голуби и вороны. Вскоре посреди башни висели только канаты, да по стенам крутыми зигзагами поднимались стремянки. Из подсобных построек осталось лишь ласточкино гнездо, где каменщики держали свои инструменты, а мастер — измерительные приспособления; но поскольку вскоре предстояло настлать просторную площадку в основании шпиля, эту будку тоже было решено убрать. Леса остались лишь на самом верху башни, похожие на растрепанные волосы или на аистово гнездо над невероятными, высотой в восемьдесят футов, проемами окон.

А потом было бурное собрание капитула, где известие о новых расходах встретили сначала недоверчиво, а потом с негодованием. Под конец Джослина вдруг осенило, что надо просто пустить в ход свою личную печать, и, придя к себе, он сделал это без дальнейших пререканий. Но после мучительной тяжести, испытанной в этот день, к нему вернулся визгливый смех; и ангел, хоть и был для него благословением, страшно его изнурял; собственная воля его ослабла, он утратил власть над мыслями и видениями, которые всплывали в голове — шпиль, рыжие волосы, волчий вой,— и его потянуло на башню, где он странным образом обретал умиротворение. Он вышел во двор и вдруг заметил, что там совсем тихо, словно весь мир затаил дыхание, потому что стук в сарае смолк. Он вошел в неф, и хотя был перерыв между богослужениями, услышал негромкий звук; это пели опоры: «И-и-и-и-и»,— словно тяжесть стала для них невыносимой. Медленно, неслышно он поднялся по винтовой лестнице туда, где среди башенок его ждали умиротворение и радость. Он двигался бесшумно, как призрак, и когда поднялся по стремянке до середины башни, услышал стон. Этот стон заставил его остановиться, занеся ногу на ступеньку, сжимая поручни и сгорбившись под бременем ангела. Это был стон попавшего в капкан зверя, беспомощной косули, которая уже и не пытается вырваться, а лишь стенает в смертной тоске. Он повернул голову к ласточкину гнезду. Под крышей было оконце с поперечиной, не очищенной от коры. Но не кора бросилась ему в глаза. Чья-то рука стискивала поперечину; и Джослин, видевший много раз, как она касалась камня, или дерева, или нацеливала металлический снаряд, или сжималась в кулак от злобы, или простиралась в отчаянье, знал эту смуглую, поросшую рыжеватыми волосами руку, как свою собственную, бледную и бескровную. Но едва он увидел ее и узнал грязновато-белые костяшки пальцев, не успев еще осознать, чья она — эта рука, так судорожно стиснувшая дерево,— другая рука, меньше, белей и нежней, скользнула сверху и крепко ее сжала.

Он стоял на стремянке, разинув рот, не двигаясь, не мигая; и тут он услышал голос, тот самый, что звучал как стон, голос молящий, по-детски наивный и нежный:

— Но ведь я-то не смеялась, правда?

Жесткие пальцы выпустили дерево, и руки сплелись, исчезли; а потом другой, еще более знакомый голос прозвучал с мучительным трудом, словно поднялся с самого дна ямы из-под серого каменного пола...

— О Господи!

Джослин быстро попятился, спустился со стремянки, все так же, с разинутым ртом. Теперь он стоял у стропил, опустив голову и зажав уши. Он раскачивался из стороны в сторону и бессмысленно шарил взглядом вокруг. Потом ощупью нашел винтовую лесенку, спотыкаясь, начал спускаться; и в темноте перед его немигающими глазами вихрем понеслись воспоминания: вот девочка в зеленом платье бежит по двору, но, увидев милорда настоятеля, своего преподобного отца, благовоспитанно замедляет шаг, и вот он уже обратил внимание на ее застенчивую улыбку и веселую детскую песенку, сперва лишь благосклонно, а потом стал ждать ее, да, ждать, искать ее, любоваться ею, ощущая теплоту на сердце, восхищенный ее ангельской душой, и тогда он устроил ее брак с хромым, и ее рыжие волосы покрыл платок, а потом — этот шатер...

«Нет, нет, о Господи!»

Вот она, цена камня и бревен.

Наконец, он спустился вниз, к поющим опорам, а там кружила Рэчел, она бросилась к нему бегом, и он визгливо засмеялся.

— Роджера нет ни в кузне, ни у плотников, может быть, он на башне или на лестнице, ведь он устал, и ему надо поесть...

Не умолкая, она шла за ним через весь неф, и так они вышли во двор, где уже темнело. У западной двери он обернулся и благословил ее, потому что ее боль была сродни его боли; а она стояла под гнетущей сенью исповедников, мучеников, святых, и ее красное непристойное платье колыхалось на коренастом теле, и теперь она молчала, зажав ладонью рот, и вытаращенные глаза смотрели с постаревшего накрашенного лица тоскливым, тяжелым взглядом. Он ушел к себе и встал на колени, и рот его все еще был раскрыт, и глаза все еще раскрыты и устремлены в пустоту.

А на другой вечер ласточкино гнездо убрали.

Глава седьмая

Он ушел к себе и встал на молитву, но даже молитва его была теперь иной. Он весь съежился в крошечный серый комок, трепещущий, терзаемый страхом, а когда возводил глаза кверху, где всегда обретал поддержку, там сверкал каскад рыжих спутанных волос, и он, ссутулясь, опускал голову. Он говорил себе: «Я должен все это принести в жертву!» А потом оказывалось, что в голове у него безмолвно, помимо его воли, встает только один вопрос: «Ради чего?» Когда он заставлял себя забыть о рыжих волосах, ему удавалось на время обрести некоторую свободу; но потом эти волосы, как будто возвращенные каксй-то силой, снова повисали перед ним и колыхались, ослепительные, неотступные; и она сама появлялась снова, в рваном платье, с зелеными лентами, и смотрела черными впадинами глаз. Он вскакивал и шел, сам не зная куда. Иногда он, захлебываясь, твердил: «Работать! Работать! Работать!» — и донимал расспросами людей, занятых делом, но тотчас вспоминал, что они об этом ничего не знают. Однажды, когда он вошел в пустой собор, и стоял у двери, и в душе у него бушевала буря, он увидел ее; она шла по нефу тяжело, неловко, потому что ждала ребенка, и он почувствовал в душе нежную любовь и вместе с тем жадное любопытство, слюнявое желание узнать: как, где, когда, сколько? Слова, прозвучавшие в ласточкином гнезде, лишили его уверенности, повергли в хаос, где они вчетвером сочетались каким-то сатанинским браком. Когда вихрь на миг улегся в душе и Джослин пришел в себя, он понял, что громко кричал, так как в длинном каменном нефе еще отдавалось эхо, но не мог вспомнить слов.

«Надо пойти к ней,— подумал он,— надо спасти то, что еще можно спасти». Но едва подумав это, он сразу почувствовал жадное любопытство, засевшее в нем, как проказа, и понял, что если застанет ее одну, то будет только спрашивать, доискиваться, выпытывать, сам не зная для чего. И вдруг он словно увидел себя со стороны: высокий, изможденный, в длинной рясе, он стоял у двери, уставившись на деревянную перегородку и стиснув руки. Он полез на опустевшую башню, и когда поднимался мимо того места, где висело ласточкино гнездо, у него захватило дыхание и сердце сжалось от боли. Он заставил себя взглянуть с башни на мир, где люди занимались своими непостижимыми для него делами, и увидел, что многие из них бросили все дела. Башня, возвышавшаяся среди леса маленьких башенок, притягивала их. В устьях улиц, стекавшихся к собору, никогда не было пусто. Там толпились, глядя вверх, мужчины и женщины, и лица их с высоты казались смутными пятнами. Когда одни уходили, на их месте тотчас появлялись другие. Это был бесконечный, неиссякаемый поток; Джослин почувствовал нестерпимую горечь и сказал в пустоту, где гулял ветер:

— Что вы знаете обо всем этом?

Башня была недвижна и безразлична. Он оглядел каменный лес, выросший вокруг того места, где должен был вознестись шпиль. «Это совсем не похоже на макет,— подумал он,— и на мое видение, но мы делаем все, что в наших силах. Быть может, это чертеж безумства, о котором они не знают».

И он крикнул:

— Работать! Работать! Работать! Почему никого нет?

Он бросился вниз искать мастера; и пока он спускался с башни, озлобление перешло в неудержимую ярость. Но мастер не бездействовал. Он собрал свою армию под навесом у трансепта и что-то говорил хриплым голосом — мотылек, не видящий дальше своего короткого века. Услышав его голос, Джослин успокоился, и нетерпеливое желание поскорей завершить дело овладело им; Роджер-Каменщик уже отдавал распоряжения каждому из строителей. Джослин понял, что речь идет о стальной ленте; поглощенный мыслями об этом, он пошел к себе, но не мог молиться, и тогда его посетили ангел и диавол, и неистов был сатанинский брак, и он ждал рассвета. Он был уверен, что большой колокол на дальней колокольне зазвонил с опозданием, и вокруг собора уже перекликались громкие голоса, стучали шаги. Он поднялся на башню, но Роджер прогнал его вниз так властно, что это удивило и испугало их обоих. И он долго кружил по двору, совсем как Рэчел, а потом вернулся к себе, вспомнив, что должен сделать. Он написал длинное письмо аббатисе в Стилбери, осторожное, полное недомолвок, в котором справлялся, согласится ли она на известных условиях принять в обитель несчастную, падшую женщину. Потом он пошел в собор, взглянул на опоры, и ему пришла мысль, что они, быть может, чувствуют то же, что и он, но они хотя бы свободны от этой ужасной тяжести на сердце, которую дано испытать только человеку. Он не мог видеть, как продвигается работа, и пошел к старшему плотнику, под длинный навес, где были сложены бревенчатые венцы. Бревна казались такими прочными — их не одолеть самому лютому ветру, по крайней мере, так сказал плотник, ударами тяжелого молотка разбирая на части шестой по счету венец, и было в его голосе нечто такое, что заставило Джослина продолжать расспросы; но плотник как воды в рот набрал.

Солнце стояло уже высоко, и тени от стен собора понемногу укорачивались. Среди них была новая тень, отбрасываемая башней; она ползла мимо дома канцеллярия, и Джослин заметил на ее конце какое-то неверное марево. Он быстро вышел во двор и остановился почти у самой толпы зевак. Взглянув вверх, он увидел над башней дым. Весь день он кружил подле собора, останавливался, поднимал голову и отовсюду видел, как поднимается этот дым, равномерно, непрестанно, застилая небо дрожащей мглой. И когда тень собора поползла в другую сторону, дым все еще шел; а в сумерки он увидел зарево вокруг башни, и порой со свинцовой крыши до него доносились голоса каменщиков, которые отдыхали там, спали, ели или пили воду из ведер. Наконец, он лег и уснул, но его поднял с постели странный звон, который зазвучал на башне, такой же разноголосый, как и тот, что доносился из сарая на берегу реки. Джослин накинул плащ и вышел в толпу смеющихся, болтливых горожан. С башни каскадами низвергались искры. Они сыпались из зарева, сверкавшего над ней, и падали на крышу, не успев погаснуть. Один раз сверху донесся пронзительный вопль, потом крики, беспорядочный шум, и на время искры исчезли. В толпе принялись гадать, что случилось, но тут искры посыпались снова, а из трансепта, шатаясь, вышел человек, и рука его была обмотана промасленным

лоскутом. Не отвечая на вопросы Джослина, он со стонами и проклятьями побрел в сторону Новой улицы. Но вокруг толпились люди, и было кому оказать ему помощь. Джослину казалось, что весь город не спит, все высыпали на улицы, или на площадь, или стоят у открытых окон; и все смотрят вверх. Башня светилась в тихой ночи, сыпала искрами, и дым таял, поднимаясь высоко к звездам. А за час до рассвета звон разноголосых колоколов смолк. Вместо искр башня теперь извергала струи пара, которые были бесцветны, как камни в предрассветных сумерках, и казались продолжением этих камней. На рассвете стал таять и пар. Горнила, недавно пылавшие в вышине, плюясь углями и водой, сползли вниз вдоль огромных окон, люди на крыше подхватили их и убрали внутрь собора. Когда взошло солнце, Джослин, измученный голодом и бессонной ночью, поспешил навстречу строителям, спустившимся с башни. Но они не замечали его. Они шли, пошатываясь, неверными шагами, и их широко открытые глаза смотрели сквозь него, уже видя вожделенные постели, а ноги сами собой брели прочь. Джослин стоял в сонном дурмане, ожидая Роджера-Каменщика. Но Роджера не было. Тогда он робко вошел в неф и стал взбираться на башню; а поднявшись по винтовой лестнице, он забыл обо всем, кроме башни, которая была как живая. Потому что в то утро, на восходе, когда поднялся ветер, вся башня заговорила — она стонала, скрипела, возмущалась, то и дело вскрикивала: «Бам!» — и от этого у него заходило сердце. Но он напомнил себе, во имя кого возведена башня, стиснул стучащие зубы и, взобравшись наверх по зигзагам стремянок, мимо того угла, где висело прежде ласточкино гнездо, очутился, наконец, на деревянном перекрытии среди каменного леса. Всюду валялись куски угля, стояли лужи. Схватившись за край стены, он глянул вниз и увидел, что весь мир смотрит на башню, со всех сторон смутными пятнами белеют лица, а башню охватила стальная лента шириной в фут и толщиной в два дюйма, вся в голубоватых точечках заклепок. И повсюду она плотно прилегала к камню, иссеченному рубцами и трещинами. Лента была живая, говорящая. Она вскрикивала: «Дон-дин-бам-бом!» — и протяжно звенела.

Он опустился на колени, глядя вдаль между двумя зубцами. «Вот я здесь,— подумал он.— И в этом смысл. Здесь мое место. Я не могу строить из дерева, стали и камня. Но я здесь, для этого я и существую».

Он пал ниц и хотел помолиться, но не успев вымолвить и слова, заснул, скорчившись у каменной башенки, и тогда явился его ангел, незримый, шестикрылый, и встал над ним, согревая ему спину.

Его разбудил ветер, который трепал ему волосы, сны медленно уплыли и оставили его с ветром наедине. Он открыл глаза; голова у него сразу закружилась, и он понял, что смотрит почти отвесно вниз, на аркаду, с высоты двухсот пятидесяти футов. Он снова закрыл глаза, зажмурил их покрепче и стал смотреть в глубь себя, стараясь вновь обрести безмятежность снов. Но сны покинули его безвозвратно, и он знал, что неотвратимо наступил новый день, и надо держаться, как держатся опоры. «Моя вера не поколеблена,— подумал он.— И вот как высоко мы поднялись». Эта мысль принесла ему такое утешение, что он полежал еще, как будто кутаясь в нее, потом открыл глаза, но в голове уже было пусто, а ветер трепал его волосы вокруг скуфьи и сушил на глазах последние слезы сна.

Но все же что-то переменилось, и ему снова пришлось думать, доискиваться, в чем она, эта перемена. Она родилась в нем или же вошла в его тело из башенки, через касание бедра или щеки. «Бам!» — звякнула стальная лента, словно подтверждая его догадку; значит, сам камень

обрел какое-то новое качество. Эта новизна была столь неуловима, что лишь здесь, в полнейшем одиночестве, лишь в столь близком соприкосновении со свежевытесанной каменной поверхностью можно было ее обнаружить. Да, в камне явилось нечто новое; в этом камне у правого его бока. Этот камень... его рука шарила, ощупывала... Этот камень... Он стал теперь более... или, нет, менее?.. или все-таки более?... твердым. На миг Джослину почудилось, будто камень мягок, как подушка, и он подумал: «Кажется, я еще не совсем проснулся!» Но тут у самых зубцов пролетел ворон, испустив пронзительный крик, такой явственный, обыденный, привычный. Джослин лежал, рассеянно глядя вниз, на галерею, а там, под арками, которые отсюда казались прижатыми к земле, неторопливо прошли ноги в сандалиях и проплыл подол рясы.

Мальчики из певческой школы опять оставили на парапете свои шашки. Он не видел клеток, нацарапанных на камне, но различал на них белые костяные кружочки. Он видел их несколько, но не мог видеть все, потому что выступ между зубцами срезал угол. И он чувствовал себя беспечно, как ребенок, глядя на белые шашки — одна, две, три, четыре, пять...

Он лежал, прижавшись щекой к башенке, и не двигался, в этом не могло быть сомнений. Но вдруг он увидел шестую шашку, она появилась перед его глазами. Он знал, что даже не пошевельнулся — значит, шевельнулась башня; и хотя наверху ее движение было плавным и бесшумным, там, внизу, опоры, должно быть, взвизгнули: «И-и-и-и-и!» А белая шашка то появлялась, то исчезала; и он понял, что башня раскачивается под ним, как высокое дерево.

Он медленно отвел глаза, взглянул на кучи угля и высыхающие лужи. «Только бы не крикнуть, не побежать,— подумал он.— Ведь это недостойно моего видения». Он медленно поднялся, твердо встал на ноги. Шаг за шагом он осторожно спустился с неумолкающей башни по крутым стремянкам, по винтовой лесенке в пустой собор. Опоры снова пели, и теперь он уловил в их пении некий ритм. Он заставил себя остановиться и слушать, словно исполнял покаяние. С минуту было тихо; но вот снова: «И-и-и-и-и!» — все выше, в полный голос, на верхней ноте, а потом обратно — через те же ступени, к тишине.

Он посмотрел на то место, где раньше были плиты пола. «Вот здесь, на каменных плитах, мне было ниспослано видение,— подумал он.— Здесь много лет назад я пал ниц и принес себя в жертву делу. И вера моя не поколебалась. Все в руках твоих, Господи».

Медленно, не оглядываясь, он ушел.

Но день готовил ему новые неожиданности.

У дверей дома ждал нарочный с письмом. Он вернулся из Стилбери, проскакав верхом пять миль; и Джослин, получив так быстро ответ на письмо, первым делом подумал, что Стилбери слишком близко. Но следом появилась смутная мысль, что все же Стилбери достаточно далеко. Он взял письмо и, сломав печать, прочел. Да, в Стилбери готовы принять падшую женщину, но не на предложенных им условиях, а лишь в случае, если в аббатство будет сделан изрядный вклад. Он открыл сундук, достал деньги. «Я знаю, что они скажут,— подумал он.— Сперва Джослиново безумство, а теперь — Джослинов грех. Что ж, пускай. Надо мной столько насмехались, что я давно перестал замечать. Это тоже...»

Он вернулся в собор, прошел через неф, меж поющими опорами, а потом через южный трансепт к Пэнголлову царству. Он остановился у порога, глядя на низенький домик, и сердце его сжалось в комок.

Он стоял, чувствуя себя бесконечно несчастным. «Сейчас предстоит сделать самое худшее! — подумал он.— И тогда я обрету мир. Это нужно сделать ради меня, и ради него, и ради моей бедной дочери».

Он заставил себя пойти к домику; но едва сделав первый шаг, он вздрогнул, пошатнулся. В правом глазу у него мелькнуло что-то ярко-красное — это Рэчел ринулась к домику через двор, распахнула дверь, ворвалась внутрь. И сразу там раздался грохот, пронзительный визг, крики: Рэчел выкрикивала слова, жгучие, как огонь. Дверь снова распахнулась, и оттуда неверными шагами вышел Роджер, прикрывая руками окровавленную голову. Вслед за ним выскочила Рэчел. Она осыпала его визгливыми проклятиями, била метлой по голове и по плечам, а в пальцах у нее был зажат клок рыжих волос, которые дрожали и прыгали при каждом взмахе метлы; Рэчел вопила, визжала, брызгала слюной, не сводя сверкающих глаз со своей жертвы. Они прошли, спотыкаясь, мимо Джослина и даже не заметили его; а в соборе бушевало праведное негодование, и он услышал, как хохотали мастеровые. Мгновение он стоял озираясь. Потом быстро пересек двор и остановился у открытой двери с деньгами в руках.

Гуди Пэнголл скорчилась у очага, где над угасающими углями медленно покачивался на цепи черный котелок. Она опиралась на правое бедро и на руки, поджав ноги под себя. Свет, вливаясь через открытую дверь, блестел на ее обнаженных плечах, голова поникла, рыжие волосы свисали клочьями. Она рыдала, хватая воздух ртом, и все тело сотрясалось, словно по нему пробегали волны. Длинная тень Джослина легла на нее. Она подняла голову, увидела его и взвизгнула. Он простер руку, чтобы остановить ее, но она умолкла сама, подобралась, села на корточки, прислушиваясь к тому, что происходило у нее внутри. Ноги ее судорожно дернулись под юбкой. Она схватилась обеими руками за живот и снова завизжала; но этот визг был совсем иной. Короткий и пронзительный, он резал, как нож. И снова этот визг, и снова...

Джослин выронил деньги. Он повернулся и побежал через двор к дверям трансепта, взывая:

— Женщин сюда! Скорей! Ради самого Господа! Ах, бедняжка! Повитуху!

Мастеровые в соборе забегали, поднялись споры, шум. Джослин снова выбежал во двор, а крик все резал и резал его, как нож. Он упал на колени и молился бессвязно, горячо: «Смилуйся, смилуйся, я не знал, что так будет, только не это, о Господи, все что угодно, только останови нож, мне этого не вынести»,— а вокруг него раздавался топот, громкие голоса и споры. Он вскочил и побежал к двери ее домика — помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, смилуйся!.. Мастеровые, приподняв, держали белые тонкие ноги, под ними дергался белый живот и бился крик, а деньги, рассыпанные по полу, были забрызганы кровью, и мир стремительно завертелся у него перед глазами. Когда он опомнился, надо было совершить ужасный обряд крещения; а потом пришли женщины и отец Ансельм с елеем и святыми дарами, которые он поднес к белому, обескровленному лицу. Джослин шел через двор, вдоль стены, от устоя к устою, клонясь и припадая к камням, как тростник, ветром колеблемый. Он с трудом добрался до хора и, упав на колени, хотел помолиться за нее, но рыжие волосы и кровь ослепляли его рассудок. «Это случилось, когда она меня увидела,— подумал он.— В ее глазах я был сама церковь, я предстал перед ней как грозный обвинитель, и она хотела убежать от меня. О Господи, спаси ее, и я посвящу остаток дней, которые ты мне ниспошлешь, чтобы дать ей мир,— только пусть не будет этого шума, и крови, и пения камней у меня в голове. Я увидел их вдвоем больше года назад, и вокруг них

был шатер, и шатер не выпускал их, куда бы они ни пошли, и я смирился пред волей Твоей. Больше года назад...»

Он стоял на коленях и не видел ничего — только эту женщину, сотрясаемую болью. Иногда он вздрагивал и стонал. Иногда произносил какие-то слова:

«Бог оборонил меня. Он уберег меня от женщины, этого исчадия зла».

А потом он забыл про боль в коленях, забыл про голод, забыл все, и перед ним замелькали картины, в которых не было ни последовательности, ни связи, но он-то знал, что они связаны между собой. Брак, который он сам устроил, и ласточкино гнездо. Волосы и кровь, хромоногий с метлой, который ковылял через неф. Все спуталось, но он терпел, только стонал и содрогался. А потом пришли, словно сами собой родились, слова, объемля всю его жизнь, его грехи, его вынужденную жестокость и — главное — нестерпимый накал его священной воли. Эти таинственные слова иногда пел на пасху детский хор; и теперь только они имели для него смысл.

«Вот что свершил я возлюбя».

Поздним вечером, когда он все еще стоял на коленях, скорчившись и дрожа, в темный хор пришел отец Ансельм, ощупью пробираясь меж пюпитров, и сказал, что Гуди Пэнголл умерла.

Глава восьмая

Ее тело опустили в сырую землю, и он побрел прочь, как слепой. Он брел, разговаривая сам с собой, а может быть, с каким-то неведомым и незримым спутником. То он вдруг замечал, что идет через собор, прижимая стиснутый кулак к груди; то ему вспоминалось, что он много раз повторял одно и то же. Но даже когда ему удавалось припомнить, что именно, или поймать себя на полуслове, все равно смысла в его речах не было. Он подолгу стоял, задрав голову и сжав кулаки. Он мучительно старался опомниться, понять, что с ним происходит. Но со дна его души, как вода, поднималось какое-то темное чувство. Часто являлся ангел и стоял позади него; это изнуряло его, потому что ангел был великим и дивным бременем, под которым сгибалась спина. Но мало того, вслед за ангелом, словно напоминая о смирении, приходил диавол, которому была дана власть терзать его, и стискивал ему чресла, поистине становившиеся неудержимым злом.

А потом он снова слышал, что без конца твердит одно и то же: «Нет, нет, нет, нет» или «Так, так, так, так»,— и при каждом слове похлопывает ладонью по пюпитру. Это случалось всякий раз, когда черная вода поднималась из живота и заливала, давила грудь. Он становился лицом к стене, без конца хлопал по ней ладонью и слышал свой голос, который твердил: «Ничего, ничего, ничего, ничего». И шпиль тоже был здесь, вычерченный в его голове простыми, стройными линиями, но другие картины мелькали вокруг него. И все же иногда Джослин мысленно обращал к шпилю свой взор; и тогда он спешил к опорам, глядел вверх и как в бреду ободрял строителей.

Теперь он обрел прозорливость в отношении некоторых людей. (Это дала мне боль, боль, боль.) С ужасающей ясностью он видел, как Роджер вернулся к Рэчел; вернее сказать, все теперь видели, что он снова в ее власти. (Она праведница. Праведница. Праведница. Хлоп, хлоп, хлоп). Между ними уже не вспыхивали ссоры. Они были вместе, но не кружились больше друг возле друга. Роджер-Каменщик стоял,

надзирая за работой, сгорбленный, мрачный, с застывшим взглядом. А она стояла позади и чуть сбоку, надзирая не за работой, а за ним. И глядя на них новыми глазами, Джослин видел на шее у Роджера железный ошейник и длинную цепь, конец которой она держала в правой руке. Если Роджер поднимался наверх, она оставалась внизу с цепью наготове, дожидаясь, когда снова можно будет пристегнуть ее к ошейнику.

И в голове у Джослина стучала лихорадочная мысль:

«Если я теперь велю ему построить шпиль даже в тысячу футов высотой, он сделает это. Я достиг цели».

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, руки сжимают и разжимают, сжимают и разжимают край надгробной плиты).

Однажды ноги помимо воли привели его в Пэнголлово царство, и дверь ее домика была открыта. (Боже, боже, боже, руки хватают, скручивают, рвут высокую траву). Он бросился назад к собору, подгоняя себя, и в неурочное время поспешил в капеллу Пресвятой девы. Губы его шептали привычные слова, но перед глазами — нет, нет, нет, нет! — стояло белое тело и непоправимо пролившаяся кровь. Он вспомнил об отце Ансельме, но понял, что бесполезно и пытаться объяснить все это Ансельму с его благородной и пустой головой. (Мне нужен другой духовник, другой духовник, другой духовник.) Но не успев подумать это, он все забыл, потому что она появилась снова, и он увидел скорченное страданиями тело и ужасное крещение.

Он перевел дух, посмотрел на деревянную доску и сказал громко, но со смирением:

— Мой ум слаб.

И тут подоспела помощь, словно бы ангел шепнул ему на ухо:

«Представляй ее себе такой, как прежде!»

И сразу же он радостно представил себе девушку, которая идет с рынка, неся корзину, и замирает перед ним в неловкой почтительности; и он тотчас вскочил, засмеялся, бросился куда-то и чуть было не пробежал мимо канцеллярия. Но пришлось слушать его, улыбаться и кивать. В мыслях же Джослин перенесся на пять лет назад, в то счастливое время, когда он устроил ее брак, и пока он вспоминал это, канцеллярий исчез. (Такой удачный, такой нужный брак, отцы обоих — верные прислужники в храме, каждый на своем месте).

«Но ведь я-то не смеялась, правда?»

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, рука стискивает, стискивает, стискивает...)

Скорей к опорам — там самое важное дело, главная трудность, причина причин, бремя; и Рэчел, постаревшая, уже не такая болтливая, заглядывает ему в глаза, готовая принять осуждение,— но кто может ее осудить? Замужние женщины превозносят ее, и она в самом деле приложила все силы, чтобы вернуть своего мужа. А опоры снова пели, и, прислушиваясь, он забыл о ней и понял, что с пением пришел страх и последние прихожане покинули капеллу Пресвятой девы.

(Помилуй малых сих, малых сих, малых сих...)

Он сказал вслух:

— Но остались большие сии — строители!

И словно в ответ на эти слова с башни спустился человек, бросив работу. Он нес мешок с инструментами и на ходу натягивал на голову синий капюшон. Он прошел мимо Джослина, как мимо пустого места, и быстро зашагал в трансепт.

— Вернись!

В трансепте на месте пролома теперь была дверь, и она с грохотом захлопнулась. А на месте мастерового появился регент хора и попро-

сил уделить ему минуту с таким жутким спокойствием, что было ясно: он вне себя от ярости. Но перед глазами Джослина стояла мертвая, он не мог молиться, был удручен отступничеством мастерового и потому только зажал уши и покачал головой.

— Это необходимо. Решительно необходимо, чтобы я бросил все и был со строителями. У них нет веры, и я им нужен. Разделите все прочие обязанности между собой. А я всегда, каждое мгновение буду здесь, подле шпиля.

Он стал глядеть вверх, на башню, и не заметил, как регент ушел. Потом он поспешил к мастеру.

— Теперь я всегда буду с вами.

Роджер-Каменщик стоял в своем ошейнике и взглянул на него тусклыми глазами.

— Это хорошо, милорд настоятель. Очень хорошо.

Джослин вспомнил о регенте и крикнул ему вслед:

— Вы слышали, милорд?

А опоры пели. Он подоткнул рясу и полез на башню, все выше, выше. Когда ему встречались строители, он весело заговаривал с ними, смеялся, и они смеялись в ответ — правда, не очень уверенно. Они рассказали ему про длинный канат, одержимый бесами, и он решил взглянуть сам. Да, канат в самом деле был одержим. Он свисал с башни через широкое отверстие, и конец его лежал на полу, как мертвая змея. Джослин видел, как на канате поднимали бревна, из которых наверху собирали венцы. Сверху подавали команду, снизу откликались, а потом, в полном молчании, бревно уплывало в воздух. Но как бы осторожно ни подтягивали канат, в какой-то миг он вдруг начинал крутиться, извиваться, биться о края отверстия, и нужен был очень точный расчет, чтобы протащить бревно, не повредив камня.

Он увидел, как Роджер-Каменщик стал подниматься на башню; услышал внизу голос Рэчел, которая тоже поднялась немного, но выше лезть боялась и выкрикивала ему вслед наставления. Он сразу вспомнил ласточкино гнездо и, не дыша, миновал то место, где оно висело. Он сказал вслух своему ангелу:

— Сюда она уже никогда не поднималась.

Мастеровые услышали это, истолковали по-своему и захохотали.

— Нет! Тут уж он от нее свободен.

Джеан взглянул сверху на мастера и сказал, а мастеровые при этом прыснули со смеху, как мальчишки из певческой школы:

— Скоро она и в нужник будет его провожать.

В тот день Джослин сделал еще одно открытие: Роджер-Каменщик начал пить. Он стал пристально наблюдать за ним и заметил, что Роджер даже не пьян, а словно бы весь пропитан вином. Его дыхание было почти зримым. Он то и дело прикладывался к бутылке, когда поднимался наверх, или стоял на лесах, или сидел на корточках возле растущего конуса, этой каменной кожи шпиля. Сначала Джослин пришел в ужас, как пассажир на корабле, которым командует пьяный капитан, но потом это прошло. И с тех пор он совсем перестал обращать внимание на тех, кто занимался внизу своим обычным делом.

А опоры все пели; и Джослин узнал, что только они одни и поют во всем соборе. Возмущенный причт перенес богослужение в дом епископа. Иногда Джослин, торопясь в собор, пересекал путь одному из прелатов; но все обходилось благополучно. Прелат только провожал его тяжелым взглядом. И даже когда отец Адам сказал ему, что скоро прибудут Гвоздь и Визитатор, он только переспросил рассеянно: «Визитатор?» — и исчез на лестнице.

Хотя Джослин все время был на башне, это нисколько не помогало мастеру. Он пил — в этом теперь была какая-то неизбежность, словно в явлении природы. Порой он мрачнел и подгонял строителей грязной бранью. Когда Джослин был рядом, он изрыгал такие кощунства, что настоятель сразу забывал о белом, обнаженном теле. И тогда он забивался в угол, зажимал уши, чтобы не слышать проклятий, и Гуди возвращалась, или он вспоминал, как под ее ножками сплеталась золотая путаница следов на дворе, на рынке, в соборе; и он стонал, закрывая лицо руками:

— Она умерла. Умерла!

А порой Роджер, наоборот, становился притворно, нелепо веселым и норовил подпоить всех вокруг. Но чаще он бывал удручен, медлителен и тяжело лазил по стремянкам; а вечером, после работы, он покорно спускался вниз, где Рэчел пристегивала к ошейнику цепь и уводила его. Тогда Джослин кивал и говорил умудренно:

— Ему все равно — жить или умереть.

Но на другой день, когда она снова начала преследовать Джослина и он, чтобы от нее избавиться, стал ходить следом за Роджером, он увидел, что неверно судил о мастере. Роджеру было не все равно — жить или умереть, иначе им не владел бы столь явный страх. Невозможно было объяснить, почему страх этот такой явный. Джослин видел его так же ясно, как шатер и цепь; и он видел, что этот страх не от естества, как страх здорового зверя. Этот страх был подобен отраве, как прежний страх Роджера перед высотой. Но теперь страх толкал Роджера к людям, вызывал потребность видеть их рядом, потому что он поневоле вынужден был сносить высоту. «Он готов умереть,— думал Джослин,— он даже рад бы умереть и все-таки боится упасть. Он рад бы надолго заснуть, но только не ценой падения с высоты. Вот еще причина, почему, лазая по лесам, он то и дело прикладывается к бутылке и от него несет винным перегаром».

Таковы были те люди, чьими трудами возводился шпиль: один пил запойно, другой избегал смотреть вниз, чтобы не видеть золотой путаницы следов; остальные были более или менее в здравом уме. А наверху башни было перекрытие из бревен, одержимое нечистой силой; но эту одержимость можно было понять, и она влекла к себе Джослина, потому что под навесом во дворе он такого не видел. Это вызывало тревожные и мучительные раздумья. В венце, уложенном поверх перекрытия, на равных расстояниях были прорезаны пазы, и в каждый паз был загнан клин. Строители уже собрали второй венец, который лег на клинья; прочный канат, прочнее якорного, опоясывал нижний венец, удерживая клинья на местах. Джослин спросил мастера, для чего это, но в ответ услышал лишь ругань, и тогда он снова отошел в угол и погрузился в свои думы. А как-то вечером, когда Роджер с угрюмым ворчанием спустился вниз, Джослин отвел Джеана в сторону и указал на клинья.

— Объясни мне, зачем это?

Но Джеан засмеялся ему в лицо.

— Тут дело нечисто.

Джослин потряс его за плечи, силы вернулись к нему.

— Я должен знать. Это не только ваше дело, но и мое.

Джеан передернул плечами и стряхнул его руки.

— Все держится на клиньях. Он хочет подвесить деревянный сруб на каменном яблоке, которое будет наверху шпиля. Если до этого налетит гроза — трах-тарарах! А если нет, он помаленьку ослабит канат, и венцы или, верней, крепи между ними вытянутся. Сруб повиснет внутри шпиля и придаст ему устойчивость против ветра. Так-то.

Он пнул ближайший клин.

— Он думает, сруб вытянется — вот настолько. Кто знает? Может, он и прав.

— А ты уже видел где-нибудь такое?

Джеан рассмеялся.

— А разве кто-нибудь уже строил такой высоченный шпиль?

Джослин окинул взглядом каменную кожу.

— Кажется, где-то за морем... Люди рассказывают...

— Если каменная оболочка не рассыплется, и яблоко не треснет, и сруб выдержит, и опоры не рухнут...

Он снова пнул клин, покачал головой и уныло присвистнул.

— Он один мог это придумать.

— Роджер?

— Он пьет без просыпу и давно уже спятил. Но только человек, который спятил, и возьмется выстроить этакий шпиль.

Он повернулся и стал спускаться. Немного погодя снизу послышалось:

— Все мы тут спятили.

Это помогло Джослину понять мастера. «Надо отдать ему всю силу, какая есть во мне»,— подумал он. На другое утро он ходил за Роджером по пятам и все спрашивал:

— Как это называется, сын мой? А это?

Роджер не удостаивал его ответом. Но в конце концов не выдержал:

— Как, как! Куски камня и дерева никак не называются. Вот это будет держаться на том, а то — вот на этом, если не упадет. Оставьте меня в покое!

Он полез наверх, неуклюже, как медведь, и по дороге приложился к бутылке. Джослин тоже поднялся наверх, но не к нему, а к мастеровым, которые всегда были ему рады, и присел возле них на корточки. Сначала он не понимал, почему они ему рады, но потом понял, что спасает их от страха; теперь он понял все до конца, потому что ангел уже не покидал его ни днем, ни ночью, спасая от страха его самого, и это было великим благом, хотя под бременем ангела сгибалась спина. Теперь Джослин приходил в собор на заре, стоял там в одиночестве, ощущая, что и сейчас, на половине пути, он не властен над жизнью своей. Если рабочих еще не было и ему удавалось ускользнуть от золотой путаницы следов, он пытался разобраться в тех необычных чувствах, которые обуревали его.

«Как это называется? А это?»

Иногда в полумраке собора он рассуждал про себя, но шпиль, высившийся у него в голове, не давал довести рассуждения до конца.

«Когда это кончится, я буду свободен...»

Или: «Что ж, такова цена...»

Или: «Я знаю Ансельма. И вон того. И вот этого. Но ее я никогда не знал. Сколь драгоценно было бы для меня, если б я мог...»

«Как это называется? А это?»

Однажды, серым утром, он целый час был совершенно спокоен, а потом натолкнулся на мысль, которая сначала была как глухая стена; а потом она вдруг стала для него такой же важной, как день рождения для ребенка. Он смотрел на дощатую перегородку, за которой была капелла Пресвятой девы. И ему вспоминались давние события, которые происходили словно в иной жизни.

— Господь был там!

Он стоял, глядя на серые опоры в сером свете верхних окон, с которых вещали патриархи. И он спросил у перегородки:

— И это тоже часть цены?

Но ответа не было; тогда он поспешил к лесам, поднялся наверх вместе со строителями, благословил их. И шпиль вытеснил все мысли из его головы.

Между тем шпиль все суживался, и те, кто в нем работал, как бы поднялись над землей еще на одну ступень. Это был не конец, а начало. Линии башни сходились далеко внизу, и у своего основания она словно становилась совсем тонкой, казалось, это стрела, уходящая острием вниз, здесь же, наверху был уродливый тупой конец. У людей, чья жизнь теперь протекала на высоте, от качания уже не заходилось сердце; но в размеренном чередовании тяжести и легкости было что-то, изматывавшее не столько тело, сколько душу. Джослин испытал на себе, как постепенно растет гнетущая тяжесть, и вдруг перехватывает дыхание, и ты вцепился мертвой хваткой во что попало. И тогда быстро переводишь дух, и на время становится легче, но потом тяжесть возвращается. Одно было хорошо здесь, на высоте трехсот футов. Когда поднимался ветер, не слышно было пения опор, хотя мысли о них не покидали людей: ведь всего четыре тонкие иглы, воткнутые в землю, держали на себе весь этот мир из камня и дерева.

Спасти от этого могла только работа, которая требовала полнейшей сосредоточенности. Каменную оболочку конуса нужно было класть с предельным тщанием, лишь тогда она обретала наибольшую прочность. И все же в ветреные дни уровень, положенный на верхнее перекрытие башни, обнаруживал какое-то медленное безумие, дрожал, как душа в преддверии ада. И тогда мастер ни с кем не разговаривал, только хмурился и о чем-то размышлял; а потом вдруг набрасывался на кого-нибудь из помощников с неистовой руганью.

И вот появилось нечто такое, чему никто не знал названия. Появилось постепенно, как порой подкрадываются холода. Быть может, это было сознание, что они теперь на такой высоте, на какую еще не поднимался ни один человек. Никто не мог уловить новую грозную неизбежность; но какие-то липкие предчувствия ползли по телу. Теперь наверху редко разговаривали спокойно: молчание нарушала только ворчливая брань или внезапные крики ярости. Порой слышался судорожный смех. Чаще — всхлипывания.

Некоторые даже бросали работу и уходили. Ушел Ранульф, маленький, сухой, морщинистый человечек. Он был молчалив, быть может, потому, что остальные едва понимали его неуклюжий английский язык. Медлительный, как улитка, он зато работал без передышки. Приступы безумного смеха или ярости ни разу не захватили его. О нем часто забывали; а потом, взглянув в его сторону, видели, что еще один камень с его меткой лег на место. Но как-то в июле, когда шпиль снова стал качаться, он попятился от каменной оболочки и начал складывать в сумку инструменты. Никто не сказал ни слова, но все, один за другим, тоже бросили работу и смотрели на него. Ранульф не обращал на них внимания и собирался неторопливо, как всегда. Обтерев инструменты, он обернул их тряпицей и аккуратно сложил в мешок. Он осмотрел сумку, в которой носил еду, отряхнул руки. Потом взял сумку и мешок, медленно сошел вниз и исчез из виду. Все проводили его взглядом, а когда он скрылся, один за другим вернулись к работе, но было в неторопливом уходе этого человека что-то леденящее, отчего дрожь пробегала по телу.

И все же гораздо страшнее был уход другого.

Макет шпиля оканчивался шариком, на котором держался игрушечный крестик. Когда Джослин увидел на дворе самый шар, забранный деревянной решеткой, он почувствовал сомнение, которое вскоре

перешло в ужас. Это каменное яблоко было больше мельничного жернова и, наверное, тяжелее лошади с повозкой; а ведь его предстояло поднять на самый верх, фут за футом. Джослин видел, как его втащили в собор, а потом оплели канатами и постепенно, с остановками, подняли сквозь отверстие в своде. Во время каждой остановки долго возились с клиньями и рычагами, придавая яблоку нужное положение; и вот оно неумолимо закрыло собой середину первого венца. Но это было еще не все; яблоко поднимали выше и выше, пока, наконец, не стало ясно, что через следующий венец оно не пройдет. И пришлось на высоте трехсот пятидесяти футов перетащить его на леса, специально построенные вне конуса. Конус вырастал и вместе с ним вырастали леса, по которым поднимали шар. Приходило время, и снизу леса убирали, чтобы надстроить их сверху,— так играют дети, перехватывая руками палку.

Джослин избегал смотреть на каменное яблоко. Привязанное к лесам, удерживаемое подпорками и клиньями, оно заслоняло целый квартал города. И при этом оно висело на стене, как священный камень в Мекке. Теплый летний ветер раскачивал конус, и хотя душа Джослина была полна веры, тело его превращалось в комок сжатых мускулов и трепещущих нервов, ему казалось, что эта махина вот-вот переломит четыре каменные иглы, как ольховые прутики. В такие минуты ему оставалось одно: отбросить эту мысль, думать только о конусе, который должен подняться еще на пятьдесят футов; это утомляло его, а потом, подняв глаза, он снова видел каменный шар, заслонявший целый квартал города. И когда он смотрел вниз, это уже не рождало в нем такого пугающего восторга, потому что чем больше суживался конус, тем темнее становилось внутри. А если посмотреть на башенки, которые торчали вокруг главной башни, где кружили птицы, становилось страшно, как бы одна из них не совместилась с какой-нибудь точкой на голубой чаше земли, и тогда сразу видно станет или покажется, что шпиль кренится. К тому же для рук Джослина здесь не было дела. Он мог только сидеть в уголке, черпая твердость в своей воле или в иной воле, которая была не его, и стараться поддержать ею шпиль и людей среди этих новых, липких предчувствий.

Может быть, поэтому ему было так трудно подниматься наверх. Он едва переводил дыхание после крутых стремянок, часто ложился потом на доски, тяжело дыша, и ждал, пока сердце успокоится или, вернее, начнет стучать не громче обычного. Он ползал на четвереньках, неся на себе ангела-утешителя, и спина его горбилась все сильнее. Он старался не мешать строителям, но это было нелегко, потому что конус с каждым днем суживался. И все же никто его не гнал, он не мог понять почему, а когда спросил об этом Джеана, тот сказал просто:

— Вы нам приносите удачу.

Из-за Джеана и случилась новая беда. Однажды он поднялся наверх хмурый, с застывшим лицом, попросил у мастера отвес и шнур. И пока строители закусывали, укрывшись за каменной оболочкой, а мастер молча прикладывался к бутылке, Джеан быстро спустился со шпиля.

После этого никто не проронил ни слова.

Вскоре Джеан вернулся, отдал мастеру отвес и моток шнура, потом взглянул на Джослина. Лицо у него было такое, что Джослин почувствовал: медлить нельзя. Он заговорил и услышал, как вместе со словами из его горла вырвался визгливый смех:

— Ну как? Оседают?

Тяжесть, пустота, легкость, пустота.

Джеан облизал губы. Вокруг них была грязновато-зеленая кайма. Голос его походил на карканье:

— Гнутся.

Стало тихо, был слышен только шепот ветра над неровным краем конуса.

А потом раздался странный звук, словно еще кто-то новый, человек или зверь, поднялся к ним наверх. Раздалось мычание; мычал Роджер-Каменщик. Он сидел у стены, уставившись прямо перед собой, словно мог видеть сквозь камень.

— Роджер!

Тяжесть, молчание.

— Сын мой!

Легкость, молчание.

Мастер боком, как краб, пополз по доскам и, нашаривая руками путь, скрылся из виду. Было слышно, как он спускается все ниже и ниже; и по мере того, как он удалялся, мычание становилось пронзительней, перешло в визг, потом в пение, похожее на пение камней. И снова стало тихо.

И вдруг все засмеялись, вереща, завывая, до крови колотя кулаками по камню и дереву; в полутемном конусе вспыхнуло яркое пламя любви, зажигая души. Сама воля отверзла уста Джослина среди этого пламени и пообещала рабочим прибавку; а они обнимали его тощее тело, которое было лишь сосудом воли.

Теперь ему еще легче стало пренебрегать тем, что происходило внизу; а это было необходимо, потому что, когда опоры начали гнуться, люди внизу попробовали вмешаться, и ему оставалось только смотреть сквозь них на шпиль и ждать, пока они уйдут. Скованный своей волей, он слышал, как горожане проклинают его за то, что богослужения в соборе прекратились. Его проклинали даже безбожники. Люди стояли у входа и смотрели через весь неф на опоры. Когда он проходил мимо, истерзанный борьбой ангела с диаволом, они не осмеливались проклинать его открыто, но что-то бормотали за его спиной. Он знал, о чем они говорят, потому что сам видел, как согнулись опоры. Не было сомнения, что Джеан прав. Цельный камень не может гнуться, и все-таки он гнулся. Если смотреть вдоль нефа, то на фоне окон глаз явственно видел, как две соседние опоры выгнулись и сблизились едва заметно, хотя смотреть приходилось долго и внимательно. Одно было хорошо. Чем сильней гнулись опоры, тем меньше они пели. К середине лета они, казалось, вообще перестали и гнуться и петь; но Джеан сказал, что они просто дожидаются осенней непогоды, и уж он-то постарается к тому времени убраться отсюда. А пока что это постарались сделать все, кроме строителей и человека, приносившего им удачу.

Работа наверху спорилась, словно каждый уже ощущал на своем лице дыхание осенних ветров. Никого еще Джослин не знал так хорошо, как этих людей,— он теперь знал их всех, от немого до Джеана. Он стал среди них своим. Он жался к стене, всегда ощущая за спиной своего ангела, а потом сам начал таскать камни и бревна, тянул вместе с другими канаты или наваливался на рычаг. Рабочие звали его «отец», но относились к нему снисходительно, как к ребенку. Когда стало совсем тесно и в этой тесноте бился исступленный смех, ему поручали металлическое зеркало, которое отражало свет внутрь шпиля. Он гордился этим почти до слез, хотя сам не знал почему. Он сидел на корточках и держал зеркало, а старший плотник, лежа на спине, подгонял венцы.

— Чуть левей, отец!

— Так, сын мой?

— Еще. Еще. Хорош!

И он сидел на корточках, старательно направляя свет. «Они праведники,— думал он,— они богохульствуют, ругаются, у них грубое ремесло, но они праведники. Я убедился в этом здесь, под солнцем, на высоте почти четырехсот футов. Наверное, все дело в том, что они избраны, как избран я».

Он рассказал им про своего ангела, и они не удивились, а заглянули ему за спину и серьезно кивнули. И тогда он решил открыться им еще кое в чем и рассказал про свое видение, потому что счел их достойными такой награды. Но этого они не могли понять. В конце концов он махнул рукой, покачал головой и пробормотал с досадой:

— У меня все это где-то записано.

Потом он вспомнил о проповеди, которую хотел произнести, когда шпиль будет построен и у опор поставят кафедру. Но тут их лица потемнели. Джеан заявил, что только дурак согласится теперь работать у этих опор, а он сыт по горло. Но к Джослину подошел немой, он бил себя в грудь, кивал головой и мычал. И все снова стало легко и просто.

Однажды они прекратили работу раньше обычного и, несмотря на все уговоры Джослина, не хотели продолжать. Они попросту ушли, словно его и не было на свете. Он подождал немного и тоже спустился вниз, но люди, которые были в соборе, мешали ему, и шпиль грозил рухнуть у него в голове. Джослин посмотрел на согнувшиеся опоры и долго бродил по храму, а потом тишина и золотые следы заставили его вернуться к лесам. Он снова поднялся наверх, полез по шатким стремянкам, перекинутым между венцами. Он понимал, что теперь ему остается только ждать, и поднимался медленно, но все равно сердце отчаянно колотилось. Наконец он добрался доверху и присел там, в царстве воронов. Стояла мертвая тишина, солнце закатывалось, и шпиль, весь целиком, высился у него в голове.

Но еще прежде чем солнце зашло, Джослин заметил, что кроме него и ангела на башне кто-то есть. Этот третий смотрел ему прямо в лицо. Он выглядывал, как из рамы, из металлической пластины, которая стояла напротив, заслоняя небо. Джослин уже хотел произнести заклинание и поднял руку, но тот, другой, повторил его движение. Тогда он пополз на четвереньках по доскам, и другой пополз ему навстречу. Он встал на колени и принялся разглядывать всклокоченные волосы, тощие руки, ноги, торчавшие из-под грязной, подоткнутой рясы. Он всматривался все пристальней, затуманил дыханием свое отражение и вытер зеркало рукавом. Потом снова встал на колени и смотрел долго, не отрываясь. Он разглядывал свои ввалившиеся глаза, кожу, туго обтянувшую лоб и скулы, запавшие щеки. Разглядывал нос, похожий на клюв и почти такой же острый, глубокие морщины на лице, оскаленные зубы.

И глядя на свое коленопреклоненное отражение, он почувствовал, что голова его прояснилась.

— Что ж, Джослин,— беззвучно сказал он отражению.— Что ж, Джослин, вот чего мы с тобой достигли. Все это началось, когда мы были повергнуты. Кажется, вскоре после того, как зашевелилась земля. Мы можем вспомнить, что произошло с тех пор, а все, что было раньше, подобно сну. Все, кроме видения.

Он встал и начал беспокойно топтаться на месте. Внизу вечер тронул зеленью края чаши. А потом они почернели, бесшумные тени залили чашу; и он не заметил, как пришла ночь, зажигая на небе бледные звезды. Вдали он увидел огонь и решил, что это горит стог сена; но, обходя конус, он заметил, что по краям мира пылают еще костры. И его охватил ужас; он понял, что это костры Ивановой ночи, зажженные на холмах поклонниками сатаны. В долине Висячих Камней ярко пылал огромный костер. Джослин вскрикнул, но теперь им владел не страх, а скорбь. Он

вспомнил своих праведников и понял, почему они бросили работу и куда ушли. И он закричал со злобой, неведомо кому:

— Они праведники! Я утверждаю это!

Но то был лишь порыв чувства. А в глубине души он знал все.

Вот еще один урок. Урок, достойный этой высоты. Кто мог знать, что и это предопределено? Кто подумал бы, что здесь, на этой высоте, мой каменный чертеж молитвы поднимет крест и вступит в единоборство с огнями диавола?

И тут в его голове снова появились строители и та, чьи ноги оставляли золотые следы, и он горько заплакал, сам не зная о чем, быть может, о грехах всего мира. А потом слезы высохли, и он сидел, тоскливо глядя вдаль, где плясало пламя зловещих костров.

Понемногу он снова обратился мыслью к собственной жизни. «Если Давид не мог построить храм, потому что руки его были обагрены кровью, что же сказать о нас, обо мне?» И перед глазами у него встало ужасное крещение, и он вскрикнул; а потом, едва он от этого избавился, целое воинство воспоминаний двинулось на него. Бессильный остановить их, он смотрел, как они множатся. Словно фразы, они складывались в повесть, и хотя кое-что оставалось недосказанным, все же повесть говорила о многом. Это была повесть о ней, и о Роджере, и о Рэчел, и о Пэнголле, и о мастеровых. Он смотрел вниз, сквозь стремянки, сквозь перекрытия, сквозь свод, туда, где зияла яма, словно могила, вырытая для какого-нибудь именитого человека. Зловещие костры, на которые он уже не обращал внимания, плясали по всему горизонту, а его словно сковало льдом. Он вспоминал, как сидел там, внизу, глядя в пол, и среди пыли и мусора на ногу ему легла веточка с бурой бесстыдной ягодой.

И он прошептал в темной высоте:

— Омела!

Наконец, он снова попытался молиться; но явилась она, оставляя за собой золотую путаницу следов, голова ее упала на грудь, платье развевалось, а зловещие костры плясали вокруг них обоих. Он простонал в ужасе:

— Меня околдовали.

Он стал спускаться, то и дело останавливаясь, не видя стремянки под ногами; и недосказанная повесть пылала у него перед глазами, а каменные плиты пола, которые теперь снова лежали меж опорами, жгли ему ступни адским пламенем.

Глава девятая

Теперь он уже не смеялся вместе со строителями, а только увещевал их. Он заметил, что хотя они не могли видеть ангела и не ощущали его присутствия, ангел все же нес утешение и для них; так наступил и минул август, и шпиль был почти готов. Теперь дули ветры, и в эти дни утешение, которое приносил ангел, стало необходимым для строителей. Однажды в августе с юго-запада налетела гроза, и под ее натиском шпиль качался, как мачта; но согнувшиеся опоры все же выдержали. Во время этой грозы отец Адам сказал Джослину, что леди Элисон больше не будет писать ему писем, а скоро приедет сама.

Гроза не прошла бесследно. Она оставила после себя переменчивую погоду: дождь, солнце и снова дождь; а в сентябре, когда нужна была всего неделя ясной погоды, чтобы закончить работу, открылось небо такой беспредельной глубины, что это казалось знамением: когда придет гроза, ярость ее будет столь же беспредельна. Мастеровые все время

ссорились, проклинали каменный шар, и ветер рвал на них одежду; а Джослин устремлял взгляд вдоль унылых излучин реки в сторону моря, надеясь увидеть Священный Гвоздь; ему уже чудилось, что Гвоздь, сияющий и всемогущий, явился из пышного Рима, где все еще пребывал епископ. Он подумал, что погода, видимо, знает об этом и торопится, потому что небо начало осыпать их дождем, словно побивая камнями, и вымокшие строители даже не мерзли — струи воды обжигали их. В эту непогоду, когда ветер трепал плащи, задирая полы выше голов, они поставили на место каменное яблоко. Шпиль весь содрогался, а люди два дня разбирали леса и оставили лишь несколько подмостей, чтобы водрузить крест, и у подножия креста — ковчежец с Гвоздем. В первый из этих двух дней Джослин увидел Гвоздь в пятнадцати милях от собора — длинная процессия тянулась от деревни к деревне. Но еще до вечера облака окутали шпиль, и Джослин уже не видел процессии и Визитатора. Он не переставал увещевать строителей, а дождь хлестал по его голым ногам и ветер трепал рясу. Когда все было готово, они толпой повалили по шатким стремянкам вниз, в теплоту башни. Джеан расставил всех по местам и каждому дал кувалду. Стало тихо, люди стояли у клиньев, держа кувалды наготове, а Джеан внимательно оглядел всю снасть.

Наконец он повернулся к Джослину.

— Нужны еще люди.

— Так бери их.

— Но откуда?

Они замолчали. Немой что-то мычал пустым ртом. Джеан посмотрел на ворот.

— Надо кончать, не то поздно будет.

Он подошел к вороту, убрал стопор, повернул рукоять на пол-оборота, потом остановил ворот и прислушался, обратив ухо к деревянному срубу внутри шпиля, уходившему вверх на сто пятьдесят футов. Канат, захлестнувший нижний венец, намертво скреплял клинья, которые несли на себе всю тяжесть сруба.

— Бейте по клиньям. Легонько!

Кроме стука кувалд, не слышалось ни звука. Джеан снова повернул рукоять на пол-оборота.

— Ну-ка, еще разок.

Он обошел башню, похлопывая рукой об руку.

— Не знаю. Право слово, не знаю. Почему его самого здесь нет, этого ублюдка?

И тут ворот загудел, канат сорвался. Деревянный сруб словно треснул, треск перешел в пронзительное верещание; венец подался вниз, и клинья разлетелись во все стороны, как сливовые косточки от щелчка. Бревна легли на приготовленное для них основание с грохотом, который был оглушительней грома и больно ударил в уши; башня ходуном заходила под ногами. Джослин упал на колени, сквозь гул и грохот он слышал, как строители с ревом бросились вниз по стремянкам, давя друг друга. Конус весь корчился, летели щепки, пыль, каменные осколки. Деревянный сруб над головой извивался, растягивался, трещал. Джослин стоял на коленях, прикрываясь руками, а дерево уже только постанывало да изредка взвизгивало. И наконец остался лишь шум ветра; но теперь ветер мог играть на новых инструментах и настраивал их. Они отзывались не в лад на каждое колебание шпиля.

Он выпрямился, все так же стоя на коленях. «Еще совсем немного, и я обрету мир,— подумал он.— Надо принести Гвоздь».

Он отыскал стремянку и стал спускаться.

Но он не обрел мира, даже когда спустился с винтовой лестницы.

Канат ослаб, и в то же время он почувствовал, как затянулась другая петля. Эта петля сдавила ему грудь. Он подумал: «Мне все ясно. Теперь надо опередить диавола. Мы оба бежим что есть мочи к последней черте. Но я буду первым».

Он постоял у опор. Прислушавшись, он почувствовал, что петля туже стянулась на груди, потому что услышал, как зверь ощупывает лапами окна, пытаясь проникнуть в храм. И зверь уже не один. Имя им легион. Они окружили собор, пробовали двери и окна, словно готовились к решительному приступу. Джослин понял, что надо спешить, и бросился в аркаду. Но там беспорядочной толпой стояли каноники, они встретили его громкими возгласами.

— Где Он?

Но ему не дали святыню, его обступили, принялись теребить, говорили и даже кричали что-то бессмысленное. Кто-то одернул на нем рясу, так что она вновь прикрыла голые ноги. Он чувствовал, что ему приглаживают волосы, и понял, чего они хотят. Он закричал на них:

— Подайте мне Его, иначе я не скажу ни слова!

Сразу стало тише, только с другого конца аркады доносилось пение мальчиков, и теперь он оглядел прелатов, викариальных певчих и священников. «Они такие же, как армия Роджера,— подумал он.— Только трусливей».

Бесы шептались на вершине кедра.

И тогда отец Безликий подал Джослину Его в серебряном ковчежце, и Джослин принял Его, преклонив колени, и вместе с ним преклонили колени еще какие-то люди. А Джослин прижал Его к петле, стиснувшей грудь, поспешил в хор и возложил Его на престол, где Он ярко воссиял в ковчежце, и вокруг Него зазвучало пение, хотя слов расслышать было нельзя. И он сказал Гвоздю: «О, поспеши!» — зная, что обретет мир в тот миг, когда Гвоздь будет вбит. И он вернулся назад, туда, где его ждали. Он оглядел их, чувствуя, как петля стискивает грудь, и увидел множество новых лиц; или нет, лица были те же, просто теперь он видел их по-иному. Весь этот год они копошились здесь, внизу. И новые чувства соединили их в пары и троицы. Их головы не были скорбны, как у него (а бесы скулили вокруг собора), они были полны жалких, крошечных мыслишек, с которыми им так легко жилось. Да и сами они тоже были крошечные, и на глазах становились все меньше.

Он услышал тихий голос Ансельма.

— Пускай увидит его как есть.

Наступило молчание, и они стали меньше самых маленьких детей в хоре. А потом все эти малыши задвигались. Шаркая ногами, они расступались, но лица их все время были обращены к нему, словно они хотели заглянуть ему в голову. Они выстроились в два ряда, оставив перед ним проход; и этот проход упирался в высокую дверь залы капитула. Джослин взглянул на дверь. Он подумал: «Визитатор поймет, что я стал мастеровым, каменщиком, плотником поневоле».

Они отворили перед ним одну створку двери, и он вошел. Переступив порог, он остановился и посмотрел на окна, по которым шарили бесовские лапы. Но он знал, что если бесы и проникнут сюда, это не страшно. Теперь он мог оглядеться; за длинным столом, заваленным грамотами, восседал Визитатор и его помощники — семеро обычного человеческого роста. Джослин приблизился, встал на колени возле свидетельского места и назвал себя:

— Джослин. Настоятель кафедрального собора Пречистой девы Марии.

Все семеро смотрели на него. Два писца с перьями наготове подняли головы. Сам Визитатор привстал и подался вперед, опершись руками

о стол. Это был смуглый человек с резкими чертами лица, с косматыми бровями и глубоко посаженными глазами. На нем было просторное, черное с белым одеяние. С минуту он рассматривал Джослина, потом движением руки пригласил его сесть. Джослин встал с колен и поклонился; семеро тоже встали и поклонились все разом, словно набежала волна. Потом все сели, и Джослин тоже сел; он сидел молча и видел, как их головы сдвинулись, как они кивают друг другу и переговариваются.

Наконец Визитатор снова повернулся к нему.

— Это не дознание, милорд. Но может быть, вы...

— Спрашивайте что угодно, я готов отвечать.

— Я был в этом уверен.

Визитатор вдруг улыбнулся. «Он все понимает,— подумал Джослин, а петля давила ему грудь.— Он на моей стороне, и притом он обыкновенного роста».

Визитатор заговорил снова:

— Этот предваряющий разговор, быть может, упростит дело.

«Упростит дело,— подумал Джослин.— Что ж, если он хочет этого, я готов».

— Меня считают сумасшедшим.

И снова наступило молчание, а он заглянул внутрь себя и не стал противиться. Он торжественно кивнул Визитатору.

— Может быть, так оно и есть.

Головы снова сдвинулись. «Нет,— подумал он,— ничего я не упростил, а только усложнил». Он застонал, ощупал свою голову и нашарил что-то в волосах. Это была закрученная стружка, он растянул ее, порвал и отшвырнул прочь. За столом все бормотали, один из писцов кивнул, встал, слегка поклонился и вышел.

Визитатор сказал мягко:

— Мы составили перечень вопросов, которые извлечены из доношений и свидетельств.

— Из доношений? И свидетельств?

— Разве вы не знали? Некоторые получены еще два года назад!

Он мысленно оглянулся на два минувших года.

— Я был занят.

Теперь Визитатор уже не скрывал улыбки.

— Мне кажется, некоторые вопросы не совсем справедливы, скажем, вот этот — о свечах.

— О каких свечах?

Визитатору подали грамоту, и он принялся ее рассматривать. В голосе его зазвучало любопытство.

— Этот прелат, надо полагать, считает, что Матери-Церкви нанесен сокрушительный удар тем, что два года ее чада не возжигали свечей в нефе собора.

— Ансельм!

— Это ваш ризничий, не так ли? Надо полагать, немалую часть своих доходов он извлекает из продажи свечей. Но, разумеется, им руководило не это, а нечто более возвышенное, духовное. Да. Отец Ансельм, прелат, ризничий собора Пречистой девы Марии. Обладатель личной печати.

— Ансельм!

(А он удалялся, становился все меньше, исчезал в длинном коридоре...)

— Милорд настоятель. Может быть, дело станет яснее, если вы признаете или отвергнете некоторые общие... обвинения.

— Я же сказал, что готов отвечать.

— Тогда приступим, милорд.

Визитатор стал переворачивать листы. Джослин ждал, прижав руки к груди, и смотрел на вереницу сандалий под столом. Визитатор поднял глаза.

— Признаете ли вы, что в этом храме без надобности перестали искать, как здесь сказано, «великолепный узор хвалы Господу»?

Джослин с готовностью кивнул.

— Это правда. Сущая правда! Истинная правда!

— Объяснитесь же.

— Перед тем как начать строить шпиль, мы постарались отгородить восточную часть храма и совершали богослужения в капелле Пресвятой девы.

— Так обыкновенно и поступают.

— И до времени богослужения не прерывались. Но только вскоре люди почуяли опасность. Когда опоры начали петь, а потом согнулись, никто из причта и из мирян уже не хотел там молиться.

— Значит, потом богослужения в храме не совершались?

Джослин быстро поднял глаза и простер вперед руки.

— Совершались. Если вы вникнете во все сложности, то поймете... Ведь я все время был там. И это как бы заменяло богослужения. Я был там, и они тоже, к вящей славе храма.

— Кто они?

— Строители. Конечно, их становилось все меньше, но некоторые остались до конца.

Визитатор ничего не сказал; но Джослин почувствовал, что его понимают, и продолжал поспешно:

— Я не знаю, чьи имена и печати, кроме одной, стоят на этих грамотах, и жалобы известны мне лишь в самом общем смысле. Знаю только, что я искал людей с неколебимой верой и звал их за собой, но не нашел ни одного.

Он видел, что Визитатор не ожидал такого ответа и доволен им. Глядя на его дружелюбное лицо, Джослин вдруг почувствовал неудержимое желание объяснить все до конца.

— Люди поступали по-разному. Одни сбежали, другие остались, третьи были обращены в камень. Пэнголл...

— Да. Пэнголл...

— Она вплетена повсюду. Она умерла, а потом воскресла у меня в голове. Она и сейчас там. Я не могу от нее отделаться. Раньше она не жила, то есть жила, но не так, как принято считать. И о нем я должен был бы знать раньше, понимаете, извлечь это из-под свода, из подвалов моего ума. Но, конечно, все это было неизбежно. Как и деньги...

— Да, поговорим о деньгах. Это ваша печать? И вот это?

— Кажется, моя. Да.

— Вы богаты?

— Нет.

— Как же все это будет оплачено?

— Точно так же, как Он укрепил опоры и ниспослал нам Гвоздь.

И снова потусторонняя песня, провал в памяти, давящая громада... Он равнодушно смотрел, как, бесшумно ступая, вернулся писец и на свидетельском месте рядом с ним появился отец Безликий. Он слышал, как бесы скребутся и стучат в окна. Лихорадочно напрягая мозг, он соображал, как бы поскорее подняться на шпиль и опередить их.

— Милорд, пока мы тут разговариваем, шпиль может рухнуть. Позвольте мне отнести Его и вбить!

Визитатор пристально смотрел на него из-под густых бровей.

— Вы думаете, если не будет гвоздя, шпиль может...

Джослин поспешно поднял руку и остановил Визитатора. Нахмурясь, он пытался уловить песню, которая дрожала так близко, на грани памяти; но она растаяла, и Ансельм тоже растаял. Джослин поднял глаза на Визитатора, который со странной улыбкой откинулся на спинку стула.

— Милорд настоятель, право, я восхищен вашей верой.

— Моей?

— Вы говорили о женщине. Кто она? Пресвятая дева?

— Нет! Отнюдь! Никоим образом. Это жена его, Пэнголла. Понимаете, с тех пор как я нашел ягоду омелы...

— Когда это было?

Вопрос был острым и твердым, как грань камня. Он видел, что все семеро замерли и смотрят на него пристально, серьезно, словно судят его.

«Вот оно что,— подумал он.— И как это я сразу не понял? Меня судят».

— Не знаю. Забыл. Очень давно.

— Вы сказали, что некие люди были «обращены в камень». Как это понять?

Он обхватил голову руками, закрыл глаза и стал раскачиваться из стороны в сторону.

— Не знаю. Для этого нет слов. Столько сложностей...

Наступило долгое молчание. Наконец, он открыл глаза и увидел, что Визитатор снова откинулся назад и дружелюбно улыбается.

— С вашего позволения, милорд настоятель, мы продолжим. Эти люди, которые остались с вами до конца... Вы утверждаете, что они праведники?

— О да!

— *Праведники*?

— Истинные праведники, уверяю вас!

Но на длинном столе уже переворачивались листы. Визитатор взял один и начал читать бесстрастным голосом:

— «Убийцы, головорезы, бандиты, смутьяны, насильники, явные прелюбодеи, содомиты, безбожники и гораздо худшие злодеи».

— Я... Нет, нет!

Визитатор смотрел на него поверх листа.

— И это праведники?

Джослин стукнул себя кулаком по левой ладони.

— Они смелые!

Визитатор вдруг недовольно засопел. Он бросил лист поверх кучи других.

— Милорд. Как все это понять?

Джослин благодарно ухватился за этот прямой вопрос.

— Сначала все было так просто. Люди способны видеть в этом лишь позор и безумие — они называют это «Джослиновым безумством». Но мне было видение, ясное и непреложное. Все было так просто. А дальше начались сложности. Сначала только зеленый росток, потом — цепкие усики, побеги, ветки, и, наконец, все поглотила суета, и я не знал, что мне делать, хотя готов был принести себя в жертву. А потом он и она...

— Расскажите о видении.

— Оно записано у меня в книжке, эта книжка в сундуке, на самом дне, в левом углу. Если нужно, можете прочитать. Скоро я произнесу проповедь... в соборе, на средокрестии будет новая кафедра, и тогда все...

— Вы хотите сказать, что видение побудило вас строить шпиль, сделало это неотвратимым?

— Да, именно.

— И это видение... или, может быть, следует назвать его откровением?

— Я не учен. Простите.

— И это видение неизбежно повлекло за собой все остальное?

— Именно так, именно.

— Кому вы в этом исповедались?

— Своему духовнику, разумеется.

Бесы, хоть и незримые, были тут, за окнами. Джослин с нетерпением посмотрел на Визитатора.

— Милорд. Пока мы здесь...

Но Визитатор поднял руку. Писец на левом конце стола объяснил:

— Это Ансельм, милорд. Ризничий.

— Тот самый, который так печется о свечах? Это он ваш духовник?

— Он был моим духовником, милорд. И ее. Вы только представьте себе, как это тяжко — знать и не знать!

— Но потом вы сменили духовника? Когда?

— Я... Нет, милорд.

— Стало быть, он и сейчас ваш духовник, если только вы вообще исповедуетесь?

— Да. Пожалуй.

— Милорд настоятель, когда вы в последний раз были у исповеди?

— Не помню.

— Месяц назад? Год? Два?

— Я же говорю, не помню!

Вопросы давили и сковывали его, неправые вопросы, на которые не было ответа.

— И все это время вы чуждались равных вам по духу и жили среди людей, которые, сколько нам известно, погрязли в грехах?

Этот вопрос встал перед ним, как огромная гора. Он увидел, на какую высоту должен взобраться его ум по шатким стремянкам, чтобы дать ответ, и приготовился снова лезть наверх. Он встал, подхватил правой рукой подол рясы, пропустил его между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс.

Все семеро тоже встали. Но они были недвижны в сравнении со святыми, которые с грохотом прыгали на окнах.

Визитатор медленно сел. Он снова дружелюбно улыбался.

— Вы измучены трудами, милорд. Мы продолжим наш разговор завтра.

— Но пока мы тут теряем время, там, за окнами, они...

— Властью, данною мне этой печатью, я приказываю вам удалиться к себе.

Он сказал это ласково и мягко; но когда Джослин взглянул на печать, он сразу понял, что ответить нечего. Он повернулся, и семеро поклонились ему; но он сказал себе: «Теперь уж незачем кланяться!» Он шел по звонкому мозаичному полу, и отец Безликий не отставал от него ни на шаг. Дверь затворилась; а в аркаде стояли равные ему по духу. Они подросли немного, но все-таки были совсем маленькие. Он прошел через их ряды, провожаемый взглядами, и сразу забыл о них.

У портала он прислушался и вгляделся, стараясь понять, что творят бесы со стихиями. Они вырвались на волю или вот-вот вырвутся; но все равно они уже сделали свое дело. Ветер перешел с юго-востока на восток, и по эту сторону собора, у стены, было затишье. Струи дождя не хлестали здесь, вода падала лишь из водостоков, извергалась из каменных ртов и заливала мощеную дорожку у ступеней. Но несмотря на этот потоп, небо было высокое и светлое, нити облаков словно переплетались друг с другом. Дождь шел не из видимых облаков. Он словно рождал-

ся из воздуха — как будто воздух был губкой, из которой во все стороны брызгала вода.

Отец Безликий был рядом.

— Пойдемте, милорд.

Плащ окутал плечи Джослина.

— Надвиньте капюшон, милорд. Вот так.

Локоть ему сжали, спокойно, уверенно.

— В эту сторону, милорд. Сюда.

Когда они отошли от стены, ветер набросился на них и погнал к дому. Они поднялись в спальню Джослина, он сбросил плащ на руку священнику и застыл на месте, глядя в пол. Петля все так же стягивала ему грудь.

— Я не засну, пока дело не завершено.

Он повернулся к окну и увидел, что дождь хлещет в стекло, как из ведра. Он чувствовал, как за спиной его ангел борется с диаволом.

— Ступайте сию же минуту. Скажите им, что нужно вбить Гвоздь немедля, иначе будет поздно. Я должен опередить...

Он закрыл глаза и сразу почувствовал, что не может молиться. Снова открыв глаза, он увидел, что отец Безликий мешкает.

Он резко приказал ему идти.

— Вы пока еще обязаны мне повиноваться. Ступайте!

Когда он опять поднял глаза, маленький священник исчез.

Он принялся шагать из угла в угол. «Как только я вобью Гвоздь,— подумал он,— шпиль и ведьма перестанут меня преследовать. Быть может, когда-нибудь я узнаю, как она была порочна, да, порочна. Но сейчас главное — шпиль!.. И Гвоздь».

Он подошел к окну, но ничего не увидел сквозь капли, которые прыгали, метались по стеклу и вдруг исчезали, словно чья-то рука срывала их оттуда. Он ждал известий, но никто не приходил. «Я назвал себя дураком,— подумал он,— и даже не подозревал, как я прав. Надо было пойти самому — зачем я здесь?» Но он все стоял у окна, стиснув руки, шевеля губами, а там, снаружи, ползли сумерки и ревел ветер. Когда прямоугольник окна потускнел, он почувствовал, что ноги уже не держат его; тогда он лег на кровать, не раздеваясь, и ждал. Вдруг он услышал грохот и треск где-то над крышей своего дома и подскочил. Больше он не мог лежать, а приподнялся на локте в густой темноте и вслушивался. Сто раз Джослин уже видел, как шпиль рушится, сто раз слышал, как он рушится, а потом гроза врывалась и начинала бушевать в нем, разламывая голову. Он пробовал задремать, но не мог отличить сон от яви — все было кошмаром. Он пробовал думать о другом, но лишь убедился, что шпиль прочно стоит у него в голове и ни о чем ином он думать не может. Иногда ветер ненадолго стихал, и сердце его вздрагивало от радости; но ветер налетал снова и бил в окно, как тяжелый молот, а потом рев его стал непрерывным.

Джослин задремывал и пробуждался. Среди ночи в окно ворвался ослепительный свет, и он весь сжался в комок, но гром потонул в реве ветра. А потом что-то снова грохотало над крышей, и сыпалась черепица. Он подумал, что если будет смотреть в окно, то при вспышке молнии увидит, цел ли шпиль, сполз с постели и встал у окна. Но когда снова вспыхнула молния, он увидел лишь, что окно выходит совсем не туда, куда надо; тогда он повернулся и наконец разглядел темный четырехугольник. Он придвинулся к окну вплотную, прижался к стеклу лицом, вслушиваясь в клокотание воды, и тут снова вспыхнула молния. Вспыхнула и мгновенно погасла. Она полоснула болью по глазам, и даже когда он закрыл лицо руками, свет померк не сразу, переходя в зеленое зарево. Он знал, что громада, которая высилась среди света, это башня,

но не мог сказать, какой она формы, накренилась ли она и есть ли на ней шпиль. Он ощупью добрался до кровати и лег. Он лежал ничком и, отгоняя все прочие мысли, старался думать о давних временах, когда он был счастлив,— о временах, проведенных на солнечном берегу моря с отцом Ансельмом, который наставлял послушников, или, вернее, одного послушника; а потом он снова встал и долго стоял у окна. Но теперь молния вспыхнула далеко за собором, и ему показалось, будто вся черная бесформенная громада устремилась прямо на него. Тогда он снова лег и сам не знал, забылся ли он сном или просто лишился чувств.

Он выбрался из глубокого колодца. Над колодцем, как пелена, висел глухой шум; но не это заставило его подняться наверх. Раздавались еще и другие звуки — пронзительные крики, похожие на птичьи. И он вдруг проснулся и понял, где он, а в комнате плавал невыразимо тусклый свет. Крики доносились с лестницы.

Он скатился с кровати и бросился к дверям.

— Я здесь! Мужайтесь, дети мои!

Но голоса рыдали и взвизгивали:

— ... ныне и в смертный час...

— Отец!..

Он крикнул с лестницы:

— Вам не будет вреда!

Какие-то руки хватали его за ноги, тянули за подол рясы.

— Город рушится!

— ... всю крышу дома на кладбище, и разнесло вдребезги...

Он крикнул сверху.

— А шпиль?

Руки ползли все выше по его телу, чья-то борода ткнулась ему в лицо.

— Он рушится, преподобный отец. Еще с вечера от парапета отваливались камни...

Он попятился, метнулся к окну и стал бессмысленно скоблить пальцами тусклую муть, словно мог стереть ее, как краску. Потом он снова выбежал на лестницу.

— Сатана вырвался на волю! Но вам вреда не будет!

— Помоги нам, преподобный отец! Молись за нас!

И тогда, в серой мгле, среди мелькания рук и рева ветра, он понял, что должен сделать. Он ринулся вперед, растолкал всех, вырвал подол рясы, стряхнул руку со своего локтя. И вот он уже на свободе, а под ногами у него каменные ступени. Он добрался до прихожей, до двери со щеколдой. Он ощупью поднял щеколду, и дверь с грохотом распахнулась, отшвырнув его назад, к дальней стене. Тогда он пополз стороной, прячась от ветра, и с трудом встал на пороге. Ветер снова отшвырнул его, он ударился о стену и распластался на ней, тяжело дыша. А потом ветер выпустил его из своей пасти, и он рухнул на мощеную дорожку. Он поднялся, шагнул вперед, но ветер снова набросился на него и снова выпустил, и тогда он упал на четвереньки; он промок до костей, словно окунулся в реку. Смутная мысль, что теперь он трудится точно так же, как строители, мелькнула у него, и он рванулся по дорожке к кладбищу. Горсть осколков ударила в лицо, обжигая, как крапива. Он укрылся за холмиком с деревянным крестом; ряса хлестала его по ногам, и он заткнул подол за пояс. Откуда-то сорвалась доска и ударила его в бедро, причинив жестокую боль.

Он приподнял голову над спасительным холмиком и вгляделся в серый туман; и в этот миг сатана в образе дикой кошки, огромной, как вселенная, припав у горизонта на все четыре лапы, прыгнул с северо-востока и с визгом обрушился на Джослина и на его безумство. Плащ

лопнул у ворота и улетел прочь, трепеща черными крыльями, как ворона, но Джослин крепко держался за крест. Он решил перехитрить дикую кошку, дождаться, пока она обессилит. А потом он пополз от могилы к могиле, хватаясь за кресты и укрываясь за холмиками, добрался, наконец, до самого надежного укрытия — западной стены собора, скользнул за дверь и привалился к ней спиной, хватая ртом воздух. В первый миг ему показалось, что собор полон людей. Но потом он понял, что огоньки свечей плывут лишь у него в глазах, а пение — это голоса всех бесов, вырвавшихся из ада. Они кишели в темной вышине, стучали, гремели, бились в окна, одержимые неистовой яростью, и под их ударами большое окно над порталом трещало, как парус. Они кидались на Джослина, но он обращал на них не больше внимания, чем на простых птиц, потому что уже не был себе хозяином, а повинуясь иной воле, бодрствовал и спал одновременно. «У-у! У-у! — завывали они.— А-а-а-а! А-а!» — и хлестали его чешуйчатыми крылами, а потом взмывали и бились о поющие опоры, об окна и свод, который весь содрогался; его ноги бежали через полутемный неф, и он слышал, как кто-то, быть может, он сам, вторит этим жутким крикам. Он слышал, как стонали аркады, напрягая свои каменные плечи. Когда он добежал до покинутого престола, разъяренные бесы стали прыгать на него с купола. Он нашарил на престоле серебряный ковчежец и грубо схватил его, как будто там был самый обыкновенный гвоздь. В одном трансепте что-то грохнуло, загремели и задребезжали камни, а из другого трансепта донесся удар и льдистый звон стекла. У винтовой лесенки бесы набросились на него, но он отбился от них Гвоздем. Он лез наверх, и сердце рвалось у него из груди, глаза же, пока он добрался до основания башни, почти ослепли от плясавших перед ними ярких огней. И уши оглохли; потому что тихие сетования шпиля превратились в крики, вопли и рев торжествующего сатаны, они, словно черный туман, поглотили весь мир. Камни и бревна уже не просто покачивались. Они кренились так, что его швыряло из стороны в сторону, и он цеплялся за стремянки, как моряк за мачту. Где-то рядом, сквозь рев, что-то непрерывно трещало и падало. В деревянной клетке наверху башни пол был густо усеян каменными обломками, и по этим обломкам он добрался до первой стремянки внутри шпиля. Слева от себя он увидел, как один из бесов медленно развевает и захлопывает серую пасть рассвета. А потом он в темноте, зигзагами, взбирался по стремянкам,— конец одной был оторван и повис в воздухе, другая согнулась и гудела, как струна. Сквозь тьму сыпались осколки, они царапали и кололи его, ангел жег и давил ему спину, а он, завернув ковчег в подол рясы, лез все вверх, вверх, в тесноту каменной трубы, и чувствовал, как бревна бьются о каменную кожу, а потом, наконец, втиснулся в последнее пространство, где все кончалось, ощупью открыл ковчег, сорвал покров, уперся локтем и коленом, зажал Гвоздь между пальцами по-плотницки и стал бить по нему непрочным серебряным ковчежцем, вгоняя его в дерево вслепую, на ощупь, и все бил, бил...

Грохот, который бушевал на шпиле, и самый шпиль исчезли из его головы. Джослин выронил ковчежец и не слышал, как он падал, прыгая из стороны в сторону. Он начал медленно спускаться, со ступени на ступень. Хватаясь за перекладины, он чувствовал, как дрожит его рука, и, не в силах унять эту дрожь, припадал к стремянке всем телом. До винтовой лесенки он добрался уже ползком.

Неф по-прежнему был во власти бесов, зато шпиль стал теперь для них недоступен. Но сам Джослин чувствовал себя беззащитным. Ангел покинул его, и диавольское обольщение стискивало его, словно горячая рука. Он чувствовал, что погружается в бездонные воды сна, и не в силах был этому противиться. Он сполз с лестницы в серую полутьму гале-

реи, лег ничком на растресканные камни, и все вокруг словно осиял тихий свет. Бесы уже не визжали, а пели. Они пели тихо и не знали милосердия. И в его голове они обернулись людьми.

Он сказал растресканным камням:

— Я вбил Гвоздь. Если бы не было Гвоздя, вы могли бы обрушиться!

Но бесы потихоньку окружили его и явили ему видение, которое приближалось к нему со всех сторон. Он вдруг увидел залитый светом двор собора, где в тени вязов густо росли маргаритки. Там плясали бесы, три бесенка в образе маленьких, прелестных девочек. И он сам приблизился к ним, ступая по длинной полосе тени. Они плясали, хлопали в ладоши и пели:

Не было гвоздя — подкова пропала,
Не было подковы — лошадь захромала,
Лошадь захромала — командир убит,
Конница разбита, армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя...

И он услышал свой собственный веселый и еще молодой голос, который подхватил:

— *Потому что в кузнице не было гвоздя!* Поди сюда, дитя.

Она приблизилась к нему по зеленой траве, а остальные два бесенка исчезли, и он стоял, глядя на нее, восхищенный ее невинностью и красотой. Он услышал свои ласковые, робкие слова, полные недоумения, увидел, как она нетерпеливо переминается, прячет руки за спину, и ее рыжие волосы встрепаны, и она почесывает ногой тонкую ногу; услышал, как она ответила в своей беспредельной наивности:

— Да ведь мы же просто играем, отец мой!

Над этим неземным миром синело ясное небо, здесь царило смирение и не было греха. Она шла к нему, обнаженная, распустив рыжие волосы. Она улыбалась и мычала пустым ртом. И он знал, что это мычание объясняет все, исцеляет всякую боль и ничего не оставляет сокрытым, потому что в этом — сущность неземного. Он не видел бесовского лица, потому что и в этом тоже была сущность неземного; но он знал, что она здесь и устремляется к нему всем своим существом, как и он к ней. Его захлестнула волна невыразимой нежности, и волны набегали одна на другую, и с ними пришло искупление.

А потом все исчезло.

Глава десятая

В себя он приходил медленно. Щека его лежала на растресканных камнях, и некуда было спрятаться от дневного света. Но даже открыв глаза, он долго не мог пошевельнуться, только взгляд не был скован. Он послал взгляд вдоль длинной галереи и отыскал знакомую могильную плиту. Он стал внимательно рассматривать ее дюйм за дюймом, словно хотел заполнить время, боясь, как бы его не заполнило что-нибудь худшее. Но это не помогло, и ничто не могло помочь. В конце концов, беспомощный и покинутый, он оказался во власти своего прозрения, как в тисках.

Только теперь он заговорил.

— Ну, конечно. Я должен был знать. Должен был понять.

В соборе раздался шум — где-то стукнула дверь, послышались голоса. Он встал и заковылял к средокрестию. У опор он услышал крики. Подбежали два сторожа, за ними поспешал отец Адам. Джослин ждал священника, уронив голову и руки.

— Чего от меня хотят?

— Пойдемте. Она ждет.

— Она?

Но спросив это, он сразу вспомнил, что она умерла; а ждет Элисон, которая во что бы то ни стало хочет покоиться в соборе.

— Я поговорю с ней. Наверное, она кое-что знает. В конце концов в этом была ее жизнь.

Они вместе прошли через неф, и сторожа не отставали от них. В углу, где он обычно видел ее, кто-то стоял, и сердце его дрогнуло; но это был немой юноша, теперь он даже не мычал. Джослин знал, что позор покрыл и немого, поэтому он отвернулся к двери, куда его вели.

На дворике, перед своим домом, он остановился.

— Мне еще можно войти?

— Да, это разрешено. Пока.

Он кивнул и поднялся по знакомым ступеням. Но зала переменилась, как переменилось многое. В камине пылал огонь, повсюду горели восковые свечи, как на алтаре, у камина лежал ковер и стояли два стула. Джослин едва различал стулья, потому что свечи слепили ему глаза, и он подумал о том, как похожи эти свечи на яркие огни, которые иногда плыли перед его глазами. Но все равно у него не было времени рассмотреть все перемены, потому что на стуле, по другую сторону камина, сидела женщина, и другие женщины стояли у нее за спиной. Когда он подошел к ковру, она встала, преклонила колени и, поцеловав ему руку, тихо сказала:

— Преподобный отец! Джослин!

А потом вдруг вскочила, обернулась к остальным и затараторила:

— Горячую воду, полотенца, гребень...

Он поднял руку и остановил ее.

— Это ни к чему.

Помолчав, он взглянул на женщин.

— Пускай они нас оставят.

Тени женщин уползли прочь; когда они исчезли, она взяла руку Джослина, легонько сжала и усадила его на стул; он чувствовал левым боком приятное тепло камина. Она была маленькая, почти как ребенок, и даже когда он сидел, ее лицо было лишь чуть выше его глаз. Она посмотрела куда-то поверх его плеча.

— Племянник, но и ты отошлешь своего священника?

— Нет, он останется. Я под его надзором. И все равно нам нельзя быть наедине.

Она засмеялась ему в лицо.

— Благодарю за любезность.

Но он не понял ее, да и не пытался понять. Она серьезно кивнула, словно знала это.

— Я и забыла, какой ты провинциал.

— Я?

Провинциал. Тот, кто живет в провинции, в глуши, и не видит дальше своего носа.

— Может быть.

Но он мог рассмотреть ее лицо, которое было совсем рядом, холеное, почти такое же блестящее и гладкое, как жемчуга, украшавшие ее черные волосы. Ну, конечно, волосы у нее черные или были когда-то

черными. Он рассматривал ее тонкие, выгнутые брови, заглядывал в выпуклые черные зрачки. Она засмеялась, но он с досадой остановил ее:

— Молчи, женщина!

Теперь она стояла перед ним с покорной улыбкой.

Черное праздничное платье. На шее — тоже жемчуга. Рука — она словно угадала его желание и поднесла руку к его глазам — пухлая и белая. Лицо, заслоненное рукой — и она, словно опять угадав его желание, убрала руку,— улыбающееся, пухлое, как и рука, чуть излишне полное. Крошечный рот, нос с горбинкой. Веки темные, блестящие, она их, наверное, красит, ресницы длинные, густые; на них повисли прозрачные капли.

— Сестра моей матери...

Улыбающееся лицо исказила гримаса, капли упали с ресниц. Но голос прозвучал легко и беспечно.

— Непутевая сестра...

Она сделала быстрое движение, и в руке у нее оказался белый лоскут.

— Пускай хоть так...

Она наклонилась к нему, и на него вдруг повеяло весной, и он зажмурился от этого дурманящего запаха. Сквозь сутолоку воспоминаний он почувствовал, как белый лоскут коснулся его лица и оставил следы на веках, почувствовал руку у себя на голове. И снова услышал ее тихий голос.

— В конце концов даже такие...

Он открыл глаза, ощущая весенний аромат, а она все возилась с ним. Теперь ее лицо было совсем близко, и он видел, какое оно изнеженное, холеное. Только вблизи можно было разглядеть на гладкой коже тоненькие лучики. Она не позволяла своему лицу ни полнеть, ни худеть сверх меры, это было видно по глубже обозначенным бороздкам возле глаз и по спокойному лбу, который она отстояла от морщин. Она то и дело меняла выражение лица, отстаивая его, не давая ему одрябнуть, обвиснуть. Только глаза, маленький рот и нос были так несокрушимы, что их не приходилось отстаивать. Он почувствовал смутную жалость к этому лицу, но не знал, как ее выразить, и пробормотал только:

— Спасибо, спасибо.

Наконец, она оставила его в покое, перешла через ковер, унося с собой запах весны, повернулась и села лицом к нему.

— Ну, племянник?

И он вспомнил, что она приехала вовсе не для того, чтобы отвечать на его вопросы, ведь она добивается своего. Он потер висок.

— Вы писали мне насчет погребения в соборе, но я...

Она всплеснула руками и воскликнула:

— Нет, нет! Не надо об этом!

Но он уже заговорил деловым тоном:

— Теперь, вероятно, это будет зависеть не от меня, хотя пока еще ничего не известно. Отец Адам...

Он повысил голос:

— Отец Адам!

— Да, преподобный отец? Я вас не слышу. Может быть, мне подойти ближе?

«Что я хотел спросить у него? Или у нее?»

— Нет, не надо.

Огонь плясал у него в глазах.

— Да нет же, Джослин! Я приехала потому, что беспокоилась... беспокоилась о тебе. Поверь!

— Обо мне? О провинциале?

— Тебя знают по всей стране. И даже по всему миру.

— Ваш прах может в некотором смысле, я прошу прощения, осквернить храм.

И тут он увидел, как мгновенно она может вспылить.

— А сам ты его не осквернил? А эти люди? Это запустение? И этот каменный молот, который висит над головой и ждет своего часа?

Он ответил кротко, глядя в огонь:

— Женщине это нелегко постигнуть. Поймите, я был избран. И с тех пор я всю жизнь искал свое предназначение, а потом исполнил его. Я принес себя в жертву. И надо судить очень, очень осторожно.

— Избран?

— Я уверен, вы получите здесь место для погребения. Но сам я едва ли согласился бы на это.

— Избран?

— Да, богом. Ведь в конце концов избирает бог. А я избрал Роджера-Каменщика. Он один мог это исполнить... он — и никто другой. Остальное последовало неизбежно.

Услышав ее смех, он вздрогнул и поднял глаза.

— Слушай, племянник. Ведь это я тебя избрала. Нет, ты послушай меня. Дело было не в Виндзоре, а в охотничьем замке. Мы с ним отдыхали в постели после трапезы...

— Но при чем здесь я?

— Я усладила его, и он захотел сделать мне подарок, а у меня было все, чего желала душа...

— Я не хочу слушать.

— Но я была счастлива и поэтому великодушна, и в голову мне пришла мысль. Я сказала: «У моей сестры есть сын...»

Она снова улыбалась, но теперь уже печально.

— Правда, я готова признать, что мною двигало не только великодушие. Она была такая набожная, постная и вечно меня... Ну ладно, пускай это было наполовину великодушие. Потому что ведь ты в нее, такой же упрямой, злой...

— Женщина... Что он на это сказал?

— Ах, Джослин, сядь, прошу тебя! Мне действует на нервы, когда ты стоишь, нахохлившись, как птица под дождем. Мне кажется, в ту минуту я немного злорадствовала.

— *Что он сказал?*

— Он сказал: «Мы сунем ему в рот лакомый кусочек». Так и сказал. Невзначай. Тогда я и говорю: «Он послушник в каком-то монастыре». И тут я захихикала, и он захохотал, и мы схватили друг друга в объятия и стали кататься по постели — ну, скажи сам, разве это было не смешно? Мы оба были молоды. Нам это понравилось. Джослин?..

Он увидел, что она стоит подле него на коленях.

— Джослин! Не все ли равно? Ведь в этом жизнь.

Он сказал хрипло:

— Все, что я сделал...— Он помолчал.— Я был уверен, что принес свою жизнь в жертву во имя великого дела. Быть может, это и есть неисповедимый путь свершения. Ведь Гвоздь у нас...

— Какой гвоздь, племянник? Ты говоришь так туманно!

— Наш епископ Вальтер прислал из Рима...

— Я знаю Рим. И епископа Вальтера.

— Ну вот, теперь вы сами видите. При чем тут я? Только шпиль имеет значение, потому что... потому что...

— Почему же?

— Это выше вашего понимания. Он прибил его к небу. Слепой глупец, я просил денег. А он сделал лучше.

«Ну вот,— подумал он.— Вот и все». Но нет, он снова услышал ее задыхающийся голос:

— Ты просил у него денег, а он прислал гвоздь!

— Именно так.

— *Вальтер!*

Она засмеялась, и смех кругами поплыл вверх, а потом у нее перехватило дыхание, и сквозь тишину в его ушах раздалось пение опор. Ни ясных мыслей, ни доводов не было в его голове; подступила дурнота, и все его тело содрогалось. А потом дурнота захлестнула его.

Он почувствовал, что она схватила его за руки.

— Джослин! Джослин! Ничто не надо принимать так близко к сердцу.

Он открыл глаза.

— Ты должен верить, Джослин!

— Верить?

— Да, да. Верь в свое... в свое призвание... и в гвоздь...

Она трясла его за плечи.

— Послушай меня. Послушай же! Я не сказала бы тебе, если б не...

— Это неважно.

— Ты что-то хотел спросить у меня. Подумай, соберись с мыслями. Что ты хотел спросить?

Он взглянул ей в глаза и прочел в них страх.

— Что может значить...

Тут он подумал, что оба они, как дети, загадывают друг другу загадки, и не мог удержать визгливого смеха.

— Да, теперь я вспомнил. Что может значить, когда человек думает лишь об одном — и не о дозволенном, не о предписанном, но о запретном? Тоскуешь и вспоминаешь, радостно и в то же время с тайным мучением...

— Но о чем же?

— А когда они умирают... а они умирают, да, умирают... припоминаешь то, чего никогда не было с ней...

— С ней?

— Ясно видишь ее, каждую черточку, среди неземного... видишь только ее одну... и знаешь, что это неизбежно следует из того, что было прежде...

Она прошептала над самым его ухом:

— И это случилось с тобой?

— Мне нет ни минуты покоя. И в этом — неизбежность.— Он серьезно посмотрел на нее и сказал прямо ей в лицо: — Вы, конечно, это знаете. Скажите мне. Больше я ничего не хочу. Это колдовство, да? Это *непременно* должно быть колдовство!

Но она отодвинулась, отшатнулась от него, встала, перешла через ковер. И оставила за собою жуткий шепот:

— Да. Колдовство. Колдовство.

Она куда-то исчезла, а он все сидел и торжественно кивал огню.

— Это предопределено. И многое еще будет погублено. Да, многое.

Он вспомнил об отце Адаме, который стоял поодаль, в тени.

— А вы что скажете?

— Ее путь ведет прямо в ад.

Он выбросил ее из головы, и она исчезла навсегда, словно капля канула в реку.

— Повсюду суета.

Стало тихо, а потом отец Адам сказал:

— Вам надо уснуть.

— Мне теперь уж никогда не уснуть.

— Пойдемте, отец мой.

— Нет, я буду ждать здесь. Это предопределено, и не все еще кончено.

И он все сидел, глядя, как бесчисленные искры роятся над огнем. Иногда он говорил, но совсем не отцу Адаму:

— И все-таки он стоит.

Потом он начал стонать и раскачиваться. А много времени спустя вскочил и воскликнул:

— Какое кощунство!

Прошли часы, в камине остались лишь угли, и тогда он снова заговорил:

— Есть родство меж людьми, которые хоть раз сидели подле угасающего огня и мерили по нему свою жизнь.

В окна просочился рассвет, бледнея вокруг оплывших свечей. А когда последняя искра в камине угасла, явился посланец. В нем была непоколебимость веры, он мычал и манил за собой. Джослин медленно встал.

— Отец мой, вы позволите мне пойти?

Страж гихонько покачал головой.

— Мы пойдем вместе.

Джослин потупился и уже не поднимал глаз, пока они под затихающими порывами ветра шли к дверям собора. В нефе все было без перемен, и Джослин сказал немому, не глядя ему в лицо:

— Покажи нам, сын мой.

Немой, осторожно ступая на носках, повел их к юго-восточной опоре, показал небольшое отверстие, которое пробил в ней, и так же на носках ушел. Джослин понял, что он должен сделать. Он вытащил из отверстия треугольное долото, взял с пола железный щуп и всадил его в опору. Щуп уходил все глубже, глубже и со скрежетом пронзил каменную труху, которую исполины, жившие на земле в далекие времена, засыпали в опору.

И тут все слилось. Его душа ринулась вниз, в бездну, которая была внутри него,— туда, в бездну, отвергни или прими, уничтожь меня, обрати в камень вместе с остальными; в тот же миг тело его тоже ринулось вниз, и он коленями, лицом, грудью рухнул на камни.

И тогда его ангел простер крыла, которыми закрывал свои раздвоенные копыта, и вытянул его по всей спине раскаленным добела цепом. Жгучий огонь опалил ему хребет, и он вскрикнул, потому что не мог этого вынести, и все же знал, что должен вынести. А потом чьи-то неловкие руки попытались его поднять; но он не мог сказать им про цеп, потому что всем телом обвился вокруг опор, как раздавленная змея. Тело кричало, руки силились поднять его, а Джослин лежал внизу под каменной грудой и знал теперь, что по крайней мере одна истовая молитва услышана.

Когда боль схлынула, он почувствовал, что его бережно уносят от жертвенника. Он лежал на спине, которой у него не было, и ждал. Ангел с цепом не в силах был сделать большего; нет, большего не могло принять тело, как ни жаждала этого душа. И теперь спины просто не было, пришло совершенное бесчувствие.

Его положили на кровать в спальне, и он видел над собой каменные ребра потолка. Иногда ангел покидал его, и он обретал способность думать.

«Я отдал спину великому делу.

Ему.

Ей.

Тебе, Господи».

Иногда он шептал с досадой:

— Неужели рухнул?

Человек, похожий на деревянную куклу, успокаивал его:

— Нет еще.

В один из дней голова его несколько прояснилась и пришла мысль:

— Сильно ли он поврежден?

— Я помогу вам сесть, отец мой, и вы сами увидите в окно.

Он завертел головой на подушке.

— Не хочу на него смотреть.

Стало темней, и Джослин понял, что отец Адам подошел к окну.

— На первый взгляд кажется, будто он невредим. Но он слегка накренился и угрожает аркадам. Он развалил парапет башни. Много камня разбито.

Он полежал тихо. Потом пробормотал:

— Когда снова поднимется ветер... Когда поднимется ветер...

Деревянная кукла подошла, склонилась над ним и тихо заговорила. Вблизи было видно, что у нее есть некое подобие лица.

— Не надо так тревожиться, отец мой. Конечно, вред немалый, но вы, хоть и заблуждались, строили с верой. Ваш грех невелик в сравнении с прочими грехами. Вся жизнь наша — шаткое здание.

Джослин снова завертел головой на подушке.

— Что вы знаете, отец Безликий? Вы видите только наружность вещей. Нет, вы не знаете и десятой доли.

И тут карающий ангел, который, наверное, стоял рядом с отцом Адамом, ударил снова. Когда Джослин пришел в себя, отец Адам по-прежнему был подле него и говорил так, словно никто их не прерывал:

— Вспомни о своей вере, сын мой.

«Моя вера,— подумал Джослин.— Что она такое?» Но он не сказал этого лицу, черты которого могли когда-нибудь проясниться. Он только глотнул воздуху и засмеялся.

— Хотите, я покажу вам свою веру? Она у меня здесь, в старом сундуке. Маленькая книжечка в левом углу.

Он помолчал, перевел дух и засмеялся снова.

— Возьмите. Прочитайте.

Послышался шорох, шелестение, стукнула крышка. Потом отец Адам заслонил окно и спросил:

— Вслух?

— Вслух.

«Чернила, наверное, поблекли,— подумал он.— Ансельм тогда был еще молодой, а Роджер-Каменщик — совсем мальчишка. А она... И я был молодой или, по крайней мере, моложе».

В вечерних сумерках заскрипел голос отца Адама:

— «К тому времени я уже три года исполнял это служение, и однажды вечером я стоял на коленях у себя в молельне и изо всех своих слабых сил молил бога избавить меня от гордыни. Потому что я был молод и преисполнен чудовищной гордыни, ослепленный блеском своего храма. Одна лишь гордыня и была во мне...»

— Это правда.

— «Мне было явлено беспредельное милосердие. В своем ничтожестве я стремился, сколько мог, возвыситься духом. Я пожелал воочию увидеть храм непреложно стоящим на моем пути; и это было тем легче, что его стены были видны мне через окно...»

Джослин уже снова вертел головой на подушке. Он думал: «Что это объясняет? Ничего! Ничего!»

— Неужели ничего?

—«Я видел очертания крыши, стен, выступы трансептов, башенки, которые выстроились вдоль парапетов...»

— Неужели это ничего не означало, отец мой?

— «Теперь я знаю, кто и зачем направил туда мой взгляд. Но в то время я еще ничего не знал, я мог только стоять на коленях и смотреть, пока не исполнился равнодушия к тому, что видел. И вдруг сердце мое дрогнуло; должно быть, в нем поднялось некое чувство. Оно крепло, устремлялось все выше, и у вершины вспыхнуло животворным огнем...»

— Это правда... верьте мне!

—«... и вдруг исчезло, а я остался, пригвожденный к месту. Потому что в синеве неба я увидел ближнюю башенку; это было истинное воплощение моей молитвы в камне. Оно вознеслось над хитросплетением суетных мыслей, и с ними вознеслось сердце, ввысь, все тоньше, острее, и на самой вершине вспыхнуло пламя, изваянное из камня, которое я только что созерцал».

— Да, так и было. Вам стоит только обернуться, и вы увидите ту башенку.

— «Дети мои, если уже это поразило мой скудный ум, то как описать чудо, которое свершилось вслед за тем? Я смотрел и все более прозревал. Словно эта башенка открыла передо мной огромную книгу. Словно я обрел вдруг новый слух и новое зрение. Весь храм — а я-то, в безумии своей молодости, хулил его за то, что он порождал во мне гордыню! — весь храм открылся мне. Весь он заговорил. «Мы труд»,— говорили стены. Стрельчатые окна складывали ладони и пели: «Мы — молитва». А треугольник крыши словно Троица... Но как это объяснить? Я хотел отречься от своего дома; но он возвратился мне тысячекрат».

— Воистину так.

— «Я бросился к дверям и вбежал в собор. А теперь я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Собор предстал передо мной в образе человека, возносящего молитву. А изнутри он был великолепной книгой, в которой начертано наставление для этого человека. Помню, уже наступил зимний вечер, и в нефе темнело. Патриархи и святые сияли в окнах; и на всех алтарях в боковых нефах горели свечи, возжженные вами. Еще пахло ладаном, и в капеллах звучали голоса священников, служивших мессу... но это вы знаете сами! Я шел вперед — или нет, меня вел мой ликующий дух, и ликование росло с каждым шагом, и я был исполнен твердости и самоотречения. Когда я дошел до опор, мне оставалось лишь пасть на лицо свое...»

— У этих самых опор. Сколько раз с того дня я падал там ниц.

— «Потому что я как бы слился воедино с мудрыми и святыми... или нет — со святыми и мудрыми строителями...»

— Опоры гнутся!

— «Мне стал понятен их тайный язык, такой ясный, видимый всякому, имеющему глаза, чтобы видеть. В тот миг Его поучение о небе и аде лежало передо мной, и я понял то ничтожное место, которое отведено мне Его промыслом. Сердце мое снова устремилось ввысь и воздвигло во мне храм — стены, башенки, покатую крышу — во всей истинности и непреложности; и в этом новообретенном смирении и новообретенном знании во мне забил источник — вверх, в стороны, ввысь, сквозь внепространство,— пламенный, светлый, всеподчиняющий, непреоборимый (да и кто мог, кто посмел бы ему противоборствовать?), беспощадный, неудержимый, пылающий источник духа, безумное мое горение во имя Твое...»

— О Господи!

— «А вверху, если только слово «верх» может что-нибудь тут значить, был некий образ, некий дар, в обладании которым несть гордыни. Тело мое покоилось на камнях, мягких, как пух, и вмиг, во мгновение ока, оно преобразилось, воскресло, отринуло всяческую суету. Потом видение исчезло; но воспоминание о нем, которое было для меня подобно манне, обрело плоть, оно воплотилось в шпиль, в сердце каменной книги, в ее венец, в вершину молитвы!»

— А теперь это уродливая развалина. Ничего похожего... Ничего.

— «Наконец я встал. Свечи горели по-прежнему и ничуть не стали короче, священники служили мессу — ведь по жалкой людской мере протек лишь единый миг. Я шел через неф, и образ храма стоял у меня перед глазами. И вот что я скажу вам, дети мои. Духовное трижды вещественней земного! Только на полпути к своему дому я понял истинный смысл видения. Когда я обернулся, чтобы осенить себя крестом, я вдруг увидел, что собору чего-то не хватает. Он стоял, как всегда, но вершины молитвы, устремленной ввысь из его сердца, если говорить на языке вещей, не было вовсе. И в тот миг мне открылось, зачем бог привел сюда меня, своего недостойного служителя...»

Скрипучий голос умолк. Джослин слышал, как отец Адам перелистывал чистые страницы. Потом стало тихо. Он закрыл глаза и в изнеможении провел рукой по лбу.

— Да, это мои слова. Когда я пал ниц и принес себя в жертву делу, я думал, что принести в жертву себя — то же самое, что принести в жертву все. Я был глуп.

Отец Адам заговорил снова. Теперь в его голосе появилось что-то новое, в нем звучало удивление и беспокойство.

— И только?

— Я считал себя избранником, сосудом духа и главное — любви, я верил в свое предназначение.

— А за этим неизбежно последовало все остальное — долги, запустение в храме, раздоры?

— И еще многое, очень многое. Вы даже не знаете. И сам я не знаю. Криводушие, нечистая совесть. Во имя дела. И в него вплелась золотая нить... Или нет. Из него произросло древо со странными цветами и плодами, со множеством побегов, цепкое, хищное, вредоносное, пагубное.

И он сразу увидел это древо, буйство листвы и цветов, перезрелый, лопнувший плод. Невозможно было проследить все сплетение его побегов до корня, освободить искаженные страданием лики, которые кричали из путаницы ветвей; он вскрикнул сам и умолк. Он лежал, оберегая спину, стараясь унять боль, которая проснулась во лбу, и неотрывно смотрел на каменное ребро потолка. Только одна мысль была у него, странная мысль:

«Я здесь, но здесь — это значит всюду и нигде».

Когда отец Адам снова заговорил, голос его уже не скрипел. Слова падали, как мелкие камни.

— Стало быть, это все.

Он отошел от окна, и в комнате стало светлее. Он приблизился к кровати и задал непонятный вопрос:

— А можете вы увидеть то, что слышите?

Джослин был нигде, он вертел головой, налитой болью, словно хотел ее стряхнуть. За окном раздались шаги, кто-то весело засвистел, выводя затейливые коленца. И он смутно увидел, как этот свист, который звучал у него в голове, исчез за углом.

— Не все ли равно?

— Значит, вы ничему не научились? Раньше, много лет назад?

«Чему я научился? Орел слетел ко мне у моря. И этого было довольно. А потом...»

— Вы слышали, что она сказала. И теперь знаете, как все вышло.

Отец Адам горячо прошептал:

— Лучше было бы повесить им жернов на шею...

«Ну нет,— подумал он.— Слишком это просто, этим ничего не объяснишь. Так не добраться до корня».

А отец Адам сказал с нескрываемым удивлением:

— Значит, вас никогда не учили молиться!

Волосы разметаны веянием духа. Рот раскрыт, но не дождевая вода изливается из него, а осанна. Джослин криво улыбнулся священнику.

— Теперь уже поздно.

Но отец Адам не улыбнулся. Он стоял боком, стиснув руки у груди. Он смотрел сверху вниз, искоса, и под взъерошенными волосами угадывались черты его лица. В голосе его зазвучал страх, словно он, наконец, увидел древо и цепкий усик скользнул по его щеке.

— Ваш духовник...

— Ансельм?

«Опять Ансельм,— подумал он.— Получается, что он ни к чему не причастен. Ведь я скрепил все своей печатью». Он сказал в ребристый потолок:

— Послушайте меня, отец Адам. Я догадываюсь о многом, и я любил их всех. Наверное, оттого она и преследует меня. Вы неизмеримо лучше их всех, потому что таких страшных, таких окаянных людей не найти больше нигде, но ведь вы не со мной, вы не запутались, как я, в ветвях древа. Колдовство. Конечно же, это колдовство. Как иначе могли бы она и он быть такой непреодолимой преградой между мною и небом?

Дыхание послышалось над самым его ухом. Он отвел глаза от потолка, от картин прошлого, и увидел, что отец Адам стоит у кровати на коленях. Священник закрыл лицо руками и дрожал всем телом. И слова тоже дрожали меж пальцев, вырывались прерывистым бормотанием:

— Господи, смилуйся надо всеми нами!

Он быстро отнял руки от лица и перекрестился. Потом стиснул край кровати, склонил голову и снова забормотал. Бормотание стало глуше, потом смолкло.

Отец Адам поднял голову. Он улыбался. Джослин сразу увидел, какое это было заблуждение — думать, что у него нет лица. Просто оно было очерчено тонкими, нежными штрихами, которые так легко ускользают от глаза и видны лишь долгому, пристальному взгляду или подневольному взору больного, прикованного к постели.

И неожиданно для себя он крикнул этому лицу:

— Помоги мне!

Эти слова как будто отомкнули замок. Он почувствовал, что дрожит, как дрожал отец Адам. Дрожь отдалась болью в спине и голове, но зато безбрежное море скорби словно простерло мягкую руку, накрыло его и обильно увлажнило глаза. Он дал слезам излиться, не замечая их, потому что это было так ничтожно в сравнении с морем. А потом появилась другая рука, она легла ему на грудь, пальцы сжали плечо. И еще рука ласково гладила его по лицу.

Понемногу дрожь унялась, слезы уже не текли больше. И голос, такой же нежный, как лицо, зашептал:

— Мы начнем сначала. Некогда вам была знакома каждая ступень молитвы, но вы все забыли. И это хорошо. Многие из ступеней не для простых смертных. Это даже вменится вам в заслугу. Низшую ступень составляет словесная молитва. С нее мы и начнем, потому что оба мы подобны детям, а дети начинают с этого...

— А моя молитва, отец? Мое... видение?

Стало тихо. «Черный ангел возвращается,— подумал он.— Я знаю, чувствую его приближение. Скорей, скорей, пока не поздно!»

— А моя молитва? Мой шпиль? То, о чем вы прочли?

Теперь влага выступила у него на коже. Он почувствовал, как рука осторожно откинула волосы с его лба; но он был объят ужасом перед ангелом.

— Скорей!

— За словесной молитвой следует другая ступень, она невысока, и потому восхождение едва заметно. Здесь нам дается поддержка, утешение, отрада. Так мы даем ребенку лакомство за послушание или просто потому, что любим его. Ваша молитва, без сомнения, была хороша, но не очень.

Он вертел головой, пытаясь уйти от неотвратимого. Но из глубины, должно быть, от самых корней древа, что-то властно заставило его крикнуть в каменный потолок и в нежное, встревоженное лицо:

— Мой шпиль вознесся превыше всех ступеней, от земли до небес!

И черный ангел ударил его.

Глава одиннадцатая

Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама:

— Еще не рухнул?

И ответ был всегда один:

— Нет еще, сын мой.

Он снова строил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно.

— Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку.

Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джослин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли:

— И даже тогда не узнать.

Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело, в комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице, услышал, как заскрипел под Ансельмом стул. И тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал.

— Ансельм. Вот я в пустыне.

Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза.

— Рано или поздно это удел всякого...

«Нет,— подумал Джослин.— Так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых, но пусть и это послужит мне уроком...»

— В тяжких муках я возвратился в те далекие дни, когда жил у моря и вы были моим наставником.

Ансельм повернул к нему голову. Он был скован неловкостью; и прозвучали слова, понятные им обоим:

— В краткой жизни сей...

— Жизнь!

Он закрыл глаза, размышляя о жизни.

— Да, знаю. Я заблуждался, когда думал о своей жизни. Но было же это когда-то — я шел через мыс и пришел к вам, своему пастырю, веря, что мы избраны святым духом.

Он снова взглянул в потолок. Там сияли песчаные берега и ослепительное море.

— Я прибежал к вам.

Ансельм пошевельнулся. На лице его появилась слабая улыбка; но улыбка была недобрая.

— Вы жались к моим ногам, как пес.

— Как же вам все это вспоминается, Ансельм?

Ансельм снова смотрел в окно. Его щеки покрылись красными пятнами. Голос прозвучал глухо.

— Почему вам, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться?

— Мне?

— Почему вы обратили на меня это... юношеское обожание?

Мысли Джослина путались.

— Я? Разве?

Ансельм сказал очень тихо, очень тоскливо:

— Вы не знаете. Вы никогда не знали, как вы невыносимы. Да, невыносимы.

Джослин облизал сухие губы.

— Я... Я был... не властен в своих чувствах. И неловок.

Скорбь переполняла его, и он подождал, пока она утихнет, а потом сказал в потолок:

— Но вы, Ансельм... Вы-то сами...

Ансельм встал и принялся ходить по комнате. Потом он остановился над Джослином и застил ему свет. Он неловко повернул голову, посмотрел Джослину в глаза и отодвинулся.

— Это было давно. И едва ли что-нибудь значило. А потом... потом произошло все это! Нет. Я больше ничего не могу сказать. Мне было смешно и трогательно. И досадно. Вы всё принимали так... близко к сердцу.

— Какое там, близко к сердцу. Вы не понимали, не видели.

Ансельм воскликнул:

— А сами вы что понимаете? Вы целую жизнь висели камнем на шее у меня, у всех нас.

— Мы были избраны для великого дела. Так я думал... А сейчас я не знаю сам...

— Там мне было хорошо, хоть устав и соблюдался не слишком строго. Но вот вы, словно огромная птица, слетели...

— К наставнику...

— «Я есмь то, что есмь». Но видеть, как легко вы прыгаете со ступени на ступень — служка, дьякон, священник,— видеть вас настоятелем этого собора, хотя вы едва умели прочитать «Отче наш»; подвергнуться искушению, да, искушению, потому что куда голова, туда и хвост, а ведь все мы не святые, это надо признать, и не чужды тщеславия... и вот искушение привело меня на край погибели. Признаюсь в этом от чистого сердца. Я мог бы остаться на своем месте и по мере сил творить добро. Но вы искушали меня, и я ел от запретного плода.

— А потом?

— Потом? Вы сами знаете. Старый король умер, и ваше возвышение прекратилось.

— Да, конечно.

— И после всего я должен был выслушивать ваши исповеди, лицемерные, самовлюбленные исповеди...

Несмотря на слабость, Джослина охватило глубочайшее удивление.

— Но какой же вы тогда священник?

— Вам это должно быть известно. Если угодно, такой же, как вы. Ничтожный. И я сознаю свое ничтожество. А вы? Вспомните Айво, Джослин. Вы сделали мальчишку каноником. Потому только, что его отец дал бревна для шпиля. Вот видите. У него столько же прав в соборе, сколько у вас. Или у меня. Но от него хоть меньше вреда. Он все время на охоте. А вы душили нас, как проклятие. Когда я видел вас, облеченного властью настоятеля, у меня порой сжималось сердце и перехватывало дыхание. И вот еще что я вам скажу. Хотя теперь над нами висит эта каменная глыба, среди каноников мир и согласие, словно бальзам пролился на наши души, потому что нет вас.

— Ансельм!

— Помните, как вы обошлись со мной перед всеми канониками, когда я возражал против шпиля? Я не забыл. И никогда не забуду. Вы приказали мне при всех: «Сядьте, Ансельм!» Помните? *«Сядьте, Ансельм...»*

— Не будем об этом. Теперь уже ничего не скажешь и ничего не поправишь.

— А потом эта история со свечами.

— Я знаю.

— И наконец, Джослин, если хотите услышать все до конца, способы, которыми велась стройка...

— Уйдите, прошу вас.

— Согласитесь, это уж сверх всякой меры — принудить человека в мои годы и в моем сане быть подручным у каменщика.

— Что поделаешь... Простите меня.

— Разумеется, я вас прощаю. Прощаю.

— Я молю... Молю простить меня не за то или другое, не за эти свечи или за обиду. Простите меня за то, что я таков, каков есть.

— Я же вам сказал.

— Но в душе, Ансельм?.. Скажите, что прощаете в душе!

Шаги отзвучали и смолкли на лестнице; а потом надолго наступила тишина.

Тянулись минуты, и наконец вокруг что-то изменилось; какие-то люди заплясали перед глазами, нелепо приседая и кружась. В этой толпе он узнал только отца Адама и снова крикнул:

— Помогите мне, отец мой!

Отец Адам подошел и стал распутывать сплетение вещей. Он тянул и распутывал, но у него ничего не получалось, потому что все так тесно переплелось и посреди всего, над всем, возвышалось зловещее древо. И под конец Джослин ощущал только боль в спине (и опаляющий огонь, когда его переворачивали, чтобы обложить спину овечьей шерстью), да еще скорбь, плескавшуюся от горла до пупа. Отец Адам не заметил, что стало с его руками, но сказал Джослину, что он слаб, и поврежден в уме, и что надо собрать всю волю. Отец Адам не знал, как необходимо получить прощение от неверных душ, как для этого необходимо их понять и как это невозможно.

И тогда Джослину стало ясно, что придется убежать от отца Адама, и он прибег к хитрости. Он ждал ясного дня; а ясные дни, когда светлые блики солнца лежали на полу и Джослин отчетливо понимал, где он и что с ним, выпадали редко. Дождавшись такого дня, он притворился, будто изнемог и уснул, а сам прислушивался к шарканью отца

Адама. Он украдкой открыл один глаз и увидел, как сухая спина священника исчезла на лестнице. Тогда он собрал все силы, спустил ноги с кровати, встал и выждал, пока пройдет слабость. Потом он дошел до двери, держась за стену, напялил скуфью на встрепанные волосы, накинул на плечи плащ. Колени у него дрожали от слабости, и когда он сполз с лестницы, то увидел, что внизу пусто. Там не было уже ни огня в камине, ни свечей; но в окна щедро вливался свет; на стеклах трепетали тени. И еще в воздухе веяло свежестью, которая всколыхнула скорбь в его груди. Среди дров в камине он отыскал палку и оперся на нее.

Он постоял, подумал. «Если выйти через заднюю дверь, он меня не увидит; а я не увижу этот каменный молот».

За дверью, среди высокой, буйной травы была поленница. Благоухание ошеломило его, он прислонился к поленнице, забыв о больной спине, и ждал, пока скорбь, плескавшаяся в нем, не излилась из его глаз. А потом над головой у него что-то зашевелилось, и на миг в нем блеснула безумная надежда. Он закинул голову, выкручивая шею, и глянул вверх. Целый сонм ангелов сиял на солнце, они были розовые, золотистые, белые; они-то и благоухали, радуясь свету и воздуху. Они несли облако зеленых листьев, а среди листьев было что-то длинное, черное, струящееся. Мысль его воспарила с ангелами, и он вдруг понял, что от корня яблони произрастут новые ветви. Она была близко, за стеной, она распустила зеленое облако, завладела землей и воздухом — источник, чудо, яблоня; и он расплакался, как ребенок, сам не зная, от радости или от печали. А потом, там, где двор его дома спускался к реке и деревья склонялись над самой водой, он увидел, как блеснул и сразу исчез крылатый сапфир, вобравший в себя всю синеву неба.

Он крикнул:

— Вернись!

Но птица умчалась без возврата, как спущенная стрела. «Она не вернется никогда,— подумал он,— даже если я просижу тут весь день». Он стал утешать себя мыслью, что птица, может быть, все же вернется и сядет во всей своей красе на ветку совсем близко, но в душе знал, что этого не будет.

— Нет, зимородок не вернется ко мне.

«Пускай,— сказал он себе.— Зато мне посчастливилось его увидеть. Только мне одному». Наконец он встал и боковой дорожкой пошел к площади. Он видел в пыли конец палки и свои едва волочащиеся ноги. «Наверное, я похож на старого ворона,— думал он, когда плелся по дорожке, сгибаясь чуть ли не до земли.— Зачем я иду искать то, чего нет? Но не так-то все просто! У меня много причин, и они перепутались. Отец Адам был прав. На свете есть яблони и птицы, а я поглощен суетой».

Дойдя до Королевских ворот, он присел на каменную приступку и стал рассматривать пыльную дорогу. Но какие бы ноги ни попирали эту пыль, она все равно оставалась просто пылью, и ему стало еще грустней. Он через силу встал и брел, волоча ноги по пыли, пока не увидел у себя под самым носом уличную канаву, в которой играла голенькая девочка.

Он спросил ее:

— Где найти Роджера-Каменщика, дитя мое?

«Господи,— подумал он,— кто поверил бы, что у меня может быть такой старческий голос?» Пока он думал это, девочка, разбрызгивая грязь, выбралась из канавы и убежала. Он не знал, как перейти канаву, и зашлепал прямо по воде. А потом он увидел мужские ноги и туловище и спросил:

— Где найти Роджера-Каменщика, сын мой?

Сверху кто-то плюнул, и плевок повис на его плаще. Грубый голос сказал:

— На Новой улице.

Ноги ушли.

Он повернул направо, шаркая подошвами и палкой по булыжникам. «Новая улица такая длинная»,— подумал он; и при этой мысли силы оставили его. Он поискал взглядом, где бы присесть, но не нашел подходящего камня. Тогда он сел на землю у глиняной стены и прикрылся плащом. Он опустил капюшон на лицо и был теперь как бы в шатре.

Но и под шатром он угадал их присутствие, выглянул и увидел босые детские ноги.

— Где Роджер-Каменщик, дети мои?

Ноги ушли, разбрызгивая грязь в канаве. Камень ударил в землю возле него. «Надо идти,— подумал он.— Надо куда-то идти». Он с трудом поплелся вдоль стены и вдруг вспомнил, что Роджер-Каменщик, должно быть, сейчас в «Звезде». Он брел, левой рукой опираясь на палку, а правой держась за стену; и наконец он увидел постоялый двор со звездой на вывеске, а у ворот была каменная приступка. Тяжело дыша, он сел и сказал себе: «Не все ли рабно, ведь дальше я идти не могу».

— Роджер-Каменщик...

Ноги ушли, но вскоре вернулись, теперь их стало много, а он все повторял:

— Роджер-Каменщик... Роджер-Каменщик...

Наконец появились женские ноги и красный подол платья. Женщина вскрикнула и быстро заговорила; но он, как всегда, легко пропускал ее слова мимо ушей. «Мне жаль ее,— думал он,— жаль, но не очень, чуть-чуть. Это мой изъян, что я не могу скорбеть и о ней тоже».

Чьи-то руки подхватили его под мышки и подняли с камня, а ноги и палка волочились по земле. Он видел, как приближалась дверь, потом увидел ступени, его ноги коснулись их, сперва одна, потом другая, и палка простучала: «Тук, тук, тук». А потом была еще дверь, где-то в полутьме, и она отворилась. Руки опустили его на скамью, захлестнутого дурнотой, и исчезли, затворив дверь. Он зажмурился и ждал, когда исчезнувший мир вернется.

Первыми вернулись звуки. Он услышал хрип, кашель, клокотание мокроты, сопение, и в этих звуках была своя череда. Они заставили его открыть глаза; и он увидел напротив окна маленький очаг, а подле очага широкую кровать с валиком в изголовье, на которой белели смятые простыни. Там, приподнявшись на локте, лежал Роджер-Каменщик, в одежде, но разутый. Его опухшее лицо непрерывно смеялось; а потом рот разинулся, смех перешел в вопль, и он упал навзничь. Джослин видел, как вздымается его грудь.

Роджер-Каменщик, путаясь в простынях, повернулся на бок. Потом снова тяжело приподнялся на локте и поглядел на Джослина, ощерившись по-собачьи. Лицо его было в испарине. Джослин взглянул в налитые кровью глаза, и лицо Роджера исказилось. Он повернул голову и сплюнул мимо очага.

— От вас разит падалью.

Джослин подумал над этими словами, припомнил лица, которые склонялись над его постелью. «Может быть,— подумал он,— очень может быть». И услышал свой старческий голос, который бессмысленно повторял:

— Может быть, Роджер, может быть. Очень может быть.

Роджер-Каменщик, опираясь на локоть, подался вперед. Он сказал с бесконечным удовлетворением:

— Стало быть, они и до вас добрались.

Он поперхнулся, и что-то красное потекло по его подбородку.

— Он еще не рухнул, Роджер. Так сказал мне отец Адам. И еще отец Адам сказал, что он все равно когда-нибудь упадет, будь он даже высечен из алмаза и утвержден на самых корнях земли.

Мастер медленно приподнялся. Он с трудом выпутал ноги из простыней и, шатаясь, пошел через комнату. Джослин слышал, как он выругался и ударил кулаком в окно. Раздался треск, звон стекла. Мастер крикнул в мертвую пустоту:

— Рухни хоть сию секунду, и хрен с тобой!

— Сегодня почти нет ветра, Роджер. Только цветы на яблоне колышутся.

Мастер побрел назад. Он тяжело упал на колени у кровати и начал шарить по ней руками. Потом перестал, навалился на нее боком и снова засмеялся.

— Это хорошо, что от вас воняет, Джослин. Мне от этого полегчало. А я-то думал, мне уж ни от чего не полегчает.

Но Джослин был далеко, он грезил и сказал рассеянно:

— Я видел зимородка.

А потом перед ним опять были ноги, красное платье, и язык трещал, трещал, трещал. Роджера-Каменщика уложили обратно в постель. Голос раздался над Джослином, потом снова метнулся к кровати:

— Разве ты не понимаешь, дурак ты этакий? Они же знают, что он здесь!

Платье и голос исчезли за дверью. Он посмотрел в сторону кровати, но увидел только, как вздымалась и опадала грудь, и услышал прерывистый хрип.

— Роджер! Роджер! Ты меня слышишь?

Только хрип в ответ.

— Ты подумай. Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть. Роджер!

Он пристально вглядывался, но видел только вздымающуюся грудь да руку, которая слабо вздрагивала при каждом вздохе. Он отвернулся и стал смотреть на угли в очаге. Теперь они казались ярче, потому что сумерки уже ползли по углам.

— Любить всех людей священной любовью... И вот... Роджер, ты меня слышишь?

Но Роджер даже не пошевельнулся. Джослин больше не пытался заговорить с ним и ждал, а рука все вздрагивала при каждом вздохе, угли рдели в сумерках, и он созерцал бесформенную, необъяснимую груду, возникшую у него в голове.

Наконец тело на кровати вздрогнуло. Роджер лежал пластом, уйдя головой в подушку, и равнодушно смотрел на Джослина.

— Так. Вот, стало быть, мы оба тут.

— Это неправда, что старики не знают страданий. Они страдают, как и молодые, только им еще труднее.

— Похвальба!

— И вот, после всей ложной святости я околдован мертвой женщиной.

— Вы сумасшедший. Я всегда это говорил.

— Не знаю. Я был занят только этим исполинским шипом. А ее я совсем не знал. Может, поэтому она и явилась мне во сне и сказала... или нет, не сказала ничего, только мычала пустым ртом? Но даже в этом я не уверен. Элисон говорит, что она меня околдовала. Ведь это правда, а, Роджер? Что еще это может быть? И все же, вдруг Гвоздь настоящий! Мы ведь никак не можем знать.

Мастер крикнул:

— Будьте вы прокляты! Он рухнет, и я еще доживу до этого дня! Вы отняли у меня мастерство, подручных, все отняли, чтоб вам провалиться в самое пекло!

Он судорожно всхлипнул.

— Вместе с вашей сетью. Вы загнали меня слишком высоко.

— Но меня самого загнали. Я тоже попал в сеть.

Он слышал, как Роджер сморкался в простыню.

— Слишком, слишком высоко.

И вдруг голова у Джослина прояснилась. Он отчетливо понял, как быть с этой бесформенной, этой невыразимой грудой.

— Послушай. Вот для чего я пришел.

Он дергал пряжку до тех пор, пока плащ не упал с плеч, потом сдернул скуфью, снял с груди крест и положил на скамью.

— С тонзурой ничего не поделаешь. Знак священной чистоты на теле смердящего пса. Нет, тут ничего не поделаешь. Ересь? Я — средоточие...

Он встал и зашаркал по полу. Потом опустился на колени, но спина не выдержала, и он упал на четвереньки. «Что ж,— подумал он,— придется так».

— Ты сказал тогда, что я сам дьявол. Но я не дьявол. Я просто глупец. И еще мне кажется, я как дом с огромным подвалом, где живут крысы. И на руках моих какое-то проклятье. К кому ни прикоснусь, всем причиняю горе, особенно тем, кого люблю. И теперь я, несчастный, опозоренный, пришел молить тебя о прощении.

Наступила долгая тишина. Гудел огонь, поскрипывали оконные петли, шелестели листья. Он смотрел на доски пола меж своих рук. «Я здесь,— подумал он.— Больше я ничего не могу сделать».

Колено глухо стукнулось об пол подле его правой руки. Его взяли за плечи и выпрямили. Роджер держал его, касаясь руками пламени, которое опаляло ему спину. Мастер ругался, плакал, голова его и все тело тряслись. Он не умел плакать, весь содрогался при каждом рыдании, и дрожь передавалась Джослину; а потом сквозь рыдания стали прорываться слова, и Джослин почувствовал, что сам прижимается к Роджеру, цепляется за него. Голова Роджера лежала у него на плече, и он глупо лепетал что-то про яблоню, утешал и гладил Роджера по широкой дрожащей спине. «Он праведник,— думал он,— истинный праведник, что бы это ни значило! Здесь, под намалеванной, качающейся вывеской, рождается что-то...»

Вдруг Роджер отстранился. Одна его рука еще лежала на плече Джослина, другой он размазывал слезы по лицу.

— Расхныкался, как младенец. А все потому, что я пьян. Чуть выпью, глаза сразу на мокром месте.

Джослин почувствовал, что шатается под его тяжелой рукой.

— Ты не поможешь мне встать, Роджер?

Мастер громко захохотал. Он оттащил Джослина на скамью, потом добрел до кровати и тяжело плюхнулся на ее край. А Джослин все объяснял ему:

— У меня теперь совсем нет спины. Ты мог меня сломать. Иногда мне кажется, это от тяжести каменного молота, но что поделаешь.

— Он там. Стоит. Пейте.

— Нет, нет, я не могу. Спасибо.

Кучка дров занялась с краю и вспыхнула желтым пламенем. По комнате заплясали тени. Мастер дотянулся до кувшина и отхлебнул из него.

— Мы сделали что могли.

— Там, на самом верху, ужас. Помрачение.

— Не надо об этом.

— Тяжесть, пустота. Легкость, пустота.

Мастер крикнул:

— Довольно! Довольно же!

Джослин снова взглянул на бесформенную груду у себя в голове.

— Но это, конечно, еще не все. Когда-нибудь он рухнет. И все же, хотя опоры согнулись, шпиль покосился и щебенка... я еще не знаю. У меня еще остается моя... как бы сказать... мое недоверие. Понимаешь, может быть, все-таки это то самое, для чего мы были предназначены, мы оба. Он сказал, что мне, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда? Я отдал шпилю свое тело. Что же его держит, Роджер? Гвоздь? Я? Или она, или ты? Или бедняга Пэнголл, который лежит, скорчившись, под опорами, и меж ребер у него проросла веточка омелы?

Роджер-Каменщик присмирел, словно слился со стеной, и на нем дрожали отблески огня. Но иные твари витали по комнате, и Джослин чувствовал, как черные крыла трепещут вокруг него. Голос его тонул в этом вихре, и он сам едва слышал себя:

— Ты еще можешь кое-что сделать, Роджер, сын мой. Ты еще можешь кое-что сделать.

Лицо Роджера снова побагровело, налилось кровью, и он прохрипел:

— Значит, вот для чего вы сюда пришли, Джослин? Око за око, зуб за зуб. И если я откажусь... вы все расскажете.

— Нет! Нет! Я и не думал...

— Я все понимаю, отец мой. Я чуял, к чему идет дело.

И тут, среди трепещущих черных крыл, Джослину стало страшно.

— Я совсем не думал...

— Говорю вам, я все понимаю.

— Я сам не знаю, как это у меня вырвалось... против воли.

Роджер-Каменщик тяжело плюхнулся на кровать.

— Когда снова придет гроза, я это попомню. Око за око.

— Ты мог уйти. Ты еще молод.

— Кто взял бы меня? Кто пошел бы со мной работать? Ведь вы же отняли все.

— Бог всегда с нами. *Это* я знал... Но теперь я знаю и другое. А это все равно, что не знать ничего... Что такое человеческий ум, Роджер? Дом вместе с подвалом и всем прочим?

В комнате опять появилась женщина, она блестела черными глазами и трещала без умолку. А когда она ушла, он услышал другие голоса и смех.

— Кто это там?

— Люди.

— Пойми... если она что-нибудь знала... Как тебе объяснить? Беда в том, Роджер, что подвал знал про него — знал, что у него нет силы в чреслах,— и устроил этот брак. Наверное, это из-за ее волос. Я видел эти рыжие волосы, растрепанные, вокруг узкого бледного лица. А потом, конечно, уже не видел. Но однажды, когда она стояла у опоры и смотрела на тебя, они опалили мне глаза. Тогда-то она меня и околдовала. Да, околдовала, ведь правда? Поэтому я должен все про нее узнать. Ведь если она знала... если она знала, что́ с ее мужем, и даже, может быть, смирилась, это было бы не так ужасно... И, конечно, она меня преследует!

— О чем вы толкуете?

— О ней, разумеется, о ней. Я всегда ждал ее. Она прибегала и вдруг останавливалась. Один раз я перевязал ей разбитое колено,

оторвал кусок от своей... Но что с того? Позже, когда я понял, как она запуталась в моих сетях, я хотел поговорить с ней, заставить ее понять...

— *Вы?*

— Говорила она обо мне хоть раз? Впрочем, это все равно. Я и ее принес в жертву. Умышленно. И знаешь, Роджер, молитвы не остаются без ответа. Вот что ужасно! И когда она умерла, я стал одержим ею, потому что она меня околдовала. Молитву затмили волосы. Волосы мертвой женщины. Неплохая шутка, а?

— Шутка!

— Наверное, можно жить так, чтобы всякая любовь была благом, чтобы одна любовь не соперничала с другой, но пополняла ее. Что такое человеческий ум, Роджер?

— Вы достигли того, зачем пришли. Уходите.

— Но я должен знать...

— Не все ли нам теперь равно?

— Я совсем запутался. Пойми, перед тем, как она меня околдовала, я любил ее как дочь. А в день ее смерти...

— Не надо. Уйдите.

— Мне быть бы о трех языках, чтобы сказать три вещи разом. Я пришел туда. Ты помнишь? Я ведь только хотел помочь. Быть может, я уже тогда кое-что понимал. Она была на полу. Она подняла голову и увидела меня на пороге в полном облачении, настоятеля, священника, обвинителя. А я только хотел помочь, но это ее убило. Я убил ее, все равно что перерезал ей глотку.

Он услышал шаги мастера у самых своих ног. Почувствовал на лице горячее дыхание, насыщенное винными парами.

— Вон отсюда.

— Неужели ты не можешь понять? Я должен знать все это, потому что я убил ее!

Мастер вдруг крикнул:

— Вон! Вон!

Его руки отбросили Джослина. Дверь с треском распахнулась, и эти руки вышвырнули его за порог. Он увидел, как прямо на него стремительно несутся ступени; а потом он привстал на коленях, цепляясь за лестничные перила.

— Падаль вонючая!

Кувшин просвистел у самой его головы и вдребезги разбился о стену. Он на четвереньках дополз до скользкой мостовой, а сзади его настиг крик Роджера:

— Чтоб с тебя кожу содрали заживо!

Но крик потонул в буре голосов, смеха и лая. Он встал, хватаясь за стену, но шум захлестнул его, и в глаза ему ворвались руки, ноги, смутные лица. Он вдруг увидел узкий темный проход, рванулся туда, и одежда лопнула у него на спине. Он слышал, как затрещала ткань. Руки держали его, не давая лечь. Голоса ревели и визжали. Теперь у них были пасти, оскаленные, слюнявые. Он вскрикнул:

— Дети мои! Дети мои!

Вопли и неистовство не унимались, это было целое море проклятий и ненависти. Руки сжались в кулаки, замелькали ноги. И ему показалось, что сквозь весь этот шум он слышит, как Айво и его приятели науськивают псов:

— Ату! Ату! Ату!

Он лежал ничком и видел ноги и полосу света, которая падала из двери на грязь в канаве.

А потом вокруг разлилась тишина. Ноги постепенно отдалились. И в тишине он услышал женский голос:

— Матерь божия! Да вы поглядите на его спину!

Ноги задвигались быстрей. Он уже не видел их, но слышал, как они идут, бегут, мчатся, спотыкаются о булыжники. Освещенная дверь захлопнулась.

Он полежал немного, дрожа всем телом. Потом зашевелился, пополз к стене. «Я наг,— подумал он.— Так и должно было случиться». Он встал и поплелся на тусклый свет факелов, маячивший над Главной улицей. Порой он терял стену, оступался, попадал в канаву и выбирался оттуда; а один раз упал прямо в грязь. «Теперь все могут видеть, что я такое»,— подумал он, выбираясь обратно на мостовую. На углу Главной улицы он упал и уже не мог встать. Он не чувствовал, как ему прикрыли спину, не видел подола Рэчел и сандалий отца Адама. Какие-то руки осторожно коснулись его. Какой-то голос зажурчал, как вода в канаве зимой. А потом нахлынула тьма.

Глава двенадцатая

И снова над ним был ребристый потолок. Он ничуть не изменился, но сам Джослин как бы вступил в новое существование. У него было такое чувство, будто он висит над собственным телом, которое каждый миг захлестывала неотвратимая волна слабости, принося с собой бессмысленный страх. И всякий раз он проваливался в пустоту. Но вот сознание возвращалось, и он снова повисал над своим телом, пытаясь, как в тумане, понять, что с ним произошло. Он висел и безмолвно разговаривал сам с собою.

— *Где же я был?*

И безмолвный ответ был всегда один:

— *Нигде.*

Его поили чем-то горьким, быть может, маковым отваром, и ему иногда казалось, что от этого он и может вот так плыть и парить над своим распростертым телом. Лица чередовались — то кто-то подавал ему питье, то появлялся отец Адам, чьи черты он теперь видел совершенно отчетливо. Он не знал, долго ли длились провалы и долго ли он висел и плыл над своим телом. Но от одного взгляда до другого он без удивления замечал, что солнечный свет или тени отмерили на ребрах потолка не один час. Иногда он ближе ощущал эту оболочку, этот механизм, лежавший под ним. Главным делом механизма было растягивать и сжимать ребра, медленно, но беспрестанно, а внутри, как птица в клетке, трепыхалось сердце. Он бывал вынужден спускаться в свое тело лишь тогда, когда на него налагали руки прислужники, исполняя необходимые обязанности. Один раз он ясно услышал разговор, но понял лишь последние слова:

— Это губительный недуг у него в хребте...

Молчание. А потом еще:

— Нет. Ничего подобного. Сердце.

Но чаще всего, в странном, зыбком времени он парил над своим телом или проваливался в пустоту. Приходили мысли, которые длились вечность или секунду. Возникали картины, которые теперь оставляли его равнодушным. Он почти не разговаривал, потому что это было невероятно трудно, даже когда он обретал доступ к собственному рту. Он избегал этого, потому что боялся своего распростертого тела, как западни, боялся пустоты, которая так часто подстерегала его. И все же иногда, в промежутках между вечностями, когда он то погружался в туман, то ясно видел над собой потолок, он делал долгое усилие. Он заставлял

себя спуститься к окаменевшему рту, взламывал камень и выдыхал со струей воздуха:

— Рухнул?

Лицо отца Адама, совсем отчетливое, с улыбкой низко склонялось над ним:

— Нет еще.

Он рассматривал голубые глаза, улыбку, которая слегка растягивала губы и морщила щеки. А когда лицо отодвигалось, он снова видел каменное ребро потолка да иногда — муху, сидевшую там вверх ногами и занятую своими заботами.

Потом он начал думать о своем надгробии и кое-как объяснил, чтобы позвали немого. Преодолевая бесконечную череду времени и пустоты, он растолковал юноше, чего хочет: никаких украшений, только он сам, мертвый, нагой, лишенный даже плоти, распростертый скелет, обтянутый кожей, голова запрокинута, рот открыт. Он хотел сдернуть простыни, и руки, наконец, поняли. Они открыли перед юношей его наготу, и тот сделал набросок с гримасой отвращения, а Джослин снова воспарил над своим телом. Минула вечность, юноша исчез, муха чистила лапки на потолке.

А потом — свечи, бормотание, прикосновение елея. Он парил над миропомазаньем, которое свершалось внизу, над тяжелым, как свинец, телом; и снова разверзлась пустота. Но когда он очнулся, явилось нечто новое. Он услышал, как шумит ветер и дождь стучится в окно. И тогда он вспомнил про подвал с крысами и в ужасе перед этой мыслью ринулся вниз, в свое задыхающееся тело.

— Каменщик. Роджер-Каменщик.

Лица низко склонились над ним, удивленные, с поднятыми бровями, они говорили длинно и непонятно.

— Роджер-Каменщик!

И сразу он задохнулся словами и мыслями. Грудь отказывалась подниматься, и он в страхе пытался ей помочь. Он почувствовал, как руки приподняли и посадили его.

А потом он снова лежал, глядя на каменное ребро потолка, по которому медленно ползли яркие полосы света.

— *Где же я был?*

Но тут чье-то лицо застило свет, склонилось над ним, дрожащее, с красными веками, и ее черные волосы зазмеились по его телу, а рот зиял, непрестанно открываясь и закрываясь. Она накинулась на него так неистово, что он мог лишь смотреть безучастно, не в силах уследить за смыслом ее слов.

— В сарае, между кучей лука и мешком пшеницы...

Неужели когда-нибудь ей придется расстаться с жизнью, которой в ней такая бездна? Всепожирающий рот, праведница...

— ...на четвереньках. С петлей на шее, и обломок стропила на другом конце веревки. Он всегда говорил, что в его деле самое трудное рассчитать прочность, но бог знает...

«Бог,— подумал Джослин, и все показалось ему ничтожным.— Бог? Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать бога среди людей. Но теперь колдовство сокрыло его».

— Сидит у огня, голову свесил на плечо, ничего не видит и не слышит, я все должна делать для него, все! Понимаете? Ходить, как за малым ребенком!

Он равнодушно смотрел, как руки отца Адама увели ее, услышал, как ее пронзительный плач всплеснулся рядом, а потом затих на лестнице. И он каким-то образом увидел отрешенное лицо Роджера-Каменщика, детей на траве, скорченного Пэнголла, охраняющего средокре-

стие. Он увидел неуклюжие перекрытия башни, громоздкие, расщепленные венцы. И тяжесть навалилась на него.

«Я не могу больше,— подумал он.— Не могу. Я не в силах даже пожалеть их. И себя тоже».

В комнате слышалось бормотание, звяканье металла. Лицо отца Адама снова низко склонилось над ним. Он видел, как губы священника произнесли какое-то слово, но, обессиленный, не пытался его уловить.

Голубые глаза мигнули. Вокруг них появились морщинки. Губы снова пошевелились. И на этот раз его одурманенный маковым отваром слух поймал слово, прежде чем оно взлетело к потолку.

— Джослин!

И он понял, что его час пробил; и ему показалось, что умирать легко — так же как есть, пить, спать, всему свое время.

И поняв это, он словно обрел свободу, и мысли его понеслись вскачь, как лошадь, с которой сняли узду. Он поднял глаза, чтобы узнать, принес ли ему этот последний час избавление от колдовства; но там, среди звезд, сверкали спутанные волосы, и к ним возносилась громада шпиля. «Вот и все,— подумал он,— вот и объяснение, но только теперь уже поздно». И он шепнул отцу Адаму одно слово:

— Вероника.

Улыбка на лице стала растерянной и тревожной. Потом оно прояснилось.

— Святая?

И тело, измученное слабостью и борениями, попыталось выдавить из груди смех; но он тотчас унял этот смех, боясь выпасть из жизни, потерять равновесие, как канатоходец; он вдруг почувствовал любовь к отцу Адаму, захотел что-нибудь ему подарить; и когда обрел равновесие, шепнул еще одно слово:

— Святая.

А смерть не так нелепа, как жизнь, потому что нет ничего нелепей этого раздираемого ужасом комка, который, как язычок гаснущего огня, трепещет под ребрами.

— Джослин.

«Это он меня зовет»,— подумал Джослин и посмотрел на отца Адама со спокойным любопытством, потому что отец Адам тоже умирал; и завтра или в какой-нибудь другой день чей-то голос вот так же скажет ему: «Адам»,— будто ребенку. Как бы высоко он ни вознесся, какое бы ни носил облачение, завтра или в другой день этого гладкого, как пергамент, лба трижды коснется серебряный молоточек. А потом мысли снова понеслись вскачь, и он увидел, какой странный человек этот отец Адам, с головы до ног обтянутый пергаментом, то гладким, то морщинистым, и сверху так смешно торчат волосы, а внутри — чудовищный костяк, на котором распят пергамент. И тут же, словно во сне, который скрыл от него это лицо, он увидел весь род людской в его наготе — коричневатый пергамент, натянутый на костяные остовы и скелеты. Он увидел, как люди, прикрытые тканью, переступают ногами, вышагивают подошвами из звериных кож, и мучительным усилием, задыхаясь, попытался облечь это свое видение в слова, которые не прозвучали никогда:

«В своей гордыне они возмечтали об адском пламени. Ничто не совершается без греха. Лишь Богу ведомо, где Бог».

Руки уложили его, и он провалился в пустоту. Но страх заставил его снова вынырнуть и испить чашу до дна.

— Теперь, Джослин, мы облегчим тебе путь на небо.

«Небо,— подумал Джослин, охваченный страхом.— Ты, который сейчас держишь меня и умрешь не сегодня, что знаешь ты о небе? Небо, ад, чистилище — крошечные и блестящие, как украшение, которое пря-

чут и носят лишь по праздникам. А я умираю в серый, будничный день. И что мне небо, если мне невозможно подняться туда вместе с ними, держа за руку его и ее?

Смириться?

Я променял четверых людей на каменный молот».

Вдруг он почувствовал, что надо вцепиться в воздух зубами, мертвой хваткой. Руки приподняли его, посадили, и грудь сама, без его помощи, набрала воздуху. И страх покинул грудь, но витал вокруг.

Сквозь страх на него глядели два глаза. Кроме них, в мире не было ничего прочного, и под их взглядом он был как дом, готовый рухнуть. Они смотрели на него в упор, око в око, око за око. Он снова вцепился зубами в воздух и сам погрузился глазами в эти глаза, потому что кроме них в мире не было ничего прочного.

Два глаза слились в один.

И теперь перед ним было окно, распахнутое, залитое светом. Что-то рассекало его. Какая-то черта, а вокруг была синева неба. Недвижная и неслышная, эта черта с безмолвным криком возносилась ввысь, куда-то в самое небо. Она была тонкая, девически нежная и прозрачная. Ее взрастило семя, неведомое розовое вещество, искрившееся, как водопад. но водопад, устремленный снизу вверх. И лишь одно это вещество врывалось в саму беспредельность ликующими каскадами, которые ничто не могло удержать.

Страх кружил и рвался наружу, он вдребезги разбил окно, и осколки задрожали в каждом его глазу; но ни страх, ни слепота не могли затмить ужаса и удивления.

«Теперь... я ничего, ничего не знаю».

Но руки заставляли лечь вихрь ужаса и удивления, лечь, лечь. Мысли ослепительно вспыхивали во тьме. Самые камни вопиют.

«Верую, Джослин, верую!»

Что такое страх и радость, почему они смешались, слились воедино и сверкают, мчатся сквозь потрясенную ужасом тьму, как птица над водой?

— С кротостию приемлешь...

Захлестнутый волной, он летел птицей, рвался, кричал, вопил, стремясь оставить после себя волшебные и таинственные слова:

— *Как яблоня!..*

Отец Адам склонился над кроватью, но не услышал ничего. Он видел только, как дрогнули губы, и истолковал это как моление: «Господи! Господи! Господи!» И по милосердию, которое было ему дано творить, он положил на язык усопшего святые дары.

ИЗ ШВЕДСКОЙ ПОЭЗИИ

Карл-Эмил Энглунд

■

Перевод и вступление
И. БОЧКАРЕВОЙ

Современная скандинавская поэзия долгое время оставалась мало известной нашему читателю, однако за последние годы у нас было издано несколько посвященных ей сборников. В одном из них — «Современная скандинавская поэзия» — были напечатаны три стихотворения шведского поэта Карла-Эмила Энглунда, с которым мы знакомим здесь нашего читателя.

Карл-Эмил Энглунд родился в 1903 г. Прежде чем стать писателем, он перепробовал много профессий. Был лесорубом, сельскохозяйственным рабочим, странствующим торговцем, сплавщиком леса и пр. В литературу Энглунд пришел в начале 30-х годов, выпустив книгу «Саги в лохмотьях» (1931). С тех пор он издал книгу лирических этюдов в прозе «Северное сияние в Норланде» (1935) и много поэтических сборников: «Туман» (1933), «Мы все уходим с темнотой» (1936), «Сумерки над облаками и водой» (1945), «Одиночество» (1949), «Под деревьями смеркается» (1951), «Летнее эхо» (1955), «Слова́, когда наступает осень» и «Осколки вчерашнего дня» (оба в 1959 г.). Умер Энглунд в 1964 г.

«Зачарованность тайной природы» — так можно назвать суть творчества Энглунда. Стихи его не громки и не броски, они требуют внимательного чтения, требуют погружения в атмосферу недосказанности, непривычных образов. Поэзия Энглунда «шепчет и тихо напевает в сумерках на древний лад».

Куда бы ни привел нас поэт — в край беловатых сумерек и болотных туманов, или на кладбище, где над могилой забытого поэта тишина рассыпает цветы, или в комнату, где у огня сидят влюбленные,— все проникнуто грустью. Отчасти это можно объяснить тем, что Энглунд — уроженец мест, «где песня и грусть нераздельны», а его поэзия имеет глубокие национальные корни. Но порой к этой спокойной задумчивой грусти примешивается ощущение тревоги и страха, и мы понимаем, что Энглунд — наш современник, прекрасно ощущающий зыбкость человеческого существования в ядерную эпоху. И как художник, неразрывно связанный с природой, погруженный в созерцание ее красоты, он не может не опасаться, что «все это исчезнет в один прекрасный день и человек окажется таким же одиноким, как в первые дни творения, отданный замерзающей тишине». Эта «замерзающая тишина» с жуткой поэтичностью описана в стихотворении «После последней водородной бомбы».

Так может быть, говорит поэт, но так не будет. Генералы «бессильны вне людей» (стихотворение «Камышовка и генерал»), а разум человека одержит верх над безумием.

После последней водородной бомбы

Все спокойно,
вечность вслушивается в пространство,
лето не ждет ниоткуда писем.
Молчит молчание, тиха тишина.
Неученые не делают ошибок,
ученые окаменели пред своим созданием.
Никто не ищет больше слов для утешения,

никто не ищет света и веры...
Тишина стоит на перекрестке улиц и греет руки пустотой.
Дождь спотыкается над городами без людей,
сказка сгорела в последнем огне.
Покой, покой —
страх и тревога исчезли с человеком.
Белое евангелие молчания
одиноко бродит под луной...

Забытый поэт

Когда пришли за ним смерть и мрак,
никто его не знал.
То, что успел он написать,
было как черточка в ледяном пространстве.
Но однажды в мягкий летний день,
когда ласточка режет крыльями облака,
тишина сотрет тишину
и рассыплет цветы над его могилой...

Солнце теряет свои перья

Сумерки падают, сливаясь с болотным туманом.
Солнце теряет свои перья,
и они сверкают, пылают над горами.
Над кустами склонилась тишина,
сырая трава наклоняется медленно, будто
под тяжестью важной тайны.
Ветер тихонько крадется по сучьям деревьев,
между верхушками леса мечутся вальдшнепы —
косматые, словно небрежные мазки художника.

Вечерняя акварель

Ветер запутался в соломенном ложе Марии,
затрепетал бабочкой на ее лбу.
Полная сомнений, медлит ночь,
ручей печально играет на флейте.
Смотри: стрекоза устала, на ее крылья опустилось облако,
шелест камыша стелется по земле, как дым.
Сказка в незнакомом наряде ждет под деревом,
тишина прислушивается, оглядывается вокруг.
Пространство течет, вечернее солнце льется вином над ветками деревьев,
ландыш исчезает в лесу, как дождь в сумерках.

Воспоминание об осени

На дерево, зеленое от обещаний,
упал вечер цвета слоновой кости.
Тишина бежала по лугам, обрызганным луной,
иней охватывал ветки, как белый огонь.

Все было тишиной, выбежавшей из сумерек,
не звенели ни косы, ни ножи.
Мир и покой заночевали в ручье.
Тишина бежала в испуге от завтрашнего дня.
Кричал в бессилии пустынный вечер,
накидывая на все сеть нереальности.
А завтра начнется большой осенний убой скота...

Старик в стране минувшего

Вот вместе с поступью лета проходит ветер,
вечер шевелится в траве.
Заря пролегла, словно красная дорога
между тоскующим человеком и ночью.
Тишина окружает себя покоем,
жжет, как слова, сказанные когда-то.
И у сумерек есть свой вечерний озноб,
что-то из воображаемой багровой соли на кончике
языка.
Память касается полей юности,
когда руки были омыты страстным желанием и
девушка отпрянула прочь.
Ночь висит на дереве, топорща пугливые перья,
удушливая тишина волочит за собой ковер из
розовых листьев.
Догнивает идиллическая избушка в цветах.
Никто не ждет писем, которые никогда не были
написаны,
никто не ищет флейты там, где нет флейт.
Серый столб сумерек подпирает руку старика.
Тоска обгоняет сама себя, убегая по длинной
дороге.
Аромат забытых дней крадется мимо.
Старик оглядывается
и закрывает глаза, дабы лучше видеть.

Камышовка* и генерал

Не беспокой восход;
закутанный в плащ из света,
он скользит со своего ложа,
наклоняется и оглядывает горы.
Ни один майор в мире
не может, опершись о меч, приказать ему
стать смирно или принять какое-то определенное
положение.
Генеральские персоны бессильны вне человека,
в мире сложных связей они так незначительны,
ни одна разумная камышовка по эту сторону луны
не слушает их речей
и не желает играть их игрушками...

* Певчая птица.

РАМОН АМАЙА АМАДОР

Операция «Горилла»

РОМАН

Перевод с испанского
ЮРИЯ ДАШКЕВИЧА

Третья часть

1

Холод, сырость, зловоние господствуют в подвале. Подвал не тесен, однако тут находится более восьмидесяти человек. Если кто-нибудь вздумает лечь на цементном полу в надежде уснуть, то соседу уже некуда деться. Днем нестерпимая жара заставляет арестованных снимать с себя одежду и обувь, ночью люди дрожат от промозглого, тяжелого воздуха, от сырых и холодных стен и пола. Дверь подвала наглухо закрыта, окна заколочены — полнейшая темнота днем и ночью, единственная лампочка давно перегорела. Подвал открывают только для того, чтобы передать арестованным пищу в жестяном котле.

Это один из десяти подвалов муниципального стадиона — и в каждом битком набито заключенных, в тюрьмах столицы места уже нет. В подвале ни на минуту не умолкает глухой гул: арестованные переговариваются друг с другом, одни говорят боязливо, вполголоса, чуть ли не шепотом; другие, не сломленные, не сдерживая своего гнева, рассыпают угрозы...

Кого здесь только нет — служащие, студенты, фабричные рабочие, строители, железнодорожники, шоферы, грузчики... Большинство — члены радикальной партии, но есть и коммунисты, и беспартий-

Окончание. Начало в № 9.

ные, профсоюзные работники, и — как ни странно — несколько членов консервативной партии, правда, они — ремесленники. Одних схватили на улице, других — дома, некоторых — даже у входа в церковь.

Ни один из них не держал в руках оружия, ни один из них не был участником народных бригад, однако всех их арестовали и бросили в застенки по обвинению в «подрывной деятельности» только потому, что они служили свергнутому режиму, потому, что они штатские, потому, что они просто люди. Все они считались врагами вооруженных сил, и с ними обращались как с врагами, заключив в импровизированную тюрьму — в спортивный стадион, преобразованный в концентрационный лагерь.

Среди других попал в этот мрачный подвал и Педро Энсина. В ночь военного переворота он был дома и только время от времени выходил во двор — послушать, что делается в городе. Соседи — и Луис Гало с ними — тоже не спали, прислушивались к перестрелке. Как все и предполагали, хунта прежде всего нанесла удар по трудящимся. Незадолго до переворота были запрещены забастовки, «репрезентативная демократия» разогнала мирную демонстрацию. Почему бы хунте не пойти дальше? Ждать можно всего. Педро был членом руководства профсоюза на фабрике и еще на рассвете собирался заглянуть в профсоюзный комитет поговорить с товарищами, обсудить положение, посоветоваться. Однако в последнюю минуту передумал и решил подождать до утра.

Утром, услышав по радио декларацию полковника Балафуги, Педро, учитель Гало и еще несколько человек отправились в профсоюз текстильщиков, но по дороге узнали, что здание профсоюза захвачено солдатами. Тогда они пошли в профсоюзный центр, где, по слухам, уже собирались рабочие. Однако им не повезло — они столкнулись с ротой солдат. Рабочих арестовали, привели в казармы, а потом бросили в подвал стадиона.

Заключенные рассказывали друг другу о том, что они успели узнать и увидеть,— таким образом составилась общая картина военного переворота, стало известно и о многочисленных расстрелах невинных людей, о бойне, устроенной в главном штабе гражданской гвардии.

Луис Гало вспоминает свой последний разговор с Энсиной всего за несколько часов до переворота и не может отделаться от чувства стыда — все вышло именно так, как предсказывал Педро. Теперь они действительно оказались вместе — радикалы, профсоюзные работники, демократы, коммунисты, беспартийные,— да, теперь они вместе: в одной тюрьме, жертвы одного несчастья. И все это оттого, что в свое время радикалы не захотели выступить единым фронтом, организованно бороться против угрозы мятежа военщины. Прямо-таки пророк этот Педро Энсина, и насколько слеп был он, Луис, да и многие другие, считая, что нет такой угрозы, что радикальная партия, обладавшая большинством голосов в стране, может противодействовать любой попытке изменить существующий порядок!

— Сеньор Гало,— обратился к нему сосед, лицо которого невозможно было рассмотреть в полумраке,— как вы думаете, неужели эта военщина может нас расстрелять?

Учитель узнал спрашивавшего по голосу.

— Почему же не смогут, доктор Фонтанэ? Однако, я думаю, если нас не убили в момент ареста, то теперь они на это не пойдут. Разве вы не слышали, как часовой говорил: «Кое-кого уже освободили...»

— Слышать я слышал, но боюсь, что нам, радикалам, так легко не отделаться. Они дико ненавидят нас!

— А вы разве радикал, доктор Фонтанэ? — спросил Педро, лежавший справа от Луиса.

— Вообще-то да... Я приехал из провинции, где сейчас живу, как раз в канун событий. Остановился в отеле «Сентраль». Был в кино, потом часиков в одиннадцать лег спать и вдруг слышу — выстрелы, крики. Вышел из номера. В отеле паника. Какие-то туристки всякий раз, как выстрелы раздавались близко, падали в обморок. Утром, не дождавшись завтрака, я и еще несколько мужчин вышли из отеля на улицу. И тут нас схватили солдаты... Вот как я очутился здесь. Не знаю даже, что сейчас с моей семьей.

— А в провинции у вас, доктор, было слышно о подготовке переворота?

— Ходили какие-то слухи. Но никто — кроме коммунистов, которые категорично говорили о перевороте,— никто не считал, что такие слухи имеют под собой реальную почву.

— Верили военщине, не так ли?

— Конечно верили. Командующий военной зоной публично заявил, что выборы будут свободными и что армия гарантирует эту свободу. И в самом деле, до поры до времени армия ни во что не вмешивалась, занимала позицию нейтрального наблюдателя...

— То же самое, что и здесь! — выкрикнул из угла журналист Хаиме Боланьос, который даже в подвале продолжал клеймить, не стесняясь в выражениях, правительство радикалов.— Всему виной слепота нашего правительства! Личный секретарь президента предлагал доктору Перико вооружить гражданское население, но старик не пожелал этого сделать, более того — устроил секретарю головомойку! И это в то время, когда, несмотря на все циничные заверения военщины, всем стало ясно, что переворот неминуем!.. Да, всем, кроме некоторых индюков!..

— Не стоит так говорить, друг мой,— увещевал журналиста чей-то глухой голос.— Лежачих не бьют...

— Правда всегда остается правдой, как бы горька ни была!

— А я считаю,— продолжал незнакомец,— что наши лидеры — лидеры радикализма, как внутри партии, так и находясь на правительственных постах, избрали верную линию. И если они были обмануты, это их беда, а не вина...

— Вы правы, правы, профессор Эскамилья! — насмешливо прерывает его Боланьос.— Вам нужно оправдаться, потому что вы тоже ответственны за все! Вы же член центрального руководства радикальной партии, вы были заместителем министра просвещения...

— Но ведь и вы, друг Боланьос, тоже недалеко ушли, и на вас, как на сотрудника нашей газеты, также возлагается какая-то доля ответственности. Почему вы не разоблачали заговорщиков, если знали о них?

Боланьос на минуту смолкает. Он вспомнил статью, которую писал, когда в редакцию нагрянули убийцы, расправившиеся с рабочим-печатником. И вновь гневным тоном он продолжает.

— Ответственны все,— говорит он решительно,— но главным образом ответственность падает на доктора Лабиавьеху. Как можно не думать о перевороте, когда все о нем твердили? Военщина орудовала у всех на глазах, даже янки писали об этом в своих газетах...

— Верно,— соглашается Луис Гало,— мы должны были это видеть. Однако все были настолько заняты выборами, что...

— Чепуха! — снова вскипает Хаиме Боланьос.— Я уверен в том, что и Лабиавьеха и Медидор знали о перевороте! Кто их мог обмануть? Что они — дураки? Разве им было неизвестно, что происходило за кулисами политической борьбы? Меня могли обмануть, я еще мог поверить заявлениям Балафуги, но эти старые лисы... о нет! Подчас мне кажется,

что между камарильей Лабиавьехи и военщиной был какой-то тайный сговор...

— Но это просто безумие! Клевета! Этого ни в коем случае не может быть!

— Откуда нам знать, что может и что не может быть... Вероятно, все они в союзе с империалистами...

— Бросьте, бросьте! — запротестовал чей-то свистящий голос из угла.— Опять та же песня! Этот журналист скорее похож на коммуниста, чем на радикала! При чем здесь так называемый империализм? Если бы государственный департамент не поддерживал наше правительство, то не поздравлял бы его с демократическим характером избирательной борьбы... Гринго явно не поддерживали доктора Камандулу...

— А ты, Хуан Баутиста, попридержал бы язык!

Мужчина, которого назвали так, продолжал настаивать на своем, пока шум и возмущенные голоса не заставили его умолкнуть. Приказчик универмага, он был членом синдиката торговых служащих, входящего в ОРИТ. За пять суток пребывания в подвале он уже не раз выступал в защиту янки и консервативной партии — и против него ополчились чуть не все заключенные.

— Ну и сукин сын Баутиста,— послышался еще чей-то голос,— право, не знаю, зачем только его здесь держат! Видать, по ошибке попал! Как только выйдет, балафуги сразу же дадут ему теплое местечко в правительстве! Будет их послом в Вашингтоне!

В подвале раздался иронический смех, сдобренный не особенно-то деликатными выражениями в адрес адвоката янки. Хуан Баутиста сидит на полу, прислонившись к стене и вытянув ноги.

— Не обращай на них внимания,— советует ему сосед, вынув изо рта сигарету.— Все они — коммунисты.

— И ты тоже, Олимпо дель Корраль! — резко обрывает его Хуан Баутиста.

Олимпо — да, да, знаменитый поэт тоже был здесь — чувствует себя обиженным. Не по вкусу ему пришлось, что Хуан Баутиста считает его коммунистом. Это его-то! Его, прославлявшего радикалов, но не коммунистов! А он надеялся, что хоть этот консерватор его поймет... Но, видно, всюду его преследуют несчастья — остается он непонятым, вечно непонятым!

Олимпо дель Корраля арестовали, когда он возвращался к себе домой после банкета, устроенного сотрудниками газеты «Ла ноче» в честь иностранных коллег. Он был настолько пьян, что ничего не понимал — до его сознания не дошло, что он арестован,— и очухался только на следующий день в подвале, умирая от жажды. Кто-то говорил, что поэта увезли сначала в казармы, однако он ничего не помнил.

Очнувшись, Олимпо мгновенно сориентировался: ага, значит, радикальное правительство обанкротилось и надо немедля сменить курс! К чертям радикалов! К чертям Лабиавьеху и всех прочих! Военные — вот с кем идти! Срочно поднять паруса и ставить их по ветру!.. Он, верный своей политике, своей этике и своим методам, хотел было тут же, во весь голос заявить о своей новой позиции, однако, вспомнив, что большинство арестованных — радикалы, предпочел промолчать. Прислушавшись к разговорам, он смекнул, что Хуан Баутиста — консерватор и, следовательно, на стороне мятежников. Он поспешил, хотя это было из-за тесноты нелегко, перебраться поближе к Хуану Баутисте. И вдруг этот самый Хуан — да, да, Хуан Баутиста, ничтоже сумняшеся, не поглядев в святцы, окрестил его коммунистом *.

— Ты не имеешь права так говорить! — с чувством горчайшей оби-

* Хуан Баутиста по-испански — Иоанн Креститель.

ды произнес Олимпо.— Я поэт! Я не вмешиваюсь в политику! Да знаешь ли ты, кто я?..

Быть может, его собеседник кое-что понял, однако не успел ответить поэту — в эту минуту какой-то железнодорожник крикнул из угла:

— Знаем, знаем, кто вы! Оба вы прохвосты! Олимпо — жалкий червяк! Лизал зады у желтых и у зеленых, а сейчас готов лизать сапоги «гориллам»! Впряглись два оппортуниста в одну упряжку!..

Педро засмеялся. Он намеревался подать реплику железнодорожнику, но тут звякнул замок. С грохотом открылась дверь. Свет, хоть и тусклый, ослепил заключенных. Волна свежего воздуха хлынула в подвал.

— Дьявольство! — часовой зажал пальцами нос.— Вонища, словно в выгребной яме! Как вы только терпите?

Вопрос этот прозвучал издевательски. Власти распорядились, чтобы подвалы были приведены в порядок, поскольку зловоние стало ощущаться даже на скамьях стадиона — как бы не вспыхнули эпидемии! Несколько подвалов уже вымыто, теперь дошла очередь и до этого. Солдаты явились с ведрами, шлангами, швабрами и метлами. Заключенные радостно засуетились. Одни ведрами выносят мусор, другие орудуют метлами, швабрами или тряпками. Как хорошо выйти из душного подвала пусть в подземную галерею — здесь все же свежее воздух! Заключенные забыли о сырости и холоде. Забыты даже разногласия. В тюрьме — все братья. За работой люди, кажется, становятся веселей, со всех сторон сыплются шутки. Весело шлепают по лужам босые ноги заключенных.

Арестованные делают все возможное, чтобы затянуть работу, однако охранники торопят: метлы, ведра, тряпки нужны для очистки других подвалов. Работа закончена — приказано построиться в коридоре. Перекличка.

— Шаго-м-арш! — слышится команда.

Неужели на свободу?! Нет, только на поле стадиона. Все равно хорошо! Какая синева! Какое солнце! И ветерок!.. И где-то за стадионом — жизнь...

На футбольном поле построены колоннами арестованные, выведенные из разных подвалов, быть может — из всех. Людям приказывают бежать вдоль беговой дорожки. Вначале они бегут легко, без напряжения. Как хорошо — такой простор и после стольких дней сидения в подвале, где в твоем распоряжении всего несколько дециметров холодного цементного пола. Но через десять—пятнадцать—двадцать минут многие начинают задыхаться, уже выбиваются из сил. Поэт дель Корраль, доктор Фонтанэ едва не падают от усталости... Они едва... нет, вот они уже упали; с трудом поднимаются и снова бегут. И как тяжело бежать босиком тем, кто привык носить туфли.

Сто-о-о-о-ой!..

Где-то высоко над головой крошечный самолет прочертил царапиной небо. Похоже — рейсовый пассажирский самолет авиакомпании «Панамерикен эйруэйз». Люди на стадионе провожают его тревожными взглядами. Если столичный международный аэродром открыт — значит, все уже «нормализовалось»? Значит, уже нет надежд на то, что их положение изменится... А их заставляют подгибать ноги, становиться на четвереньки, передвигаться «вприсядку». Арестованные обливаются потом, глотая воздух широко открытым ртом. Группа унтер-офицеров, наблюдая за упражнениями заключенных, веселится от души.

— Бодрее, бодрее! Полезно для здоровья! — кричат они арестованным.

Внезапно Педро Энсина замечает среди унтер-офицеров своего брата — Теодоро. Правда, Теодоро уже не сержант, а младший лейтенант, получил повышение за участие в операции «Горилла». Увидев Педро, Теодоро поражен. Он не просматривал списки арестованных, да разве их просмотришь — такая уйма!

Наконец прекращаются упражнения. «Вольно!» Люди валятся в траву футбольного поля, еле переводя дыхание, мокрые от пота. Теодоро подходит к брату, здоровается, говорит, что не знал об его аресте.

— Я сделаю все, чтобы тебя сегодня же освободили,— тихо говорит Теодоро.— Не знаю, почему арестовали столько людей... будто ради развлечения...

— А убили столько людей! Тоже развлечения ради?..— спрашивает Педро.

Теодоро молчит. Ему вспомнился железнодорожник, убитый на крыше здания профсоюза, вспомнились убитые пассажиры на вокзале. Он хотел бы ответить брату, да нельзя... Дисциплина есть дисциплина. Теодоро медленно отходит к остальным унтер-офицерам. Все младшие чины во время переворота получили повышение, стало быть — больше жалованье, больше и власть; сейчас можно даже использовать солдат — построить себе коттедж. Теперь военным все можно — у них сила!

Измученные заключенные возвращаются в подвал. Им приносят пищу: баланда с бобами и маисовые лепешки. Иногда родственники заключенных подкупают солдат, и те передают кое-что из съестного в подвалы. Возле стадиона целыми днями толкутся люди — главным образом женщины и дети,— надеются хоть что-нибудь разузнать о своих близких, упрашивают часовых, чтобы те передали записку или продукты. Солдаты обычно соглашаются, надо только заплатить. Хотя иногда, получив денежки, они ничего не передают заключенным. Но кому пожалуешься на солдат?

В сыром подвале воздух стал немного чище, однако вскоре снова становится душно. Опять звякает замок. На этот раз появляется сержант со списком в руках. Он выкрикивает:

— Профессор Эскамилья, доктор Мартинес... доктор Робледо... доктор Фонтанэ, лисенсиат Рамирес... лисенсиат Посас... лисенсиат Ордоньес... инженер Реаль... поэт дель Корраль... бухгалтер Эспинач... журналист Боланьос... коммерсанты...

В списке около двадцати человек. Им приказывают взять вещи — видимо, отпускают на свободу. Помахав остальным рукой и попрощавшись, они уходят — счастливые, торопятся, боясь, как бы не отменили приказ. Те, что остаются, смотрят на них с завистью и понимающе переглядываются — в список попали вполне определенные люди, люди с титулами и с капиталами, с весом в обществе...

Как только дверь закрывается, в подвале раздаются выкрики:

— Ворон ворону глаз не выклюет. Для тех, у кого есть деньги, всюду открыты двери!..

Внезапно дверь снова открывается — на пороге тот же сержант.

— Луис Гало, Луис Пиньеро, Педро Пуэрто, Педро Энсина, Хуан Бустаманте, Хуан Санчес, Хуан Баутиста, Хуан...

А это уж совсем что-то непонятное... В новую группу — в общую компанию Луисов, Педро и Хуанов — попали и рабочие, вроде Педро Энсины, и учитель Луис Гало, и даже тот торговец, что защищал гринго! Всем им приказывают выйти. Есть ли для человека что-нибудь дороже свободы!

Педро решил было, что его освободили по ходатайству брата, однако вскоре стало ясно, что их звали на допрос.

2

Снаружи у здания СОБ вид величественный и даже помпезный, а внутри мрачно, голые стены, окна с металлическими сетками — для служащих, а с решетками — для арестованных. Рядом со служебными помещениями — тюремная камера. В этот день агентам безопасности пришлось поработать чрезмерно. Они устали и спешат закончить допросы.

В коридоре, где вдоль стен тянутся деревянные скамьи, арестованных останавливают — здесь, под охраной, они должны ждать вызова. В комнате, которая тонет в полумраке, словно в табачном дыму, капитан Пикана и американский советник Донни лично допрашивают людей, секретари печатают на машинках стандартные протоколы. Вооруженная охрана бдительно следит за арестованными.

Бартоломе Пикана — низкорослый и щуплый офицер с тонкими, застывшими в улыбке, как у глиняной куклы, губами. По внешности он — заурядный мелкий чиновник, и даже трудно представить себе, что он — офицер, прошедший особую подготовку в Федеральном бюро расследований США. Он уже не лейтенант: его повысили в чине, так же как и Модесто Орехону.

В комнату вводят учителя Луиса Гало и железнодорожника Педро Пуэрто. Справа за письменным столом сидит Пикана, слева, за другим столом — Донни. Попыхивая сигаретой, янки равнодушно листает номер «Нью-Йорк таймс» и как бы нехотя, отложив газету в сторону, приступает к допросу. Пикана допрашивает Луиса Гало.

— Господин учитель, какое участие вы принимали в подготовке заговора радикалов и коммунистов в вашем районе?

— Никакого. В моем районе не было никакого заговора радикалов и коммунистов.

— Бросьте тень наводить, учителишка, и говорите правду. Вы поддерживали дружбу с Педро Энсиной и Хуаном Санчесом?

— Да, с Педро мы друзья и соседи уже много лет. Я — радикал, а Педро — беспартийный, он всего-навсего рядовой профсоюзный работник. С Санчесом я мало знаком, хотя, насколько я знаю, живем мы в одном районе.

— Значит, вы знаете, что они — коммунисты.

— Нет, нет, нет! Я не говорю этого. Педро — профсоюзный работник...

— На какой день было назначено выступление кастро-коммунистов? На пятнадцатое или на двадцатое? Ага, на двадцатое! Запишите, секретарь,— приказывает Пикана.

Глиняная маска, все так же улыбаясь, диктует «показания» учителя, искажая сказанное и измышляя несказанное.

Около получаса продолжается этот странный допрос. Потом учителю предлагают подписать протокол. Луис Гало быстро пробежал глазами текст — ничего подобного он не говорил. Все выдумано Пиканой. Учитель возвращает офицеру протокол.

— Это не мои заявления, я не могу их подписать. Здесь упоминаются люди, о которых я даже не слыхал. Нет, сеньор, этого я не подпишу!

Железнодорожник Пуэрто тоже решительно отказывается подписать «признания», продиктованные американцем Донни. Пикана, не повышая голоса и по-прежнему улыбаясь, приказывает агентам увести арестованных и ввести двоих следующих.

Педро Энсину вызывают на допрос вместе с Хуаном Баутистой. Те же измышления, те же протоколы — те же методы. Педро с возмуще-

нием отказывается подписать ложные «показания», записанные под диктовку Пиканы. А Баутиста нервничает, на вопросы гринго отвечает нерешительно.

— Коммунист Фариас говорил тебе, что за твое участие в заговоре против вооруженных сил ты получишь пятьсот рублей?

— А что такое рубли?

— Ты же знаешь — это золото Москвы. Чтобы тебе было понятней, я могу перевести: пятьсот долларов. Так?

— Нет, сеньор... да, сеньор... нет!..

— Как это нет? — кричит гринго. Вскочив со своего места, он через стол наклоняется к Хуану и впивается в него острым пронизывающим взглядом.— Он же тебе вручил аванс — пятьсот долларов! Он привел тебя к себе и показал чехословацкое оружие, которое ему было прислано Фиделем Кастро! Ну?

— Ах, сеньор... мистер... Я не знаю...— Хуан сжимается в комочек и втягивает голову в плечи, словно ожидая удара, потом лепечет: — Да,.. да... как вы говорите...

— Запишите, секретарь, все, что сказал дон Хуан Баутиста.— Рэк Донни миролюбиво улыбается и дружески похлопывает Хуана по плечу.— Вот так и надо отвечать, сеньор Баутиста. Надо помогать властям, дружок! Помогать разоблачать заговорщиков — радикалов и коммунистов...— И гринго, взяв из пачки сигарету, любезно предлагает закурить арестованному: — Сразу видно, что ты не коммунист, друг Хуан. Честного человека сразу узнаешь. Вот таких людей мы уважаем!..

Хуан судорожно глотает табачный дым, он окончательно потерял голову, увидев, какой оборот принял допрос. По правде, он не слышал ни слова о коммунистическом заговоре, но предпочитает — прежде чем на него обрушатся эти кулаки боксера — соглашаться со всем, что скажет гринго, в конце концов он ничего не теряет. Мягкий вкрадчивый голос Рэка успокаивает Хуана. А что? Разве гринго не прав? Он, Хуан, никогда не симпатизировал коммунизму, он всегда был антикоммунистом, он всегда был большим другом и поклонником янки, восхищался американским образом жизни. Делегаты ОРИТ — так похожи они на Рэка Донни — часто выступали у них в синдикате, рассказывали об американском образе жизни, о том, что такое демократия янки. Они говорили, что США — необыкновенная страна, где все рабочие, даже негры, живут в коттеджах, имеют автомашины и текущие счета в банке, совсем как миллионеры. А этот гринго, что его допрашивает, должно быть, из «чистых» североамериканцев: курит «Кэмел», жует резинку и кулаки, как у боксера. Все говорит за то, что лучше с ним сотрудничать! Несмотря на зловеще искривленный рот, лицо гринго кажется сейчас Хуану удивительно красивым — волевое, сильное лицо супермена. Допрос продолжается. Хуан отвечает уже без колебаний и робости. Какой счастливый случай! Перед ним — друг! Эти негодяи в подвале оскорбляли его, издевались над ним за то, что он преклоняется перед гринго, пускай теперь заплатят. Да, и заплатят с лихвой! Донни угостил его ароматной сигаретой, видно, относится к нему с симпатией.

— А кого ты встретил, друг Баутиста, в доме Фариаса, этого красного, пока вы чистили чехословацкое оружие?

— Мне показалось...— Хуан улыбается каким-то своим мыслям,— ...что там были рабочие... разные...

— Ты помнишь их имена? Ты же их видел. Вспомни, дружок.

— Да вот... например, этот...— Хуан указывает на Педро, который стоит перед Бартоломе Пиканой и даже не представляет себе, насколько далеко зашел в своей подлости Хуан.— Там были еще... учитель Гало, и шофер Хуан Санчес... железнодорожник Педро Пуэрто... Каменщик Хуан Бустаманте... и другие, их имен я сейчас никак не могу вспомнить.

Я слышал, как они говорили в подвале! Все они коммунисты, хотя и называют себя радикалами. Они хотели меня повесить потому, что я чистый антикоммунист, защищал консерваторов и военных...

Хуан говорит, говорит, говорит, а потом быстро, даже не взглянув на протокол допроса, подписывает показания. Рэк Донни улыбается. Этот Хуан Баутиста — очень удачное приобретение. Донни даже пожимает арестованному руку. Такой тип может им еще пригодиться. Американец записывает адрес Хуана Баутисты. Великолепнейший свидетель, цены ему нет! Он заслуживает большего, чем свободы.

Просторное помещение с высоким потолком и стенами, обитыми изоляционным материалом, очень похоже на гимнастический зал. Двери тоже звуконепроницаемы. Из двух углов бьет яркий свет рефлекторов, в двух других — мягкий полумрак. Луис Гало содрогнулся от ужаса, когда понял, что попал в камеру пыток. Об этих камерах ему рассказывали, однако он, будучи приверженцем правительства, не верил подобным россказням, считая, что это коммунистическая пропаганда, коммунисты стараются опорочить режим радикалов...

А сейчас он, стопроцентный радикал, очутился в такой камере пыток — одной из тех, которые были учреждены его же правительством! Откуда-то послышались глухие стоны. Луис Гало в нерешительности задержался на пороге, однако сильный и резкий удар свалил его наземь. И тут же солдат пинками заставил его подняться.

Возмущенный до глубины души, Луис хотел крикнуть конвойному, что он не потерпит такого обращения, однако, увидев, как двое палачей начали избивать шлангом Пуэрто, испугался, что дойдет очередь и до него, и молча встал к стене.

Агент с мрачным видом приближается к Луису, угрожающе подняв резиновую дубинку.

— Так, значит, отказываешься говорить, что ты знаешь о заговоре?

— Я не заговорщик, я — учитель, радикал...

— Заткнись, сволочь!..— Дубинка бесшумно обрушивается на голову учителя, заставив его пошатнуться.— Раздевайся! Посмотрим, понравится ли тебе «утюг»!

Луис повинуется — голова все еще кружится от удара. Другой агент связывает Луису руки за спиной. Учитель не сопротивляется. Его выталкивают на середину зала и направляют один из рефлекторов прямо ему в лицо. С потолка свисают веревки с крюками на концах — как в мясной лавке. Крюком цепляют веревку, связывающую руки. Где-то над его головой заскрипели блоки. Ноги отрываются от земли, и Луис корчится в воздухе — пронзительная, острая боль свела плечи, всей тяжестью тела он повис на руках. Он кусает губы, чтобы не закричать... Кажется, сейчас руки выйдут из суставов. Палач еще повис у него на ногах, Луис стонет, слезы застилают глаза.

— Будешь подписывать? Тебе что, нравится наш «утюжок», учителишка?

Луис не отвечает, но из глотки сами по себе вырываются какие-то бессвязные крики. Он смотрит вниз. На полу лежит без движения Педро Пуэрто, палачи склонились над ним. А у Луиса кости трещат, мускулы, похоже, разрываются. Если выгнуться и как можно ниже опустить голову, боль становится как бы меньше...

Внезапно пространство перед ним раскалывается — тело летит к земле, будто его сорвали с крюка. Он закрывает глаза — сейчас ударится головой прямо о цементный пол... Остались какие-то полметра... Резкий рывок — и снова хруст суставов. В плечи будто вонзаются тыся-

чи раскаленных осколков стекла — он снова повисает в воздухе. Палач о чем-то снова спрашивает его, но теперь Луис уже не в состоянии сказать что-либо, и опять его вздергивают вверх. Мозг пылает. Луис весь скорчился в ожидании того мгновения, когда его снова швырнут вниз. И в самом деле, его снова опускают, но на этот раз ничто не удерживает его — он падает на пол, как мешок... Теряет сознание... Агент цедит сквозь зубы:

— Больше со страху, чем от удара...

Железнодорожника Педро Пуэрто, как только ввели в камеру, сразу же — вместо приветствия — встретил град ударов куском шланга. Он пытался увернуться от ударов, но тут же был сбит с ног. Из носа и рта хлынула кровь. С человека срывают одежду. Опрокидывают навзничь. Руки и ноги привязывают к железным кольцам, прикрепленным к полу. Какой-то молодой парень натягивает на него резиновый капюшон, который закрывает лицо, всю голову до самой шеи. В капюшоне нестерпимый запах инсектицида «Гамексан». Педро ничего не видит, дышать становится все труднее и труднее. Вспоминается — когда-то слыхал, что применяют «капюшон» как метод пытки. До него доносится голос молодого парня, котрый говорит, видимо, своему подручному:

— Давай, Манолете, выжми воздух из этого мерзавца!

Кто-то со всего размаха хлопается ему на живот. Тяжесть страшная! Педро невольно с шумом выпускает газы. Повернуться не может. Шнурок капюшона туго затягивают — и воздух в капюшон уже не поступает. Дышать труднее и труднее. Педро совсем задыхается. Отчаянно извиваясь, он пытается освободиться от капюшона. Душит запах инсектицида «Гамексан». В голове звенящий гул, перед глазами пылающие круги. Вот и все. Как будто конец! Что-то подкатывается к горлу, какая-то теплая масса наполняет рот и нос. Нет сил ни кричать... ни думать. Воздуха... воздуха!.. О-о-ой!.. Вот-вот лопнет. А на желудок давят все сильней, Педро захлебывается. Сознание меркнет...

— Сбрось с него капюшон! Теперь он подпишет все, что надо!

Молодой палач стягивает с головы Педро резиновый капюшон. Из капюшона вываливаются и выливаются остатки пищи, перемешанные с кровью. Изо рта по побелевшей щеке тянется алый ручеек. Тело Педро кажется мертвым. Манолете массирует его, как утопленника.

— Ничего, сейчас очухается,— объявляет молодой парень и встряхивает капюшон.

Педро издает хриплый вздох. Кровавая пена пузырится во рту, в носу, в ушах. Он стонет. Тело как будто налито свинцом, не то окаменело. С трудом приоткрывает заплывшие глаза. Его отвязывают от колец, поднимают на ноги. Он не может стоять, качается. В этот момент он обводит взглядом вокруг — и вдруг видит, как откуда-то сверху прямо на цементный пол падает Луис Гало. Педро невольно зажмуривает глаза. Должно быть, убили учителя. Несмотря на страшную боль, он не может сдержать ярость. Протестует, с губ срываются отборнейшие ругательства по адресу палачей. Его снова бросают на пол и снова привязывают к кольцам.

— Видать, тебе понравился капюшон! — орет Манолете.

Молодой парень опять натягивает на его голову резиновый колпак, и опять кто-то наваливается на него сверху. Тело Педро конвульсивно вздрагивает, вытягивается и затихает. Он уже не дышит...

По стонам и отрывочным восклицаниям, вырывающимся у Луиса Гало, Энсина узнает учителя, как только входит в помещение. Распростертые на полу неподвижные тела кажутся трупами. Энсину охваты-

вает нервная дрожь. Он уже слышал, что палачи из СОБ беспощадно жестоки, способны на все. Но он не сдастся и под пытками! Он не предаст никого, какие бы мучения его ни ждали!

— Раздевайся, мерзавец!

У Энсины дрожат руки. Не может расстегнуть пуговицу. Никак не может отделаться от ощущения, что все это чудовищная галлюцинация, когда-то видел нечто подобное в кино. С него срывают одежду. Туго затянув запястья и щиколотки, его привязывают ремнями к деревянному щиту. Пальцы ног едва касаются пола, он почти висит на руках. Какой-то парень — его, кстати, он несколько раз встречал на улице — подходит к нему, держа небольшой металлический инструмент, за которым от стола тянется электропровод. На столе — темный ящичек с кнопками и рычажками, которыми, видимо, управляет другой агент. Луис молчит. Два мокрых от пота палача подходят к Педро — им любопытно: как поведет себя этот. В помещении стоит тяжелый запах экскрементов и алкоголя. Прямо в глаза Педро Энсины бьет слепящий свет рефлектора.

— Ты подумал? А ну-ка, взгляни на эту игрушку!

Педро Энсина не отвечает.

Парень подносит свой инструмент к груди Педро Энсины, и электрический разряд пронизывает тело жертвы. Страшный зуд, нервы будто сжались. Выдержит ли он эту пытку? Словно забавляясь, палач прикасается своим ужасным орудием к обнаженному телу Педро в разных местах. На глазах Педро появляются слезы, он кусает губы. Напряжение тока усиливается, как только техник, орудующий за столом, увеличивает вольтаж.

Какие-то слова — и даже не слова, а обрывки слов — срываются с дрожащих губ. Больше не в силах терпеть! Педро повисает на ремнях. Но парень отлично знает свое дело, недаром его обучал эксперт — Донни: он откладывает в сторону металлический жезл и ударами резиновой дубинки по голове приводит жертву в чувство. Педро тяжело дышит, бессмысленными глазами смотрит в лицо палачу.

— Я тебя освобожу, если ты подпишешь. Да?

Вместо ответа в ухмыляющуюся физиономию палача летит кровавый плевок. Сейчас, очевидно, его убьют!

— Ах ты сволочь!

Парень хватает жезл и со зверской улыбкой приближается к Педро. Из горла жертвы вырывается страшный вой, когда жезл прикасается к самым нежным частям тела. Педро бьется в ремнях, корчится, чуть ли не скручивается в спираль, дрожит и трепещет, как скрипичная струна. Грудь раздувается, а живот втягивается. Глаза вот-вот выскочат из орбит. Жертва теряет сознание. Густые тени обволакивают его пылающий мозг. Голова падает на грудь.

— Мерзавец! Плюнул мне в лицо! — говорит парень, укладывая свой инструмент, на котором красуется яркая этикетка: Made in USA. Он зажигает сигарету, затягивается и потирает то место на щеке, куда попал плевок.

— Убивать таких мало!

Дверь открывается. В камеру вводят Хуана Санчеса и Луиса Пиньеро. В широко раскрытых глазах арестованных застыл страх. Следом за ними входит Рэк Донни, как всегда, с презрительной миной. Кивнув на тела, лежащие на полу, он спрашивает:

— Никто не заговорил?

— Никто, мистер Донни. Таких убивать надо! Дали бы мне волю — я бы с ними расправился!

— Покойники не могут служить свидетелями, паренек, а кроме того, очень важно, чтобы эти жили, пусть их опыт заставит призадуматься

других. Надо хорошо изучить искусство — как заставлять говорить самых упрямых. Надо уметь держать их в страхе, сломить сопротивление— вот это искусство! Боль и страх могут сломить любого. Помните об этом!

— О'кей, мистер Донни! Мы попробуем на других!

Ученики гринго стараются изо всех сил — они хотят продемонстрировать своему шефу, что его наставления не пропали даром. Донни и пришедший сюда Бартоломе Пикана усаживаются рядом, с интересом наблюдая за агентами. Молча. И из камеры пыток не вылетает ни слова, ни крика, ни стона. Стены поглощают все звуки...

3

В правительственный дворец полковник Балафуга прибыл уже в качестве главы государства. Свои функции он официально принял во время краткой церемонии, на которой присутствовали новые министры и старые советники-гринго, — об этом торжественном акте население республики было оповещено по радио, телевидению, через печать.

Новая роль, по существу, не доставила Балафуге новых забот: все решают гринго. С ним, конечно, консультируются, точнее — его консультируют, но мнение главы государства никого особенно не интересует. Он подписывает то, что советники кладут на его стол. Кстати, число советников приумножилось: правительство великой державы Севера еще прислало специалистов и экспертов по разнообразным проблемам государственной деятельности. Это они определили политическую линию режима, которая отличается от прежней более активными формами межамериканского сотрудничества, то есть более беспрекословным подчинением Вашингтону, более радикальными средствами по выкачиванию фондов из государственной казны, национальных ресурсов экономики страны, другими — открыто диктаторскими — методами управления республикой и другой... терминологией (ранее жонглировали такими терминами, как «репрезентативная демократия», «конструктивная политика», теперь же — «демократия порядка», «политика стабилизации») и т. п. Правительство Балафуги уже стало фаворитом североамериканской «большой прессы», редакторам которой все труднее и труднее отыскивать свежие дифирамбические эпитеты, славословя этот режим — «форпост борьбы против коммунизма в Латинской Америке». Для капиталистов Соединенных Штатов и всего западного мира, как уверяет пропаганда «made in...», в стране полковника Балафуги существуют несравнимые по надежности условия чуть ли не для безграничных инвестиций.

И пусть никто не беспокоится, что режим Балафуги еще не получил официального признания — де-юре — Вашингтона, заместитель государственного секретаря по межамериканским делам США в своем последнем интервью дал ясно понять, что новый режим с точки зрения «новой доктрины» госдепартамента может рассчитывать на благоприятное к нему отношение. По сообщениям прессы, суть «новой доктрины» такова: Соединенные Штаты обещают впредь не проводить какой-либо дискриминации новых режимов ввиду характера их возникновения, будь то правительства военные или невоенные, конституционные или неконституционные, главное, чтобы существовали условия, обеспечивающие экономические интересы янки в этих странах. Даже отмечалось, что правительство, возникшее в результате военного переворота, может быть более демократическим, чем правительства, созданные в соответствии с конституцией.

Все считали, что правительство Балафуги практически признано де-факто. Тем более на днях ожидается посол Барроуз, уехавший в Ва-

шингтон, и сам факт его возвращения должен означать наличие дипломатических отношений между обоими государствами. Из США прибыла большая группа видных деятелей с миссией «доброй воли» — нанеся визит главе государства, они поздравили его с тем, что он спас всю Америку от когтей международного коммунизма. Правая печать опубликовала несколько репортажей с фотоснимками, на которых показаны эмиссары гринго, обнимающиеся с главой государства. Эти деятели, представлявшие могущественные фирмы и компании, прилетели сюда, разумеется, не ради того, чтобы лишь обняться с Балафугой: во имя прогресса этой маленькой и «недоразвитой» страны они готовы взять любые концессии— нефтяные и горнопромышленные, торговые и... всякие другие. Страна богата сырьем. Американцы интересуются покупкой или арендой национальных железных дорог, мясохладобоен, приобретением земель под плантации тропических фруктов. Все что угодно они могут заполучить здесь, все — кроме земель, пригодных для обработки.

— Нет, джентльмены, мы можем прийти к соглашению по любому вопросу, но продажа земель исключена. Об этом не может быть и речи!

— Что за абсурдный национализм, сеньоры!

— Нет, джентльмены, национальная территория не может быть продана гражданам другой страны! Наши законы запрещают...

Гости недовольны, однако скоро выясняется, что земли не могут быть предметом купли-продажи из-за простой причины: давно уже нет свободных земель — все они отданы в концессию Банановой компании, а та не потерпит конкурентов. Да что там земли? Чтобы получить любой другой контракт, необходимо прежде всего получить согласие этой всесильной «Компании-матери». Даже в официальных кругах «Компанией-матерью» стали называть Банановую с тех пор, как многоликий поэт Олимпо дель Корраль опубликовал в «Ла ноче» длиннущую поэму, прославляя государственный переворот как «освободительную революцию». Он не поскупился на самые цветистые эпитеты в адрес вдохновителей и руководителей этого блистательнейшего подвига, а Банановой им были посвящены такие строки:

Компания-мать, я шлю тебе привет,
Какой бы только родине я слал,
За твой военным лидерам совет,
Что славой подвига их главы увенчал!

И вот таким образом Банановая стала «матерью» — злые языки, правда, утверждают, что на этот раз Олимпо промаха не дал: монополия не только капиталами участвовала в операции «Горилла». Идея поэмы родилась у поэта еще в тюрьме, и как только он вышел из зловонного подвала, сразу же написал ее. Сей гениальный опус завоевал Олимпо дель Корралю симпатии Оскара Балафуги. В знак признательности поэту дали должность литературного советника в правительственной службе печати.

При правительстве Балафуги страна встала на путь не только расцвета экономики, но и прогресса. О, Балафуге было чем похвалиться перед иностранцами! Явно заботясь о культурном уровне населения, Балафуга начал с того, что закрыл медицинский факультет, а также факультеты общественных и экономических наук, которые, по его мнению, были центрами распространения коммунистической пропаганды. Были закрыты многие начальные школы и на улицу выброшены сотни учителей. Министр культуры, адвокат Анисето Пакин, написал пространные статьи, в которых разъяснял смысл этих мероприятий, безапелляционно утверждая, что учителя учили, не то могли учить коммунизму невинных детишек, и, следовательно, единственный способ спасти детей от смертоносного вируса — изолировать их от всего, в том числе от наук.

Министр экономики и финансов, доктор Селестино Камандула, несколько раз выезжал за границу. Он вел переговоры с Международным валютным фондом, Международным экспортно-импортным банком, с Международной финансовой корпорацией, добиваясь кредитов, которые способствовали бы развитию страны. Экономическая политика внутри государства сводилась к всемерной экономии — иным способом нельзя было выпутаться из кризиса, к которому привела страну политика воров-радикалов. В качестве первоначального шага была предпринята девальвация денежной единицы с целью привлечения капиталов, были заморожены нищенские суммы жалованья и одновременно подняты цены — здесь не было никаких ограничений, это стимулировало частную инициативу; новая налоговая система освобождала от налогов крупные предприятия и фирмы.

Правительство поставило перед собой цель — достичь гармонии между капиталом и трудом. Для этого ввели контроль над профсоюзами, не входящими в ОРИТ, прежнее руководство профсоюзов было снято, рабочие лидеры, пытавшиеся отстаивать интересы своих союзов, были отданы под суд. Новыми руководителями синдикатов были назначены те, кто прошел соответствующую подготовку в школах янки в Пуэрто-Рико. Согласно заявлению министра труда, как только будет ликвидировано коммунистическое влияние в профсоюзах, исчезнут и классы, поскольку с исчезновением классовой борьбы, которую провоцируют марксисты, исчезнет и первопричина существования классов. «Страна встала на порог классового мира», — писала в те дни одна газета.

Что же касается деревни, то военное правительство считало: еще не пришло время для организации крестьянских объединений. Деревня очень отстала, и крестьянские союзы, существовавшие в период анархии режима радикалов, не отвечают интересам самих крестьян. Крестьяне невежественны и не способны правильно оценить линию, которую проводит в защиту их интересов военное правительство, а потому приходится разъяснять эту линию путем внедрения «порядка».

Все эти нововведения, представлявшие предмет законной гордости полковника Балафуги, требовали титанической работы. Вооруженные силы и министерство внутренних дел — основная опора режима, но главная тяжесть падала на СОБ и «Г-2». Столица и провинции наводнены агентами, сыщики проникают всюду, ведут наблюдения за политическими деятелями, подслушивают частные разговоры, следуют по пятам за каждым, кто хоть чем-нибудь может вызвать подозрение, подключаются к телефонам всех, относящихся к оппозиции, осуществляют тщательную почтовую цензуру, избивают, пытают...

И все же в официальных кругах считали, что народ, который легко поддается чуждому влиянию, до сих пор полон предрассудков, поэтому упорно сопротивляется очистительным ветрам прогресса.

Кабинет министров, собравшись в правительственном дворце, подводил первые итоги деятельности режима. Из всех вопросов, стоявших в повестке дня, больше всего времени отняло обсуждение проекта бюджета. Государственный доход, который составят новые налоги, достигает пятисот миллионов песо, но эта сумма обесценена в результате девальвации. Сложным оказался вопрос распределения бюджетных расходов между министерствами — этот вопрос не могли решить на трех заседаниях. Каждый министр доказывал, что его, именно его министерство играет значительную роль, и добивался наибольшей доли в государственном бюджете. Каждый оратор — один красноречивее другого — разглагольствовал о нуждах населения, о необходимости расширения строительства, об увеличении штатов персонала, о приобретении материалов,

о целесообразности привлечения новых советников, экспертов, ученых, о патриотической миссии его министерства и т. д. и т. п. Казалось, что согласия между членами правительства никак не удастся достигнуть — ни один из министров не хотел уступить другому.

К счастью, в страну возвратился посол Барроуз.

В конце дня, в соответствии с дипломатическим протоколом, Нелсон Барроуз во фраке посетил главу государства и был принят в Посольском салоне. Официальная встреча прошла в очень скромной обстановке, но имела исключительное значение. Были официально восстановлены дипломатические отношения между обеими странами. Посол подчеркнул, что это решение принято в Вашингтоне после того, как проблема — наисерьезнейше! — была изучена в государственном департаменте. Наконец-то наступил день триумфа нового, военного правительства!

Как только информационные агентства передали сообщение-молнию об акте признания режима Балафуги Вашингтоном, почти все правительства Латинской Америки — за исключением Кубы и еще двух-трех стран — поспешили послать дружественные поздравления, что должно было означать триумф доктрины панамериканизма!

Вечером состоялось еще одно, четвертое заседание кабинета министров в правительственном дворце. И снова на заседании присутствовали иностранные советники. Вооружившись несокрушимыми аргументами, министры приготовились продолжать битву за ассигнования. Теперь это был вопрос чести для каждого. Председательствовал глава государства, справа от полковника Балафуги сидел мистер Нелсон Барроуз. Широкий стол, за которым сидели участники заседания, был сплошь покрыт бумагами — документами, выкладками, проектами — и заставлен бутылками с напитками. Все курят. Все потягивают виски с содовой. Стенографистки с карандашами в руках готовы записывать выступления. Эдина, обворожительная секретарша Балафуги, выглядывая из-за спины своего шефа, внимательно следит за тем, чтобы ни один бокал на столе не пустовал.

Прения по бюджету начались точно так же, как и на предыдущих заседаниях. Однако едва первый оратор — это был коротышка адвокат Пакин — произнес несколько слов, как посол Барроуз, извинившись, прервал его. Конечно, иностранный дипломат не имеет никакого отношения к внутригосударственным делам, но присутствующим было приятно выслушать его выступление.

— Мои глубокоуважаемые друзья, — по-английски произнес Барроуз, подарив всем обаятельную улыбку, — это, кажется, уже четвертое заседание, на котором обсуждается проект бюджета. Нельзя не признать, достопочтеннейшие сеньоры, что в ходе обсуждения министры проявили заслуживающую похвал твердость и решительность. Каждый хочет располагать наибольшими экономическими возможностями, чтобы творить на благо народа и государства. Я должен выразить свое восхищение столь ярким проявлением патриотизма...

Слова посла заглушает овация. Министры аплодируют горячо, энергично, улыбки сверкают золотом вставных зубов. Все свободно понимают английский, и единственный, кто не знает ни одного слова на этом языке,— старик министр транспорта, владелец большой скотоводческой асьенды, экспортирующей мясо в Соединенные Штаты, и, кстати, его компаньоном в этом деле является мистер Барроуз. Однако не желая показать себя невеждой, министр отмахивается от своего секретаря, который хочет перевести ему речь посла, и делает вид, что ее понимает, одобрительно покачивая головой, подражая жестам своих соседей и кол-

лег, радостно улыбаясь, хотя, конечно, загадкой для него остается, чем вызвана очередная вспышка ликования.

— Позвольте мне, дорогие друзья, как человеку, который хорошо знает финансовое положение страны, высказать свое мнение и дать вам добрый совет. Друзья мои... — рыжий дипломат говорит сухо и деловито: — Вот подготовленный проект нового бюджета. Прошу внимания... Министерство обороны—250 миллионов; министерство внутренних дел—80 миллионов; министерство иностранных дел—50 миллионов; министерство культуры — 6 миллионов, министерство общественных работ — 50 миллионов; министерство здравоохранения — 3 миллиона; министерство...

Дипломат зачитывает весь перечень и в заключение говорит:

— Как видите, распределение справедливое и целесообразное. Мы учли все безотлагательные, основные нужды. От имени главы государства я прошу вас, дорогие друзья и соратники, немедленно перейти к единодушному одобрению. Все, кто за этот проект, поднимите руку!

Автоматически поднимают руки все, в том числе и глава государства. Министр транспорта, по-прежнему не понимая ни слова, тоже тянет руку. Все переглядываются: ну что ж, им не привыкать, не раз уже приходилось глотать горечь разочарования. Марионетки деревянно улыбаются и вслед за послом начинают громко аплодировать. Царит обстановка исключительной сердечности. Искренне, правда, довольны лишь трое: Педралиса, Терсеро и коротышка Пакин — их министерства получили львиную долю.

— Отлично, дорогие друзья! — провозглашает мистер Нелсон. — Я верил в ваш патриотизм. Я знал, что и на этот раз вы останетесь верны своим принципам. А теперь позвольте мне сообщить кое-какие новости, которые, несомненно, будут для вас приятными.— Посол поворачивается к главе государства: — Вы разрешите мне, ваше превосходительство?

— Конечно, конечно! Что вы! Говорите, пожалуйста! Мы вас слушаем!

Дипломат широко улыбается, лукавый взгляд глаз навыкате перебегает с одного лица на другое.

— У меня хорошие новости. Я беседовал в Вашингтоне с господином президентом моей страны, и он поручил мне передать нашему несравненному другу, полковнику Балафуге, что, учитывая его успехи в проведении панамериканистской политики и его преданную дружбу с нашей страной, а также его деятельность на благо свободного мира, правительство моей страны согласно предоставить вашей республике кредиты по линии Союза ради прогресса на общую сумму в 800 миллионов долларов.

— Ур-р-р-ра!

Миллионы! Наконец-то они получат те миллионы, которых так долго и безуспешно добивались эти крокодилы-радикалы! Все вскакивают с мест, с шумом отодвигая кресла, сталкивающиеся одно с другим,— каждый спешит первым обнять посла. Полковник Балафуга ближе всех к Барроузу, но не успел он встать со своего места, как адвокат Пакин, сидевший на противоположном конце стола, уже подлетел к американцу и рухнул в его объятия.

— Спасибо! Тысяча благодарностей, ваше превосходительство!

— Да будет благословен ваш президент..

— ...во веки веков!

— Аминь! — восклицает доктор Камандула, вздымая руки с видом благословляющего.

Министры поздравляют друг друга, то и дело повторяя цифру миллионных кредитов, будто эта сумма — подарок, предназначенный каждому из них лично. Воспользовавшись общей суматохой, министр транспор-

та вполголоса спрашивает своего секретаря, что происходит, за что, собственно, министры, в том числе и он сам, благодарят американского посла...

После того как были произнесены все тосты и опустошены все бокалы во здравие представителя великой державы, всеобщее ликование идет на спад и, наконец, посла оставляют в покое. А тот продолжает высокопарно декламировать:

— Прошу отметить, дорогие друзья, что это только начало. Международный валютный фонд и международные банки тоже готовы предоставить помощь вашей стране, которой предстоит стать образцом для Латинской Америки. Мы должны показать всему миру, что американская помощь слаборазвитым странам в тысячу раз эффективней той помощи, которую оказывают, вернее, обещают оказывать страны, находящиеся за железным занавесом!

— Конечно, конечно! — как макака, взвизгивает коротышка Пакин, подпрыгнув на кресле. — Мы покажем этому Фиделю Кастро, как можно создать свободное общество при капитализме, не нарушая священного права частной собственности! Наша родина обретет подлинную независимость! Родина...

— Мой дорогой Анисето, послушайте, что говорит господин посол,— умоляет Педралиса, которому хочется поскорее заткнуть рот безумолчному болтуну Пакину.

Гринго продолжает:

— Бизнесмены, посетившие вашу страну и беседовавшие с полковником Балафугой и его министрами, возвратились совершенно очарованные. Я обменивался впечатлениями с некоторыми из них. Они полны энтузиазма и оптимизма, они готовы вложить значительные суммы в дело развития вашей страны. Ваша страна будет примером величия, благосостояния, прогресса, культуры! И главное — хозяйкой собственной судьбы! Это награда за ваше самопожертвование, ибо только благодаря самопожертвованию удалось осуществить эту освободительную революцию, как выражался талантливейший поэт Олимпо дель Корраль.— И с сияющей улыбкой Барроуз объявляет: — Что же касается этого выдающегося деятеля литературы, то я могу с особым удовольствием передать ему приглашение государственного департамента посетить нашу страну. Он заслужил это! Кстати, его поездка будет демонстрацией дружбы и культурного сотрудничества наших государств!

— Чудесно! Мы рады, что наши таланты получили такое признание! — закричал Пакин, у которого, казалось, даже желчь разлилась от зависти.

— Должен признаться, — говорит взволнованно глава государства, — что с каждым разом я все более убеждаюсь в искренней и бескорыстной дружбе Соединенных Штатов с такими странами, как наша...

— И какими странами... — вмешивается Пакин, показывая кончик мизинца. — С крошечными, малюсенькими странами, которые только начинают приобщаться к цивилизации, которые даже только-только начинают пробуждаться!

— С вашей помощью, — заключает Оскар Балафуга, — наша родина станет могущественной!

— А для этого, — добавляет полковник Педралиса, — нам необходимо создать мощные вооруженные силы. Не правда ли, ваше превосходительство?

— Точно, господин министр! Именно поэтому, как вы могли убедиться, самая высокая квота положена министерству обороны.

И он подробно разъясняет, почему стране необходимо иметь могучие военные силы, а также активную службу безопасности, которым отво-

дится столь серьезная роль в будущем свободного мира. Затем посол переходит к перспективе организации коллективного вторжения на Кубу. И наконец заключает:

— Нам всем нужно подумать о том, как обеспечить «внутренний фронт», сохранить конституционный порядок — без этого не может существовать демократия.

— Кстати, — подает голос министр иностранных дел, — мы получили много писем от кубинских эмигрантов! Они поздравляют нас в связи с признанием Вашингтона! Они собираются прислать к нам свои делегации!

— Мы примем их с распростертыми объятиями! — живо откликается полковник Терсеро. — Кубинские эмигранты заслуживают всяческого уважения!

— И помощи!

— Прекрасные слова, друзья мои! — подхватывает посол, выпучивая еще более свои глаза навыкате.— Это священный долг всех демократических правительств свободного мира и прежде всего Америки — оказывать содействие и помощь жертвам кубинского режима, сражающимся за освобождение Кубы...

Министры хором вторят послу, только один министр транспорта, не зная, о чем идет речь, предпочитает молча... аплодировать. Предупредительная Эдина наливает всем виски с содовой.

Заседание кабинета министров заканчивается поздно, забыты жаркие дискуссии, разговор переходит на более приятные темы: посол рассказывает о Вашингтоне, обильно сдабривая свой рассказ пикантными анекдотиками и не менее пикантными каламбурами. Однако Барроуз верен себе: рассыпая анекдоты и шутки, он как бы между прочим восхваляет внешнюю политику своей страны, рост ее военной мощи, которая, по его утверждению, способна взорвать весь земной шар. Размечтавшись, он рисует картину грядущего американского тысячелетия. Министры и Балафуга, как загипнотизированные, слушают американца.

Когда дипломат и министры покидают правительственный дворец, Балафуга идет в свой кабинет. Остается наедине со своими мыслями, размышляя о неописуемых прекрасных перспективах, что обещает ему будущее. Миллионы Союза ради прогресса, можно считать, уже в кармане! А к ним добавятся еще миллионы государственного бюджета, миллионы иностранных банков, миллионы международных банков и других финансовых учреждений. Наконец-то станут реальностью его великие проекты, наконец-то... Наконец-то... Полулежа в кресле, закинув ноги на стол — совсем как янки, Балафуга самодовольно улыбнулся и закрыл глаза... Его заставил очнуться какой-то слабый шорох. Он по-обезьяньи, одним прыжком, вскакивает с кресла и хватает со стола пистолет. Сейчас нельзя доверять и единомышленникам, подчас он опасается даже собственной тени.

— Э! Да ты не ушла, Эдина?

— Нет, дорогой. Ты мне обещал, что мы вместе уедем после заседания...

Секретарша, медленно переступая скульптурными ножками, приближается. На ее лице нежная улыбка. И голос ее тоже полон нежности, он звучит тихо и вкрадчиво, словно Эдина боится, что ее кто-то посторонний может услышать.

Балафуга смотрит на нее блестящими, загоревшимися глазами, привлекает Эдину к себе, усаживает на колени и крепко сжимает в объятиях, однако тут же отстраняет девушку и, подойдя к двери, закрывает ее на ключ.

— Мы никуда не поедем, Эдина. Здесь нам никто не помешает.

— А если явится Асусена, твоя «первая дама»?

— Что за важность! Да и это исключено. Они куда-то умчались с мистером Бейбуном. А когда она уезжает с Бейбуном, значит, возвратится не раньше утра.

Он протягивает руку, выключает лампу и в темноте нащупывает плечо девушки. В окно проникает слабый отсвет уличных фонарей. Эдина почувствовала на своем лице звериное дыхание. Гибрид быка, тигра и каймана ринулся в бой...

4

Почти из всех латиноамериканских стран, за исключением, разумеется, Кубы, в адрес главы нового правительства прибывают цветистые послания с поздравлениями и выражениями дружеских чувств. Бывшие однокашники, с которыми Оскар Балафуга когда-то проходил подготовку в колледже межамериканской обороны и которые теперь, как и он, занимают руководящие посты в правительствах, рожденных военными переворотами, направляют ему пространные радиограммы и письма. Друзья вспоминают о годах совместной учебы и поздравляют его с блестящим претворением в жизнь принципов доктрины, которая ныне триумфально шествует по всей Латинской Америке.

Балафуга читает эти дифирамбы и горделиво улыбается — точь-в-точь глиняный Люцифер. Оскар Балафуга достоин этих поздравлений! Он — супермен, он — избранник провидения, рожденный командовать и повелевать... Не случайно даже бывшие коллеги и однокурсники спешат воздать ему дань уважения. Теперь, как никогда раньше, Балафуга мучительно ощущает свое безобразие. Нет у него импозантного вида и статности, столь присущих великим капитанам прошлого. Ах, если бы он походил хотя бы на Педралису!..

В столицу прибыла официальная делегация кубинских эмигрантов— ее появление предупредила газетная шумиха. Информационные агентства оживленно спекулируют вокруг их прибытия, пускают в ход всяческие предположения, гадают о возможных последствиях исторической встречи и переговоров с кубинскими контрреволюционерами. Некоторые комментаторы утверждают, что правительство Балафуги готово предоставить помощь для организации вторжения на Кубу. По мнению других обозревателей, в этой стране будет создано кубинское правительство в эмиграции, и Вашингтон его немедленно признает. Имена доктора Карлоса дель Монте, Тоско Барримето и Санхурхо Сокарро уже давно стали почти символом кубинской эмиграции, обосновавшейся в аристократических кварталах Майами-Бич... И как раз люди, носящие эти имена, ныне прибыли с визитом к полковнику Балафуге.

Карлос дель Монте — крупный финансист и владелец обширных плантаций сахарного тростника — был высокопоставленным лицом в правительствах Кубы после диктатуры Мачадо. В эмиграции он прославился как лидер группы, которая выдвигает его кандидатуру в качестве будущего президента Кубы; стоит ли особо подчеркивать, что он пользуется полной поддержкой государственного департамента. Санхурхо Сокарро — адвокат, во время последних «выборов», организованных батистовским режимом, он получил место в конгрессе, однако не успел его занять: помешала революция. Когда крупная буржуазия, которой он верно служил как юрисконсульт, покинула остров, мечтая победоносно возвратиться через несколько недель, Сокарро, ее верный оруженосец от юстиции, последовал за ней. Ныне он стал заметным лицом среди эмигрантов и возглавил группу, пользующуюся покровительством правых

генералов Пентагона. У него—боевое прошлое: он участвовал в военных действиях на Плайя-Хирон, но не высаживался на берег, как это сделал Тоско Барримето. Последний на раннем этапе кубинской революции поддерживал ее, но когда в события вмешались США, Барримето решил, что революция обречена на неминуемое поражение, и отправился в добровольное изгнание, тем более, по его убеждению, падение революционного правительства — вопрос нескольких дней. В Майами он стал одним из вожаков контрреволюции на службе Центрального разведывательного управления. Молодой и весьма смелый, он участвовал в боях на Плайя-Хирон. По его расчетам, высадка на Плайя-Хирон будет не чем иным, как приятным уик-эндом, однако этот уик-энд завершился для него довольно-таки плачевно: в одних трусиках он был взят в плен, когда пытался на лодке добраться до ближайшего американского военного корабля. Освобожденный правительством Кастро, он возвратился в Майами и возобновил свою прежнюю деятельность на службе ЦРУ, с прежним окладом.

Эти три деятеля и составили первую делегацию.

Их прибытие было обставлено как крупное событие. Министр иностранных дел адвокат Пакин с большой свитой военных и штатских лиц приехал для встречи в аэропорт. Кубинских эмигрантов объявили почетными гостями, было произнесено немало зажигательных речей, скрепленных крепкими объятиями. Заявления гостей появились в печати под крупными заголовками. Радио и телевидение посвятили серию передач дорогим гостям из Флориды.

В честь Сокарро, дель Монте и Барримето министр иностранных дел устроил прием в правительственном дворце. Гостей приветствовали глава государства и его супруга, министры и высшее офицерство, на приеме присутствовали также полковник Патрик Манки и советник Рэк Донни. Хотя кубинские эмигранты не имели ни правительства, ни территории, ни даже посольства, однако такой столп панамериканизма, как режим Балафуги, отнесся к ним как к законным представителям Кубы былых лет. Гостей и хозяев объединяли теснейшие политические, моральные и духовные узы.

Сам полковник Балафуга встречал гостей во дворце, заключив каждого из них в объятия. Затем гостей провели в Голубой салон, их угостили кубинским ромом бакарди и коктейлем «Куба либре» — пусть гости почувствуют, что здесь они как у себя дома, на Кубе.

Уже с первого момента бросилось в глаза, что особые симпатии глава государства стал испытывать к доктору дель Монте. Заметив это, полковник Лидио Педралиса решил оказать внимание другому гостю — Тоско Барримето, быть может, в знак уважения к заслугам этого мужественного воина, героя, пусть удиравшего в одних трусиках с Плайя-Хирон. Министр Педралиса обладает несравненно большим даром красноречия, чем глава государства, и поэтому больше всего тостов было произнесено в тот вечер во славу героя Барримето.

Глава государства был изрядно возмущен, однако каких-либо осложнений более серьезного характера не было, да и происходившее поняли, пожалуй, только двое: бунтующий Педралиса и завидующий Балафуга. Так или иначе, особое внимание Педралисы к Барримето вызвало зависть и чувство соперничества к последнему со стороны Сокарро и дель Монте. Хотя они и прибыли вместе, но каждый из них представляет свой клан и рассчитывает на поддержку правительства Балафуги только в отношении самого себя.

Полковник Балафуга не скупится на обещания. Еще бы! Каждый из почетных гостей привез с собой рекомендательные письма от руководства Пентагона, государственного департамента и Центрального разве-

дывательного управления — разумеется, каждого рекомендовал его хозяин.

— В моей стране, — заявил Оскар Балафуга, — вы найдете вторую родину! Мое правительство обязуется оказать вам всяческую поддержку — не только моральную, но и материальную — в вашей священной борьбе. Мы готовы даже предоставить вам часть национальной территории для того, чтобы вы могли здесь подготовить свои контингенты и повести отсюда крестовый поход за освобождение острова апостола Батисты и великого Мачадо!

Анисето Пакин кашлянул и нервно потер затылок. Он опасался, что гости могли обидеться. Да и сам Оскар Балафуга тут же понял свою оплошность: он назвал имена Батисты и Мачадо вместо имен Марти и Масео. Гости сделали вид, что не заметили его промаха. Они слишком заинтересованы в объединении всех антикастровских групп, среди которых числится и группа Фульхенсио Батисты; что же касается другого диктатора — Херардо Мачадо, то значительная часть нынешних контрреволюционеров в прошлом была мачадистской и продолжает считать себя таковой. А кроме того, разве оба диктатора, как и нынешние контрреволюционеры, не были фаворитами Вашингтона?

— Вы у себя дома, дорогие братья! — заключает Балафуга. — Делайте все, что надобно, ради того, чтобы диктатура кастро-коммунистов была свергнута и свобода снова воцарилась на порабощенной Кубе!

Каждый из гостей прочувствованно благодарит Балафугу и его правительство за теплый прием и добрые слова. Когда же ораторы упоминают кубинское революционное правительство, кажется, что сами слова пышут жаром, закипает кровь у ораторствующего, опалена его глотка обжигающими эпитетами. Нет, это не ораторы, это — огнеметы! С видом Юпитера-громовержца они ниспосылают на революционную Кубу отборнейшие проклятья. Они бьют кулаками по столу и подлокотникам кресел, они топают ногами вне себя от возмущения. Стены Голубого салона вздрагивали от ядерных разрывов их словесных ракет.

— Если мне будет оказана существенная помощь, — кричит Барримето, — клянусь вам господом богом, который нас слушает и нам покровительствует, что ближайшее рождество мы встретим в гаванском кабаре «Тропикана»!

Овации, восклицания, гул. «Первую даму нации» охватило такое волнение, что, вся в слезах, она подбежала к Барримето, упала в его объятия и стала жадно целовать героя. Это было потрясающее зрелище!

Прием в честь делегатов, прибывших из Флориды, завершился блестящей импровизацией гениального поэта Олимпо дель Корраля, несравненного барда эпохи. В апартаментах президента был устроен ужин, очень интимный, на котором, кроме гостей, присутствовали только глава государства и «первая дама нации», объявившая себя крестной героев.

На протяжении последовавшей недели полковника Балафугу осаждали делегации кубинских эмигрантов, которые прибывали одна за другой, также заручившись рекомендательными письмами, правда, эти письма были подписаны уже второстепенными персонажами великой державы Севера и организациями вроде «Ку-клукс-клана», «Американского легиона», «Общества Джона Бёрча» и т. п. В один прекрасный день, ко всеобщему удивлению, было обнаружено, что в столице находятся не десятки, а сотни представителей различных антикастровских организаций. Правительство оказалось в затруднительном положении: каким образом, в какой форме можно помочь этим сотням эмиссаров кубинской контрреволюции, если все они враждуют друг с другом и каждый из них клялся, что именно он «единственный и законный» вождь всей эмиграции?

Для обсуждения вопроса, кому же все-таки предоставлять помощь, пришлось созвать специальное заседание кабинета министров и в конце концов решили, что официальными представителями следует считать троих прибывших ранее, а остальных — «отодвинуть» в сторону. Однако и после принятия этого решения члены правительства не достигли единства — симпатии министров разделились. Сокарро, Барримето или дель Монте? Очередная головоломка!

Действительно проблема казалась неразрешимой, но в таких случаях полковник Балафуга предпочитал обращаться за советом к своим друзьям-гринго. Он проконсультировался с членами военной миссии, которые, естественно, предложили оказать помощь Санхурхо Сокарро, рекомендованному Пентагоном. Отдававший предпочтение доктору дель Монте Балафуга был недоволен подобным предложением, однако... зачем ссориться с американскими советниками из-за каких-то эмигрантов?

Как только стало известно о решении главы государства, в правительственном дворце немедля появился рыжий посол, похожий в этот момент на какого-то обезумевшего зверя. Не стесняясь в выражениях, посол Барроуз, которого сопровождал Карлос дель Монте, выразил полковнику Балафуге свое возмущение. Как это он, Балафуга, предварительно не посоветовался с послом, ведь он должен был учитывать, что госдепартамент оказывает протекцию бывшему сахарному магнату и, следовательно, нужно было отдать предпочтение Карлосу дель Монте! Балафуга извинился и пообещал исправить свой промах.

Проблема решена? Не тут-то было!.. Следом за послом к Балафуге нагрянул эксперт ЦРУ — мистер Рэк Донни, у которого свое мнение по поводу руководства антикастровским движением: он отстаивает позиции Тоско Барримето — креатуры ЦРУ.

И снова возникает дилемма: кому отдать предпочтение так, чтобы не вызвать недовольства остальных? Симпатии офицеров, министров, его собственные, а также и Асусены не имеют никакого значения... Единственный выход — обсудить все это в товарищеском кругу. Балафуга приглашает на совещание гринго, эмигрантов и министров. И вот тут и обнаружился троянский конь! Взрывается ранее сдерживаемое соперничество кубинских контрреволюционеров. Они поливают ядом и помоями друг друга, обвиняя друг друга в предательстве и во всех смертных грехах. В ход были пущены отборнейшие словечки, которые сделали бы честь любому дому терпимости низшей категории. «Почетные гости» даже забыли о своих покровителях, на глазах у которых происходит эта дикая сцена.

— Воры! Кастраты! Вам не поставить меня на колени!

— Я единственный патриот! А вы убийцы и шпики!

— Предатели! Продажные шкуры! Черви! Гомосексуалисты!

Перемыв друг другу кости, они добрались и до родственников, ближайших и дальних. Если бы здесь не было свидетелей, то лидеры контрреволюции непременно кончили бы кулачным боем, а то и перестрелкой свой архипатриотический спор. Ни один не хотел уступать прерогатив несуществующей власти над эмиграцией. Гринго ничему не удивлялись: они давно уже привыкли к такого рода стычкам.

Когда шум битвы несколько приутих, вопрос разрешили следующим образом: военное руководство предоставляется сеньору Санхурхо Сокарро, который получит чин полковника, политическое руководство будет осуществлять доктор дель Монте, а организация и контроль над расходами по организации вторжения на Кубу передается герою Баррimето, у которого, если верить его словам, имеется опыт в этой области, учитывая, что это будет уже пятьдесят шестая антикастровская экспедиция, которую он готовит. Что касается проблемы кандидатуры будущего временного президента Кубы, то на совещании этот вопрос умыш-

ленно обошли, чтобы не вызвать нового взрыва страстей, более опасного взрыва.

Итоги этого «совещания в верхах» стали известны остальным кубинским делегатам — и поднялась новая буря: все они горячо протестовали и требовали пересмотра решения — разумеется, каждый из них претендовал на высшее командование вторжением. Они открыли огонь по облагодетельствованным:

— Кто такой этот Санхурхо? Мошенник! А кто такой Карлос дель Монте? Оппортунист, флюгер! А Барримето? Трус, показал голый зад на Плайя-Хирон и разнюнился перед Фиделем!

В столичных барах, на улицах — повсюду кипели бои: те, кого обошли, не желали плестись в хвосте. О секретном плане подготовки вторжения на Кубу болтали чистильщики сапог. Несколько позже, убедившись в том, что шансов на получение денег больше нет, многие эмиссары возвратились во Флориду, низвергая громы и молнии на головы трех лидеров и обвиняя правительство Балафуги в... прокоммунистических тенденциях.

Трое лидеров кубинской контрреволюции приступили к работе. Было набрано пятьдесят человек оставшихся в стране эмигрантов для участия во вторжении. Каждому участнику было обещано платить ежемесячно четыреста долларов, пока не начнутся боевые операции. За участие в боях жалованье будет удвоено, не считая премий, наград и т. п. Немало усилий потребовалось, чтобы убедить полсотни контрреволюционеров покинуть столицу и отправиться на Атлантическое побережье, где в определенном пункте им предстояло построить военный лагерь, тренировочную базу и прочие сооружения для подготовки освободительной экспедиции.

Этот засекреченный лагерь был построен в Гуанакасте, около устья реки, впадающей в Карибское море. Место было живописное, но из-за сырого, болотистого климата не слишком приятное: полным-полно москитов. Чтобы увеличить число освободителей до сотни, пришлось вербовать антикоммунистов где придется. Инструкторами были американские офицеры, а также экс-нацисты из гитлеровской Германии, подлинные имена которых давно фигурируют в списках военных преступников.

Большая часть кубинских эмигрантов все-таки предпочла задержаться в столице. Они ссылались на всевозможные объективные причины, которые, по их утверждению, не позволяли им участвовать в предстоящих военных операциях против Кубы. Но и они не захотели оставаться в стороне от общего дела, они занялись сбором денег среди сочувствующих кубинской эмиграции. Многие из них вскоре устроились в разных министерствах, в разных штабах. Поистине великолепна и несравненна была их деятельность по модернизации аристократических борделей, по введению новых азартных игр в ночных клубах, по организации заведений, где можно было по умеренной цене доставать изысканнейшие наркотики (кстати, наиболее предприимчивые даже разбили плантации марихуаны)!

Местные офицеры чуть ли не все свое свободное время проводили в этих заведениях и ночных клубах. Росла популярность кубинских эмигрантов, росли и суммы, которые они извлекали из карманов представителей режима Балафуги. В конце концов чуть ли не все кубинские эмигранты превратились в директоров или администраторов этих центров развлечения и культуры.

Теперь кубинские эмигранты входят в правительственный дворец, как в собственный дом. Теперь они на «ты» с министрами и даже с са-

мим главой государства — для них он стал Оскарито, «братец» или просто «шеф». Клад, а не люди — эти кубинские эмигранты!

Сотрудничество с контрреволюционными эмигрантами оказалось небесполезным даже для таких лиц, как Лидио Педралиса, Эммануэль Плумилья и Понсиано Терсеро. Ну кто еще способен так решительно и смело отмести предрассудки — анахронизм в эпоху «правительства порядка» — и так мастерски извлекать выгоду из любого предприятия! Право же, у них стоило поучиться! И местные офицеры старательнейше усваивали науку — как обогатиться в кратчайший срок и с минимальным риском. Этот урок тем более ценен, что эмигранты после освобождения Кубы от коммунизма используют его на своей родине.

Персонажи «бродячего героизма» уже не ограничивали поле своей деятельности городской чертой столицы, они стали действовать в других городах и в портах, сначала внедряя нечто новое в невинные развлечения, которые так нужны кое-кому для полноты счастья. Однако если в высших кругах они встречали взаимопонимание и поддержку, то в других местах им пришлось столкнуться с явным непониманием. Более того, очевидно, опять потому, что их героизм, их инициатива вести страну по пути прогресса были не осознаны населением, они встретили не только безразличие и холодность, но и открытое возмущение и сопротивление. Их даже встретили в штыки, вместо того чтобы им аплодировать и помогать в строительстве военной базы и аэродрома в Гуанакасте. Они пожаловались главе государства. Какое непонимание! Какая неблагодарность!..

Балафуга дружески разъясняет им обстановку и советует:

— Это не народ против вас настроен. Это подрывные группки... еще скрывающиеся там и тут кастро-коммунисты. Но не беспокойтесь, капитан Бартоломе Пикана займется недовольными, непонятливыми и клеветниками. Сотрудничайте, пожалуйста, с капитаном, передайте ему свой богатый опыт борьбы с коммунистами.

Те из эмигрантов, кто в период батистовской диктатуры приобрел знание и опыт в области применения пыток, поступили работать в СОБ, и, надо отдать им должное, они ни в чем не уступают местным агентам, которых готовил эксперт Рэк Донни. Однако и это не помогает пробуждать симпатии и чувства признательности. Какой отсталый и недалекий народ! На стенах домов появились листовки:

ДОЛОЙ ЧЕРВЕЙ! ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В СВОЮ ПОМОЙНУЮ ЯМУ ВО ФЛОРИДЕ!

Фонды государственного бюджета уже не могут покрыть всех расходов, которые вызваны приходом военных к власти. Никакие спекуляции, никакие мошеннические сделки не могут удовлетворить алчность высшего офицерства. Да, собственно, не только офицерства — и без военных немало желающих нагреть руки на спекуляциях.

Наконец-то была получена помощь от Союза ради прогресса. Янки отпустили пятьдесят миллионов долларов. Конечно, и военным и политиканам было бы желательно получить эти фонды в совсем ином виде. Дело в том, что половину этой суммы составлял кредит на покупку оружия в США; двадцать процентов — на закупку сельскохозяйственных продуктов — излишки со стола великой державы, хотя потребность в этих продуктах полностью удовлетворялась собственным производством. Еще двадцать процентов было предназначено для осуществления программы развития частных предприятий гринго в стране, таких как Банановая компания и Нью-йоркский банк. И лишь десять процентов, что составляло всего пять миллионов, были переданы непосредственно в руки правительства для... проведения канализации в населенных пунктах,

причем проекты и строительные материалы должны были поступить тоже из Соединенных Штатов.

Вот как раз на эти пять миллионов и поглядывают жадно военачальники-правители, хотя каждый понимает, что ему может перепасть в лучшем случае половина суммы, а то и меньше, и потому, не дожидаясь новых кредитов и займов, они старались любыми способами увеличить свои фонды, пускаясь на более выгодные сделки.

Лидио Педралиса и Эммануэль Плумилья только что проводили полковника Санхурхо на аэродром. Военный самолет доставит кубинского полковника на базу в Гуанакасте. Педралиса и Плумилья в сверкающем «кадиллаке» возвращаются в город и направляются в квартал посольств. Плумилья ведет машину, а Педралиса сидит рядом, покуривает, довольный жизнью.

— Ты знаешь, Лидио? — обращается Эммануэль к своему коллеге, ловко маневрируя в потоке машин.— У меня предчувствие, что друзья-гринго подсунули нам кота вместо зайца в этой истории с Союзом ради прогресса.

— Не думай о них плохо,— отзывается Лидио.— Ведь все-таки миллионы долларов... такую сумму враз не отвалишь... Надо иметь терпение, дружок!

— А ты подсчитай: из пятидесяти миллионов остается только пять, и те уйдут на канализацию, да отними отсюда еще шесть процентов годовых! Конечно, можно растянуть выплату на целое столетие. Мне кажется, они что-то темнят...

— Ты очень недоверчив! Нас не надуют...— Педралиса поднимает руку, отвечая на приветствие какого-то типа, который стоит на тротуаре с беззаботным видом, и кричит ему: — Эй, как живешь, малыш?

С тех пор как Педралиса постоянно общается с кубинцами, особенно с Барримето, он и сам стал говорить с кубинским акцентом и интонацией, пересыпая речь кубинскими выражениями.

— Видишь ли, эти гринго — очень своеобразный народец! — замечает Педралиса.

Но, судя по всему, Плумилью не разубедили доводы Лидио. Машина подъехала к военному казино — шикарной вилле на склоне холма. Вокруг много садов и парков. Отсюда, с холма открывается великолепная панорама города. Полковники выходят из машины и направляются к вилле. Еще с улицы они слышат оживленные, веселые голоса, звуки музыки, по-видимому радио. Двое часовых у подъезда беспрепятственно пропускают их.

— Привет, браток! — произносит Лидио, входя в роскошный салон, где Барримето развлекается в компании трех красоток.— Ну, как вы тут?

— Да вот говорим о... римском императоре...— Тоско хохочет, сжимая в руке рюмку с ликером.

Он в белой тропической блузе — гуайабере, лицо красное, распаренное — от жары, от выпитых напитков, от ласк сеньориты Эдины, самой красивой среди трех граций, что окружают нового султана.

— Ну как, посадили Санхурхо на самолет?

— Сам сел,— отвечает Плумилья, щекоча шейку улыбающейся девушки, которая, потягиваясь, словно кошечка, передает ему бокал виски с содовой.— Сегодня в Гуанакасте должны прибыть торпедные катера. А Карлос не появился?

— Забудь о нем, братец мой, теперь он ангел-хранитель Асусены Балафуга,— лукаво усмехнувшись, отвечает Барримето.

— Не надо злословить, они просто хорошие друзья,— вмешивается секретарша Эдина, смертельно ненавидящая свою соперницу.— Не подумайте чего плохого насчет поведения «первой дамы нации»!

Она произнесла это таким язвительным тоном, что все расхохотались. Нет сомнения, Эдина, работая у Балафуги, кое-что знает о похождениях его супруги.

— Тебе привезли из министерства ящики с виски? — спрашивает Лидио.

— Мой бар уже битком набит! Ты стоишь больше всего золота мира, малыш! — смеется Тоско и уже совсем серьезным тоном добавляет: — Поверь, для тебя, брат мой, я ничего не пожалею. Когда мы будем командовать Кубой, все, что захочешь, будет твое! Если гаванский Капитолий тебе нравится — он твоим будет, брат мой, даю слово! Для друзей мне ничего не жалко!

В этом обществе Эммануэль выглядит Петронием. Никто так не умеет блистать своей формой, которую шьют ему в Нью-Йорке, в Париже и Лондоне. Остальные офицеры пытаются подражать ему, но безуспешно, а уж о «старикашках» и говорить нечего. Генералы Сенсерро и Лотто, к примеру, несмотря на большое жалованье, выглядят очень непрезентабельно и даже бедно.

Теперь военное казино называется не иначе, как «резиденцией кубинцев» — эмигранты проводят здесь дни и ночи. Барримето уже завоевал популярность среди дам военного казино и шикарных кабаре. Если он проводит ночь в казино, никто не поручится, что утро не застанет его в каком-то другом кабаре или ночном клубе. О, Барримето — великий маг импровизаций!

5

С течением времени новые власти постепенно стали освобождать арестованных радикалов: сначала выпустили на свободу лиц, принадлежащих к имущим классам, бывших чиновников и депутатов, затем очередь дошла до радикалов — представителей средних слоев, а под конец, не спеша, освободили кое-кого из рабочих и ремесленников, числившихся в радикальной партии. В тюрьмах оставались лишь те, кто, по подозрению СОБ, был замешан в радикал-коммунистическом заговоре. Теперь если и производились аресты, то главным образом в провинции.

Столицу же новое правительство хотело представлять, как «зеркало демократии и порядка». Воспользовавшись обстановкой, радикалы поспешили возобновить выпуск газеты «Пренса либре», главным редактором которой был назначен Хаиме Боланьос — человек молодой, энергичный и решительно настроенный. Опасаясь цензуры, грозившей в случае чересчур резкой критики диктатуры снова закрыть газету, Боланьос старался соблюдать максимум осторожности.

Члены радикальной партии, оставшиеся в стране, рассчитывали, что их верховные лидеры из-за границы будут руководить движением против узурпаторов и за восстановление «репрезентативной демократии». Этим надеждам, однако, не суждено было сбыться, поскольку лидеры, и в частности доктор Лабиавьеха, не собирались помогать соотечественникам и единомышленникам. Недавнее интервью, которое бывший президент дал американскому агентству ПИС и которое опубликовали газеты «Эль конституционалиста» и «Ла ноче», оказалось ведром холодной воды — оно погасило энтузиазм радикалов. Боланьос даже отказался публиковать это заявление экс-президента, так он был возмущен выступлением Лабиавьехи.

«Да, господин журналист,— сказал лидер радикализма,— это был серьезный удар по «репрезентативной демократии», тем более учитывая, что мы находились в тот момент на пороге всеобщих выборов — президентских и в конгресс, которые должны были продемонстрировать полноту свободы в нашей стране. Я подчеркиваю, что мой народ в период моего правления наслаждался всеми благами свободы. И тем не менее, друг мой, теперь я искренне считаю, что офицеры моей страны действовали как подлинные патриоты...»

Заявление экс-президента вызвало среди радикалов недоумение и замешательство, которые очень скоро сменились недовольством и протестом. Молодежь на страницах «Пренса либре» не стеснялась высказывать свое мнение по поводу недостойного поведения лидера...

Как ни старался Теодоро Энсина вытащить своего брата из тюрьмы, все было напрасно — не помогло и то, что теперь Теодоро был уже в чине младшего лейтенанта. И Рэк Донни и Бартоломе Пикана считали Педро Энсину важным преступником. Младшему лейтенанту предложили ознакомиться с показаниями свидетелей, которые клятвенно заявили, что Педро был замешан в заговоре против вооруженных сил. И Теодоро больше не стал настаивать: кто знает, быть может, Педро и в самом деле — коммунист. За это он не осуждал брата, напротив, он даже сочувствовал Педро, несмотря на колючую проволоку режима армейской дисциплины. Он хотел, чтобы Педро знал об этом. Пусть брат — красный заговорщик, Теодоро все равно не изменяет своего отношения к брату. Он частенько навещал Лолу и племянников, понемногу помогал им деньгами и даже выхлопотал, чтобы Педро разрешили свидание с родными. Сам он тоже однажды виделся с братом.

Армия с ее палочной дисциплиной и жестокой муштрой не сумела убить в этом тихом деревенском пареньке человеческие чувства. По-видимому, моральные принципы, заложенные в семье, оказались сильнее казарменной науки. Не случайно воспоминание об убитом в ту страшную ночь железнодорожнике не выходит у него из ума, не может он забыть бойню, устроенную в ту ночь...

Теодоро как-то обратился к командующему «специальным корпусом» полковнику Марадиаге с просьбой помочь освободить брата. Марадиага обещал вмешаться, но ничего не сделал. Быть может, Пикана убедил его, что Педро — опасный преступник, а может, полковник, занятый строительством военного лагеря для кубинских эмигрантов в Гуанакасте, просто забыл о просьбе Теодоро. Энсина тоже бывал в Гуанакасте — наблюдал, как идет тренировка отряда контрреволюционеров, готовящихся к вторжению на Кубу, знает, как они вооружены, знает даже, сколько у них военных самолетов. Полковник Сокарро предложил Теодоро принять участие в «освободительной экспедиции» против Фиделя Кастро, но тот не согласился.

С каждым днем ненависть к эмигрантам, пользующимся покровительством Балафуги, все более и более росла.

Масло в огонь подлило выступление еженедельника «Либертад», единственного в стране легального и действительно независимого органа оппозиции, основанного антиимпериалистически настроенными рабочими. Этот еженедельник уже во втором номере опубликовал разоблачительную статью о строительстве военной базы в Гуанакасте, что является нарушением международного права и межамериканских пактов, уже не говоря об ее антинародном характере.

Статья в «Либертад» вызвала большой скандал. Из уст в уста передавали имена контрреволюционных лидеров. Стало известно, что правительство оказывало контрреволюционерам помощь. Сообщения об этом проникли и в международную прессу. Глава государства и его советники оказались перед серьезной проблемой... Балафуга опубликовал

категорическое опровержение: все это вымысел, происки враждебных элементов... Однако через неделю «Либертад» не только подтвердил прежнее сообщение, но и опубликовал новые данные, а также фотографии военного лагеря и контрреволюционеров во время тренировки на полигоне, самолетов и катеров. Ищейки Рэка Донни узнали обо всем слишком поздно — еженедельник уже разошелся. Балафуга метал громы и молнии: нет, нет никакого сомнения — в этом деле замешаны коммунисты!

На следующий день с воплями «Долой «Либертад»!» толпа кубинских эмигрантов штурмовала редакцию. Были разбиты печатные машины, рассыпаны шрифты, разорваны рукописи и книги. Печатников, работавших в типографии, жестоко избили. Их даже посчитали уже покойниками. Часть тиража еженедельника была сожжена на улице под злобные крики и проклятия. Кубинские контрреволюционеры, вооруженные пистолетами и хлыстами, разгоняли любопытных зевак. Кубинские эмигранты стали хозяевами улицы. Расправившись с редакцией «Либертад», громилы вломились в соседний бакалейный магазин и разграбили его — конечно, под лозунгом борьбы с коммунизмом.

Министр внутренних дел, полковник Понсиано Терсеро, объявив, что еженедельник «Либертад» распространял клевету на кубинских патриотов и явился провокатором беспорядков, распорядился о его закрытии. Главный редактор еженедельника был арестован и брошен в застенок, где его ждала встреча с бывшими батистовцами, ныне сотрудниками СОБ. Спустя три дня в реке обнаружили труп, всплывший на поверхность,— палачи отрубили ему уши, нос, пальцы, половые органы. СОБ провела тщательное расследование и установила, что он погиб, к сожалению, в результате самоубийства и что, к несчастью, труп обезображен... кровожадными рыбами!

Буря возмущения против кубинских контрреволюционеров нарастала внутри страны и за ее пределами. Революционное правительство Кубы представило Объединенным Нациям конкретные и аргументированные данные, обвиняя правительство Оскара Балафуги в том, что на территории его страны создается корпус наемников. Балафуге не оставалось ничего другого, как отступать, опровергая все, опровергая...

Сложное положение, в котором очутился глава государства, еще более усугубилось после публикации в «Ла ноче» нового сенсационного сообщения: в одном из портов обнаружили контрабанду общей стоимостью в два миллиона долларов. Сообщив об этом факте, газета не давала в последующих номерах никаких деталей или комментариев. Редакторам газеты пришлось набрать в рот воды: выяснилось, что к истории с контрабандой имели непосредственное отношение лидер кубинских контрреволюционеров Тоско Барримето и министр обороны полковник Лидио Педралиса. Скандал! Скомпрометирован не только Педралиса, тень падает вообще на все военное правительство.

Балафуга, который уже давненько не спускал глаз с министра, продолжая питать к нему антипатию, как к своему сопернику, решил воспользоваться этим случаем. Он вызвал Педралису к себе. Пробил час свести счеты! Пробил час припугнуть этого типа!

Педралиса бесстрастно выслушал патетическую речь главы государства, обвинившего его в бесчестности и нарушении этики. Он даже улыбнулся, когда Балафуга заговорил о чести мундира. Наконец, устав выслушивать наставления, Педралиса несколько вызывающе спросил Балафугу:

— Ладно, чего ты хочешь? Да, эта контрабанда моя, подчеркиваю, моя! Ну и что тут особенного? Ах, это задевает твои моральные принци-

пы? Не смеши меня! Может, потребуешь, чтобы я подал в отставку! А не хочешь, чтобы я рассказал прессе о твоих собственных контрабандных делишках, о том, чем занимается твое правительство и чем занимался и ты сам, когда был командующим вооруженными силами? И ты еще смеешь читать мне... лекции о морали?

Оскара Балафугу охватывает дикий гнев, но с большим напряжением он заставляет себя сдержаться. В руках Педралисы неопровержимые факты. А потому лучше не мутить воду в колодце. Тихим и дружественным тоном Балафуга пытается пояснить:

— Я не хотел обижать тебя, Лидио. В самом деле, ведь не для гринго же мы затеяли эту операцию «Горилла»! Давай лучше забудем об этой истории. Но я тебе рекомендую действовать осмотрительнее. Для кубинских друзей обстановка сложилась и так не особенно-то подходящая, а залезать еще в подобные истории — не самое лучшее. Что касается всего остального — меня это не интересует.

— Хорошо. Это совсем другое дело, Оскар. Давай подумаем, каким образом можно получить обратно мои товары. И не стоит быть папистом ретивее самого папы!

Воцаряется перемирие. Друг другу только были показаны острые клыки.

В тот же день главу государства посетил посол Барроуз. Привез инструкции своего правительства. Балафуга должен немедленно «заставить исчезнуть» базу в Гуанакасте, а затем пригласить иностранных корреспондентов, чтобы они подтвердили, что никакого экспедиционного корпуса там не было и нет. Глава государства пытается протестовать, но рыжий посол неумолим:

— Я все понимаю, полковник, но надо убрать все! А потом мы вернемся к этому вопросу... Дела с Кубой более серьезны, чем мы предполагали. По мнению государственного департамента, сейчас неподходящий момент.

Так без чести и славы завершился, не начавшись, крестовый поход кубинских контрреволюционеров. Военного лагеря не стало. Неописуемой была радость кубинцев в Гуанакасте, когда до них дошла весть о ликвидации лагеря. Вне себя от счастья они возвращались в столицу и в другие города — им уже вконец осточертели москиты и клещи, болота и муштра, джунгли и отсутствие борделей. Еще одно поражение? Пусть так, зато ни крови, ни сражений...

Огорчительнее эта весть была для кубинских лидеров: им пришлось в срочном порядке покинуть страну. Когда прибудут корреспонденты, лидеры должны быть уже далеко. Для прощального банкета не хватало времени. Спасаясь бегством, лидеры вынуждены исчезать почти молча, без всякого шума. Сколь прочувствованными были слова Тоско Барримето в международном аэропорту, когда он в последний раз обнимал своих названных братьев: Педралису, Плумилью и Пакина. Глава государства просил передать отъезжающим в запечатанных конвертах банковские чеки с оплатой в долларах — в знак признательности за их невыявленное самопожертвование и героизм, волею судеб оставшийся безвестным.

— Мы еще вернемся, братья, мы вернемся! — сказал на прощание Барримето.— А если нет, то встретимся в Гаване... в Гаване, освобожденной от Фиделя и его коммунизма!

Сокарро, дель Монте и Барримето благополучно возвратились на свой — уже достаточно. обжитый — курорт во Флориде.

Два часа спустя после отлета кубинских лидеров прибывает на самолете «Панамерикен эйруэйз» группа американских корреспондентов.

О, знакомые физиономии! Те же самые репортеры, что побывали здесь, когда осуществлялась операция «Горилла»!

Пресс-конференция у главы государства и полет в Гуанакасте. Вполне достаточно для того, чтобы подтвердить фальшь и беспочвенность обвинений правительства Фиделя Кастро: район дельты реки близ Гуанакасте — очаровательный уголок, но там могут жить лишь крокодилы и негры... Информационные сообщения агентств ПИС, ПОС и ПЮС реабилитируют правительство Балафуги перед общественным мнением всего мира.

6

Статус военной диктатуры — «правительство порядка» — не может оставаться незыблемым навсегда. Необходимо как-то нормализировать политическую жизнь, придать ей хотя бы внешний вид законности. Эта необходимость назрела и в силу того, что все чаще и чаще стали раздаваться требования народных масс, и потому, что в столицу прибыли новые советники гринго. По их убеждению, нежелательно сохранять на длительный срок режим хунты в ее обнаженном виде, лучше прикрыть ее каким-либо одеянием по демократической, конституционной моде.

Правда, «правительство порядка» вполне устраивает высшее офицерство, чиновничьи круги и прежде всего — действующие в стране иностранные монополии, но, как результат этого режима, усилился рост безработицы и нищеты. С фондами Союза ради прогресса произошло нечто парадоксальное. Выгоды от этой помощи не получили даже представители олигархии, наоборот, вследствие катастрофического падения цен на кофе и какао, на медь и селитру на рынках США, а также из-за насильственного импорта сельскохозяйственных продуктов и мер по осуществлению «политики стабилизации», рекомендованной Международным валютным фондом, страна потеряла более ста миллионов долларов. И очень возросло недовольство масс.

Учитывая все это, гринго поставили перед хунтой вопрос о немедленном переводе режима на новые позиции. Необходимо найти такую форму государственного правления, которая имела бы вполне узаконенный вид и вместе с тем не лишала военных всей полноты власти в стране.

Офицеры собрались на загородной вилле полковника Балафуги, находившейся неподалеку от столицы, в глубине пальмовой рощи. По соседству расположились виллы других офицеров и крупных землевладельцев. Не так давно и Педралиса приобрел восхитительное шале, рядом с виллами полковника Марадиаги и адвоката Пакина.

В центре внимания всех — очень деликатный и глубоко затрагивающий интересы присутствующих вопрос. Никому не улыбается перспектива уйти со своего поста, передать его снова штатским! Никогда! И ни за что!.. Оскар Балафуга разъясняет, насколько велика опасность для вооруженных сил, если будет предпринят шаг такого рода, и просит, чтобы каждый высказал свое мнение, изыскивая более приемлемый путь.

— Мы могли бы,— предлагает генерал Сенсерро,— передать власть консервативной партии. «Зеленые», в общем, согласны с нашей политикой, следовательно, в стране существенных перемен не произойдет.

— Есть единственное «но», генерал,— вмешивается Плумилья,— нельзя не учитывать, что консерваторы не пользуются популярностью, их слишком мало и вряд ли они могут победить на выборах...

— А если мы выступим с ними заодно?

— Это опасно, генерал,— отвечает Педралиса.— По-моему, есть только один выход: начать переговоры с радикалами и создать коалиционное правительство .

— Значит...— протестует Понсиано,— значит, опять прийти к тому, от чего мы отказались и из-за чего, собственно, мы и пошли на операцию «Горилла».

— Нет! Коалиция должна была бы означать, что, имея союзниками радикалов и консерваторов, мы сохраняем власть в своих руках.

Мнения разделились: одни поддерживают Педралису, другие — Сенсерро. Приводятся всевозможные аргументы, дискуссия разгорается, но подсказать подходящее решение никто не может, хотя все согласны, что нельзя оставлять командные посты, нельзя другим передавать право распоряжаться национальной казной.

— Я думаю...— сделав паузу, говорит Лидио,—...мне кажется, что наиболее подходящий путь — выборы учредительного собрания. Кстати, мы это обещали народу. Надо создать такую конституцию, которая укрепила бы наши позиции, а вместе с тем ограничила деятельность политиков, связала им руки. Имея коалицию, мы смогли бы направлять деятельность политических партий, заставить их служить нам.

— Да, конечно, новая конституция нужна,— с жаром подхватил Балафуга.— И в связи с этим у меня еще одна идея! Мы сформулируем новую конституцию, но такую, которая узаконила бы наш режим. Таким образом, ничего не меняя по существу, мы облачим все в новую форму, начнем конституционный период. Де-юре, как говорит Анисето. Вот и решение!

— Чудесная идея! — восклицает Вердолага, потрясая кулаками.— Таким образом, глава государства полковник Балафуга станет конституционным президентом, таким же, каким был Лабиавьеха! Чудесная идея!

Рождаются еще какие-то новые проекты. Обдумываются подробности, размышляют вслух о последствиях. Однако кое-кто молчит. Среди последних — Педралиса: он погружен в раздумья. И в конце концов идею главы государства он находит неприемлемой. Имя Балафуги стало символом кровавого переворота, жестокой диктатуры — народ его ненавидит. Если уже сейчас повсюду растет недовольство, после легализации правительства Балафуги нужно ждать всеобщего мятежа, народного восстания, как это было на Кубе при Батисте.

Есть еще один аспект этого вопроса и, пожалуй, даже более серьезный, чем все остальное. Министр обороны уверен в том, что если правительство Балафуги будет продолжать существовать, то это ему, Педралисе, не принесет выгод, и, с другой стороны, любые изменения в правительстве должны ему благоприятствовать. После Балафуги он пользуется наибольшим доверием и посольства янки, и военных советников янки. А позволить, чтобы учредительное собрание легализовало режим Балафуги, означает отдалить и, быть может, свести к нулю перспективы заменить Балафугу на посту главы государства.

— Это решение можно было бы считать удачным...— начал Педралиса с решительным видом,— если бы оно не ставило нас под удар.

— Как это понимать? — удивленно спрашивает Балафуга.

— Как слышишь. Конечно, можно было бы легализовать нынешнее правительство, однако это создало бы чрезвычайно опасную ситуацию в стране. Не исключено даже, что в стране может начаться вооруженный мятеж. Нет, нет, это была бы непростительная глупость с нашей стороны. Ты же знаешь, Оскар, что народ тебя смертельно ненавидит!

— Это все твои выдумки, Лидио! Народ уже привык видеть меня

в роли главы государства! А привычка — великое дело. Это вопрос психологии!

— Нет, братец мой, отрешись от иллюзий! — спокойно возражает Лидио.— Ты неотделим от всего кровавого в государственном перевороте. И чернь тебе этого не простит. Если мы хотим придать конституционность режиму, то этот режим уже не должен возглавляться Оскаром.

Недвусмысленное выступление Лидио озадачило полковников. В комнате повисло молчание. Перед неожиданной атакой министра Балафуга сжался, точно готовясь к прыжку. Первым попросил слова Плумилья.

— Я не отношусь к тем, кто недоволен, что Оскар — глава государства. Тем не менее, выслушав Лидио, я понял, что он прав. Я считаю, что на посту главы конституционного правительства вместо Оскара должен быть другой наш человек. Новый президент имел бы возможность сделать такие политические шаги, какие не может позволить себе Оскар, не рискуя подорвать престиж вооруженных сил.

— Совершенно верно, Эммануэль! — согласился Педралиса, увидев в Плумилье своего союзника, и, встав с места, он обращается к остальным: — Например, для той коалиции, о которой мы говорили ранее, Оскар не стал бы наиболее подходящим кандидатом. Он возглавил государственный переворот. И ему же пришлось бы вступать в переговоры с побежденными. Вы представляете, как мы с вами будем выглядеть в этой ситуации? Это было бы истолковано как капитуляция, как проявление слабости с нашей стороны. Я считаю, что подобное решение было бы опрометчивым и опасным.

— Ничего подобного! — Балафуга вскакивает с места.— Неужели вам еще неясно, с какой целью все это говорится? Неужели вы не поняли, к чему он клонит?

Багровый от ярости, Балафуга сейчас и впрямь похож на быка, готов ринуться на любого, кто окажется у него на пути. У него не было времени, чтобы сосредоточиться и спокойно обдумать свой ответ противнику, но он не может не принять вызова и не парировать удар Лидио.

— Мне совершенно ясно, чего добивается Лидио. Он мечтает выбросить меня из игры, чтобы занять мое место! Все его словоблудие направлено только на это! И не пытайся отрицать, Лидио! Я слишком хорошо тебя знаю и знаю, куда ты гнешь!

— Послушай меня, Оскар,— Лидио холодно смотрит в глаза Балафуге.— Дело в том, что тебе дороже всего твои собственные интересы, а на все остальное наплевать. Ты, видно, забыл, что произошло с армией Батисты на Кубе? Меня такая перспектива совсем не радует, да и не думаю, чтобы это устроило кого-нибудь из нас. Если мы все будем заботиться только о собственной амбиции, нам всем придется встать к стенке! Понимаешь ли ты? Если ты станешь президентом по решению учредительного собрания, может вспыхнуть гражданская война! Если этого ты еще не видишь — либо ты совсем ослеп, либо ты просто глупец!..

Другим офицерам пришлось вмешаться, чтобы предупредить столкновение между обоими коллегами, готовыми от слов перейти к рукопашной. Давнее соперничество вот-вот выльется в поединок.

И в последующие дни кризис, возникший между главой государства и министром обороны, отнюдь не уменьшился. Наоборот, разногласия еще более углубились, обострились, приняли совсем непримиримую форму. Наиболее озабоченными происшедшим оказались члены военной миссии янки, да и сам посол Барроуз; они попытались посредничать, чтобы восстановить гармонию и единство в высшем командовании. Все было тщетно. Полковник Балафуга, в котором с прежней силой бушевала ярость, поставил — в самой категорической форме — вопрос о немед-

ленном смещении министра обороны ввиду его «несогласия с политикой правительства».

Нелсон Барроуз, не скрывавший своей тревоги, решил поговорить с Лидио. Вначале он осторожно прозондировал обстановку, затем признал, что Лидио прав, требуя смены главы правительства. Позднее, убедившись, что Лидио несколько смягчился, Барроуз постарался убедить его прекратить ссору и пойти на мировую.

— С вашей точкой зрения, полковник, я совершенно согласен,— сказал посол,— но сейчас я убедительно прошу вас подать в отставку с поста министра. Нужно выждать время, пока все уладится и забудется. Поезжайте послом в Вашингтон — не забывайте, что именно послы в Вашингтоне скорее всего становятся президентами в своих странах. Вы понимаете, полковник?

Однако Педралиса не пожелал уходить из министерства; он не хочет, чтобы его соперник стал победителем в этом конфликте, тем более что конфликт носит и персональный характер. Педралиса отвергает предложение посла.

— Послушайте, мой дорогой друг,— продолжает дипломат,— то, что я предлагаю вам,—блестящий выход из положения, удачный прежде всего для вас. Надо выждать момент — и он несомненно должен наступить! — и отстранить полковника Балафугу. На кого падет тогда выбор? Вы пользуетесь полным нашим доверием! В резерве только вы! Вы, дорогой друг, призваны заменить Балафугу! И все же, пока не наступил подходящий момент, мы должны поддерживать нынешнего главу государства. Вы понимаете, полковник?

— Понимаю, господин посол. Благодарю вас за ваше предложение, однако теперь пока что я не смогу принять его. У меня есть кое-какие основания,— и, решительно взмахнув рукой, он заключает: — А для того, чтобы ликвидировать эту проблему, я сделаю уступку, но только вам — в знак нашей дружбы. Я сегодня же подам в отставку.

Дипломат молча внимательно вглядывается в лицо полковника Педралисы, словно хочет прочесть его тайные мысли. Какой сюрприз! А может быть, Педралиса решил действовать самостоятельно, рассчитывая на свое влияние в армии, попытается сделать мат режиму?

— Выслушайте внимательно то, что я хочу вам сказать, мой дорогой друг. Удалитесь на какое-то время, но не прерывайте связи со мной и с военной миссией. Я обещаю вам в нужный момент поддержать вас. Так или иначе бразды правления будут в ваших руках, пусть для этого потребуются политические переговоры или... новая операция «Горилла». Вы — человек, на которого мы будем опираться!

Полковник Лидио Педралиса заявил о своей отставке. Его заменил в министерстве обороны полковник Пастóр Вердолага. Разрешение кризиса в вооруженных силах и в правительстве вызвало у главы государства прилив глубочайшего удовлетворения — это можно было сравнить лишь с теми чувствами, которые он испытал, когда пришел к власти. Освободившись от столь опасного соперника, он наконец обрел духовное спокойствие, сон ночью и вместе с тем уверенность в своей власти, непоколебимую уверенность в том, что его слово — единственный закон. Опасность устранена. Вокруг себя он сплотил все офицерство. И ныне уже без всяких препятствий он может спокойно заняться легализацией режима.

Членов военной миссии и других представителей великой державы Севера этот кризис очень встревожил — все опасались нежелательной развязки. После революции на Кубе малейшее осложнение вызывает у них нервозность; они боятся потерять контроль над подчиняющимися им странами, военными и политическими деятелями.

Кризис уже, похоже, миновал — в посольстве вместе с Барроузом собрались атташе Тайти Коэн, эксперт Рэк Донни и другие, чтобы рассмотреть проблему в ее совокупности, а также обсудить последствия. Между собой они говорят искренне, не прибегая к дипломатически дружественному тону и высокопарным выражениям, которые пускаются в ход, когда янки разговаривают с офицерами и политиками этой страны.

— По правде говоря,— заметил полковник Эйп Хелмет,— мы были недостаточно энергичны с самого начала. Мы не поставили каждого туземного офицера на свое место, не заставили его понять свою роль и почувствовать наше руководство.

— Энергичными мы были,— возражает рыжий посол; сбросив маску добродушия, он выглядит весьма суровым и наглым.— Наоборот, мы заходили слишком далеко, заставляя...

— Может быть, и так,— соглашается Патрик Манки, не переставая жевать резинку,— может быть, и так с вашей дипломатической точки зрения, но не с точки зрения военной. Мы не дипломаты и обязаны действовать по-иному. Мой коллега Хелмет прав. Мы слишком долго тянули! Мы слишком долго выслушивали всякую дребедень! И в результате — серьезный внутренний кризис! Это следствие нашего недосмотра!

— Позвольте, полковник Манки, не согласиться с вами,— вмешивается, как всегда, улыбаясь, полковник Бейбун.— Кризис отнюдь не является следствием нашей политики или нашей техники. Кризис — явление естественное. Мы должны быть довольны: здесь не происходит того, что мы наблюдаем в других странах, где возникают либо уже существуют антагонистические военные группировки. Здесь нет таких военных, которые выступали бы против нашего руководства. Здесь нет ни англичан, ни французов или немцев, которые хотели бы воспользоваться разногласиями. Таким образом, не будем смотреть на все пессимистически.

— А я думаю,— говорит атташе Коэн,— что этот вопрос следовало бы осветить с другого конца: с экономической стороны. Мы разожгли их алчность и, надо признать, сделали это весьма тонко и деликатно. Но беда в том, что мы забыли при этом золотое правило: жажду денег надо удовлетворять методически, постепенно, гомеопатическими дозами. Я считаю, что это серьезное наше упущение!

— Нет, дорогой мой Тайти! — возразил посол.— Экономическая пружина действовала отлично. И, конечно, не в соответствии с безграничными иллюзиями этих жадных индейцев, а в той мере, которой отвечают наши интересы.

— Отлично, превосходнейше, мистер Нелсон! Однако экономическая проблема тесно связана с вопросами общего политического порядка и военной дисциплины. Дружище Коэн, если экономический механизм плохо действовал, то нужно было компенсировать этот недостаток за счет других мер. Мы чересчур много возились с этими туземцами!

Рэк Донни долго молчал. Однако, выслушав высказывания полковника Манки и заметив, что все раздумывают, он, широко улыбнувшись, заговорил:

— Я не согласен со всеми,— Рэк Донни окидывает собравшихся быстрым взглядом.— Выясняя причину кризиса, вы ищете промахи в наших методах и в нашей политике. Это абсурд! Это значит начать есть редиску с ботвы, уважаемые друзья! Это значит высказывать сомнения в нашей традиционной мудрости!

Присутствующие внимательно смотрят на агента ЦРУ — лишь одно то, что он высказывается вразрез со всеми остальными, вызывает к нему особый интерес.

— Полковник Бейбун,— продолжает Донни, вытянув ноги,— сделал прекрасное предложение, но прекрасным оно было только вначале,

а потом он изменил румб и пришел к ненужным выводам. По моему убеждению, происхождение этой проблемы имеет расовый аспект. Вы забываете, что мы имеем дело с «полковнишками-туземцами», как их назвал полковник Манки, либо с «алчными индейцами», как их определил мистер Барроуз,— и это самое важное. В этом — ключ вопроса!

Дипломат и военные повернулись, как подсолнухи, к Донни — на лицах удивление присутствующих при научном открытии или каком-то волшебном явлении. Рэк, чувствуя себя хозяином положения, зажигает сигарету и поучительным тоном объясняет:

— Мы не допустили никакого промаха. Они действовали так, подталкиваемые собственным комплексом неполноценности, будучи низшими существами, плодом дегенерирующей примитивной расы, уровень которых граничит с уровнем животных, а потому они не способны мыслить в рациональном плане столь развитой расы, как наша. В этих существах доминируют инстинкт, атавистические комплексы, до сих пор непреодоленные, в виду чего они недооценивают силу разума. Они не могут воспринимать нашу мысль и нашу доктрину, хотя мы поистине с педагогическим терпением их воспитываем в этом. Если бы вы видели, как они реагируют на наши методы допросов, вы поняли бы, как понял это я, насколько они дики. Так что, друзья, не создавайте искусственные проблемы, не ищите корень зла в нашем собственном поведении.

Радар сознания компатриотов Донни тщательнейше ловит каждое слово. И все вздохнули с облегчением, убежденные, что в это мгновение как по мановению магической палочки исчезли былые заботы, былое беспокойство. Полковник Манки подходит к Донни и весело хлопает его по плечу.

— Какой ты проницательный парень, Рэк Донни! Поздравляю! Тебе в самом деле удалось установить то, на что никто из нас не обратил внимания!

— Превосходная идея! — подчеркнул посол с чувством глубокого удовлетворения.— Превосходнейший аргумент!

— Отлично! Отлично!

— Вот что значит американский дух и американский образ мышления!

Все поздравляют эксперта по пыткам со счастливой находкой, а кое у кого даже шевельнулась мысль, как это могли забыть, что креольские полковники принадлежат к низшей расе и именно поэтому не способны усвоить идеи будущих господ вселенной.

А теперь нужно обсудить, как лучше — в интересах посольства — использовать разногласия в военной хунте и еще более разжечь их. Обсуждаются характеристики всех креольских военачальников, и уже никто не скупится на эпитеты, полные презрения.

— Мне думается, что нам следует решить еще одну задачу,— говорит посол,— пора преобразовать режим де-факто, чтобы успокоить общественное мнение внутри страны и за границей. В этих целях полезна какая-то доза конституционности, однако военное руководство следует оставить. На новом этапе игры, очевидно, подходящей пешкой мог быть Педралиса, хотя Балафуга имеет больше влияния среди офицерства, у него более твердая рука. Так или иначе, нам стоило бы подумать и о друзьях-радикалах.

— А захотят они сотрудничать с полковниками после переворота?— спрашивает военный атташе.

— Сотрудничать? — удивленно подымает брови полковник Хелмет.— Вопрос заключается в том, как мы им предложим. Уверен, что они будут восхищены: пахнет долларами!

— И все же,— медленно произносит посол,— сделать этот ход не так-то легко. Разумеется, лидеры радикализма согласятся, если мы га-

рантируем им некоторые экономические выгоды — в личном плане. Никто из них не осмелится противодействовать нам — они знают, что мы можем привести их к полному банкротству.

— В таком случае, почему ход этот не из легких? — интересуется полковник Саймон.

— Лидеры радикализма сегодня уже не пользуются прежним престижем и авторитетом внутри своей партии, чтобы держать линию на сотрудничество с военными. Наблюдаются очень неважные симптомы среди радикальной молодежи: влияние кастро-коммунистов...

— Чересчур пессимистично,— замечает полковник Хелмет.— По-моему, лидеры продолжают занимать командные позиции внутри своей партии. Могут сотрудничать. Да и как смогут отказаться, скажем, Эктор Паломино или Хоакин Медидор, да и вся шайка Лабиавьехи?

— В таком случае надо заставить их вернуться из эмиграции,— предлагает атташе.

— Это желательно. С этого и начнем. Но я все же с недоверием смотрю на радикальную молодежь. Она уже потеряла или почти потеряла уважение к лидерам своей партии.

— Что ж, надо привлечь на свою сторону молодых,— вмешивается Рэк Донни, лениво потягиваясь и давая понять, что ему уже порядком надоело столь долгое заседание.— Сфабрикуем новых лидеров. Надо сообщить в Вашингтон, чтобы в «Корпус мира» включалось побольше хорошеньких веселых девушек, да и более, так сказать, либеральных, которые могли бы без всяких предрассудков переспать с каким-нибудь здешним дикарем. На такую приманку любая индейская рыбешка клюнет!

— Чудесно, великолепнейше, мой дорогой Донни! Ты в самом деле парень с головой!

Слова полковника Манки тонут в общем хохоте. Настроение у всех резко изменилось, поднялось, как только Рэк Донни напомнил своим компатриотам о превосходстве их расы — о несравненном величии их Америки...

Итак, общая программа действий выработана. Потягивая виски, каждый уже обдумывает свое донесение в свой соответствующий департамент, в Вашингтон. Шифровальщики ждут.

Четвертая часть

1

В это воскресенье вместе с капралом Норберто Гильеном и еще одним рядовым Теодоро Энсина вышел из казарм Сан-Хорхе. Впервые покинул казармы Теодоро — впервые с тех пор, как вернулся из провинции, куда ездил по заданию полковника Диэго Марадиаги.

Трое шагают молча, будто прислушиваясь к четкому стуку своих каблуков. Сегодня они — представители военной полиции, они должны следить за поведением военных в городе. У всех троих красные нарукавные повязки с белыми буквами «ВП». Они идут с подтянутым, важным видом. Власть! К вечеру они должны встретиться на Центральной площади с другими патрулями, которые разосланы по всей столице. А до вечера они — власть...

Возвратившись в столицу, Теодоро узнал, что наконец-то выпущен на свободу его брат, и Теодоро умышленно избрал этот маршрут для

своего патруля, чтобы можно было попутно заглянуть к Педро. Каждый патрульный вооружен автоматом, у младшего лейтенанта Энсины, кроме того, еще и пистолет. Проходя мимо таверны, они услышали громкие голоса. Вошли. Несколько солдат, получивших увольнительные из части, пили у стойки. Заметив патрульных, солдаты поспешно вытягиваются и отдают честь. Один из солдат — видно, уже выпил немало — осмеливается предложить им рюмку. Вообще-то нарушение регламента, и солдат может понести наказание. Однако ни младший лейтенант, ни капрал не делают ему замечания и даже вежливо благодарят.

— Но в следующий раз,— добродушно говорит ему Энсина,— не вздумай предлагать вино старшему по чину или рядовому, который несет патрульную службу. Может плохо для тебя кончиться — заработаешь неделю карцера.

— Извините меня, мой младший лейтенант,— солдат и сам уже понял, что перестарался,— это получилось у меня как-то невольно, вы знаете, из... из-за штатских привычек. Я ведь недавно в армии.

— Хорошо. Но только не пей больше. Ты уже и так набрался. Подтянись-ка, парень! Не забудь, что в казарму ты должен явиться как стеклышко!

Напомнив солдатам о нормах поведения и о чести «специального корпуса», патрульные выходят из таверны и садятся в подошедший автобус. Он битком набит, так что приходится ехать стоя. При появлении военных разговоры в автобусе мгновенно смолкли. Воцарилось враждебное молчание. Теодоро ощущает неловкость и стыд, читая в глазах пассажиров нескрываемое презрение. За что так ненавидят военных?..

В предместье патрульные с внутренним облегчением покидают автобус. Улицы здесь грязные, повсюду кучи мусора, отбросы. Возле колонки вытянулась длинная очередь с ведрами, тазами и кувшинами. Тонкая струйка воды медленно наполняет посуду. В этих кварталах всегда плохо с водой. Когда военные проходят мимо, люди в очереди замолкают и отворачиваются. Только мальчишки, подталкиваемые любопытством, следят за ними с опаской.

— Держи, держи ведро, постреленок, нечего глаза таращить на собак! — вдруг кричит хриплый женский голос.

Женщина одета в черное, глаза мрачно горят. Теодоро делает вид, что не слышит оскорбления, и, не оборачиваясь, ускоряет шаг. Кажется, будто тысячи женщин, таких же, как эта, что выговаривала сыну, плюнули ему вслед. Солдат и капрал тоже молчат. До переворота такого не бывало...

...Еще издали Педро заметил вооруженный патруль. Удивился. А узнав среди патрульных своего брата, подумал, что это опять идут за ним — значит, снова в тюрьму... Кто их знает, может быть, нашли что-нибудь... Педро очень изменился: похудел, глаза ввалились. Лола тоже выглядит болезненной. Она даже за сердце схватилась, увидев военных.

— Не тревожьтесь,— спешит успокоить их Теодоро; он снимает с плеча автомат и кладет его на койку, его спутники делают то же самое.— Видишь ли, я недавно вернулся из провинции, и все никак не удавалось выйти из казарм, а вот сегодня нас назначили в патруль. Я решил воспользоваться случаем и повидаться с тобой. От полковника Марадиаги я узнал, что тебя наконец выпустили.

— Так-то оно так, Теодоро, меня действительно выпустили. Освободили кое-кого из товарищей — Пуэрто, Сантоса, Гало, но многие еще остались в тюрьме. Учитель Гало очень болен, его сильно били. Боюсь, что теперь у него неладно с головой...

В поведении брата Педро заметил что-то необычное: ему кажется, что Теодоро скрывает от него что-то, быть может, нехорошее. Педро насторожился. Зря он все-таки не уехал из города, как хотел. Сыновья

Педро прибегают поздороваться с дядей и тут же снова бегут играть в патио. Дети любят Теодоро, он всегда дает им монетки на мороженое.

— Я был в нашей деревне,— говорит Теодоро.

— Старика видел? Как он там?

— Неважно, Педро. У отца были неприятности, и очень серьезные... политические.

— У отца? Да ведь старик никогда не ввязывался в политику! Всю жизнь старался держаться в стороне! И ни в какой партии не состоит! Да если он и выходит из дома, то только на работу, а с работы — домой!

Лола приносит чашки с горячим кофе и угощает солдат, затем подает кофе братьям. Комнатушка тесная, и четверо мужчин еле умещаются — сидят, чуть ли не касаясь коленями друг друга.

— Дело в том, что в деревне земледельцы загорелись, когда радикалы обещали в своей предвыборной пропаганде провести аграрную реформу. Вот отец и попался на эту удочку. Конечно, его понять можно: всю жизнь арендовал клочок земли. Арендаторы и бедняки организовали в деревне крестьянский комитет и выбрали отца председателем. Первое время после переворота все было спокойно, но потом помещик нажал на кнопки, заявил о комитете, их засадили в кутузку. Представь себе, братишка, как мне не повезло: мне вручили приказ арестовать их. Представляешь! Раз я ношу форму, так я должен тащить в тюрьму собственного отца... Только за то, что он мечтал о клочке земли! А крестьяне ничего и не сделали, всего-навсего организовали комитет!..

Руки Теодоро дрожат, чашка кофе скользит по блюдцу, как бы приплясывая. Он стиснул челюсти, на скулах заходили желваки.

— И ты пошел? — глухо спрашивает Педро, пристально глядя в глаза брату.

— Что ты! Пошел другой. У меня не поднялась бы рука. Я не танк, все-таки я человек!..— Одним глотком Теодоро осушает чашку — кофе обжигает рот и гортань.

— И он? Еще сидит?

— Нет, Педро. Я сделал все, чтобы его выпустили... условно... Долго пришлось бороться с помещиком. Так бы и всадил я пулю в эту сволочь! В казармах Сан-Хорхе, как только вернулся, мне вклеили... за недисциплинированность, за невыполнение приказа... месяц ареста и перевели в военную полицию. Подлец помещик нажаловался на меня, богачу-то все доступно. Полковник Марадиага сказал мне: «Ты неблагодарен, мы помогли тебе, когда ты просил за брата, а ты влип в историю... Надо уважать законных хозяев земель. Смотри, чтобы это не повторялось».

— Значит, это тебя я должен благодарить за освобождение...

— Да нет, ты меня не так понял...

— А я считаю,— сказал Педро,— что нас освободили под нажимом рабочих, по требованию всего народа. Было много писем, телеграмм, даже из-за границы. Не хотели освобождать. Пикана говорил мне, что они намеревались сгноить нас в тюрьме.

Кофе выпит, Лола унесла чашки в кухоньку и там, присев на скамью с младшим сыном на руках, старалась не пропустить ни слова из беседы мужчин. Тревога по-прежнему не оставляла ее. Весть об аресте отца была тяжелым ударом для Педро. То, что случилось с Педро, было ужасно и дорого обошлось ему, но все это теперь — прошлое... и потом он еще достаточно силен, смог выдержать, но отец... Ведь ему за семьдесят!

— Педро,— говорит вполголоса Теодоро,— эти два товарища — мои самые близкие друзья. Гильен — крестьянин, а Лосано — сын шахтера и сам шахтер.

— Стало быть, хорошие люди. Только вот мундиры портят дело,—

Педро пытается за шуткой скрыть тревогу.— А я вот работал на текстильной фабрике. Вышел из тюрьмы и узнал, что остался без работы. Не хотят меня принимать обратно, говорят — им не нужен коммунист. А коммунист здесь считается хуже прокаженного.

Теодоро, заметно оживившись, будто давно ждал этих слов, сразу же подхватил:

— Ты помнишь, я спрашивал как-то, ты коммунист или нет. Прости меня, брат, я снова хочу задать тебе этот вопрос. Не бойся ни моих друзей, ни меня, сейчас ты узнаешь, почему я опять тебя об этом спрашиваю...

Педро с изумлением смотрит на брата и на его спутников. Для чего Теодоро задал этот же вопрос?

— Видишь ли, хозяева на стройке и на фабрике называют меня коммунистом только из-за того, что я — член профсоюза. Консерваторы за то, что я боролся против их реакционных идей, тоже называли меня коммунистом. Радикалы, которых я критиковал за их демагогию и капитуляцию перед янки, тоже называли меня коммунистом, и даже члены профсоюзов, находящихся под контролем ОРИТ или церкви, тоже называли меня коммунистом. И вот, наконец, военщина, совершившая переворот, бросила меня в тюрьму и подвергла страшным пыткам за то, что я коммунист...

Педро говорит с паузами, словно восстанавливая в памяти, напоминая самому себе эпизоды прошлого. И внезапно, взглянув в окно, он быстро добавляет:

— А я, Педро Энсина, глупый осел, даже не принадлежу к компартии! Нет, Теодоро, к несчастью, я не коммунист! — И, встав,— лицо его разгорелось от волнения — он заключил твердо: — Но клянусь тебе, я буду коммунистом! Я им буду! Я убедился, что это единственный путь для честного человека, рабочего...

Солдаты улыбаются. Похоже, что им понравился откровенный и решительный Педро. Они улыбаются, но молчат. Лола стоит на пороге кухни, умоляюще глядя на мужа.

— Педро... Педро... вспомни о детях!..— Не в силах сдержать слезы, она выбегает из комнаты.

Педро сконфуженно смолкает, он не хотел причинить боль жене. Перед ним снова воскресают сцены пыток, он слышит издевательский смех палачей. Сердце его сжимается.

— Ты, брат Теодоро, и вы, господа военные... извините меня. Я сказал вам то, чего не должен был говорить. Но мы, люди из народа, никогда не простим этих преступников. У меня кровь кипит, когда я вспоминаю все, что пережил в застенке!..

Педро закусил губу... Нет, он и этого не должен был говорить — время сейчас такое, что, похоже, даже камни подслушивают. Теодоро тихо, почти шепотом, убеждает брата:

— Я тебя понимаю, брат. И мои друзья тоже понимают тебя... Ты раскрыл нам свое сердце, а теперь выслушай нас. Ты знаешь, почему мы сюда пришли втроем, для чего мы разыскали тебя?..— Наклонившись к лицу Педро, почти касаясь его щеки, он еще тише говорит: — Потому что мы решили... сегодня же... дезертировать из армии!

— Что? Что ты говоришь?..— Педро вскакивает с места. Испуг сменяется радостью, но радость тут же гаснет в сомнении. Педро хочет поверить брату и боится поверить. Оглянувшись на дверь в кухню, он прижимает палец к губам. А Теодоро продолжает шептать:

— Да, да, ты не ослышался... де-зер-ти-ро-вать! Но мы не хотим дезертировать просто так. И я не случайно тебя спрашивал, коммунист ли ты... Если бы ты был коммунистом, то мог бы помочь нам установить контакт с коммунистами. Мы знаем, что они готовятся выступить против

военщины, против правительства Балафуги. Сначала мы подумывали связаться с радикалами, но, по правде говоря, брат, у нас нет к ним доверия. Мы не хотим быть автоматами в руках военщины! Мы даем тебе клятву, а я клянусь тебе именем нашего отца: мы готовы сражаться против военщины, пойдем вместе с народом!

Гильен и Лосано утвердительно кивают и подсаживаются ближе к братьям. Педро все еще не оправился от удивления. Он по-прежнему вглядывается в лицо взволнованного брата.

— То, что сказал младший лейтенант,— заговорил Гильен,— это чистая правда. Мы не можем больше служить... не можем... операция «Горилла» на многое открыла нам глаза.

— И не только нам,— добавляет Теодоро.— Кое-кому из офицеров тоже не по душе все это, но они пока еще не рискуют поступить так, как мы. Однако в один прекрасный день поднимется ураган...

— Да,— робко вступает в разговор Лосано,— мы не хотим ждать больше. Мы хотим сегодня же уйти в горы... вступить в отряд... партизанский...

— Партизанский? — настороженно переспрашивает Педро.

— Не беспокойся,— улыбается Теодоро,— мы хорошо знаем, что делается в горах. Мы даже знаем места, где находятся партизаны, однако мы не можем появиться там в военной форме. И потому пришли к тебе.

Педро выглядывает в дверь. На улице сияет солнце. На расстоянии квартала от дома он видит автомашину — это такси Хуана Санчеса. Конечно, трудно верить людям в мундирах, но ведь с ними брат, Теодоро.

— Ты сможешь достать нам штатскую одежду? Мы заплатим. А форма нам будет нужна только для того, чтобы выйти из города.

— В горах нам она не потребуется,— Лосано пренебрежительно дернул себя за рукав.

— Хорошо. Давайте обсудим все поподробнее,— предлагает Педро, которому хочется выиграть время и подумать самому.— Это все-таки дело серьезное.

Он расспрашивает Теодоро подробно обо всем, хочет убедиться в том, что это не западня. Но разве брат способен устроить ему западню? Нет, конечно, нет. В конце концов Педро успокаивается. Он рад за брата и его товарищей. Хорошо, что военные сами, по собственной инициативе, перешли на сторону народа. Таким людям нельзя не доверять. И Педро тихо говорит:

— Я тоже собираюсь уйти в партизаны.

Если бы Теодоро Энсина отправился на поиски своего брата двумя-тремя днями позже, он уже не нашел бы его. После страшных дней тюремного заключения и пыток Педро решил включиться в активную борьбу против диктатуры. На такое решение повлияли и те условия, в которые он попал, выйдя из тюрьмы: его профсоюз теперь находится в руках ОРИТ, все члены прежнего руководства, в том числе он, исключены из профсоюза. Педро уже договорился с кем нужно об уходе в один из партизанских отрядов, которые начали действовать в горах.

Он все хорошо продумал, все учел и распланировал. Осталось только попрощаться с женой и детьми. Не так-то просто было покинуть семью. После его ухода им придется жить на мизерное жалованье Педрито, которое сынишка получает в прачечной у китайца, где работает с тех пор, как его выбросили с фабрики, не заплатив ни гроша. Педро очень тяжело было расставаться с домом, но он твердо решил уйти к партизанам.

После того, как Теодоро сообщил ему о том, что вместе с товарищами намерен дезертировать из «специального корпуса» и примкнуть к борьбе против хунты, Педро не стал задерживаться — они уйдут в горы

вместе. Однако прежде он должен посоветоваться с подпольной организацией, в которую вступил. Он объяснил всю ситуацию своим товарищам по ячейке и взял трех военных под свою ответственность. И все же посчитали нужным не перебрасывать их в расположение партизан, а сначала направить туда, где собирали людей, готовых к борьбе, но еще не пользовавшихся полным доверием руководства партизанского движения. Теперь этот путь должен был сделать Педро, поручившись за брата, а также за Гильена и Лосано.

Пока Педро советовался с подпольщиками, Теодоро и солдаты оставались в его доме, боясь выглянуть из комнатушки, чтобы не вызвать подозрений. В предместье довольно часто заглядывали агенты Пиканы. Наконец явился Педро, принес мешок, из которого вытащил две поношенные рубашки и две пары штанов. Брату он отдал свою одежду.

— Теодоро,— спросил Педро,— а не лучше ли вам выйти отсюда без формы?

— Думаю, что нет. В форме, да еще с повязкой «ВП», никакая полицейская или военная ищейка нас не задержит. А если пойдем одетыми в штатское, а по пути попадем в их руки, нас могут обыскать, обнаружат оружие, и тогда мы, конечно, окажемся в сложном переплете: за дезертирство и еще с оружием — военный трибунал, а там разговор короткий — как пить дать, к стенке поставят.

Педро никак не мог справиться с охватившим его волнением. Как объяснить Лоле причину своего неожиданного отъезда? Быть может, лучше скрыть правду? Она ведь слышала, что случилось с отцом, можно сказать ей, что он едет в родную деревню повидать отца.

Лола выслушала мужа молча, но явно недоверчиво. Как-то странно вели себя эти военные, о чем-то шептались тайком...

Педро заходит проститься с Луисом Гало — тот все еще не встает с постели. Соседу он говорит то же, что и жене. Потом он возвращается домой, отдает Лоле деньги, которые заплатили за одежду товарищи Теодоро,— деньги очень кстати! Он отзывает в сторону Педрито и говорит сыну, чтобы тот держался за работу: пока его не будет, сын должен стать опорой семьи так же, как это было, когда Педро находился в тюрьме.

— А вот и Хуан Санчес,— сообщает Лола, выглянув на улицу.

Шофер Санчес подъехал на своем такси. Мужчины складывают в машину мешки и свертки. Солдаты и Теодоро прощаются с Педро, с Лолой, с детьми; Теодоро просит брата передать привет отцу. Затем военные уходят, направляясь на окраину города, а Хуан, усевшись в машину один, поворачивает за угол. Надо сбить со следа ищеек, которые могут увязаться за ними. Педро меняет одежду, надевает старые ботинки, на ремне под рубашкой прикрепляет револьвер, а поверх рубашки накидывает потертую кожаную куртку. Прежде чем уйти, он объясняет Лоле, что надо делать во время его отсутствия. С трудом заставляет себя говорить спокойно. Очень больно обманывать близких, но дело революции требует сохранения строгой тайны. Позднее они его поймут.

— Папа, я провожу тебя до автобуса?

— Я не поеду в автобусе, сынок. Я еду поездом. Хуан подбросит меня до станции. А ты оставайся с мамой, помогай ей. И я хотел бы, когда вернусь, не слышать на тебя жалоб...

Из-за угла появляется машина. Педро прощается с Лолой, целует детей. Глаза застилает влага. Быть может, вернется, а может, и нет... Но нельзя поддаваться чувствам, нельзя забывать о застенках СОБ. И в это мгновение снова воскресают в памяти страшные картины... Мерзавцы!.. Он идет к перекрестку, где его поджидает Хуан, машет рукой соседям и опять родным. Все желают ему счастливого пути, не подозревая, насколько опасен этот путь.

Такси долго петляет по улицам и переулкам, пока не останавливается в условленном месте. В машину садятся трое в военной форме, Теодоро — рядом с водителем, сзади двое солдат и Педро между ними. Любой теперь может подумать, что это солдаты везут арестованного.

Такси возвращается в город, старательно избегая центральных улиц. Надо попасть севернее — на шоссе, минуя зоологический сад. Стоп, красный свет! Секунды кажутся нескончаемыми. Наконец-то зеленый! Они едут молча, курят. Педро сумрачен и задумчив — мысленно он все еще с семьей. Трудно им будет без него. А что его самого ждет?.. Неизвестно... Но в конце концов сейчас не это важно, жизнь тебе дана только одна, и надо прожить ее так, чтобы потом не чувствовать угрызений совести. Кто это сказал?.. В конечном счете — неважно, кто сказал... Хорошая мысль. Да, собственные чувства и переживания надо завязать тугим узелком! Его, Педро, призывает сейчас к себе семья неизмеримо бóльшая, чем собственная!..

— Если нас остановят — останавливайтесь,— говорит Теодоро Хуану,— и помните: что бы ни случилось, что бы вам ни говорили, вы только выполняете свою работу...

— Не беспокойтесь, я все понимаю.

Сегодня воскресенье, и в зоологическом саду много родителей с детьми. Приходится ехать медленно. Солдаты разгуливают со служанками. Заметив в машине пассажиров в военной форме, они отдают честь. Теодоро с невозмутимым видом отвечает.

Несколько в стороне полицейский контрольный пункт. Часовой потягивает из бутылки прохладительное, окидывает взглядом такси и собирается подойти, но, разглядев в машине военных, теряет к ней интерес. Отдав честь младшему лейтенанту, полицейский снова тянется за бутылкой. Машина проезжает мимо контрольного пункта. Далее шоссе широкое, даже можно развить скорость, однако Хуан предпочитает не привлекать к себе внимания, никого не обгоняет.

— Пересекли Рубикон! — восклицает Теодоро и, сняв фуражку, поворачивается к друзьям.

Педро облегченно вздыхает. Теперь он смотрит на брата с тем же теплым чувством, с каким всегда смотрел на Теодоро в детстве. А он-то подумывал, что брат стал орудием палачей!

Проехали около восьмидесяти километров, что-то в этом роде. Шофер сворачивает с шоссе на проселочную дорогу и вскоре останавливается возле каких-то хижин, укрывшихся под высокими развесистыми деревьями. Здесь их поджидает связной, который должен сопровождать их дальше. Теперь можно снять военную форму и надеть штатское платье.

Далеко-далеко где-то в городе остались казармы Сан-Хорхе, «специальный корпус» — этот ударный отряд янки; далекой кажутся сейчас ненависть, презрение, которыми повсюду в народе встречали их, когда они еще носили военную форму...

2

Посол Барроуз энергично взялся за претворение в жизнь идеи сближения военной хунты с руководством радикальной партии под флагом «национального согласия». Эта акция имела еще и тайную цель — выборы учредительного собрания должны не только легализовать военную диктатуру, но и нейтрализовать оппозицию наиболее многочисленной партии. Барроуз действовал со свойственной ему напористостью, он торопил правительство Балафуги, требовал, чтобы оно поскорее предприняло инициативу в плане «согласия».

Главе государства не хотелось делить власть с радикалами, однако перспектива легализации режима была слишком заманчива. Прежде чем разрешить возвращение из эмиграции лидеров радикализма, Балафуга запросил мнение руководства СОБ и «Г-2», а также советников: нужно выяснить, какими силами располагает оппозиция в стране и каковы возможные последствия возвращения эмигрантов.

Возглавлявшие репрессивный аппарат и эксперт Донни считали, что позиции правительства Балафуги достаточно прочны и что возможность сколько-нибудь серьезного выступления против режима полностью исключена, даже в том случае, если лидеры оппозиции вернутся в страну. Ну а если они согласятся сотрудничать с хунтой, положение правительства еще более стабилизируется. Время от времени давали о себе знать какие-то мелкие группки агитаторов, но Донни считал, что это были последние коммунисты, ушедшие в подполье.

С закрытием еженедельника «Либертад» уже не существовало какого-либо легального подстрекателя.

Получив секретную информацию, Балафуга дал согласие на возвращение эмигрантов — более того, правительство выделило фонды на оплату билетов для возвращающихся радикалов, этот жест должен был свидетельствовать о доброй воле правительства. Вскоре в страну прибыли лидеры радикальной партии, их сторонники встретили вернувшихся радостно, однако значительная часть радикалов — рядовых членов партии — не скрывала своего равнодушия, а порой даже и неприязни к бывшим правителям.

По инициативе посла Нелсона Барроуза была проведена конфиденциальная встреча руководителей правительства с доктором Перико Лабиавьехой, инженером Хоакином Медидором, лисенсиатом Эктором Паломино и остальными членами свергнутого кабинета.

Встреча происходила на вилле «Золотой сон», принадлежащей доктору Селестино Камандуле, министру экономики и финансов, лидеру консерваторов. Вилла утопала в саду, под тенистыми деревьями журчали кристально чистые ручейки, образовывавшие кое-где маленькие водопады. Это был веселый пикник. Гости вспоминали былые встречи и празднества, смеялись над свежими и «бородатыми» анекдотами — чаще пикантными.

Сколько хвалебных слов, сколько изъявлений дружеских чувств! Сколько улыбок и объятий!.. Традиционная олигархия и обновленный вооруженный корпус нации. Рождалось «национальное согласие».

Забыты кровавые события в дни осуществления операции «Горилла». Забыты насилия, пытки в застенках. Забыто бремя эмиграции! С истинно христианским смирением все постарались предать забвению прошлое, вычеркнуть из памяти пять тысяч трупов, ушедших в землю в ту трагическую ночь!

Бывший президент Перико Лабиавьеха заметно изменился: лицо лимонно-желтого оттенка, под глазами мешки, он совсем облысел, и руки стали дрожать. На этом мертвенном лице патриарха радикализма живыми оставались лишь глаза да слегка улыбающиеся губы. А вот лисенсиата Паломино время не тронуло, он, как и в прежние годы, блистал остроумием, поражал всех эрудицией и утонченностью манер, словом, был обаятелен. Соперничать с ним мог только инженер Медидор, который расточал похвалы хунте, сумевшей энергично подавить кастро-коммунистов и весьма мудро проводящей свою политическую линию, оставаясь при этом вне политики. Адвокат Анисето Пакин обратился к бывшему президенту с ответной речью; он превозносил Лабиавьеху за то, что доктор сумел стать выше политического сектантства своей партии и правильно понял историческую миссию новой республики, вступившей на путь мирного развития.

Посол удовлетворенно улыбался: переговоры шли отлично, даже тени разногласия не возникало между участниками этой встречи, которые на протяжении десятков лет были заклятыми врагами, сеяли ненависть друг к другу, замышляли политические преступления, заговоры друг против друга, обрушивали друг на друга потоки угроз и оскорблений, лжи и клеветы.

За время многолетней работы в качестве проконсула своей страны в банановых, нефтяных, кофейных и горнопромышленных республиках Латинской Америки Барроузу ни разу не доводилось видеть подобное чудо. Это чудо стало возможным благодаря его, Барроуза, мудрой политике, его интеллекту, его умению убеждать и приказывать. Он испытывал сейчас чувство, подобное тому, какое испытывает укротитель, когда он стоит среди укрощенных хищников на арене цирка. И это была законная гордость: звериная жестокость укротителя победила свирепость диких зверей.

Мысль о цирковом представлении настолько рассмешила посла, что он не мог удержаться от хохота. Как раз в этот момент стоявшие рядом полковник Балафуга и доктор Камандула с самым серьезнейшим видом слушали экс-президента Лабиавьеху, который поведал им о своем, зародившемся еще в далекие годы юности, пристрастии к культивированию тыквы. Крайне удивленные собеседники воззрились на посла: его хохот мог быть истолкован как насмешка над экс-президентом.

Дипломату пришлось выкручиваться, придумывать хитроумные объяснения, и, не найдя ничего лучшего, он начал рассказывать, как — тоже в годы юности — увлекался коллекционированием зубов людей негритянской расы: их зубы всегда блестящи и необычайно красивы. Он добавил, что у него дома, в Алабаме, осталась богатейшая коллекция зубов. Заметив у своих собеседников несколько ироническую улыбку — они, по-видимому, сочли, что Барроуз — расист и куклуксклановец,— дипломат сообразил, что опять допустил бестактность.

— Да, я коллекционировал зубы негров. Дело в том, что в прошлом я дантист, и это был чисто профессиональный интерес. К тому же мне, дантисту, зубы доставались бесплатно.

Теперь расхохотались слушатели, которым показалось чрезвычайно забавным хобби посла. А Барроуз про себя отметил, что на будущее надо вести себя осторожнее даже с этими туземцами.

Лидеры радикализма забыли не только о кровавых событиях в ночь переворота, они старались не касаться и экономического курса «правительства порядка», который все более и более погружал страну в нищету. Заговорить об этом значило бы нарушить дух «национального согласия» и черной неблагодарностью ответить на гостеприимство инициаторов исторической встречи.

— Зачеркиваем все и открываем счет заново! — эту фразу можно было слышать в устах тех и других, жаждущих объятий взаимопонимания.— Никаких разногласий, никакого соперничества! Мы все — братья, сыновья одной родины! Прошлому конец! Да здравствует новая жизнь!

Когда было опустошено достаточное количество бутылок, посол предложил вниманию «гостей» и «хозяев» проект конвенции, которая определила бы политическую линию на ближайшее будущее. Участники конвенции обязывались действовать в духе мира и согласия по всем кардинальным вопросам. Никакой междоусобицы, которая могла бы разжечь в народе ненужные страсти! В качестве первого шага предлагалось провести выборы в учредительное собрание и утвердить новую конституцию — более демократическую, более подходящую к новым временам. Прежняя конституция, по словам посла, уже устарела, а главное —

позволяла коммунистам использовать в своих интересах конституционные права.

Кроме того, представители обеих партий — радикалы и консерваторы — и вооруженных сил брали на себя обязательство распределить между собой депутатские места в учредительном собрании, а затем решить проблему избрания президента республики в соответствии с последующими соглашениями, которые будут приняты с участием достопочтенного мистера Барроуза, высшего гаранта и верного друга. А позднее будет принята двухпартийная система, которая установит очередность пребывания у власти обеих партий и вооруженных сил, вне зависимости от результатов выборов. Что касается выборов, то они состоятся — нельзя же нарушать принципы «репрезентативной демократии».

— Я поздравляю вас от всей души,— горячо заявил дипломат,— поздравляю вас всех, лидеров консерватизма и радикализма, поздравляю и высшее офицерство вооруженных сил, которые ныне превратились в могучую политическую и идеологическую силу. Я поздравляю всех, кто с таким бескорыстием и благородством счел за благо подписать эту конвенцию, которая уже в недалеком будущем даст чудесные плоды, конвенцию, которую нельзя назвать иначе, как... джентльменским соглашением!

— Ура! Да здравствует джентльменское соглашение! Ура! Ура! Ура! Да здравствует выдающийся посол, дорогой мистер Барроуз!

— Да здравствует...— слились голоса в одном потоке патриотических излияний.

Этот политический акт так и вошел в историю под названием «Джентльменского соглашения», что, безусловно, льстило подписавшим его деятелям.

В тот день на вилле «Золотой сон» сбылись золотые сны и мечты американской дипломатии, и это была блистательная дата в истории республики. Адвокат Пакин не замедлил подчеркнуть в своем выступлении:

— Сегодняшний день мы можем назвать днем второй независимости, вспоминая о дне провозглашения первой независимости добрых полтора века назад! Наше соглашение — уничтожающий ответ на Вторую Гаванскую декларацию!

Бурную овацию вызвали прочувствованные, волнующие слова адвоката-коротышки. «Их стоило бы отлить в бронзе для грядущих поколений»,— предложил кто-то.

— Как жаль,— сокрушался глава государства,— что с нами нет сегодня талантливейшего поэта Олимпо дель Корраля, который в качестве почетного гостя отправился с визитом в великую державу Севера. Если бы он был сегодня здесь, он несомненно написал бы самую величественную, грандиозную эпическую поэму, какую только может создать человеческий талант и гений!

Выступления участников исторической встречи записывались на магнитофонные ленты, щелкали фотоаппараты, жужжали кинокамеры; журналисты брали интервью для прессы, радио и телевидения. Весь пропагандистский аппарат был мобилизован. Вся нация, весь мир должны узнать, каким образом маленькая «недоразвитая» страна, издавна славившаяся бесконечными внутренними распрями, столь быстро достигла зрелости под эгидой «правительства порядка». Подобные факты возможны, конечно, только в «свободном мире» и только под отеческим покровительством янки.

Под громкие рукоплескания собравшихся доктор Лабиавьеха патетически произнес:

— Разве страна, где господствуют красные, может продемонстрировать миру образцы патриотизма, подобные тем, что мы в этот момент

созерцаем здесь, в маленькой, но образцовой стране свободного мира? Да, это так, достопочтеннейшие джентльмены, именно так — без пролития крови, без ненависти, без репрессий, без расстрелов — мы отвечаем с этой монументальной кафедры на наглый вызов кастро-коммунизма! Наше соглашение — слово свободной инициативы, свободного предпринимательства! Это возрожденный дух панамериканизма!

Информационные агентства передадут заявление патриарха радикалов во все уголки мира — с этими словами доктор Перико Лабиавьеха, несомненно, войдет в бессмертие.

Однако не прошло и нескольких минут, как Лабиавьеха и Камандула сцепились было в жарком споре. Они никак не могли поделить депутатские места в будущем конгрессе. Каждый из них хотел иметь большинство с перевесом хотя бы в один голос. Вот этот-то «один голос» и стал камнем преткновения.

— Вспомните, доктор Камандула, радикалов в стране — большинство!

— Вспомните, доктор Лабиавьеха, что согласно «Джентльменскому соглашению» мы обладаем одинаковыми правами!

— Это касается только «Джентльменского соглашения»... Однако элементарнейшая логика подсказывает, что коль скоро моя партия представляет собой большинство...

— Элементарнейшая логика подсказывает, что подписавшие «Джентльменское соглашение» являются абсолютно равноправными и равными во всем компаньонами!

— Я не соглашусь, чтобы это равенство шло в ущерб...

— Я не соглашусь, чтобы неравенство дискриминировало...

— Но ведь это шантаж!

— А ваши слова — удар по «Джентльменскому соглашению»!

Спор достиг такого накала, что посол счел нужным вмешаться. После того, как обе стороны изложили ему свою точку зрения, дипломат любезно объяснил, что в соответствии с «Джентльменским соглашением» количество депутатов не будет зависеть ни от численности той или иной партии, ни от количества полученных на выборах голосов — это означало бы возврат к позорному прошлому.

— Численность депутатов от каждой партии определит нейтральное мнение военных,— заявил мудрый Барроуз.

Оба крикуна сразу притихли и молча схватили свои бокалы виски, зарекаясь ворошить прошлое.

3

Публикация «Джентльменского соглашения» вызвала прилив желчи у полковника Лидио Педралисы — его раздражало любое упоминание имени Оскара Балафуги. Он позвонил Эммануэлю Плумилье, хотел с ним переговорить по телефону, но тот пригласил его встретиться с ним в военном казино: Плумилья знал, что телефонные разговоры прослушиваются полицией, и потому счел за лучшее поговорить с Педралисой с глазу на глаз.

Отдалившись от правительства и вооруженных сил, Лидио продолжает оставаться в резерве — получает свое полковничье жалованье, имеет право носить форму. Он предпочитает держаться в стороне, своей позицией привлекая к себе внимание со стороны штатских и военных, которые видят в нем жертву режима. Лидио нравится, надев штатское платье, гулять пешком по улицам и, смешавшись с толпой, прислушиваться к разговорам.

Мало-помалу Педралиса убедился, что народ относится по-прежнему враждебно к режиму Балафуги, что рабочие и студенты настроены оппозиционно и даже выступают с критикой правительства, несмотря на репрессии, несмотря на приговоры к тридцатилетнему тюремному заключению или даже смертной казни. Полковник Педралиса всегда был достаточно гибок — кстати, это ценное качество не раз отмечал посол Барроуз. Педралиса умел слушать и улыбаться, завоевывать доверие собеседников. Он смог сблизиться с несколькими радикалами из буржуазных кругов, но не терял дружбы и со своими друзьями офицерами, прежде всего — с командующим военно-воздушными силами.

Педралиса остановил машину неподалеку от Центральной площади и потихоньку пошел к «Роще любви» — популярному кафе, куда часто заходили студенты университета. Кафе находилось в глубине большого сада, утопавшего в цветах,— именно этим и объяснялось его поэтическое название. К вечеру улицы наполнялись людьми. Босоногие, одетые в лохмотья ребятишки шныряют повсюду, продавая газеты. Какой-то юноша, разговаривавший на углу с девушкой, вручает Лидио листовку, отпечатанную на гектографе. Педралиса складывает и прячет листовку в карман. Затем покупает газету «Пренса либре» и входит в кафе.

Очень трудно отыскать свободное местечко — залы полны шумными студентами. Наконец, Лидио находит свободный столик в саду. Заказывает себе холодного пива. Оглядывается. Читает листовку и улыбается: студенты протестуют против «Джентльменского соглашения», называют его изменой родине. Студенты не открывают огонь против вооруженных сил, но беспощадно атакуют лидеров радикалов, которые пошли на соглашение не только с реакционерами консерваторами, но и с убийцами, проявившими свою жестокость в дни государственного переворота.

Тщательно сложив листовку, Лидио снова спрятал ее в карман. Не спеша потягивая пиво, он просматривает газету радикалов. Довольно любопытная информация и комментарий по поводу «Джентльменского соглашения», несколько писем и телеграмм читателей, критикующих лидеров консерваторов. Забавно, что даже радикальная газета осуждает позицию своих руководителей. Передовая, подписанная главным редактором, направлена против «Джентльменского соглашения». Лидио знает этого главного редактора, тот однажды брал у него интервью, когда Педралиса был еще начальником генерального штаба.

— Как поживаете, полковник Педралиса?

Лидио быстро поднимает голову. Юноша с открытым и жизнерадостным лицом.

— А, Энрике! Спасибо, хорошо, а ты как? Присаживайся, выпей пива.

Юноша присаживается за его столик. Педралиса вспомнил, что это один из тех студентов, которых посольство янки заслало в университет и которые служат осведомителями СОБ и «Г-2». Да, от этого парня можно узнать, как относятся студенты-радикалы к «Джентльменскому соглашению». Энрике считает, что радикальная партия переживает сейчас серьезный кризис, можно даже ожидать, что лидеры, подписавшие конвенцию, будут отстранены от руководства.

— Все это очень интересно, мой молодой друг, но что могут сделать рядовые члены партии?

Осведомитель наклоняется к Педралисе и говорит вполголоса:

— Не забудьте, что эта партия весьма многочисленна, и если недовольные объединятся с коммунистами и с теми, кто настроен антиамерикански, с профсоюзами, то можно ожидать сильную головную боль. Теперь студенты организовали революционный университетский фронт.

Я тоже там! — Энрике широко улыбается, он явно доволен своей шпионской работой.

— Чего эта военщина хочет?..— говорит кто-то за спиной Лидио.— ...Удержаться у власти и продолжать обкрадывать страну.

— Хотят легализовать диктатуру «горилл», а наши политики поддерживают их в надежде заполучить ломтик дыни.

— Видимо, у этого Лабиавьехи не осталось и следа совести! Ему дали коленом в зад, а он вернулся и лижет им сапоги! Даже собака на это не способна!

— А чего еще можно ожидать от предателя, который всегда торговал родиной направо и налево? Когда он был у власти, то делал то же, что и Балафуга: крал сам и распродавал страну монополиям янки! Разве вы не помните его заявления, когда он был в эмиграции? «Гориллы» бывают и без мундиров!

— Лабиавьеха побил все рекорды цинизма. Он сказал, что военные, устроившие переворот, действовали из чувства патриотизма. Разве это не вершина бесстыдства и политической коррупции?

— И эти канальи еще хотят представлять радикальную партию...

— И не только радикалов. Но обожгутся! Сегодня это не вчера! Теперь «гориллы» уже не застанут нас врасплох! Теперь мы сами захватим их врасплох, и они дорого заплатят нам за все! Пример Кубы перед нами!

— Они считают себя даже сильнее этих янки!

— А весь скандал с «Джентльменским соглашением» — наверняка дело рук петуха из посольства! Он понял, что народ возмущен, и решил заткнуть рты, вытащив своих марионеток из обеих партий, чтобы поддержать позиции «горилл»! Пожалуй, можно ожидать нового переворота — только на этот раз в их банде!

— Знаем мы их трюки! Когда их не ублажает один «горилла», ставят на его место другого и кормят народ обещаниями. Хватит! Больше мы не потерпим! Будем отвечать пулями!

— Уже и так убили многих наших товарищей.

— И некоторых по вине шпиков, которые сидят в университете!..

— Это еще одна проблема, которой нужно заняться побыстрей. Во всяком случае, все, кто получает стипендии от посольства янки, это полицейские шпики. Надо будет взять их за шиворот, пока не напакостили больше!

Педралиса внимательно наблюдает за своим компаньоном. С лица парня слетела беззаботность — внимательно и серьезно он прислушивается к разговорам. Заметно побледнел. Испытывает страх, хотя и пытается его скрыть. Вдруг, поспешно простившись с полковником, Энрике идет к двери. Вслед ему несется свист. Энрике, не оборачиваясь, ускоряет шаг, торопится покинуть «Рощу любви». Звонкий девичий голос кричит:

— Долой «студентов»-шпионов! Долой доносчиков-осведомителей! Студенты — да! Полицейские — нет!

Студенты подхватывают и скандируют эти слова.

Лидио не улыбается. И хотя ему приятно, что они настроены против Балафуги, его беспокоит, что они собираются выступать против любого маневра, означающего новый государственный переворот. Быть может, вместо того чтобы, опираясь только на военных, нанести удар Оскару, полезнее использовать недовольство более широких демократических слоев, подтолкнуть их на вооруженное восстание, а потом возглавить его? Не мешало бы изложить такую точку зрения в предстоящей беседе с послом. Ему хочется сейчас же поговорить со своими незнакомыми соседями в кафе, но тут же решает более благоразумным воздержаться — уж слишком экзальтированны. Он платит за пиво и идет к двери.

Как только он поднялся, к нему сразу же обратились многие насмешливые взгляды. Несомненно, кто-то его узнал. Слышны перешептывания. Вдогонку доносится голос:

— Тот же «горилла», хотя и в шелку!

Хором отвечают:

— Хоть и в шелку, «горилла» «гориллой»!

— Студенты — да! «Гориллы» — нет! Студенты — да! «Гориллы»— нет!

От этой пощечины покраснело лицо Педралисы. Он покидает «Рощу любви», бурча под нос отборнейшие ругательства по адресу хамов-студентов. Благоразумнее исчезнуть, как будто ничего не заметив. Нет, гнев народа опасен! И особенно для военных, а он прежде всего военный!

С горящими ушами полковник Педралиса выходит на улицу, направляется к своей автомашине. Он уже поравнялся с автомобилем, когда услышал громкие крики. Оглядывается. Двое полицейских схватили каких-то двоих юношей, очевидно студентов, и стали избивать их. Студенты дают сдачу, на помощь им бегут их товарищи, вооруженные палками. Завязывается драка. Воспользовавшись суматохой, трое парней поднимают на плечи девушку — ту самую, что вместе с юношей раздавала на углу листовки,— ее поддерживают, пока она срывает со стены плакат. На этом плакате цветной фотоснимок полковника Оскара Балафуги с подписью:

«СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЛКОВНИКА БАЛАФУГИ, БУДУЩЕГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРЕЗИДЕНТА»

На этот раз Лидио Педралиса не может сдержать довольной улыбки. Увиденное даже как-то сглаживает впечатление от пощечины. Он уже посматривает с симпатией на студентов, обративших в бегство полицейских, но сейчас и студенты в свою очередь разбегаются, опасаясь возвращения агентов с подкреплением. Собравшаяся публика приветствует студентов.

Педралиса уезжает в военное казино.

— Полковник Плумилья здесь? — спрашивает он бармена.

— По-моему, он наверху, полковник.

По широкой лестнице он поднимается в маленький салон. Действительно, Плумилья уже тут. Рядом с ним майор Модесто Орехона. Они радушно приветствуют Педралису и заказывают для него бокал. Орехона, понизив голос, рассказывает полковникам о деятельности ближайших соратников Балафуги, в частности министра обороны полковника Вердолаги. Судя по всему, дела у главы государства незавидные. После заключения «Джентльменского соглашения» он перестал пользоваться авторитетом не только у радикалов, но и вообще среди населения. Орехона, похоже, ведет двойную игру. Недаром он «Г-2».

— Я думаю,— говорит Плумилья,— что Оскару придется подать в отставку до выборов в учредительное собрание.

— Нельзя допустить, чтобы он сам подал в отставку! — кипит Педралиса.— Надо вышвырнуть его вон! У меня с ним особые счеты, и ему придется заплатить!.. Но вот что я думаю: надо бы воспользоваться недовольством черни... пусть она расправится с Оскаром.

— Это очень опасно,— с озабоченным видом замечает Орехона.— Если дать народу в руки оружие, то потом мы не сможем отобрать его и пули полетят в нас. Это не шутка! Подумайте, сколько ненависти в народе против военных после операции «Горилла». Нет, этого они нам не простят!

— А что такое народ! Просто-напросто чернь,— пренебрежительно говорит Лидио,— и вопрос заключается в том, чтобы в нужный момент взять ее за шиворот. Если мы возглавим восстание в столице, народ пойдет за нами. Ну, разумеется, мы должны дать ему возможность расправиться с Оскаром и его приспешниками — в противном случае он повернет оружие против нас. Нужно действовать умело. Самое важное— завоевать власть. Только почувствуем себя твердо на ногах — к чертовой матери эту чернь. Я уверен, что такая идея очень понравится мистеру Барроузу!

— Да-а, вооруженный народ — это революция! — задумчиво произносит Модесто Орехона.

Эммануэль Плумилья согласен с Орехоной. Нельзя отпускать вожжи, опасно давать оружие народу. Пример Кубы может оказаться роковым... А вдруг все это выльется в настоящую революцию, а вдруг и здесь появится какой-нибудь свой Фидель Кастро? Какая рожа будет тогда у Нелсона Барроуза и остальных гринго?

— Ну, Эммануэль, а как ты разрешил вопрос о покупке самолетов?

— Эх, братец ты мой, дела такие, что и говорить не хочется...

— Понимаю. Значит, Оскар не выполнил своего обещания насчет комиссионных...

— Не в Оскаре дело! Оскар — марионетка! — Плумилья, недовольно сморщившись, опустошает бокал с виски.— Порой жаль Оскара, да и вообще всех нас. Не люди мы, а ...черт знает что!

Педралиса и Орехона с удивлением смотрят на Эммануэля, излившего свою душу так неожиданно. Что это с ним? Чем вызвано? Против кого он?.. Его слова не свидетельствуют о каком-либо особом желании вступать в заговор против Балафуги. Или его выбила из колеи неудачная афера с самолетами?

— Тебе что, не достались десять тысяч долларов?

— Не в долларах дело, Лидио! Речь идет не о десяти тысячах, не о ста тысячах! Мне осточертело оценивать все в долларах и по любому поводу консультироваться с янки. Понятно?

Молчание. Орехона недоуменно пожимает плечами. Педралиса не настаивает. Непонятен ему тон Плумильи, и не хочет он подстрекать его. Бывает, что даже у людей самых близких появляется нечто странное, что никак нельзя понять. У Лидио впечатление таково, что он находится перед каким-то неизвестным и таинственным Плумильей. Чтобы что-то сказать, он повторяет свою мысль:

— Следует Оскара сбросить, и как можно скорее.

Быть может, Эммануэль и собрался бы рассказать им что-то, но уже не хватило времени. Вместе с компанией девушек-иностранок сюда прибывают явно навеселе атташе Тайти Коэн и первый секретарь посольства. Немедленно заказывают еще бутылки, еще бокалы.

Откуда-то доносится громкий голос. Это, оказывается, по радио передают официальное сообщение о праздновании дня рождения главы государства — будущего конституционного президента. В военном казино креольские офицеры и гринго, каждый по-своему, комментируют это сообщение, не удерживаясь от шуток. Но в центре внимания — девушки из американского «Корпуса мира», которых в казино привез Тайти Коэн.

У всех девушек одинаковые прически, покрытые серебристым лаком, точь-в-точь как у какой-то кинозвезды. Они прибыли в страну недавно в качестве волонтеров «Корпуса мира», чтобы способствовать социальному и культурному прогрессу местного населения. Все они владеют испанским, но с офицерами предпочитают говорить по-английски.

Лидио, Плумилья и Орехона сражены: что за женщины! Какие пленительные формы! Какие позы вампиресс, когда они сидят в мини-юбках, закинув нога за ногу, затягиваясь сигаретой или пережевывая

резинку! Они делятся своим горячим желанием устанавливать дружбу с молодыми людьми, без какой-либо дискриминации — с военными и гражданскими, с «зелеными» и «желтыми», с метисами и белыми, даже с неграми, если это нужно. Они — авангард мира великой державы Севера! Они хотят сотрудничать, хотят, чтобы и в этой стране поняли — на основании фактов, а не в силу коммунистической пропаганды,— что правители великой державы, представляемой ими, христиански любят этот братский народ, относясь к нему как равный к равному.

«Голубки!.. Ангелочки!..» — не без задней мысли думают офицеры— эксперты в области контактов с веселыми девицами из кабаре.

Тут же по телефону вызывают других военных — «молодых», с горячим темпераментом,— чтобы у каждой девушки был бы партнер. Как жаль, что уже нет кубинских контрреволюционеров, инициатива которых была несравненна в таких случаях! Но и местные не так уж отстали, с советниками гринго они прогрессировали... во всем!

Лишь на рассвете компания покинула военное казино. Много танцевали, много пили, много пели, много... Да и не могло быть иначе...

4

Так называемое «Джентльменское соглашение», вокруг которого была развернута столь активная пропаганда внутри страны и за рубежом, вызвало в рядах радикальной партии чуть не землетрясение. Авторитет верховного лидера доктора Перико Лабиавьехи и его приспешников разлетелся вдребезги, как стекло, в которое попал камень. Это было нечто неожиданное, непредусмотренное, невероятное для экс-президента, считавшего себя незаменимым вершителем судеб, лидером, не имеющим соперников, единственным вождем олигархической партии.

Действительность ошеломила доктора Лабиавьеху, привела его чуть не в бессознательное состояние — он чувствовал себя как поверженный на ринге боксер, над которым судья уже отсчитывает время. Неужели это ужасный кошмар? Его уже не признают вождем партии! Ему буквально дали пинок в зад! И самое худшее, чего уж никак нельзя понять,— его назвали предателем! «Трижды предатель», как выразился главный редактор газеты «Пренса либре» Хаиме Боланьос: «Предатель родины, предатель партии, предатель идеалов!»

Как поверить в это старому лидеру, слово которого не один десяток лет было направляющим в политике партии и в действиях его единомышленников? Что же действительно произошло? Почему он увидел себя изолированным от всех, попавшим в западню, выброшенным, как обглоданная кость, бродячим псам?.. Ну, конечно, толпа неблагодарна... Нет пророка в своем отечестве... Перико Лабиавьеха считает себя Иисусом Христом, он должен испить чашу горечи.

Так думает экс-президент, стремясь найти причину и оправдание своему потрясающему банкротству. Единственно, что не поддается никакому объяснению,— это открыто враждебная позиция остальных лидеров партии радикалов и молодежи. Ведь они-то не невежественны, разбираются в политической ситуации. И все же именно они — во главе с Хаиме Боланьосом — осмелились пойти против него. Кому из них он в свое время не сделал добра? Кому не оказал помощи, как лидер партии, кого обделил лакомым кусочком из правительственных фондов, когда был президентом?..

Очень шумным было заседание съезда радикальной партии, проведенное под нажимом со стороны провинциальных организаций. У руководства потребовали объяснения по поводу принятия пресловутого

«Джентльменского соглашения». Лидеры попытались дать более или менее вразумительные разъяснения, ссылаясь на необходимость «национального согласия». Но эти объяснения никого не удовлетворяли. Лидеры были заклеймены за связь с консерваторами и военными, которые менее года назад нанесли удар по партии, по конституции, по народу.

Целый ливень обвинений. Потоки молний, обвинений и оскорблений. Съезд исключил из партии Перико Лабиавьеху и всех его сторонников, которые от имени руководства подписали соглашение, протянули руку кровавой хунте. Новое руководство партии заявило о том, что оно не признает «Джентльменского соглашения».

Так «Джентльменское соглашение» оказалось цветком, отцветшим в течение одного дня, поэмой, написанной на облаках «Золотого сна». И то, что в Лабиавьехе вызывало только разочарование и горечь, в американском после разожгло бешенство, ярость, желание собственными кулаками разгромить эту массу, выступившую против творения мистера Барроуза. Проконсул почувствовал себя обманутым индейцами — и пылал местью.

Мистер Нелсон вызвал всех ответственных чиновников янки на экстренное совещание в посольстве. Он ломал голову над тем, как выпутаться из положения ему, зодчему столь хитроумного плана, основывающегося на коалиции олигархии. Вопреки всем своим ожиданиям, его коллеги не считали случившееся поражением посла: они ссылались на сложность политического положения и вместо того, чтобы возложить ответственность за провал на посла или на самих себя, сразу же стали настойчиво изыскивать подходящее заключение.

Это было одним из длительнейших совещаний между военными-гринго и дипломатами-гринго. Манки, Бейбун и Эйп единодушно поддержали идею нового военного переворота под руководством Лидио Педралисы, но этот план шел вразрез с указаниями Вашингтона, который настаивал на сохранении форм демократии, дабы не провоцировать мировое общественное мнение.

Было еще и второе предложение: восстановить режим «репрезентативной демократии» с радикалами во главе, оттеснив военных на тыловые позиции. Но радикалы утратили доверие масс... О консерваторах нечего и думать: они вообще не пользуются ничьим доверием. Кто-то высказался даже за сохранение статус-кво, не занимаясь поисками какого-либо камуфляжа.

Как и на предыдущем совещании, самая рациональная идея принадлежала эксперту ЦРУ. Кстати, положение Рэка Донни значительно утвердилось и возвысилось с тех пор, как он оживил в своих коллегах их расистские концепции. Уверенным и безапелляционным тоном он и на этот раз высказал свое мнение:

— Не будем преувеличивать. Проблема серьезная, никто в этом не сомневается, однако она не неразрешима. Я предлагаю продолжать осуществление плана мистера Барроуза и готовиться к проведению выборов. Коль скоро соглашение между военными, радикалами и консерваторами заключено, мы должны продолжать осуществлять наш план, пока не выполним...

— Но ведь на выборах мы бесспорно потерпим поражение! Лабиавьеха и его люди сожжены, разгромлены! Выстреленные гильзы! Избирательные урны принесут нам катастрофу! — возразил Барроуз.

Однако у Рэка Донни всегда готов на все ответ.

— У нас свои цели и свои задачи, и мы должны забыть о том, какую ценность могут иметь Лабиавьеха или доктор Камандула в качестве лидеров. Будем исходить из основного: у власти Балафуга и его правительство. А раз власть у военных — значит, у нас. С властью можно сделать все, что захотите! Выборы? Проще простого, коллеги! И ника-

кого значения не имеет, что Лабиавьеха, Камандула либо полковники не располагают поддержкой в народе. Народ — ноль, абстракция, если в наших руках власть. Я гарантирую — при активной поддержке СОБ, «Г-2» и армии — победу на выборах наших избранников. Причем абсолютным большинством голосов! Мы создадим учредительное собрание и будем поддерживать Балафугу, пусть он хоть дурак дураком. Я считаю, что делать ставку на Педралису рано. Поручите мне это дело. Я с ним справлюсь.

Рэк Донни убежден, что нужно любой ценой легализовать военный режим. Если кто-нибудь поднимет голову — раздавить. Если креольские военные окажутся не способными навести порядок, надо вызвать на помощь морскую пехоту и парашютные части из США.

— Коллеги, мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать повторения кубинской ситуации, иначе мы должны отказаться от порученного нам задания. Интересует ли Вашингтон конституционализация режима Балафуги? Да! Тогда надо провести это, не ломая голову над всякой чепухой! Я гарантирую, что на выборах победят те депутаты, которые нам нужны!

Для Рэка Донни не существовало иных норм поведения, кроме тех, которые были приняты в ЦРУ, и остальных «стопроцентных американцев» невольно подавляли его решительность, авантюризм и жестокость, которую он натренировал в камерах пыток.

Идея Рэка Донни была принята безоговорочно и единодушно. Эксперт ЦРУ получил «carte blanche» для дальнейших действий и приступил к выполнению своего плана, рассчитывая на помощь коллег.

5

День рождения главы государства был объявлен праздничным днем по всей стране. Специальные программы разработаны для школ и казарм, для государственных учреждений. Многочисленные делегации мобилизованных для этой цели чиновников разных министерств прибывали к правительственному дворцу — они несли лавровые венки, увитые лентами, на которых красовались надписи, посвященные славному юбилею верховного вождя нации. Вооруженные силы, естественно, тоже принимали активное участие в празднествах. Боевые самолеты, недавно полученные из США, демонстрировали над столицей фигуры высшего пилотажа и разбрасывали листовки с портретом будущего «конституционного президента», и в довершение всего сбросили на дворец гирлянды цветов. Артиллерийские залпы салютов вызвали у обеспокоенных жителей недобрые ассоциации. С невероятной помпой все три рода оружия праздновали день рождения главы государства. В военном казино была устроена попойка для старших офицеров — собственно, приглашали их на банкет, но вместо официального акта офицеры, воспользовавшись отсутствием занятых во дворце военачальников, закатили шумную попойку и даже забыли, по какому поводу собрались: речей не было. Зажигательные речи зато произносились перед солдатами и младшими офицерами в казармах — в речах превозносился полковник Балафуга, «великий стратег современности», и весь наличный состав вооруженных сил призывался выражать преданность правительству Балафуги.

Иностранные дипломаты во главе с дуайеном дипломатического корпуса папским нунцием и послом Барроузом прибыли во дворец, чтобы поздравить главу государства, который вместе со своей супругой, еще более расцветшей, «первой дамой нации» Асусеной, принимал почетных гостей в Голубом салоне. Вслед за чинными дипломатами во дворец нагрянула стайка посеребренных блондинок из «Корпуса мира», и в тор-

жественной тишине дворца шаловливыми колокольчиками зазвенел задорный молодой смех посланниц «pax americana», прилетевших по ходатайству Рэка Донни, чтобы привить здесь нормы морали и культуры в духе «american standard of life».

Конечно, в анналах истории страны останется запечатленным этот волнующий день в жизни главы государства. Столь необычайно пышное празднование дня рождения Балафуги по сути означало четко выраженное согласие высших политических сфер на его будущее назначение на пост «конституционного президента». Хотя и раскололось руководство радикализма — того самого радикализма, который должен был играть основную роль на выборах,— радикальная партия неустанно вела активную пропаганду своей платформы, однако о «Джентльменском соглашении» и словом не упоминалось. Во дворце присутствовали представители доктора Лабиавьехи и делегаты консервативной партии, вручившие главе государства трогательные поздравительные послания.

Портреты главы государства расклеены на самых видных местах по всей столице. И в провинции тоже. Правда, в городе приходилось время от времени снова наклеивать плакаты с портретами, поскольку их то и дело срывали и уничтожали руки каких-то зловредных антипатриотов. Потребовалось удвоить полицейский надзор на главной авениде и Центральной площади, чтобы по крайней мере хоть там до конца торжеств никто не срывал тщательно отретушированные фотоснимки и красочно приукрашенные изображения великого военного и государственного деятеля и чтобы никто не писал на них возмутительные надписи вроде «К стенке!» или столь непочтительные, как «Горилла № 1». Полицейские выбивались из сил, стараясь выловить смутьянов, но не удалось схватить ни одного. Казалось, всеми прохожими на улицах заключено молчаливое соглашение оберегать не портреты, а уничтожавших их.

В полдень полковник Балафуга, сняв на праздник военный мундир и красуясь в безукоризненно выглаженном черном цивильном костюме, завтракал в президентской столовой с ближайшими сотрудниками и друзьями. Ближе всех к нему сидели посол Барроуз, члены военной миссии янки, атташе Тайти Коэн, Рэк Донни. Были здесь министры, высшие офицеры из «молодых» и... странное дело!.. снятый со своих постов полковник Лидио Педралиса, который был приглашен сюда по инициативе, а вернее сказать, по приказу рыжего дипломата. Педралиса не числился в списке приглашенных Оскаром Балафугой, но ведь бесспорна истина: там, где командует капитан, матрос помалкивает. В конце концов, подумал Балафуга, совсем неплохо, что Лидио присутствует здесь — пусть будет свидетелем его триумфа, пусть послушает речи и поздравления и... пусть кусает себе хвост от зависти! Балафуга наслаждался, искоса наблюдая за Педралисой, пока гости выступали с панегириками.

Не менее фарисейски ведет себя и Лидио. Разумеется, он не без досады наблюдает за чествованием Балафуги, разливается желчь от восхвалений Балафуги, но на лице сияет праздничная улыбка, более того, он даже произносит цветистый тост во здравие виновника торжества, правда чуть-чуть ироничный, но этого никто не заметил. Скоро, очень скоро креолы и гринго будут расточать похвалы ему, Педралисе, ибо он с неизмеримо бо́льшим правом — займет почетное место, на котором сегодня пока еще держится Балафуга. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Если бы глава государства мог в эту минуту прочесть его мысли!.. Однако глава государства, кажется, так упоен собственным величием, что ничего не слышит и не видит, а «первая дама нации», восседающая между послом Барроузом и Пакином, дарит направо и налево кукольно застывшую улыбку.

Когда уже разносили блюда и все были веселы от выпитого виски, в зал врывается музыка. Еще с раннего утра национальное радио и все

радиостанции страны передавали сообщения о грандиозных празднествах, а в полуденный интервал начали транслировать классическую музыку в записи Филадельфийского симфонического оркестра. Посол прислушивается и обращает внимание Балафуги на этот концерт.

— Великолепно, великолепно! — восклицает глава государства, с видимым напряжением прислушиваясь к музыке, в которой он ничего не смыслит.— Да, да, мы пригласим этот оркестр в нашу страну!

— Прелестная, очаровательная музыка! — взволнованно вздыхает «первая дама нации».

Внезапно музыка обрывается. Громкий голос диктора. Балафуга и «первая дама» донельзя возмущены: кто посмел прервать концерт! Адвокат Пакин, подняв руку, просит тишины.

— Внимание! Внимание! Соотечественники! Граждане республики!..

Гости улыбаются. Сейчас, разумеется, будет передано сообщение об этом завтраке у главы государства, назовут всех присутствующих, опишут платья и драгоценности дам... Все ждут...

— ...Передаем очень важное сообщение! Палачи и убийцы «горилльı», захватившие власть в стране, не в силах заглушить наш голос...

— О!

— Ах!

— Что? Что такое?

— Тише, слушайте, слушайте!

Будто наэлектризованные, все вскочили со своих мест и теснятся возле репродуктора, искусно вделанного в стену у двери.

— Народные силы, по которым был направлен удар бандитской акцией реакционной военщины и империализма янки, ныне сформировали союз патриотов под названием «Патриотическое революционное объединение» (ПРО), чтобы продолжать борьбу, начатую народными бригадами и «командами самоубийц» в день предательского переворота!..

— Невероятно! — Пакин стоит у стола в полной растерянности, не выпуская из рук вилку и нож. Плумилья делает адвокату знак, чтобы не мешал слушать.

— ПРО, объединяющее рабочих, студентов, крестьян, специалистов, всех честных мужчин и женщин страны, призывает народ, а также солдат и низшие чины армии к вооруженной борьбе против диктаторского режима убийцы Оскара Балафуги и шайки советников-янки! Объединив свои силы, мы, патриоты, свергнем продажную хунту полковников, которая отдала страну во власть иностранных монополий, которая изменила народу и пошла на службу к милитаристам Пентагона!

Пепельным стало лицо Оскара, дрожащие руки судорожно вцепились в скатерть. Асусена, пошатнувшись, схватила мужа за плечо. У посла Нелсона Барроуза мгновенно слинял свекольный румянец, конвульсивно подрагивает двойной подбородок... Как?!. Это... по национальному радио... в такой день... в такой час... и когда светит солнце!.. Если бы это случилось ночью, по крайней мере можно было бы поверить... Обычно ночью происходит что-либо странное. Но средь бела дня... Министр иностранных дел терялся в догадках.

— Все патриоты должны занять свое место в рядах ПРО! Сотрудничайте с нами все, кто как может! С этого момента вооруженные силы освобождения ПРО начинают партизанскую борьбу по всей стране! Вперед, соотечественники! Долой «горилл»! Долой олигархов, подписавших «Джентльменское соглашение»! Долой империализм янки, угнетателя народов! Да здравствует народная революция! Да здравствуют вооруженные силы освобождения! Да здравствует Патриотическое революционное объединение! Революционеры, вперед! «Горилл» — к стенке!

Воцарилось такое глубокое молчание, что стали слышны даже шорохи атмосферных помех в репродукторе. Рэк Донни первым очнулся и

бросился к телефону. Позвонил в СОБ, вызвал капитана Пикану. Но в зале начался такой шум и гам, что Донни перестал различать звук собственного голоса. Летят на пол тарелки. Куски жареной курицы пачкают белоснежную скатерть. Опрокидываются бутылки, и вино льется по скатерти на ковер. Рюмки падают со звоном, под ногами хрустят осколки хрусталя и фарфора. Официанты с огромными подносами стоят окаменевшие, не зная, что делать. Зал похож сейчас на цирковую арену. Прыгают, взлетают вверх кулаки, мелькают вилки, ложки... Буйствует ярость... Ярость и бессилие... страх. Проклятия... Угрозы...

В дверях появляются часовые из дворцовой охраны, с автоматами наперевес. По коридорам дворца заметались, обезумев, солдаты, чиновники, прислуга. Все они слышали радиопередачу. На Центральной площади спешно расстанавливают пулеметные расчеты для возможной обороны... Неужели народное восстание?..

Плумилья вскочил, чтобы связаться по телефону с военно-воздушной базой, и остановился... как зачарованный, впился взглядом в Барроуза. Да, да, он смотрел не на Оскара, не на Асусену, не на Пакина и не на Лидио, он не мог оторвать глаз от своих покровителей-гринго, насмерть перепуганных, растерянных, бьющихся в истерике. Наконец-то! Наконец-то он увидел, какие рожи бывают у янки в минуту страха!

Прекрасную «первую даму нации» пришлось на руках унести в ее апартаменты: у нее нервный припадок, врачи, тоже еле живые от страха, пытаются привести ее в себя. Тут же рьяно суетится любезный коротышка министр иностранных дел. А полковника Балафугу трясет от бешенства. Сжав кулаки, он изрыгает ругательства. Бьет кулаками по столу, топает ногами. Вдруг запускает стулом в невинный громкоговоритель, но стул, пролетев мимо, угодил прямо в круглое, как луна, зеркало, рассыпавшееся мелкими льдинками. Лицо Балафуги вздулось и побагровело. Полиловели губы. Из глотки вырывается какой-то хрип. Но никто не обращает на него внимания, каждый занят своим... Нет, не каждый... Полковник Педралиса внимательно наблюдает за Балафугой.

«Хорошо бы сфотографировать его сейчас! Хорош, очень хорош! Ну, кто смеется последним?..» Педралиса еле скрывает ликование.

Педралиса подходит к послу, который уже в какой-то степени восстановил свое спокойствие, однако на широком лице его еще тревожно блестят выпуклые глаза. Оскорбление нанесено и ему. Посол молча переглядывается с Лидио. Молча. Да и можно ли подобрать еще какие-то слова. У Педралисы мелькает мысль, что события подтолкнут дипломата к новому перевороту. Теперь он поспешит убрать Балафугу, не дожидаясь, пока его свергнет народ. Конечно, ни Лидио, ни гринго невыгодна победа народа. В ушах Педралисы эхом отдаются последние слова радиопередачи: «Горилл» — к стенке!»

Не говорит, а кричит в трубку Рэк Донни. Пакин вернулся из внутренних апартаментов, куда он сопровождал прекрасную Асусену, и блохой запрыгал вокруг посла. Пронзительным голосом он вопит: «Это коммунисты! Коммунисты!.. Кто кроме них мог сделать такое!.. По национальному радио! И в этот день! Нет, надо их проучить! Расстрелять! Повесить на площади! Растерзать их в клочья!.. И... и... под музыку Филадельфийского симфонического оркестра!»

Рэк Донни не отрывается от телефона. Лицо его перекошено, вид ужасен, таким его никогда не видели даже в камерах пыток. За все случившееся он несет личную ответственность: он — советник СОБ и «Г-2», он отвечает за порядок и безопасность в этой стране, он, представитель ЦРУ. Военный атташе Тайти Коэн наливает бокал и протягивает его главе государства — быть может, виски успокоит нервы. Полковник Патрик Манки, несколько оправившись от шока, говорит:

— Спокойствие, спокойствие, господа! Не тревожьтесь, никакой опасности нет! Сейчас мы все узнаем, Донни звонит в СОБ! Успокойтесь!

— Да, да, господа,— поддерживает его глава государства; он дышит так, словно пробежал несколько километров с винтовкой и полной выкладкой.— Надо сохранять спокойствие! И все-таки это неслыханно, полковник! — На смену ярости пришла растерянность, голос Балафуги жалобный, чуть не плаксивый.— Где агенты безопасности? Где же хваленая оперативность СОБ и «Г-2»? Где жандармерия? Что вы скажете, мистер Донни? Это и есть нормальная обстановка, о которой вы столько раз нам говорили? Кому сейчас можно доверять, господа? Меня высмеяли, опозорили, предали!.. Как можно было допустить, чтобы по национальному радио обливали грязью главу государства, угрожали... Расстрелять без следствия и суда виновных! Их всех расстреляю я, лично!

— Успокойтесь, успокойтесь, полковник! — уговаривает Балафугу Саймон, похлопывая главу государства по плечу.— Наши агенты переловят бунтовщиков, и мы их накажем примерно, похлеще, чем какого-нибудь негра, похлеще, чем какого-нибудь индейца...— Янки тут же прикусывает язык: слишком явственны индейские черты на лицах представителей местной власти... Но как будто никто не слышал его откровений.

Рэк Донни держит телефонную трубку в руке, ждет, едва не скрипя зубами от нетерпения. Наконец он слышит прерывистый голос Пиканы. Кое-кто из присутствующих подходит поближе, надеясь что-нибудь расслышать, но Рэк плотнее прижимает трубку к уху. Со вздохом облегчения Донни вешает трубку и говорит несколько по-актерски:

— Уточнено. Это была акция саботажа, подстроенная агентами Фиделя Кастро! С пистолетами в руках они связали служащих Национального радио и передали в эфир принесенную магнитофонную запись!

— Задержали кого-нибудь?

— Пока еще нет, полковник. Преступники бросили в студии ленту и сбежали. Но, ничего... Сегодня же арестуем! Найдем следы! Это, должно быть, студенты-коммунисты, которые создали так называемый революционный университетский фронт.

— Однако, мистер Донни,— бормочет глава государства,— как же допустили подобный скандал? И сегодня...

— Небольшая оплошность, полковник. Слишком доверяли.— А про себя он добавил: «Дай боже, чтобы дело ограничилось скандалом»...

Торжественный завтрак по случаю дня рождения главы государства был сорван. Никому уже не лезет кусок в горло. Сейчас можно только пить — так легче проглотить горькую пилюлю. Хуже всего, что страна слышала передачу. А быть может, и не только страна... Коротышка Пакин все никак не может замолкнуть:

— И это по национальному радио! И среди белого дня, господа! И во время торжественного завтрака! Я не могу этому поверить! Надо уничтожить преступников на Центральной площади! Разрезать на куски, законсервировать и послать в Гавану!

Бледные лица прилипают к окнам, боязливо оглядывают площадь перед дворцом: уж не появились ли тут партизаны, как в Венесуэле?

В небе слышен рокот самолета. По радио возобновили передачу классической музыки, но Балафуга, опасаясь, вероятно, повторения — приказывает лакею выключить радио, и музыка после первых тактов обрывается, словно отрезанная взмахом ножа.

Из казарм рапортуют, что все спокойно. Жизнь идет своим чередом, никаких происшествий, но жители столицы, хотя и вполголоса, осторожно обсуждают смелое обращение, услышанное по радио. По улицам и площадям проходят вооруженные патрули и танки, но даже их угрожающий вид не может заставить людей молчать.

Гости главы государства, до одурения наглотавшись виски и дифирамбов Балафуге, покидают дворец, где остаются советники гринго, посол, Педралиса и Пакин. Как бы коронуя празднество, из провинций поступают срочные телеграммы. Начальник охраны передает их полковнику Балафуге. Он пробегает депеши — и в глазах у него темнеет.

Рэк Донни, подхватив листки, читает вслух:

— «Вооруженные группы, спустившись с гор, атаковали гарнизоны в нескольких населенных пунктах. Есть убитые и раненые. Взятых в плен солдат повстанцы выпустили на свободу, но два офицера и агент СОБ, захваченные ими, публично расстреляны. Захвачено все оружие местных гарнизонов. Нет никакого сомнения в том, что это кубинцы, агенты Фиделя Кастро, потому что они все бородаты. За ними посланы в погоню войсковые подразделения. Новую информацию сообщим дополнительно».

Глава государства кричит, рычит, кому-то угрожает, на губах выступает пена. Страшно на него смотреть. И вдруг, к удивлению остальных, приступ гнева кончается, спадает нервное напряжение, и Балафуга, печально взглянув на друзей, начинает беззвучно рыдать.

— Видимо, виски подействовало,— пытается оправдать его Пакин.

Нежно, словно нянька младенца, коротышка Пакин пытается успокоить полковника. При виде этой душещипательной сцены Педралиса не может удержаться от смеха и, желая скрыть свое удовлетворение, выходит на балкон. Дворец окружен войсками.

Два адъютанта — важные и серьезные — сопровождают, нет, ведут под руки главу государства в спальню. Впереди спешит коротышка. «Первая дама нации» спит, убаюканная наркотиками. Росита, длинноокосая служанка, усталая и перепуганная, охраняет ее сон. Балафуга без сопротивления ложится на свою постель — ту самую, с которой подняли ночью доктора Перико Лабиавьеху, чтобы арестовать его. Что-то бормочет Балафуга, но ни одного слова не разобрать. Адъютанты удаляются тихо, на носках. В спальне остается только преданный Анисето.

Возвратившись с балкона в зал, Педралиса замечает, что гринго о чем-то оживленно спорят. Педралиса прислушивается: мистер Барроуз хочет свалить всю ответственность на членов американской военной миссии, а те, в свою очередь, обвиняют представителя ЦРУ Донни; Донни огрызается, обвиняя в бездеятельности и военных и дипломатов. Гринго не стесняются, во весь голос вопят по-английски. Их не смущает даже присутствие Педралисы — для них сейчас важно немедля выпутаться. Но кто-то же должен нести ответственность за происходящее? Улучив удобный момент, Лидио вмешивается:

— Единственный виновник — это Оскар...

Гринго стихают, переглядываются. Как будто только что поняли, насколько далеко зашли в своем споре и... как это сами не додумались. Конечно, глупо искать виновных среди представителей высшей расы. И не стоило так кипятиться. Надо было встретиться в спокойной обстановке и обсудить все проблемы — как обычно. Нет, этот Лидио Педралиса подал прекрасную мысль. Рэк Донни, подняв бокал, провозглашает:

— За здоровье полковника Лидио Педралисы, выдающегося военачальника, достойного быть главой государства, за ваше и наше здоровье, коллеги! Нам нечего опасаться! Если появятся партизаны, их участь решена. В случае чего вызовем нашу морскую пехоту! Ни за что не допустим, чтобы в Латинской Америке появилась еще одна Куба!

— Браво! Браво! Святые слова!

— В эту минуту...— Донни театрально взглянул на часы,— да, в эту минуту местные бородачи должны быть уже ликвидированы! А студентиков, что напакостили в радиостудии, заставят поплакать в СОБ! За ваше здоровье, коллеги! И в Лаосе, и во Вьетнаме, и в Санто-Доминго, где бы мы ни были, мы непобедимы! Никто, даже русские, не заставит

нас дрогнуть или отступить! Ибо мы осуществляем волю провидения, а провидение — это... наша ядерная мощь!

Восторженные слова Рэка Донни зажигают на всех лицах улыбку удовлетворения и превосходства. Жестом супермена Рэк бросает на мраморный пол бокал. Но никто не слышит звона разбитого хрусталя...

Буу-ммм!...

Мощный взрыв сотрясает правительственный дворец. Вылетают стекла из окон и дверей, с лепного и расписного потолка срывается тяжелая люстра, со стен падают картины. Люди еле удерживаются на ногах.

— Ах, боже мой!..

Закачались, зазвонили — сами по себе — колокола кафедрального собора... Неописуем ужас на лицах владык мира. В панике они бросаются вон из зала; беспорядочной толпой, буквально обезумев, бегут по коридору, сами не зная куда. Что это? Землетрясение? Вулканическое извержение? Взрыв арсенала? Воздушный налет? Кто? Неужто у этих бородачей, что, как сообщали, сегодня спустились с гор, есть самолеты? А может, это ракеты Фиделя? Или началась мировая атомная война?

Коротышка Пакин стремглав вылетает из спальни Балафуги. За ним мрачно шествует, покачиваясь и хватаясь за стены, глава государства, он даже не подождал «первую даму нации», а та, полуодетая, босиком, с растрепанными волосами пытается окликнуть, догнать мужа. Солдаты из охраны дворца судорожно вцепились в свои автоматы и затравленно озираются — кажется, вот-вот начнут палить друг в друга. Янки, Балафуга и Пакин распахивают дверь на балкон и застывают на пороге. Над юго-восточной частью города, как будто совсем над их головами, по небу растекается огромное зарево. Фантастический фейерверк, куда более грандиозный, чем в праздник Дня независимости. Высоко летят какие-то черные и алые лоскутья, не то бревна или доски, не то металлические листы, с окровавленными либо позолоченными крыльями. Со стороны дворцовой башни доносится крик часового:

— Взорваны нефтяные резервуары Банановой компании!

Янки на балконе все как один поворачиваются к Донни. Тот стискивает зубы, сжимает кулаки. И вдруг сам себя бьет в челюсть — будто хочет выправить искривленный в гримасе разрез губ.

Отовсюду несутся крики. Пронзительно гудит сирена «скорой помощи». Бьют и бьют колокола. У Балафуги и Педралисы пепельно-серые лица. Асусена, ухватив руку кого-то из гринго, дрожит, как в лихорадке, кастаньетами перестукивают зубы.

Автоматически твердит коротышка Пакин:

— Боже мой... И в такой день... И средь бела дня...

Очевидно, в надежде заглушить собственный страх и желая приободриться, какой-то часовой с крыши правительственного дворца дает пулеметную очередь по соседним крышам. Свист пронесшихся пуль заставляет зрителей на балконе дворца поспешно отступить в глубину здания. В это мгновение никто не вспомнил о «первой даме нации» — она более не может выдержать, со стоном падает на пол, взывает о помощи. Тщетно. Поняв, что помощи не дождаться, Асусена с трудом поднимается и, подбежав к сбившимся в кучу гринго и креолам, преградившим выход в коридор, длинными острыми ногтями расчищает себе путь.

И откуда-то издалека доносится молодой, чистый и звонкий голос:

— Это только начало!

Огни пожара очень похожи на реющие знамена...

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА НАШЕГО ДРУГА

Рамон Амайа Амадор, член Центрального комитета Коммунистической партии Гондураса, писатель и публицист, погиб 24 ноября 1966 года при воздушной катастрофе. Ему было пятьдесят лет — возраст не такой уж большой по современным понятиям, однако Рамон был ветераном революционной борьбы, одним из основателей компартии Гондураса, художником слова, посвятившим свое творчество созданию широкой панорамы жизни своей страны.

Мне пришлось работать вместе с этим интереснейшим человеком, встречаться почти ежедневно. Это был революционный характер, выкованный развитием его страны, стремящейся разорвать путы владычества американского капитализма, преодолеть нищету, некультурность — оборотную сторону богатства и роскоши горстки «хозяев». Работая в молодые годы на банановых плантациях, он, как писали его друзья, «испытал на себе бич надсмотрщиков и презрение со стороны гринго». Он работал в городских и сельских школах, в типографии, в редакциях газет, жил судьбой профессионального революционера, подвергался нападкам реакции и познал тяготы политической эмиграции.

Его роман «Зеленая тюрьма», посвященный жизни сельскохозяйственных рабочих на банановых плантациях печально знаменитой «Юнайтед фрут компани»,— яркое и гневное обличение американского империализма. В романе «Строители» он посмотрел с другой стороны на прогресс городов своей страны, рассказал, как ценой жесточайшей эксплуатации рабочих поднимаются новые здания в Тегусигальпе, столице Гондураса. Им созданы также романы «Рассвет», «Красный отряд» и другие. Прекрасные земли центральноамериканской страны стали «банановым адом», и Амайа Амадор посвятил свое творчество борьбе за достойную человека жизнь, труд и право на счастье людей своей страны. Он рассказал, как зреют зерна протеста, как крепнут силы, не желающие примириться с бесправием, нищетой, властью ненавистных чужеземцев.

Рамон как-то сказал, что из-за тяжких условий не мог получить образования. Из педагогического училища он ушел, чтоб зарабатывать на жизнь, остался в сущности самоучкой. Но он был человеком, мыслящим серьезно и своеобразно. Круг его интересов был широк—будучи революционером, политиком, он интересовался и историей культуры, литературы стран Европы и Латинской Америки. С особой любовью он говорил о великих русских писателях, которых называл своими учителями. Амайа Амадор внимательно следил за развитием советской литературы, много читал и с искренним уважением относился к писателям нашей страны.

В 1959 году он в качестве представителя Гондураса участвовал в работе III Всесоюзного съезда писателей. Случилось так, что мы вместе летели в Москву из Праги. Амайа Амадор говорил тогда, как много значит для него эта поездка.

— Когда я скитался по побережью моей страны, изучая среду рабочих на плантациях, строителей или городской бедноты, я думал о книгах, в которых расскажу о пережитом. Но я даже не мечтал, что попаду в среду мастеров советской литературы, произведения которых дали мне так много...

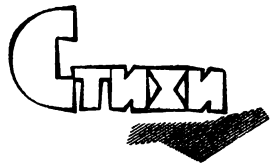
Его выступление на съезде было проникнуто идеей борьбы против влияния американского империализма в области культуры, за правдивую реалистическую литературу, глубоко и смело ставящую острые жизненные проблемы. Взволнованно вспоминал он великого мастера социалистического реализма Максима Горького — «произведения этого мыслителя и художника были и остаются неугасимым маяком мировой литературы». Он говорил, что в эпоху борьбы двух миров — капитализма и социализма — каждый честный человек должен найти свой путь: «Наш путь — социализм и мир!»

Года три назад, при одной из встреч, Рамон Амайа Амадор рассказал мне о новом романе, над которым он тогда работал. Он говорил, что очень хочет обратиться к жанру сатиры, написав произведение гротесковое, но правдивое и точное в самом главном. Господство американцев в Латинской Америке настолько цинично, беззастенчиво и грубо, что писателя невольно потянуло к сатирическому обличению. Речь шла о романе «Операция «Горилла», который публикуется теперь в нашем журнале. Рукопись этого произведения была получена от автора незадолго до его гибели.

Трагическая кончина не позволила писателю полностью осуществить свой замысел. В романе есть страницы, несущие печать торопливости, можно указать на повторы, затянутые эпизоды и т. д. Если б автор был среди нас, его произведение — первое произведение, публикуемое на русском языке,— предстало читателю в более совершенном виде. Но и в том виде, в каком оно осталось, оно обладает неоценимым достоинством подлинности и выстраданности. Это не поверхностный смех бойкого фельетониста, это гнев и горечь человека, любящего свой народ, свою родину — и потому с презрением обличающего и американских хозяев, и их наемников в военных мундирах, предающих интересы своей страны. Страна, в которой развертывается действие, не названа точно; писатель стремился показать лицо американского империализма, методы, которыми он осуществляет свое господство не только в Гондурасе...

Б. РЮРИКОВ

АХМАД КЕДИДИ



Перевод с арабского
В. ВИШНЯКА

Африканская могила

Душе покойного Фархата Хашада *

Пой для жнецов на полях плодородных под солнцем
палящим,
пой для бойцов, за свободу Отечества в бой
уходящих,
пой для голодных,
пой для бездомных,
пой для лесов, словно море, огромных,
пой для прозрачных озер,
пой для синеющих гор —
гордо восстань из холодной могилы
и пой...
Гимном могучим,
гибелью не покоренным,
ты прогреми,
прогуди,
пролети
над землей разоренной,
властно вели ей цвести...
Песней веселою
плавно и нежно ты плеч коснись
тех сорванцов, что в реке не наплещутся,
быстро вели им расти...
Пусть, не страшась никого,
с ясным, свободным умом,
без палачей и тюрьмы
вырастут дети...
Только б захватчиков вон!
Только бы сбросить ярмо
силой, взметенной из тьмы
тысячелетий!
Песней походной лети
в наши густые леса,
полные птиц и зверья...

* Фархат Хашад — председатель Всеобщего союза тунисских трудящихся, был убит в декабре 1952 года террористической организацией «Красная рука».

Там незаметно вплетись
в смелых бойцов голоса,
звонкость их песням даря.
Славлю, о Африка, павших под твоими знаменами,
память о них будет вечна, как волны прибоя,
славлю женщин твоих,
ждущих ночами бессонными
сыновей дорогих,
не вернувшихся с поля боя!
Звонким тамтамом лети
к танцовщицам темнокожим,
чьи налитые тела
в блеске латунной луны
на изваянья похожи...
Сядут бойцы у огня
в полночь под звездным сияньем...
В ритме тамтама звеня,
будут мерцать изваянья...
Но побледнеет луна,
звезд уплывет хоровод,
и до рассвета война
снова подымет в поход...
Близится пламя последних сражений,
пусть же твой голос зовет нас на бой!
Ради грядущих великих свершений,
ради великого нашего дела,
друг мой, оставь свое мертвое тело,
духом воскресни из мрака могилы
и пой!

Письмо к матери

О, мама, мама милая,
словами
тоску по дому
трудно передать...
Тебе пишу я
кровью и слезами,
всем женщинам,
что так
умеют ждать.
Верь, мама, я вернусь,
когда ты будешь
у камелька грустить, рука к щеке...
О, сколько, мама, праздников и буден
осталось пеплом в нашем очаге!
В ненастный день
в дощатые ворота
я постучусь...
Ты выйдешь в дождь и тьму...
И в блеске славы ратного похода
мир принесу я
дому своему.

Ты спросишь, мама,
что за радость мне
слагать стихи,
на что они пригодны?
Мои стихи рождаются в огне
на благо Революции народной.
Мои стихи обращены не к тем ли,
кто поливает потом наши земли,
ведь всем, кому не чужд суровый труд,
они благословление несут;
они клеймят проклятьем торгашей,
стяжателей бесчестных барышей...
Да, фарисеи продали Христа,
ибо была душа его чиста.

Зимние воспоминания

Зимним ветром окутан, как шелковой шалью,
На отшибе стоит мой заброшенный дом...
В этих каменных стенах я тихо вкушаю
Одиночества прелесть, грущу с былом.

Непокорное пламя в камине алеет,
Но, как жизнь, отшумит это буйство огня...
Пусть же сердце и память огонь отогреет,
Согревая в холодном жилище меня.

Затянуло созвездия туч покрывало,
Но в душе моей вечером зимним светло:
Вспоминаю ту зиму, когда согревало
Нас, любимая, наше земное тепло.

А теперь ни ветров, ни дождей, ни тумана
Не страшится мой дом и стоит невредим,
Ведь зима непреложна, как суры Корана,
Как молитва, что все мы на память твердим.

Так приди же в мой дом насладиться свободой
Этих миру открытых широких дверей...
Подружись с неоглядным простором природы,
И ладони свои у огня отогрей.

Пусть порой я кажусь несерьезным мужчиной,
Говорить ерунду и дурачиться рад,
О, родная, поверь, это только личина,
Это жизни моей маскарадный наряд.

В балагане житейском мне негде усесться,
От мирской суеты раздирает тоска...
Так приди же в мой дом, успокой мое сердце,
Как больного ребенка меня приласкай!

БЕРТА ВАТЕРШТРАДТ

Дверь-вертушка

РАССКАЗ

Перевод с немецкого
В. ЛЕБЕДЕВА

наете дверь-вертушку в кафе «Пресса» у станции Фридрихштрассе? Неутомимо вертится она вокруг своей оси, впускает в кафе жаждущих и снова выпускает их на свежий воздух подкрепившимися и возбужденными. В кафе многие смотрят на дверь-вертушку, но молодая женщина, что сидит недалеко от буфета с пирожными, просто впивается в нее глазами. Она щелкает замком своей сумки, то и дело оправляет хорошо сшитый серый костюм, еще больше сдвигает набок шляпку на тщательно уложенных светлых волосах и нервно помешивает кофе. Две пожилые дамы, ее соседки по столику, обмениваются понимающими взглядами. О чем же думает молодая женщина, то и дело поглядывающая на дверь?

Она думает о двери-вертушке.

«Эта дверь — словно карусель на ярмарке жизни. Каково звучит, а? Хоть бери и печатай. Вокруг нас вертится столько людей, что голова идет кругом. А некоторые, вскружив нам голову и завертев до предела, бросают нас. Но что значит «нас»? В первую очередь все это относится ко мне, Ханнелоре Лангерганс, ничем не примечательной особе сорока лет (довольно-таки зрелый возраст, не правда ли?), которая все еще ведет себя как глупая девчонка. Нежданно-негаданно я получаю письмо от некоего Франца Курца. Десять лет о нем не было ни слуху ни духу, а теперь он хочет в такой-то день и час встретиться со мной в кафе «Пресса». Что же я делаю? Пишу ему вежливо-холодный отказ? Боже упаси! Я мчусь, не разбирая дороги, как испуганная курица. Неудачное сравнение! Курицы не бегают в парикмахерскую, не стоят в очереди в косметический кабинет, не покупают новую шляпку. Я так торопилась, что очутилась в кафе на полчаса раньше, будто умирала от желания его увидеть.

— Вечно ты опаздываешь на свидания! Это мелкобуржуазная привычка! — говорил мне раньше Франц. А если человек приходит на полчаса раньше? Это что — аристократично или по-пролетарски? И вообще — почему это кафе называется «Пресса»? Смотрю налево, смотрю направо — никто газет не читает. Ах, нет! Кто-то один уткнулся в «Нейес Дейчланд». А может, он только выполняет поручение администрации

пусть, дескать, не говорят, что в кафе «Пресса» газет не читают. Или же он просто закрывается газетой от двух юнцов, что сидят с ним за столиком? Волосы у них завиты и свисают до самых плеч. Зрелище, конечно, не из приятных. Мой Виктор вполне мог бы отколоть такой номер. Ах, он уже и без того отколол достаточно номеров. Посижу-ка я спокойно, а то почтенные дамы за моим столиком начинают нервничать. Интересно, о чем они говорят?»

(— Знаешь, милая, по правде говоря, меня все время что-нибудь беспокоит — если не печень, то спондилит.)

(— Да, да, понимаю. А у меня плохо с ногами и еще хуже с сердцем. Позавчера вечером, нет, это было, кажется, позапозавчера, я уж было подумала...)

«Да, дорогая Ханнелора, лет через двадцать то же самое ожидает и тебя. Впрочем, больной печени, кажется, совершенно не вредят сбитые сливки, а та, что с больным сердцем (в ней, по меньшей мере, девяносто килограммов живого веса), уплетает торт с завидным аппетитом, ну и слава богу. Хорошо, что я равнодушна к сладостям, а то бы тоже чересчур располнела. Но когда у тебя рост метр и пятьдесят четыре сантиметра, пятидесяти килограммов вполне достаточно. Фамилия «Лангерганс» совсем мне не подходит, так же как и ему при росте метр восемьдесят не подходит фамилия «Курц»*. Но забудем на минуту господина Курца и послушаем почтенных дам. Они теперь остановились на теме «семья».

(— Ну, а что до моей новой невестки, то я против нее ничего не имею. Она, в общем, довольно мила. И все же не о такой жене для сына мечтала я когда-то.)

«Охотно верю! Хотела бы я видеть невестку, от которой свекровь была бы в восторге. Моя свекровь, например, меня не выносила. А что касается моей собственной невестки... Ладно, замнем. Не мне же жить с ней, а Виктору».

(— Наша младшая меня беспокоит. Всегда такая замкнутая и неприветливая! И в кого она только? Мы с мужем предельно общительные люди. Ума не приложу, как у нас мог получиться такой ребенок.)

«Ну, если ты не знаешь, как получился твой ребенок, то я-то совершенно точно знаю, как получился мой. Я бродила по лесу, радуясь, что последний выпускной экзамен позади. «Бродил я лесом... В глуши его Найти не чаял Я ничего»**. И вдруг нашла — но не цветок, а плачущего солдата. Руками он обхватил ствол, лицом прижался к шершавой коре. Я застыла на месте. Солдаты должны побеждать, а не плакать. Правда, в последнее время с победой что-то не клеилось. Увидев меня, он побежал прочь. Я заметила, что он совсем еще юнец, вряд ли старше меня. И помчалась за ним, зачем — сама не знаю. Возможно, я отношусь к тому сорту женщин, которые бегают за мужчинами. Солдата я, впрочем, скоро догнала. Он зацепился ногой за корень и растянулся во весь рост. Я помогла ему встать, он только немного ушибся. «Повезло»,— сказала я. «Не везет»,— сказал он, так как на следующий день ему нужно было на фронт. Я не нашлась, что ответить. Мне вспомнилось, что у нас по соседству один военный застрелился в последний день отпуска. Моего солдата звали Инго Лангерганс. Я решила пригласить его к нам и немного развеселить. Вопреки ожиданию, мне это удалось довольно легко. Помогло вино из крыжовника, которым нас угостила мать. Она была очень любезна с Инго, как и со всяким представителем мужского пола, и мы веселились вовсю, хоть и пили одну кислятину. Когда пришел господин Матушат, с которым мать по нескольку раз в неделю

* Лангерганс *(нем.*— Langerhans) — длинный Ганс, Курц *(нем.*— Kurz) — короткий.

** Гете. «Нашел», перев. И. Миримского.

обсуждала неотложные дела, она попросила нас удалиться. Я пошла провожать Инго до казармы, выбрав самый кружной путь. Его мрачное настроение улетучилось. Я по-матерински заклинала его беречь себя, но, к сожалению, сама позабыла уберечься. Говорят, первый мужчина — важное событие в жизни каждой девушки. Но у меня было не так. На следующее утро я проснулась со страшной головной болью. И потом часто вспоминала об этом похмелье, но не об Инго Лангергансе. Пока от него с фронта не пришло первое письмо с приветом «твоей старушке»! Мать взвилась от злости. Ей было всего тридцать восемь, и, по ее словам, она выглядела не старше меня. С тех пор как отец пропал без вести, она жила в свое удовольствие. Мой отец был агентом по продаже витаминов и тонизирующих средств, вегетарианцем и человеком строгих правил. Он редко бывал дома, но всегда приезжал неожиданно, в результате каждый раз возникал скандал. Однажды он нагрянул, когда мы с матерью наслаждались сочным шницелем. В другой раз приехал, когда мать ушла с одним знакомым в кино. Иногда он появлялся и тогда, когда мать не уходила с очередным знакомым в кино. Но каждый раз поднимался ужасный шум, а наутро отец был смирный, как ягненок,— загадка, над которой я в детстве часто ломала голову. Я любила своего отца, хотя он и был строг со мной. («Яблоко от яблони недалеко падает».) Он с готовностью платил за меня в школу. («Необразованность — главная причина легкомысленного поведения твоей матери».) Так ли это, не берусь судить, знаю только, что, когда он пропал без вести, мать отнюдь не сочла, что для нее все пропало. Она даже расцвела и цвела вплоть до того дня, когда вдруг выяснилось, что привет «старушке» был адресован — увы! — по назначению. Я сделала ее бабушкой!

Мать ужасно разозлилась. Первым делом она пожертвовала оставшиеся бутылки вина из крыжовника в пользу санатория для выздоравливающих солдат, тем самым, вероятно, отсрочив их выздоровление и совершив невольный акт саботажа. Господин Матушат посоветовал заключить брак заочно. Необходимую переписку он взял на себя. В один прекрасный день я стала фрау Лангерганс. Инго я больше не видела. Он был убит через день после брачной церемонии. Итак, я стала «доблестной солдатской женушкой», но для матери по-прежнему оставалась просто «глупой девчонкой». Даже траурное платье, которое мне очень шло, не могло ее смягчить. Поэтому я охотно приняла предложение своей свекрови переехать на первое время к ней. Она жила в Гессене. В следующие полгода произошли два важных события. У меня родился сын, и окончилась война. Моя свекровь все еще верила в окончательную победу, когда передовые танковые части американцев уже входили в городок, и тем удивительнее было ее нежелание назвать своего внука Виктором *. Она хотела назвать его Инго, но имя Виктор мне было больше по душе: так звали моего любимого артиста Виктора де Кова. В отделе записи актов гражданского состояния верх одержала я, дома победа оставалась за ней. Его купали, пеленали и вывозили на прогулку как Инго, а кормили только как Виктора (грудь она ему, к сожалению, дать не могла). Сейчас мне понятно горе старушки вдовы, потерявшей на войне единственного сына, но в девятнадцать лет это до меня не доходило. Я не могла каждый день рассматривать альбом с фотографиями Инго: Инго на медвежьей шкуре, Инго идет в школу, Инго во дворе казармы. Не могла я и плакать вместе с ней о нем — я его ведь почти не знала. Когда я после войны получила из Берлина первую весточку от матери, моя свекровь стала приторно-сладкой, как искусственный мед,— деликатес, которым мы по воскресеньям мазали хлеб. Я, дескать, слиш-

---

* Victor *(лат.)* — победитель.

ком молода, чтобы быть матерью, к тому же несовершеннолетняя, суд ни в коем случае не присудит мне ребенка. В законах я не разбиралась, но знала: ребенка ни за что не оставлю. Я согласилась уехать от нее одна. На радостях бедная женщина расщедрилась и положила мне в чемодан побольше продуктов, а я без зазрения совести взяла их и ночью удрала от нее с ребенком на руках.

Когда я, измучившись вконец, добралась до своей матери (дорога в то время была сплошной пыткой), она встретила нас вопреки ожиданию очень сердечно. Даже показала мне детскую коляску, приобретенную, правда, не для внука, а для спекуляций на черном рынке. С некоторых пор моя мать занялась этим делом, хоть и не имела к нему больших способностей. Стоило клиенту сказать ей комплимент-другой насчет ее привлекательной внешности, и он получал товар по цене ниже стоимости. В детской коляске еще лежали две бутылки картофельного шнапса — последнее, что у нее осталось. Мы обменяли шнапс на картофель, я пошла на уборку развалин, а мать гуляла с ребенком, используя отныне коляску по прямому назначению. Теперь она могла полностью посвятить себя внуку — не было уже господина Матушата, чтобы давать ей советы: он подпал под тотальную мобилизацию и с тех пор больше не появлялся. После прогулок с Виктором мать возвращалась сияющая.

— Все восхищаются очаровательным мальчиком и все время спрашивают: это ваш первый ребенок?

Бедная мать! Если б она хоть раз посмотрела как следует на себя в зеркало, она сама бы рассмеялась своим сказкам. От нее остались кожа да кости, она была похожа на привидение, но продолжала обманывать себя до последнего дня своей жизни. Когда через несколько лет ее положили в больницу, она несмотря на страшные боли все еще прихорашивалась перед врачебным обходом, и последнее, о чем она попросила, была губная помада.

— Но западную, наша не поцелуеустойчива.

Когда я пришла к ней в следующий раз, она лежала в агонии и не могла уже порадоваться «поцелуеустойчивой» помаде.

Но мне хочется думать не о смерти матери. Годы расчистки развалин были тяжелым временем, сил моих не хватало. Я могла бы найти работу в конторе, но продовольственные карточки для служащих были намного хуже. И вот я сменила развалины на заводской цех. Женщина-бригадир дала мне несколько указаний и отошла от меня. Я ничего не поняла, стояла перед станком и ревела, станок казался мне страшным чудовищем. Потом ко мне подошел мастер и объяснил, что я должна делать. Один раз, другой, третий и еще много раз. Мастер терпеливо поправлял меня, если я от волнения ошибалась, а когда я наконец сообразила, что к чему, он сказал:

— Ты, главное, не отвлекайся, малышка, и все будет хорошо.

Я уж хотела было возмутиться против «ты» и «малышка», но ничего не вышло. Ни слова не могла я вымолвить, пока он был рядом. Я влюбилась в него, «втрескалась», как сказала бы моя мать. После работы я зашла за Виктором в детский сад и на обратном пути у заводских ворот встретилась с *ним*. Я с гордостью показала ему своего сына, он широко раскрыл глаза и тяжело задышал, как карп, вытащенный из воды. Может быть, у него так проявлялась любовь с первого взгляда? Домой я шла как во сне. Ни жалобы матери, которая в то время уже начала прихварывать, ни рев ребенка — ничто не могло вывести меня из восторженного состояния. От подруг по работе я узнала, что он женат и что у него двое детей, девочки-близнецы. Ложась спать, я мысленно сочинила целый роман: его жена с детьми бежит в Западную зону, а он — в мои объятия.

На следующее утро я шла на работу, как на праздник. Я старалась изо всех сил. А он вынырнул из-за станков, пробормотал: «Порядок»,— и снова исчез.

Через несколько дней я отвезла мать на машине скорой помощи в больницу. Его спокойная доброжелательность в то время очень скрашивала мою жизнь. Он никогда не забывал спросить о здоровье матери, иногда приносил что-нибудь: продукты для нас, цветы и фрукты для больной, а та радовалась неизвестному поклоннику. Он был общественным уполномоченным цеха и после ее смерти помог мне уладить формальности. На похороны он тоже пошел. На кладбище, кроме жильцов нашего дома, которым мать долгие годы давала пищу для сплетен, оказался также и господин Матушат. Значит, он все-таки навещал мать. А я считала это одной из ее фантазий. Теперь я поняла, почему ей перед смертью нужна была губная помада.

Потом *он* стал приходить к нам чаще. Он называл меня «малышкой» и на «ты», я говорила ему «вы» и «мастер Курц». Казалось, это его не смущало. Молча отремонтировал он комнату, пострадавшую от бомбежек, починил выключатель, утюг и игрушки Виктора. На меня он не смотрел.

Зачем он приходит? — думала я в сердцах. Только из жалости к сироткам?

Я изменила прическу, тщательно подкрасилась. Но ни это, ни вызывающая походка, ни томные взгляды на него не подействовали. Исчерпав, в конце концов, все свои возможности, я сказала:

— Вы для меня как настоящий добрый дядюшка.

— Так,— ответил он, вставляя в рамку портрет матери и пристально его рассматривая,— а я и не знал, что у меня есть племянница.

— А я вовсе и не племянница! — крикнула я и бросилась к нему на шею. И тогда он меня больше уж не отпустил.

Так это началось и продолжалось семь долгих лет. Сначала мы очень много времени проводили вместе. У него было столько всевозможных общественных нагрузок, что никто не замечал, когда его не было ни на одном из четырех заседаний, назначенных на один вечер. Профсоюз послал нас на двухнедельные курсы в одну из школ под Берлином. Ребенка на это время я оставила своей соседке фрау Вальдек. Боже, какое счастье было сидеть весь день вместе на занятиях и семинарах, а вечером гулять по уснувшему лесу. Знаю, это звучит банально, но когда человек влюблен, в нем всегда есть что-то банальное. Семь лет — долгий срок. Кое-что в наших отношениях изменилось. Он готовился к экзамену на техника, и у него было мало времени для меня. Я готовилась к экзамену на квалификационный разряд, и у меня было мало времени для него. Я стала замечать, что у него свои недостатки, порой он ворчал, замыкался в себе, придирался к мальчику, а я этого не выносила. Часто он появлялся без предупреждения, не считаясь с тем, было у меня свободное время или нет, и еще требовал, чтобы я радовалась. Зато иногда вовсе не приходил в назначенный день, а потом говорил лишь:

— Не мог, и все.

О своей семье он ничего не рассказывал — ни хорошего, ни плохого. К тому времени у меня появились поклонники. За мной ухаживали бухгалтер из расчетного отдела, монтер и контролер ОТК. Удивительная вещь, если у тебя уже есть кавалер, то и другие липнут, словно мухи на мед. Если же у тебя никого нет, то никто тебя не замечает, словно ты пустое место. Фрау Вальдек советовала мне почаще возбуждать их ревность друг к другу. Но я любила только Франца Курца, несмотря на все его недостатки. Так проходили годы.

— Ты стареешь и рискуешь остаться с носом,— предостерегала фрау Вальдек. Я решила поговорить с ним начистоту, но получилось так, что заговорил он сам. Помню как сейчас: я стояла на кухне и резала лук, чтобы поджарить с картошкой, он пришел и сообщил, что уезжает на три года работать за границу. Строительной группе его предприятия — он давно уже работал в другом месте — поручили построить завод. Семью он должен взять с собой, это обязательное условие. Поэтому я даже и писать ему не смогу, ведь страна, куда он едет,— очень высокоморальная, туда, наверное, и до востребования писать нельзя. Я, конечно, не захочу, чтобы он упустил случай съездить за границу. А сейчас у него полно дел: всякие там приготовления, прививки, проверки и так далее, он едет вместо заболевшего товарища и оттого такая спешка.

Я не могла выдавить из себя ни слова. Я резала лук, слезы текли у меня из глаз. Он вытер мне слезы, сказал, что любит меня всей душой, только не умел это выразить, но должна же я понять... В этот момент в кухню влетел Виктор, закричал: «Ужасно хочу есть!» — и Францу пришлось переключиться на деловой тон. Он притворился по-отечески заботливым, говорил о повышении моей квалификации, посоветовал держать экзамен на мастера: я, мол, безусловно справлюсь. Я сказала, что не нуждаюсь в его наставлениях и что моя квалификация не его забота — короче, мы поругались. Не помню, проводила ли я его до двери, помню только, как мои слезы падали в картошку, которую я забыла посолить.

Вечером перед сном я подвела итог. Его последние слова выражали заботу о моей квалификации. Экзамен на мастера? Нет, это не для меня. Вот возьму и заочно окончу институт. Я ему еще покажу!

И вот я из упрямства, из мести и бог весть еще по каким причинам начала готовиться к экзаменам, на что никогда не решилась бы, не будь я в таком отчаянии. Я хотела заглушить свое горе работой. А в ней и впрямь недостатка не было. Я думала, годы расчистки развалин были самыми тяжелыми в моей жизни. Но ошибалась. Конечно, я теперь больше не голодала и не мерзла, мне не нужно было заботиться о больной матери и грудном ребенке — напротив, Виктор помогал мне, как только мог, он ревновал меня к Францу и радовался, что тот больше не приходит. Конечно, я полюбила станки, которых сначала так боялась, учеба давала новые знания. Завод помогал мне, через два года меня перевели в конструкторское бюро, я начала больше зарабатывать, работа стала легче. Но жизнь превратилась в бесконечную гонку. Работа, учеба, хозяйство, работа, учеба, хозяйство, тетради с конспектами и учебники сопровождали меня в короткие летние каникулы, я читала их в шезлонге и под пляжным тентом. Сколько раз мне хотелось забросить весь этот хлам в угол, а однажды я в сердцах вытряхнула содержимое своего портфеля на пол. Но потом аккуратно все собрала. Я не хотела сдаваться. От кого я унаследовала это упорство? От отца, который устоял перед великолепным ароматом жареного мяса и остался верен своей тертой морковке? Или от матери, которая даже на смертном одре хотела быть красивой? Не знаю. Может быть, я просто не хотела опозориться ни перед товарищами по работе, ни перед Виктором.

Кстати, о Викторе. В школе он делал успехи, у него была особая склонность к естественным наукам. Слишком большая склонность, как сообщалось в письме из школы. Виктор был недисциплинирован, он не уживался с коллективом, устраивал бесконечные дискуссии с преподавателями, задавал тысячи вопросов, мешал занятиям... короче, вел себя безобразно. И неудивительно — его мать никогда не присутствовала на родительских собраниях. А когда я брала его в оборот, негодник отвечал:

— Если урок интересный, я ни за что не буду мешать! Почему же никто не ругает зубрил, которые всегда готовятся только к следующему уроку?

— Не груби! И, кроме того, не тебе об этом судить.

— Вот-вот, мама, и в школе все время говорят то же самое. Но у кого же мне спросить — у тебя, что ли? Но ведь тебе вечно некогда.

Что мне было на это ответить? Разве он был неправ? С кем посоветоваться? От Франца ни слуху ни духу, прислал сначала несколько открыток, и все. Тем больше я удивилась, получив от него через несколько лет письмо из небольшого городка в Тюрингии. По возвращении из-за границы, писал он, его сразу перевели на работу в другое место. Он не может забыть меня, у него неприятности, и он хочет посоветоваться со мной. Ему непременно нужно меня увидеть.

В тот день я набегалась по канцеляриям из-за Виктора — он нагрубил учителю и вылетел из школы,— сильно простыла и мечтала о постели с грелкой, стакане грога и снотворной таблетке. К тому же через несколько дней у меня был важный зачет, и нужно было к нему готовиться. А тут еще это письмо от Франца. Что же мне, рыдать из-за его неприятностей, что ли? Ведь о моих-то он все эти годы не беспокоился. Я так рассердилась, что тут же, в пальто и ботах, накатала ответ. Каждый должен сам улаживать свои дела, и, вообще, я уже давно не свободна и прошу избавить меня от всяких посланий. Я немедленно отнесла свое письмо на почту, а его письмо бросила в помойное ведро. Вот так-то!

Только через несколько дней до меня дошло, как глупо и по-детски я поступила. Конечно, я была не свободна, но только из-за учебы. Другие знакомства? Боже мой! Для этого нужна хотя бы отдельная комната, а у меня ее не было. В те считанные разы, когда я бывала на танцах, всегда находились мужчины, которые, заглядывая мне в вырез платья или в глаза, говорили:

— Такая женщина и одинока? Не укладывается в голове.

На это я томно отвечала:

— А вы, случайно, не знаете кого-нибудь, кто ради меня тут же подал бы на развод? Холостые мужчины моих лет, к сожалению, вымерли.

После такого ответа меня поспешно провожали к столику, и глупые расспросы кончались. Было, правда, еще несколько эпизодов — пресных, как перестоявшее пиво.

Впрочем, Виктора мне удалось, наконец, устроить в другую школу, где он нашел с преподавателями общий язык. И зачет свой я сдала, хоть и не блестяще. Затем, собственно, все пошло гладко, если не считать химического опыта, при котором Виктор чуть было не взорвал весь дом. Наша комната выглядела как после бомбежки. Потом он кончил школу, а я сдала госэкзамен. Мы очень гордились друг другом. А как меня чествовали на работе! Заводская газета посвятила мне большую статью под названием: «От станочницы до дипломированного инженера. Семь знаменательных лет». Кажется, семь лет для меня и впрямь роковое число. Только мой семилетний очный курс учебы у Франца окончился полным провалом, а семь курсов заочного института я закончила без троек.

И вот Виктор — студент-химик второго курса, и профессора расхваливают его на все лады. Но мне было что-то не по себе: Виктор давно уже не выкидывал никаких номеров, долго так продолжаться не могло.

И действительно! Долго ждать не пришлось. Меня назначили руководителем отдела в конструкторском бюро, и мы решили отпраздновать это событие в Трептов-парке, в ресторанчике Ценнера. Я пригласила фрау Вальдек, соседку, преданно помогавшую мне вот уже много лет.

Виктор совершенно некстати привел свою новую подругу Карин — глупо хихикающее существо со взбитыми волосами, окрашенными в канареечно-желтый цвет. Мы говорили о моей новой работе, о машине «трабант» (моя очередь на нее подходила через два года), о сдаче экзамена на шоферские права, который будет, несомненно, самым последним экзаменом в моей жизни. И вдруг Виктор отстранил официанта, собиравшегося открыть бутылки с шампанским, и попросил слова. Оказывается, я всегда была для него примером, а поскольку «трабант» означает «спутник», то он тоже хочет в скором времени обзавестись спутником — они с Карин уже сделали для этого все необходимое, в очереди им стоять не придется, он у них будет самое большее через шесть месяцев. Я глупо смотрела на них, разинув рот, и ничего не понимала. Фрау Вальдек толкнула меня локтем:

— Ну и непонятливая же ты. У них скоро будет ребенок.

— Хлоп! — выстрелила пробка, шампанское полилось в бокалы. Виктор и канареечно-желтая Карин, которых мне ужасно хотелось отколотить, полезли меня обнимать. Фрау Вальдек, чокаясь со мной, прослезилась от умиления, а я — от бессильного гнева. Зеленый юнец, ему еще столько лет учиться! Карин, хихикая, говорила о своей семье, о стандартном домике, где они жили,— отец расширит мансарду, а мать будет заботиться о ребенке, пока сама Карин не кончит учиться. Она хочет стать психологом. Надеюсь, к тому времени она бросит свое глупое хихиканье. Впрочем, своих родителей ей, кажется, удалось психологически обработать:

— Нет, они совсем не сердятся. Напротив, рады, что Виктор вообще на мне женится. А то ведь знаете, как бывает...

Мне вдруг вспомнился Инго Лангерганс — ему было всего девятнадцать лет. До чего же легко живется нынешним молодым, хотя они сами этого не понимают.

После свадьбы я пришла домой в грустном настроении. К одиночеству еще нужно было привыкнуть. В почтовом ящике лежало письмо от Франца. Он снова в Берлине, живет один и хотел бы встретиться со мной. Не приду ли я в такой-то день и час в кафе «Пресса». В случае отказа просит сообщить. Но я не отказала. И вот я сижу здесь и страшно волнуюсь. Почтенные дамы исчезли, я даже не заметила когда. Теперь за моим столиком сидят трое мужчин и пьют то и дело за какого-то Бруно. Оказывается, так звали их коллегу, которого они недавно похоронили, а теперь решили помянуть за выпивкой. Ну, кажется, время подходит. Он всегда являлся точно, минута в минуту. Успею еще раз подкрасить губы.

Невероятно. Он ведь тут, вон он сидит, я ясно вижу его в зеркале. И все время он там сидел и прятался за газетой. Он еще держит ее в руке и смотрит на мою шляпку. Он почти не изменился. Правда, немного потолстел, а волосы поредели. Но это же чудовищная наглость! «Посмотрим, посмотрим»,— говорил он мне раньше; вот и теперь он решил посмотреть, достаточно ли я еще привлекательна для бодрого пятидесятилетнего мужчины. Поэтому-то он и расположился поближе к лестнице, чтобы в случае надобности быстро исчезнуть. И, конечно, он видел, как я волновалась. Наверное, самодовольно ухмыльнулся: а она меня еще любит».

— Подумать только! — сказала она громко, так что трое мужчин удивленно уставились на нее, забыв о дорогом покойнике.— Получите! — крикнула она еще громче и положила марку на стол. Затем быстрыми шагами направилась к выходу. У двери-вертушки она услышала его крик «Ханнелора», но только пожала плечами и исчезла.

И вот посетители кафе «Пресса» стали свидетелями сенсационного происшествия. Весьма прилично одетый мужчина, только что пронзительно крикнувший «Ханнелора», вскочил так поспешно, что его чашка полетела на пол и со звоном разбилась. Он помчался к выходу, наскочив при этом на трех старшеклассниц, решивших перед посещением театра «Метрополь» полакомиться коктейлем. Добежав до двери-вертушки, он остановился. Дверь загородили два малыша. Они держали ее, не пуская ни туда, ни сюда, и были чрезвычайно довольны своей проделкой. Мужчина боялся свалить их с ног и ушибить — сначала он уговаривал малышей отпустить дверь, потом начал кричать. И только когда пришла мать детей, задержавшаяся в кондитерском магазине по соседству, он вырвался из осады. Но мамаша потребовала, чтобы дети извинились, так что прошло еще некоторое время, прежде чем мужчина оказался на улице.

Посетители кафе разошлись во мнениях насчет странного мужчины. Западные немцы, впервые посетившие «зону» в целях ознакомления с «ужасами» социализма, обрадовались: в этом кафе, ничем не отличавшемся от других, что-то произошло. А свои подумали:

во-первых, что он пьян;

во-вторых, что он сумасшедший;

в-третьих, что идет съемка скрытой камерой для телепередачи «Голубой огонек».

Осколки чашки убрали, юнцы с гривами до самых плеч развязной походкой вышли из кафе. Теперь у них было, наконец, чем развлечь своих девиц, не прибегая к помощи транзисторов.

Через двадцать минут мужчина вернулся. Он заметил устремленные на него любопытные взгляды и смущенно сел за свой столик, за которым уже успела устроиться молодая пара. Вежливо извинившись, он оплатил свой счет и заказал двойную порцию коньяка. Коньяк был ему необходим. Пот градом катился по его лицу.

— Вольфганг,— сказала молодая женщина за его столиком и умоляюще посмотрела на своего спутника.— Мы впервые оставили его одного. Я так беспокоюсь. Не лучше ли нам вернуться домой?

— Послушай, Ина! — молодой человек, погладил ее руку.— Мы же только что пришли. Мать присмотрит за ним. Мы ведь столько месяцев нигде не были.

«Вольфганг,— подумал Франц Курц, залпом осушивший свою рюмку и заказавший новую порцию коньяка. (Ага, значит, все-таки пьяница!) — Вольфганг, так звали моего младшего брата, мы с ним несколько лет спали в одной кровати. Сон у него был очень беспокойный. Теперь он в Западной зоне, и писем от него уже давно нет. Но Ина! Ина, конечно, совсем другое дело. С Ины, собственно, все и началось.

Мне было двадцать два года, и я учился на слесаря, когда влюбился в Ину. У нее были огненно-рыжие волосы, потрескивавшие, если их погладить, она танцевала легко, как перышко, и была так очаровательна, что мне все завидовали. Но она знала себе цену и требовала слишком многого. Пойти с ней куда-нибудь было накладно, подарки нужны были дорогие, на нее уходила вся моя зарплата, включая деньги на питание, которые я должен был бы отдавать родителям, так как был старшим из семи братьев и сестер. Дома скандал следовал за скандалом, мать грозилась, что будет встречать меня у завода и отбирать получку. К счастью или, скорее, к несчастью, до этого дело не дошло. Ина написала мне прощальное письмо с множеством орфографических ошибок. Ей надоела моя постная личность с заурядной внешностью и мелочным характером. Позднее я узнал, что она влюбилась в клоуна из гастролировавшего у нас странствующего цирка и уехала с ним в другой город.

У клоуна — по крайней мере когда он был накрашен — физиономия была и впрямь незаурядная, быть скучным ему не позволяла профессия, но мелочность все же была и у него в характере, в противном случае, застав Ину с метателем ножей, он не стал бы устраивать ей персональное цирковое представление — не с громом литавр и ревом труб, а с громом затрещин и ревом неверной Ины. Так говорили люди — правда ли, не знаю. Знаю только, что мне не хватало Ины. И чем дальше от меня она была, тем прекраснее казалась. Я даже не мог залить свое горе вином, так как должен был отдавать не уплаченные в свое время деньги за питание и не имел ни пфеннига на личные расходы. Поэтому я с радостью принял приглашение на свадьбу одного из своих товарищей по работе. Я поздравил молодую чету и преподнес им букет красных тюльпанов, изъятых из городских скверов. Сестру невесты звали Анни, и она оказалась моей соседкой за столом. Я сразу подумал, что ее имя справа налево читается «Ина», если не следовать точной орфографии, в остальном они были полной противоположностью. Ина была огненно-рыжая, изящная, очень подвижная и болтала без умолку, а Анни — высокая, статная, уравновешенная и очень немногословная. Анни, старшая из трех сестер, работала в отцовской лавке (кожи и шкуры). Младшие сестры вышли замуж гораздо раньше, и она мечтала распрощаться с кожами и шкурами, а заодно и с клиентами, постоянно спрашивавшими:

— А когда выйдет замуж наша Анни? Двадцать четыре года — самый подходящий возраст.

Отцу невесты я понравился с первого взгляда. Пропустив достаточное количество стаканчиков, он начал расхваливать своих дочерей: они и прекрасные хозяйки, и получат солидное приданое, включающее все необходимое вплоть до полностью обставленной двухкомнатной квартиры. Такие вещи не пропускает мимо ушей молодой человек, ютящийся из года в год в тесной каморке вместе с двумя братьями. Но не ради квартиры женился я на Анни. Сделал ли я это, чтобы уйти из дому, забыть Ину? Во всяком случае, я не раскаивался в своем решении. Анни и впрямь оказалась безупречной заботливой хозяйкой, с приятным и спокойным характером. Но меня до сих пор удивляют наши близнецы, Анна и Роза, вместе их называли Аннароза. Они были вылитая Ина — те же огненно-рыжие волосы, та же непоседливость, та же нескончаемая болтовня. К счастью, они не удрали с клоунами из цирка, а вышли замуж за положительных, приятных молодых людей. Но все это произошло через много лет. Сначала была война, потом плен. Я видел множество развалин, дважды оставленных за собой нашим вермахтом: сначала при блестящем наступлении, потом при бесславном бегстве. Поэтому, возвратившись в родной город, я не удивился чудовищным разрушениям. Я только не мог понять людей, которые, воздевая руки к небу, оплакивали самих себя и всю Германию.

— Что разрушено, нужно построить снова,— сказал я знакомым, надоевшим мне своим нытьем, и, засучив рукава в прямом смысле этого слова, стал работать, как лошадь. Я был мастером на только что построенном заводе. И вот однажды обнаружил у станка ревущее нечто: маленькую шмыгающую носом девочку со светлыми растрепанными волосами, выбившимися из-под сползавшего платка. Это была Ханнелора Лангерганс, ставшая большой любовью моей жизни. Конечно, тогда я об этом не догадывался, а первым делом дал ей свой носовой платок. У меня всегда был с собой запасной. «Запасной платок, запасные очки, запасная жена»,— дразнила меня Ханнелора впоследствии. Ей никак не удавалось справиться со станком. Я объяснил ей, что к чему. И называл ее на «ты», потому что на вид ей нельзя было дать больше пятнадцати.

Когда она показала мне сопливого малыша — своего сына (в этой семье часто забывали про носовые платки), меня чуть не хватил удар. Ей было двадцать два года и жилось трудно. Мать ее была смертельно больна. Я часто приносил ей что-нибудь. Голодать нам не приходилось, какой-то дальний родственник Анни был мясником и неплохо нас обеспечивал. Иногда я навещал Ханнелору после смерти ее матери. Мне было жаль девушку с ребенком на руках, она и сама на вид была совсем еще ребенок. Но ребенком Ханнелора уже не была и при каждом удобном случае старалась мне это доказать — то модной прической, то вызывающей походкой или юбкой в обтяжку. С каждым днем она мне все больше нравилась, и я не представлял себе, чем все это кончится. Я знал, мое знакомство с Ханнелорой серьезнее, чем мимолетные приключения, на которые так охотно идут мужчины. Я хотел избавить ее или, честно говоря, избавить себя от осложнений. И решил не ходить к ней больше. Однако на следующий же день пришел опять. В тот день все и решилось. Она разжигала меня гораздо больше, чем Ина, я весь пылал. Ханнелора была умнее и несравненно остроумнее. Она относилась к тому сорту женщин, с которыми и потом не скучно, а ведь их не так уж много. Сколько раз собирался я поговорить с Анни о разводе, но так и не решился. Из трусости? Не думаю. Из-за детей? Может быть. Но главным образом потому, что Анни заслуживала другого отношения. Она угадывала любое мое желание, хорошо воспитывала детей, не жаловалась на мои частые отлучки, не рылась у меня в карманах, всегда излучала спокойную, ровную доброту. Конечно, особой страстностью она не отличалась, но, женившись на ней, я и не помышлял о секс-бомбе. И все оставалось по-старому. Ханнелора, естественно, становилась все нетерпеливее. Как-то она рассказала мне о своих поклонниках.

— Что ж, не буду мешать твоему счастью,— ответил я равнодушно, а сам похолодел от ужаса. Она обняла меня.

— Эти остолопы меня совершенно не интересуют, ты моя единственная большая любовь! — Потом она сникла.— Ну вот, я все и испортила. Мне хотелось, чтобы ты меня приревновал.

Такой она была глупенькой. Может быть, если бы она похитрее все устроила... Но зачем задним числом придумывать всякие «если бы да кабы»? Во всяком случае, Ханнелора со временем стала тем, чем Анни не была никогда: ревнивой супругой.

— Когда ты придешь? Как мы будем жить дальше? Все и буду твоей любовницей, пока не стану беззубой старухой, доживающей свои дни в доме пенсионеров?

И так без конца. Не было больше восторгов первых дней. А потом меня решили послать за границу. Монтаж крупного завода. Семья должна ехать со мной, это было условием. Началась страшная спешка, Ханнелору мне удалось увидеть только перед самым отъездом. Когда я пришел к ней, она была в кухне и резала лук, слезы текли у нее из глаз. Я сказал ей, что она для меня значит, говорить мне было трудно, пылкие любовные объяснения не в моем характере. Потом пришел ее сын, и я сменил тему. Она проводила меня, но, заметив, что дверь в кухню открыта, не позволила обнять.

Замок щелкнул. На лестничной площадке тоже стоял запах жареного лука. Я потянулся к звонку, мне хотелось сказать, что я навсегда останусь с ней, и черт с ними, с последствиями. Но тут услышал, как мальчик спросил:

— Разве дядя Франц больше не придет? Вот и хорошо.

Послышался смех. А может быть, это она всхлипнула, кто знает? Я медленно спустился по лестнице, ноги были словно налиты свинцом.

Годы, проведенные за границей, были тяжелыми. Анни плохо пере-

носила тамошний климат. Впервые в жизни она заболела. Приходилось за ней ухаживать. Все кругом было чужое, условия работы непривычные.

Через три года мы вернулись, и вот тут-то все и началось. Незадолго перед этим на моем предприятии произошел несчастный случай, и выяснилось, что между станками, установка которых входила в мои обязанности, не было соблюдено безопасное расстояние.

Но эти станки устанавливал не я, в то время я уже был за границей. Однако через три года трудно было это доказать. Меня перевели на один из заводов в Тюрингии — своего рода «испытательный срок». Я совсем растерялся! Бегал от одного начальника к другому, и везде мне отказывали, вежливо, но категорично.

— Потерпи немного. Конечно, мы все проверим. Но сейчас у нас другие заботы. Ты ведь знаешь, с планом плохо.

В Тюрингии директор завода встретил меня радушно. Ему, мол, тоже пришлось пережить нечто подобное.

— Ничего, перемелется — мука будет.

Но я был глубоко уязвлен такой несправедливостью. Написал Ханнелоре. Она ответила, что замужем и не хочет меня видеть.

Впрочем, впоследствии — как раз тогда, когда вся история уже перестала меня волновать,— с меня сняли какие бы то ни было обвинения. И мне, конечно, все равно это было приятно.

Шли годы, мои близнецы выросли, были безнадежно ленивы и похожи друг на друга как две капли воды. Они еле-еле переползали из класса в класс с помощью своих однокашников, не желавших лишаться столь редкостного курьеза.

С появлением первых кавалеров Анну и Розу перестало устраивать их поразительное сходство. Каждой хотелось индивидуальной любви. Анна осталась огненно-рыжей, только отпустила волосы, а Роза выкрасилась под жгучую брюнетку и коротко подстриглась. Видоизменившись таким образом, они поехали к родственникам в Эрфурт и влюбились там в двух монтеров, правда, не близнецов, но друзей, вместе работавших и живших в одном квартале. И вот у меня уже четверо внуков. После родов Анна располнела, а Роза стала стройнее, так что теперь их уже не спутаешь. Только их письма с нескончаемыми просьбами похожи одно на другое как две капли воды. Но так уж устроены дети, и родителям тут нечему удивляться. Тем больше удивился я сюрпризу, который устроила мне моя дорогая Анни после двойной свадьбы, стоившей не только двойных денег, но и двойных нервов. Когда я, смертельно устав, хотел уже улечься в постель, она вдруг сказала, расчесывая волосы:

— А знаешь, теперь, когда наши дети пристроены, я снова смогу работать акушеркой.

Мне показалось, я ослышался.

— Что значит «снова»? — спросил я.

И тут выяснилось, что в двадцать один год она ушла из дома и уехала в Берлин, чтобы работать акушеркой в главной городской больнице. С давних пор это было ее заветной мечтой, но родители были против. Необходимые деньги она изъяла по частям из вверенной ей кассы. Родители не заставили ее вернуться сразу, они опасались скандала, позднее болезнь отца послужила им предлогом заполучить дочь домой. Тут она и попалась. Собственные родители пригрозили ей, сказали, что при первой же ее попытке уехать они подадут на нее в суд за растрату. Поэтому на свадьбе своей сестры она ухватилась за меня, как утопающий хватается за соломинку.

Так, теперь я наконец узнал, чем был для нее. Соломинкой! Я впал в неописуемую ярость и закричал:

— И твой отец рад был сбыть с рук преступную дочь? Очень лестно для меня! Но мне бы хотелось знать, почему же ты потом не работала акушеркой? Думаешь, я бы тебе запретил?

— Не запретил бы, но я не хотела оставлять детей одних. Я сама выросла в доме, где все были при деле, и знаю, как это отражается на детях.

Ответ звучал не очень убедительно, но я был слишком взволнован, чтобы задумываться над ним. За несколько лет, прошедших с той ночи, моя жизнь коренным образом изменилась. Я был уже не «техник Франц», а «муж сестрицы Анни».

— Сестрица Анни, когда ты опять принесешь нам бэби? — кричали ей вслед дети на улице. Беременные женщины сидели у нас на лестнице и ждали ее возвращения. Когда я, идя на работу, замечал вдали детскую коляску, то делал большой крюк, чтобы избежать встречи, так как от «мужа сестрицы Анни» ожидался особый интерес к любому барахтающемуся и кричащему слюнявому младенцу. Что же касается самой сестрицы Анни, то с немногословной фрау Курц у нее теперь не было ничего общего. Из нее извергались водопады слов. Наиболее трудные роды она описывала так подробно, что мне приходилось просить ее сменить тему, по крайней мере за столом. А на доктора Беккера, руководителя гинекологического отделения новой больницы, она молилась как на бога. Порой мне даже казалось... Правда, доктор Беккер все же на пять лет старше меня и у него есть жена, которая на тридцать лет его моложе. Однако иногда случаются удивительнейшие вещи. Впрочем, я недавно встретил доктора Беккера на улице. Он чуть не открутил мне пуговицу от пальто, расхваливая Анни до небес; она и добросовестная, и аккуратная, и всегда такая веселая и остроумная. (Это Анни-то, которой каждую шутку приходилось объяснять трижды.) Я могу гордиться своей женой, заключил он, а он сам всегда к моим услугам. Зачем мне услуги гинеколога?

Конечно, квартира наша уже не была вылизана до блеска, как раньше. Я натирал пол, убирал пыль пылесосом и тряпкой, старался разгрузить Анни. Перед ночным дежурством ей нужно было выспаться. И тогда уж нельзя было включить ни телевизор, ни радио. Что мне оставалось делать? Новыми фильмами местный кинотеатр нас не баловал, и я стал по вечерам возиться со своими станками, хотя после берлинского скандала и поклялся себе: буду делать только ту работу, за которую мне платят, и ни на йоту больше.

Мы долго мучились с подшипниками — бронзовые подшипники износились, а латунные в два счета выходили из строя. И вот я нашел более или менее подходящий металлокерамический сплав. Новые подшипники опробовали, они оказались удачными. О найденном сплаве доложили управлению народных предприятий в Берлине. Меня затребовали туда для внедрения новых подшипников на других заводах. Конечно, все опять делалось в страшной спешке, я должен был прибыть немедленно. Обмен квартиры и прочие формальности обещали уладить после.

— Так,— сказал я Анни,— значит, пока поставим мебель в сарай, а потом...

— Ничего мы не поставим в сарай,— возразила она,— мебель останется на своем месте, я не поеду с тобой в Берлин.

— Как так? В Берлине акушерки тоже нужны.

— Конечно. Но здесь я незаменима. Кто захочет поехать в такую глушь? Кроме того, я здесь сработалась с людьми, знаю их, а в Берлине все так неопределенно.

— Это значит...

— Это значит, что я очень рада твоему назначению и желаю тебе всего хорошего. Ты можешь, конечно, взять часть вещей, я не хочу ничего осложнять...

Я растерялся.

— Ты хочешь развестись со мной? И это через двадцать семь лет? Без единой ссоры?

— Ах,— ответила она,— двадцать семь лет достаточно долгий срок, ты не находишь? К тому же я тебя никогда и не любила настолько, чтобы стоило ссориться.

— Может быть, ты объяснишь, что хочешь этим сказать?

— Ты ведь знаешь, я не особенно была в тебя влюблена, когда мы поженились. А когда ты вернулся из плена, то оказался и вовсе чужим. Я уже тогда хотела предложить тебе развод, но видела, что ты надрываешься на работе, что у тебя нет покоя ни днем, ни ночью — с завода на собрание, на совещание, на курсы. У меня просто язык не поворачивался. Я же была нужна тебе, чтоб дома был порядок, чтоб ты регулярно питался. Но особенно тяжело мне было, когда снова появился кузен Густав.

Кузен Густав, застучало у меня в мозгу, кто же, ко всем чертям, этот кузен Густав, мне уже приходилось слышать его имя...

— Ты, наверное, знаешь, Франц, что кузен Густав — моя первая любовь. Но я держалась слишком неприступно, а дочь церковного служки оказалась сговорчивее... Потом он удрал от ответственности. Ему тогда было восемнадцать лет. Я очень на него злилась. И сама помогла дочери служки при родах. Послать за доктором не было времени. Тогда-то я и решила стать акушеркой.

Правильно, сообразил я наконец, кузен Густав и был тем мясником, который в голодные годы снабжал нас колбасными изделиями. Дети за глаза называли его «деревенщиной». Это был неотесанный малый с такими оттопыренными ушами, каких я в жизни не видел, и говорил он на таком невообразимом нижненемецком диалекте, что я его почти не понимал.

— Видишь ли, Франц, тогда я снова влюбилась в кузена Густава. Он хотел увезти меня с детьми в Западную зону, но я не могла нанести тебе такой удар. Если бы ты, по крайней мере, изменял мне... но для тебя существовала только работа. А потом эта поездка за границу. Ты ведь не мог поехать без семьи. Когда же мы вернулись и я уж подумала, что наконец мы можем развестись, у тебя начались неприятности на работе. Разве имела я право оставить тебя в беде? Но теперь, наконец, все в порядке. И такой случай больше никогда не представится. Мы, конечно, расстанемся по-хорошему. Я охотно стирала бы тебе, пока ты не найдешь себе другую. Но в наше время мужчина в пятьдесят лет еще отнюдь не старик, уверена, ты скоро снова женишься. А отпуск всегда можешь проводить здесь, если, конечно, не найдешь ничего более подходящего.

С этими словами она поднялась, надела белый чепец и пошла на ночное дежурство. Как мне хотелось крикнуть ей вслед:

— Но я же тебя обманывал! Целых семь лет. Из-за тебя я отказался от Ханнелоры, а в это время вы с кузеном Густавом...

Но какой в том был смысл?

Ночью я не сомкнул глаз. Никак не мог прогнать навязчивую мысль: можно жить с женщиной двадцать семь лет и так и не узнать ее. Если бы мы с Анни не были такими немногословными людьми, не любившими распространяться о своих чувствах, наша жизнь могла бы сложиться совсем иначе.

Между прочим, в ресторане на вокзале в Эйзенахе я познакомился с одним писателем и рассказал ему свою историю, конечно, изменив имена. Писатель искал ростки будущего и очень нуждался в материале. Но ему мой рассказ не понравился.

— Не смешите меня,— заявил он и предложил выпить с ним пару рюмок «Отборного».— Где же вы видели женщину, которая выливает грязную воду, не набрав сначала чистой? Ни одна не отпустит мужчину, даже если он ей совершенно не нужен. Женщина никогда не уступит его другой. Уж я-то знаю, как-никак четыре раза был женат.

— Но эта история произошла на самом деле,— возразил я.

— Ну и что? Это еще не значит, что она типична. Подлинные истории вообще редко бывают типичными.

Последних слов я не понял. Я размышлял над ними и в вагоне, пока мой сосед с верхней полки давал храпака на весь Тюрингский лес. Потом я бросил ломать голову, в конце концов, я ведь не писатель. А так как заснуть я не мог, то включил лампочку и стал листать наш отраслевой журнал, купленный на вокзале. Под одной из статей стояла подпись: «Ханнелора Лангерганс, дипломированный инженер». Глядика, подумал я, дипломированный инженер! И замуж она, пожалуй, не вышла, раз фамилия осталась прежней, хоть совсем и не шла к ней. Фамилия «Курц» идет ей гораздо больше, часто говорила она,— один из ее намеков, которые мне так не нравились. Свою девичью фамилию «Кноблох»* она терпеть не могла, и если только новый муж не носил еще более дурно пахнущей фамилии, то его существование было весьма сомнительным.

Прибыв в Берлин, я позвонил заместителю технического директора Управления. На этой неделе у него не было в служебное время ни одного свободного часа. Мы договорились встретиться в субботу вечером в кафе «Пресса». Он узнает меня по газете «Нейес Дейчланд» в левой руке. Потом я позвонил Ханнелоре, но не дозвонился. Не долго думая, я написал ей письмо, назначив встречу в том же кафе на час позже. Письмо я сразу же бросил в ящик, чтобы не передумать.

Потом все пошло быстрее, чем я предполагал. Директор пришел даже раньше меня, извинился за неудачно выбранное место рядом с лестницей, но все остальные были заняты. Разговор был деловой и краткий, за двадцать пять минут мы с ним все обсудили. Директор спешил, он с семьей собирался в цирк. Может, имело бы смысл проводить все совещания в нерабочее время, тогда они бы не затягивались. За мой столик сели два длинногривых юнца. Они пользовались таким успехом у девиц, узнал я из их разговора, что частенько им приходилось сверхурочно трудиться на ниве любви. Мне был отвратителен их жаргон, их пошлый тон, руки чесались дать им хорошую взбучку. Но какое я имею право воспитывать чужих детей? Я закрылся газетой и трижды прочел передовицу, ничего в ней не поняв, в чем был виноват не автор, а эти оболтусы, действовавшие мне на нервы.

А потом случилось это. Я услышал ее голос — я мог бы узнать его среди тысячи других. «Получите!» — крикнула она. И я увидел Ханнелору в шляпке. Эта шляпка давно уже была у меня в поле зрения, но откуда я мог знать, что это шляпка Ханнелоры, никогда не носившей ничего подобного. Я закричал: «Ханнелора!» — но она только пожала плечами и исчезла. Что же это значит, не пойму! И вот я сделался посмешищем в глазах всех посетителей кафе, они, несомненно, давились со смеху, когда я в дверях воевал с малышами. Я помчался на станцию городской электрички, затем марафон по перрону и обратно

---

* Кноблох *(нем.*— Knobloch) — чеснок.

до автобусной остановки — все безрезультатно. Я подумал, может, она вернулась, но ее нигде не было видно. На еще одну такую гонку меня не хватит, сердце и без того стучит, будто вот-вот разорвется.

Хотелось бы мне только знать, что ей вдруг взбрело в голову. Она совершенно не изменилась — ни внешне, ни внутренне. От нее, как и раньше, всего можно ожидать. Но мои чувства к ней, к сожалению, тоже не изменились. Который теперь час? Через некоторое время она будет дома, поревет минут двадцать, минут двадцать будет приводить себя в порядок и через полтора — два часа снова будет здесь. Я же ее знаю».

Конечно, он ее знал. Но недостаточно. Она поехала домой не на электричке, а на такси, слезы, значит, были уже позади. В это время она уже подкрашивалась.

«Знаю, я вела себя непростительно. Может, у него были веские основания прийти раньше. И, может, он в самом деле не видел меня до последнего момента. Только пусть не ждет, что я вернусь и попрошу прощения. Тогда он сразу же вкатит мне первую двойку по поведению. Хоть бы за десять лет он стал другим! И позвонил бы мне сейчас по телефону — нет, стремглав примчался сюда, забарабанил в дверь и обнял бы меня:

— Глупенькая, вечно ты что-нибудь придумаешь...»

Но дверь молчит, телефон тоже. А дипломированная Ханнелора, научившаяся за семь лет изменять машины, не знала, что люди гораздо труднее поддаются изменениям. Это касается не только Франца Курца и Ханнелоры Лангерганс. Ее, впрочем, все еще ждут. В кафе «Пресса». Неутомимо крутится дверь-вертушка, впуская в кафе посетителей. Но все это незнакомые люди, и мужчине, сидящему в самом углу, они совершенно безразличны. Ханнелора не приходит и не говорит с робкой улыбкой:

— Извини, Франц, я опять наглупила!

ПАМЯТИ САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО

1901 – 1968

■

Слово о Квазимодо
и перевод стихов ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Квазимодо любил жизнь. Любил темпераментно, как умеют любить южане,— во всех ее проявлениях. Это южанин, сицилиец, мог сказать:

...мужчины не умирают,
они солдаты любви и всегда стремятся к победе.

Любовь к жизни помогала Квазимодо оставаться оптимистом после трех инфарктов. Отвечая как-то на вопрос одного из журналистов, не является ли его внешняя невозмутимость невозмутимостью философа, поэт сказал: «Философия учит другим вещам — например, страху перед смертью».

Квазимодо все чаще писал о смерти, но рядом со словом «смерть» в его строках или за ними всегда билось слово «жизнь». Он хотел знать все на свете («Оттого, что чего-то не знаю, мне больно»), хотел, чтобы его глаза без конца открывали «все сначала», хотел еще долго «прислушиваться к голосу жизни», чтобы проникнуть в смысл слов, «которых так и не понял», прожив без малого шестьдесят семь лет.

Любовь к жизни сделала Сальваторе Квазимодо, поэта-герметика, антигерметиком. Любовь к жизни продиктовала ему от первого до последнего слова его гражданские стихи, направленные против фашизма, против войны. Бескорыстная любовь к Поэзии дала ему право бросить в лицо негодяю:

Доносчики не смеют писать стихи,
ты это знаешь, и пить с друзьями не смеют,
и взывать к чьему-либо сердцу.

Сальваторе Квазимодо оставил Италии свои переводы из Гомера, Софокла, Эсхила, Виргилия, Катулла, Шекспира, Мольера, Петефи, Мицкевича, Паунда, Вапцарова, Аргези, Пабло Неруды. Он оставил Италии и другим странам, в том числе — и нашей, свои прекрасные, мужественные, честные стихи, принесшие ему в 1959 году Нобелевскую премию. Он оставил своим советским переводчикам надежду на новые встречи с его поэзией (еще многим его стихам предстоит прозвучать на русском языке), а одному из них — удивительный по точности ощущения автограф на сборнике «Фальшивая и подлинная зелень»: «...этот дневник, неизменно остающийся дневником любви, даже когда он становится гражданским, дневник итальянский, который может быть в то же время и русским».

Земля

Ночь — безмятежные тени,
воздуха колыбель,—
до меня доносится ветер, если в тебе блуждаю,
и море с ним, и запах земли,
где поют мои сицилийцы
парусам, сетям,
малышам, проснувшимся до рассвета.

Голые склоны, равнины под первой гравой,
ждущей стада и отары,
ваша боль опустошающая — во мне.

Оттого, что чего-то не знаю

Густая от черно-белых корней,
пахнет дрожжами и дождевыми червями
изрезанная водою земля.

Оттого, что чего-то не знаю,
мне больно: не хватит единственной смерти,
если вот так и ношу на сердце
тяжелый ломоть дерна.

Зеркало

И вот на стволе
раскалываются почки,
и зелень — новее травы —
ласкает сердце,
а ствол уж казался мертвым
и словно в промоину падал.

И все принимаю за чудо,
и я — та вода из тучи,
что отражает сегодня в канавах
самый синий кусочек неба,
та зелень, что в почках таилась
недавно — минувшей ночью.

Снег

Нисходит вечер, разлучая с вами,
о дорогие образы земли —
животные, деревья, бедный люд,
закутанный в солдатские шинели,
и матери, которым нечем плакать.
И, как луна, нас освещает снег
с полей. О, эти мертвые. Стучитесь
в сердца и души. Хоть бы кто-нибудь
безмолвие нарушил воплем в этом,
как саван, белом круге погребенных.

Стихи, написанные, быть может, на могильном камне

Мы здесь — вдали от всех, и снова солнце
искрится медом в волосах твоих,
и нам последняя цикада лета
и вой сирены под ломбардским небом
о том, что живы мы, напоминают.
О, выжженные ветром голоса,

чего хотите? Все еще исходит
тоска мучительная от земли.

Цвет дождя и железа

Ты говорила: молчание, одиночество, смерть,
как говорят: любовь, жизнь.
Это были промежуточные слова.
И ветер поднимался каждое утро,
и время цвета дождя и железа
проносилось над камнями,
над нашим замкнутым жужжанием про́клятых.
До правды еще далеко.
Так скажи, человек, расплющенный на кресте,
и ты — с окровавленными руками,
как я отвечу на все вопросы?
Сейчас, до того как другое безмолвие
ворвется в глаза, до того как поднимется
новый ветер и снова ржа расцветет.

Эпитафия партизанам Валенцы

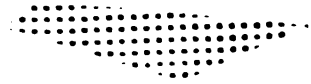
Этот камень —
памятник партизанам Валенцы
и тем, кто сражался на их земле,
памятник павшим в бою и расстрелянным
немцами и солдатами милиции итальянской.
Их число велико.
Здесь мы считаем их, называя
каждого ласково, поименно,—
навеки юных.
Не смей проклинать их, в своей стране—чужеземец,
ты ж поклонись им, друг свободы.
Их кровь не остыла еще, но скромно
они молчат о своих делах.
Герои стали людьми — человечеству повезло.
Такими людьми вовеки
да не оскудеет Италия.

Я ничего не утратил

Я все еще здесь. Солнце кружит
за плечами, как ястреб, и земля
повторяет мой голос в твоем.
И возобновляется зримое время
в глазах, открывающих все сначала.
Я ничего не утратил.
Утратить — значит отправиться
за диаграмму неба
мимо течения снов, вдоль реки,
полной листьев.

В гости зову тополя

Тень моя — на другой больничной стене.
Рядом цветы, и ночами в гости
зову тополя и платаны из сада,
деревья с опавшею листвою — не желтой,
а белой почти. Ирландки-монахини
не говорят никогда о смерти,
они, как бы влекомые ветром,
не удивляются собственной молодости и доброте:
удивленье приходит во время суровой молитвы.
Мне кажется, будто я эмигрант,
бодрствующий в своих одеялах,
спокойный, и что лежу на земле.
Быть может, я всегда умираю.
Но охотно прислушиваюсь к голосу жизни,
к словам, которых так и не понял,
останавливаюсь на пространных гипотезах.
Конечно, мне никуда не деться,
останусь предан жизни и смерти
душою и телом
на всех возможных зримых маршрутах.
Время от времени меня обгоняет
что-то легкое — терпеливое время,
абсурдное безразличие, что проскальзывает
между смертью и иллюзией
сердцебиенья.



В. ДНЕПРОВ

СУБЪЕКТИВНОЕ В МОРАЛИ

1

В современной художественной литературе мы находим все три возможных ответа на вопрос о происхождении добра. Одни ищут начальный его источник в субъекте, другие — в боге, третьи — в обществе. Однако художник не только *проводит* свою нравственную идею сквозь образы, он одновременно *испытывает* ее соприкосновением с жизнью, сопротивлением жизненного материала—реальной судьбой идеи. Так что ему приходится вступать в спор с жизнью, и, что не менее важно, самой жизни приходится нередко спорить с изображающим ее художником. Истинный художник не скрывает противоречий между замыслом и его жизненной проверкой, подобно тому как ученый не скрывает противоречий между гипотезой и результатами эксперимента. Однако поэтическое сочинение отличается от эксперимента уже тем, что в нем можно проследить как намерение его создателя, так и реакцию действительности на это намерение, как то, что говорит сам автор, так и то, что сказалось его творением. Постольку допустим спор даже и с большим искусством, спор, исходящий из того, что искусством дано, а не из соображений далеких от него или внешних ему. Наибольшее уважение к замыслу автора мы обнаруживаем именно тогда, когда принимаем его мысли всерьез и обсуждаем их всерьез, а не тогда, когда судим о произведении как о чем-то вполне независимом от его творца. Это особенно справедливо, если речь идет о нравственной идее — нам совершенно необходимо знать, чего *субъективно хотел* автор, а не только чего он на самом деле достиг. В реализме художественность является подтверждением истины, и позволительно рассматривать не только истину с точки зрения образного воплощения, но и образное воплощение с точки зрения истины.

Руководствуясь этим, мы хотим в нашей статье обдумать и обсудить некоторые произведения экзистенциалистских художников-философов, которые в субъекте находят последний источник добра и зла. Они упрекают марксизм в неумении оценить субъективный элемент нравственной жизни и предлагают либо заменить марксистское учение субъективистским, либо, по крайней мере, дополнить марксизм недостающей ему «субъективностью».

Вскоре после войны Сартр пишет известное сочинение «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946), Хейдеггер публикует «Письмо о гуманизме» (1947), Ясперс — несколько популярных работ об экзистенциализме как специфическом гуманизме XX столетия.

Разъясняют ли эти произведения и без того ясное? Доказывают ли то, в чем никто не сомневался? Ломятся ли в открытую дверь?

Нет. Вопрос об отношении субъективизма к гуманистической морали всегда казался противникам экзистенциализма его слабым местом, и в это слабое место направлены были стрелы многих возражений. Согласуется ли понятие об абсолютной свободе отдельного лица с моральной необходимостью? Можно ли вообще обосновать нравственные нормы, если исходить из одной только субъективности? Не связана ли мораль в самом начале с условиями и всеобщими формами общественной, коллективной жизни людей? Не оказывается ли точка зрения сегодняшнего субъективизма в опасной близости к точке зрения Ницше? Эти вопросы задавали марксисты, и экзистенциалистам было очень не просто на них ответить.

Но кроме марксистской критики была еще критика, идущая из лагеря католиков. Католики утверждали, что мораль невозможна без объективной (= божественной) основы, что чистый субъективизм по логике своей граничит с аморализмом, несмотря на добрые намерения и заверения экзистенциалистов.

В полемике, как это часто бывает, допускались крайние и односторонние преувеличенные суждения. Но по всей справедливости нужно признать: в вопросе об отношении субъективизма к морали экзистенциалисты не смогли свести концы с концами. Часто они находили выход за счет непоследовательности, уходя из сферы логического мышления в сферу чувства, не поддающегося смысловой расшифровке.

Это открыто признавал, например, Камю, с присущей ему интеллектуальной бесхитростностью. В четвертом из «Писем к немецкому другу» (1944) Камю писал: «Вы никогда не верили в *смысл этого мира* и пришли *вследствие этого* к заключению, что все равноценно, и *добро и зло можно определять по произволу*... Вы сделали вывод, что человек — это ничто, что можно убить его душу, что в нашей в высшей степени бессмысленной истории задача индивидуума может состоять лишь в ощущении власти, а его мораль — лишь в реализме завоевания. *И, по правде говоря, я, полагавший, что мыслю так же, как мыслите вы, не мог найти никакого довода, опровергающего ваши заключения, кроме настоятельной потребности в справедливости — да и она казалась мне неразумной, подобно любой другой неведомо откуда взявшейся страсти*» (курсив наш.— *В. Д.*). Логика мысли влечет к опасным выводам, но нравственное чувство пресекает ее неумолимую работу и возвращает душу — вопреки разуму — к справедливости и добру. Об этом противоречии Камю говорит не раз. «Как видите,— пишет он,— мы *из одних и тех же утверждений* извлекли совершенно различные воззрения». Причем нелогичным был как раз Камю, уклонявшийся от аморального вывода, исходя «только из слепого чувства». Но теперь, в 1944 году, Камю пришел к тому, что не только сердце его бывшего друга — ныне смертельного врага — было преступным, но преступной была также и его «логика», что зло находилось не только в его заключениях, но также и в его основоположениях.

Внутренняя борьба Камю с ницшеанскими элементами его миросозерцания, метания Камю между предпосылками, казавшимися ему неопровержимыми, и выводами, казавшимися недопустимыми, очень ясно отразились в драме «Калигула» (1944). В ней он представил человека, ставшего кровавым деспотом не под влиянием страстей и интересов, а под влиянием идей. Калигула отверг богов, плохо управляющих миром, и решил сам стать богом — единственным свободным существом на свете. Его воля, ничем не обусловленная и стоящая в самом начале, должна играть роль судьбы для других людей, столь же непостижимой роковой судьбы, какой она была всегда. Но теперь за судьбой стоит Калигула, его неуклонная последовательность в осуществлении зла, его бесстрашное стремление к последним — пусть невыразимо страшным и безнадежным — истинам. Калигула знает, что его неограниченная личная свобода может быть утверждена только за счет чужой свободы, и он по своему произволу и капризу убивает и грабит, унижает и третирует людей. Пусть они откроют правду о самих себе и мире, пусть возмутятся.

В предисловии к собранию драм, написанном значительно позже, Камю так характеризует намерения Калигулы: «Одержимый стремлением к невозможному, отравленный презрением и злодейством, он, убивая и выворачивая наизнанку все ценности, пытается осуществить свободу, которую сам в конце концов признает фальшивой... *Невозможно разрушать все, не разрушая самого себя*» (курсив наш.— *В. Д.*). Калигула не мешает развиваться заговору и — более того — «вкладывает оружие в руки тех людей, которые убьют его». Отрицание человека и жизни неизбежно превращается в самоотрицание. «Калигула,— пишет Камю,— это история самоубийства на самом высоком уровне, история человечнейшего и трагичнейшего из всех заблуждений. Неверный людям из верности себе, Калигула добровольно идет навстречу смерти, ибо познал, что никто из людей не может спастись в одиночку и никакая свобода не может быть реализована за чужой счет».

Когда читаешь эту последнюю фразу Камю, невольно думаешь, что в ней представлено ясным то, что в пьесе еще неясно. Калигула «пришел в никуда» и признал, что свобода произвола вовсе не есть действительная свобода. Дорога зла привела к внутреннему краху. Все это верно.

Однако «логика» Калигулы, его аргументация, осталась неопровергнутой. Эта логика такова: если ценности возникают из моего «я», если все они в одинаковой мере произошли из моего духа, то они равноценны. Противник Кая Калигулы Хереа говорит:

«— Я верю, что одни поступки более благородны, чем другие.

Калигула: — Я же верю, что все они равноценны.

Хереа: — Я знаю это, Кай, и именно поэтому не могу тебя ненавидеть».

С логикой Калигулы и на самом деле нельзя справиться, если стоять на точке зрения субъективизма. Посмотрите, какой слабой оказывается попытка Хереа аргументировать: «Я иногда хочу смерти людей, которых я люблю, и желаю женщин, обладать которыми мне запрещает дружба или закон. Если бы я решился быть последовательным, я должен бы был убивать и обладать. Однако, на мой взгляд, эти исчезающие намерения не имеют никакого значения». Хереа не замечает, что скрыто уже усвоил точку зрения Калигулы: он отклоняет зло, *исходя из того места, которое оно занимает в его— Хереа — субъекте.* Он хочет доказать, что добро и зло *субъективно неравноценны.* Од-

нако Калигула скажет, что в его — Калигулы — субъекте зло не так летуче, что оно сидит глубже, оно требует настойчивее — и Хереа должен будет замолчать. Когда Хереа выражает свое нежелание жить в мире, ставшем ненадежным из-за действий Калигулы, тот отвечает:

«— Надежность и логика несовместимы.

Хереа: — Это верно. Мое желание нелогично, однако оно нормально».

Мы опять сталкиваемся с трудностью, о которой говорит Камю в цитированном выше «Письме к немецкому другу»: зло отвергается, но не опровергается, его может одолеть чувство, но против него бессилен рассудок.

Это же сказывается в отношениях между Калигулой и Сципионом, поэтом с «благородным сердцем». Сципион убеждается в том, что Калигула, несмотря на безмерность творимого им зла, способен лучше, чем кто-нибудь другой, проникать в красоту и глубину поэзии. Поступки Калигулы внушают Сципиону отвращение и ненависть, но совсем другое впечатление производит на него сама личность тирана— личность, испытавшая великие страдания, поставившая на испытание главные вопросы бытия, духовно богатая и сложная. В этом заключено смущающее, сбивающее с толку противоречие. Афористически Камю выражает его так:

«Калигула: — Ты чист в твоей доброте, как я чист в своей злобе.

Сципион: — Я способен понять это».

Удивительно ли, что в спорах Калигула теснит Сципиона. Он, например, утверждает, что любая, самая маленькая война, начатая разумным правителем, стоит человечеству гораздо дороже, чем все капризы его — Калигулы — тиранического произвола.

«Сципион: — Но это по крайней мере разумно! Главное ведь состоит в том, чтобы постигнуть смысл.

Калигула: — Судьбу нельзя постигнуть, и именно поэтому я сделал себя судьбой. Я принял бессмысленный, непроницаемый облик богов...»

Рассуждение Калигулы неопровержимо, когда принят его исходный пункт: *если жизнь лишена смысла и цели, тогда делается несущественным различие между добром и злом.*

Другая пьеса Камю «Недоразумение» (1944), по колориту и мотивам напоминающая мрачные места из «Риголетто» Верди, проникнута духом морального пессимизма. Сказалась глубокая подавленность художника, вызванная фашистским нашествием. Камю готов считать «Недоразумение» современной трагедией.

Сюжет пьесы очень прост и ясен. Жан после многих лет отсутствия приезжает в дом своей матери и сестры. Он стал на чужбине человеком богатым и может теперь удовлетворить все чаяния своих близких; он хочет видеть их счастливыми. Однако Жан решил предварительно узнать, чего они ждут от жизни и от счастья. Поэтому он не назвал своего имени и объявил себя богатым проезжим дельцом.

Мать и сестра сдали ему комнату в своем небольшом убогом пансионе. Они получили паспорт пришельца, и стоило только заглянуть в него, чтобы узнать правду. Но они так и не заглянули, так ничего и не узнали. Им не до того. Они задумали убить богача и взять себе его деньги. Это не первое их убийство. Сестра Жана Марта ненавидит свое тесное, темное и скудное бытие, она рвется к другой жизни, мечтает о южном море, о ярком солнце. А мать в безмерной своей привязанности к детенышу готова делать все, чтобы дочь не проклинала больше свою жизнь. Правда, на сей раз она испытывает непонятную симпатию к пришельцу и тоскует при мысли об убийстве. Но дочь напоминает ей, что цель, за которую они так дорого заплатили, уже совсем близка. Еще одно преступление — и для них откроется светлый мир. Вместе они несут тело Жана и бросают его в холодную ночную реку. Утром же узнают, что убитый — сын и брат. Жить после этого невозможно. Сначала мать, а затем сестра убивают себя. И концовка: потрясенная горем супруга Жана молит о милосердии, призывает бога. И бог — в образе старого слуги, который все видит и всегда молчит, приходит на зов.

«Старик (ясным и твердым голосом): — Вы меня звали?

Мария: — О, я не знаю! Но помогите мне, потому что я так нуждаюсь в помощи. Будьте милосердны и помогите мне!

Старик (таким же голосом): — Нет!»

Никто не сжалится, никто не поможет — ни люди, ни бог,— таково последнее слово пьесы.

2

В пятидесятых годах, возвращаясь к «Недоразумению», Камю писал: «Конечно, в нем воплотилась весьма *пессимистическая точка зрения на человеческое бытие, но она хорошо совместима с умеренным оптимизмом относительно человека.* Ибо в пьесе имелось в виду, что все могло бы обернуться иначе, если бы сын сказал: «Это я, вот как меня зовут». Ибо имелось в виду, что человек в нашем несправедливом и равнодушном мире *мог бы спасти себя и других, если бы нашел слова простейшей искренности»* (курсив наш.— *В. Д.).* Эти оговорки Камю до удивления неубедительны и поверхностны. Разумеется, если бы сын назвал себя, не было бы сюжета, не было бы пьесы, не было бы и ее идеи. Но ведь Камю хочет сказать, что жизнь построена на недоразумении, на нелепости, на взаимном непонимании, на трагизме бессмыслицы. Чего стоят по сравнению с этим вселенским абсурдом «слова простейшей искренности», с непостижимой наивностью выставленные Камю в качестве спасительного средства. В том, что сын не открыл себя, хотя мог бы это сделать, в том, что мать и сестра не по-

смотрели в паспорт, хотя могли бы это сделать, в том, что они убили человека, который нес им спасение, в том, что зло не может добиться своей цели и все же торжествует,— во всем этом выражается суть мира, основанного на хаосе и коренной несогласованности своих элементов. Какую же важность рядом с этим общим значением мог бы иметь тот частный факт, что сын назвал себя и в данном особом случае уничтожил почву для недоразумения? Ведь от этого безумный мир не стал бы разумным? Именно это и говорит Марта, убившая своего брата: «Если вы хотите знать все — это было недоразумение. И если вы хоть немного знаете мир, вы нисколько не удивитесь этому». И несколькими строчками ниже, продолжая разговор с женой убитого: «Я не могу умереть, пока вы думаете, что правы, *пока думаете, что любовь не тщетна и все случившееся — несчастный случай. Ибо только сейчас мы вошли в истинный порядок вещей.* В этом нужно бы всем убедиться.

Мария: — Какой порядок?

Марта: — *Порядок, в котором никто никого не узнает»* (курсив наш.— *В. Д.).*

Итак, недоразумение вытекает из общего порядка (= беспорядка) жизни, оно необходимо и потому трагично.

Противоречия Камю тем более заслуживают внимания, что сам он хотел быть добрым писателем. Незаметных людей он изображал с дружелюбной иронией, участием и уважением. Камю хотел быть добрым, однако субъективизм постоянно нагромождал духовные опасности и моральные трудности на его пути. Движение Сопротивления было счастьем для него, но даже и в это лучшее время ложное воззрение мешало Камю постигать нравственный смысл его эпохи.

Все же сдвиг от «Калигулы» и «Недоразумения» к «Чуме» имеет принципиальное значение. Проявились черты *индивидуалистического гуманизма, сложившегося под воздействием страшных уроков фашизма.* Ведь и сам Ницше, если бы увидел фашистскую Германию, скорее всего отшатнулся бы в ужасе. Возможно даже, проклял бы свои сочинения, которые Гитлер торжественно дарил Муссолини.

Предположение это — не досужая фантазия, оно учитывает основную нелогичность ницшеанской философии.

«Совершенно справедливо то,—писал Плеханов в статье «О так называемых религиозных исканиях в России»,— что Ницше сделал из «позитивизма» вывод, равносильный отрицанию всякой человеческой нравственности... Когда люди приходят в такое настроение, когда единственно осязательной действительностью представляется им их драгоценное «я», тогда они уже являются настоящими аморалистами». И вместе с тем в разрыве с массой, в презрительном и страдальческом одиночестве Ницше усматривал единственно возможный путь к наибольшему богатству субъективной жизни, к вдохновению неограниченной личной свободы. Развитие «моей» индивидуальности было для Ницше гораздо важнее, чем судьба миллионов, и цель мировой истории он видел в создании горстки подлинных аристократов духа.

Фашизм, однако, на деле обнаружил несовместимость морально-философских предпосылок ницшеанства и его психологически-поэтических выводов. Выяснилось, что по способу Ницше даже и развитие «моей» индивидуальности неосуществимо. «Высокий индивидуализм» Ницше — чепуховая утопия. Люди, отбросившие помеху всеобщей морали и реализовавшие «волю к власти», утеряли все признаки человеческой личности. Безусловная власть неизбежно становилась дорогой к безумию, свобода произвола — дорогой к окончательному вырождению. По способу Ницше могли возникать лишь «недочеловеки», а вовсе не «сверхчеловеки».

Уже Кафка, проникший в некоторые моральные измерения фашизма, изобразил господ и чиновников как совсем особую породу существ, поставленных над человеком и не заключающих в себе ничего человеческого. Они не личности, а олицетворения функции — подавлять, использовать, уничтожать. И гуманный Кафка справедливо исключил их из сферы, на которую распространяется гуманность. Однако Кафка не мог предусмотреть свирепого терроризма будущих фашистских властителей. Гегель называл буржуазное общество духовным царством животных. Фашизм он мог бы назвать духовным царством зверей. Одного из этих зверей нарисовал Кёппен в романе «Смерть в Риме». Причем нарисовал не извне, а изнутри. Оказалось, что Юдеян, рассмотренный изнутри, еще страшнее и опаснее, чем увиденный извне: не зная внутреннего мира Юдеяна, мы еще могли бы предполагать, могли бы надеяться, что в его душе осталось хоть что-нибудь человеческое. Зато пройдя через все закоулки его сознания, мы вполне убеждаемся, что все человеческие возможности истреблены в его душе, что он неисправим, что зверь притаился и ждет своего часа.

Неопровержимые факты доказали, что вместе с нравственностью умирает и человеческая субъективность, что безоговорочное господство зла тушит внутреннюю жизнь индивидуальности. Фашизм, кроме всего прочего,— это смерть личности. Внизу она подавляется, наверху — вырождается. Поэтому люди, действительно озабоченные развитием личности и ее субъективности, не могли не становиться врагами фашизма. Даже и в том случае, когда они сохраняли индивидуалистическое равнодушие ко всем другим вопросам политики и социальной жизни, они исключали фашизм из зоны этого равнодушия.

Субъективизм, устремленный к внутреннему богатству личности, вынужден при таких обстоятельствах обратиться к гуманизму, несмотря на таящееся тут противоречие — противоречие, терзавшее экзистенциалистских моралистов, как острый гвоздь в сапоге.

3

В работе «Экзистенциализм — это гуманизм» Сартр так излагает упреки по адресу его первого романа: «Вы писали в романе «Тошнота», что «гуманисты» будто бы неправы; вы насмехались над определенным типом «гуманизма». Отвечая на это, Сартр указывает, что слово «гуманизм» может иметь два совершенно различных значения. *«Гуманизмом можно называть теорию, которая видит в человеке конечную цель и высшую ценность...* Она предполагает, что мы можем вообще приписать человеку ценность, соответствующую высочайшим деяниям известных людей» (курсив наш.— *В. Д.*). Кто-нибудь, отнюдь не выдумавший самолет, может все же летать в самолете и даже чувствовать свое право в качестве человека разделять ответственность и честь чужого великого открытия.

Этот род гуманизма Сартр считает бессмыслицей. Только собака или лошадь могли бы, по его мнению, допускать такого рода всеобщие суждения касательно человека (Сартр любит употреблять в полемике сильнодействующие средства). Он прямотаки запрещает говорить о человеке как «чудесном существе» и гордиться человеком, основываясь на том, что совершили те или иные люди.

Но разве гуманизм целой большой эпохи с XV до XVIII века не опирался на те самые всеобщие представления о человеке, которые Сартр пытается оценить с точки зрения лошади или собаки? Разве ими не пользовалась философия от итальянцев до Спинозы и от Спинозы до Руссо, Лессинга и Канта? Разве не говорил Шекспир о том, «как чудесен человек», а Горький о том, что «человек — это звучит гордо»? И не заключает ли в себе такой подход необходимой *частицы истины,* позволяя верно судить о *возможностях* человека, определяя меру его требований к самому себе?

Раз некоторые люди сумели подняться до большой духовной высоты и развить свою личность, подняться до громадного внутреннего богатства—значит, при благоприятных исторических условиях до этого сумеют подняться все люди. На этом неопровержимом заключении основаны ранние формы гуманизма, и заключение это вошло необходимой частью и в понятие гуманизма современного.

Сартр отбросил и объявил бессмыслицей то, что на самом деле составляет обязательный момент в развитии человечности: момент *преемственности, нравственной культуры, морального авторитета, влияния традиций, воспитания.* Всему этому, как чему-то в самом себе недействительному, он противопоставил другой момент: субъективность, личное решение, творение себя самого в процессе жизнедеятельности — «человек всегда должен быть создан заново».

Распространив субъективизм на понятие гуманизма, Сартр обеднил, сузил, «обкорнал» гуманизм, оставив в нем только то, что согласуется с экзистенциализмом, и без всякого сожаления исключив все, что с экзистенциализмом не согласуется. Он собирался доказать, что экзистенциализм есть гуманизм, но вместо этого стал доказывать нечто совсем иное: *только* экзистенциализм есть гуманизм.

Сартру не удалось защитить свой роман «Тошнота»: то, что он, по собственным его словам, в романе осмеял, оказалось вовсе не бессмыслицей, а необходимым историческим и жизненным элементом гуманизма. Но если бы Сартру даже и удалось отстоять свою правоту в данном пункте, все равно читателю представилось бы неясным и сомнительным отношение его первого романа к гуманизму.

Герой романа «Тошнота» Антуан Рокантэн живет в чужом городе, где он никого не знает. Он гуляет, смотрит, думает. Почти никаких внешних событий. Перемены и события происходят внутри, в душе. Причем душевный кризис вызывается не какими-либо драматическими ситуациями, а простейшими восприятиями. Рокантэн тронул рукой нагретый солнцем камень или увидел большое, ветвистое дерево — и вдруг в самых глубинах его субъекта что-то сдвинулось. Сдвиги касаются главного — первооснов-ных, исходных отношений человеческого субъекта к миру, в котором он живет. Рокантэн не только начинает мыслить или чувствовать по-другому, он делается другим по способу существования своей личности.

Глубине и значительности этих внутренних изменений во многом содействует одиночество героя «Я живу один, совершенно один. Я не говорю ни с кем из людей; я ничего не получаю, ничего не даю». Одиночество обостряет чувство пребывания в окружающем мире и вместе с тем дает субъекту сосредоточиться на самом себе. Одиночество, так сказать, дистиллирует индивидуальность, представляет ее в чистом виде. Отъединенный от всего человек в чуждом для него мире.

Такова предпосылка философского романа Сартра. Отсюда начинается его внутреннее действие. Оно сначала заключается в чувстве беспокойства и страха, страха неизвестно перед чем и неизвестно отчего. Точнее говоря, страха, распространяющегося на все моменты соприкосновения с внешним миром или общения с ним. Рокантэн видит самую обыкновенную кружку пива. Но это не обычный равнодушный взгляд: в нем сокрыты метафизические бездны. Стеклянный предмет в ужасающей степени нечто иное, чем сам Рокантэн, он пугает своей непроницаемой вещественностью, непостижимой бездуховностью своего существования. «Никому я не могу объяснить, что вижу. Никому Это оно и есть: я медленно соскальзываю вниз, в яму, в страх».

Страх преобразуется в отвращение, в тошноту. Внешний мир давит своей невыносимой посторонностью, обременяет своей

беспредельной чуждостью. Обычно люди относятся к вещам чисто практически; полезны ли они? А Рокантэн в самом бытии вещей ощущает нечто враждебное себе. «Меня вещи касаются — и это невыносимо. Я боюсь их прикосновения, как если бы они были живые звери. Теперь я вижу яснее, вспоминаю лучше то, что недавно пережил на морском берегу, когда держал в руке камень. Это было нечто, подобное сладковатому отвращению. Как это было омерзительно! Отвращение исходило из камня, я в этом вполне уверен, и переходило с камня на мою руку». Отвращение, о котором говорит здесь Сартр, не просто эмоция. В нем отражена структура самого бытия, отношение между различными его формами, положение субъекта в мире. «Его синяя рубаха резко выделялась на фоне стены шоколадного цвета. Это тоже вызывало отвращение. Более того: это и было отвращением. Отвращение не во мне: оно там, на стене, в подтяжках, всюду вокруг меня. Оно сливается с кафе, и я в нем».

В сферу отвращения попадают не только вещи, но также и люди. Ведь и люди — нечто телесное, недоступное, отделенное бездной от наблюдающего сознания. Чужая рука — попросту красноватая вещь со светлыми волосиками. «Тепловатая масса справа от меня становится громкой и движет руками». Отвращение распространяется и на собственное тело Рокантэна. С ужасом он рассматривает свое лицо в зеркале — совершенно постороннюю вещь. «Конечно, это нос, рот, вот глаза, однако все это не имеет никакого смысла и даже человеческого выражения». «Нагое мясо». «Лишенная жизни природа». Что-то абсолютно другое, чем он сам.

Люди вызывают отвращение Рокантэна также и тем, что делают, что говорят, как живут. Биографии шаблонны, поведение стереотипно, жизненные реакции автоматичны, сознание погружено во внешнее, в самодовольство суетности. Зачем все это, какой в этом смысл?

Иногда Рокантэн встречает людей, на него похожих. «Этот одинок, как я, он еще глубже, чем я, заполз в одиночество. Его ждет его собственное «отвращение» или что-либо в этом роде... Но чего он ждет? Ведь он знает наверняка, что мы друг другу ничем помочь не можем». Друзей нет. Все чужие.

Благодаря «отвращению» совершается разрыв субъекта со всем, что не есть субъект. Разрыв с природой. Разрыв с людьми. Переход в какую-то новую форму существования — мучительную, но плодотворную. *Отвращение загоняет в тупик, но оно же дает выход из тупика.* Изолируя личное сознание от всех связей, от всех зависимостей и влияний, оно возвращает человека к первоосновам внутренней жизни, к истокам самосознания, к подлинно человеческому существованию. Растворяясь в общих интересах и заботах, личность теряет себя, *отшатнувшись от мира, она себя находит.* Отвращение разрушает все ценности, кроме одной — единственно важной, единственно настоящей: ценности человеческого субъекта. Душа, измученная одиночеством, ниоткуда не получающая поддержки, в конце концов пробивается к истине: субъект есть начало всего, он может и должен полагаться только на самого себя, он является источником всех ценностей. Подлинность его существования сообщает подлинность существованию всего остального. С упоением Рокантэн говорит себе: «Освобожденное, раскрепощенное существование возвращается ко мне. Я существую». Формула «Я существую» повторяется на протяжении всей книги как заклинание. Теперь собственное тело перестало быть посторонним и в самом себе мертвым предметом, теперь оно стало для Рокантэна моментом его сознания, продолжением его духа. «Я вижу свою руку, лежащую на столе. Она живет — она есть я... Я чувствую свои ладони. Двое зверьков, которые шевелятся на конце моих рук,— это есть я». И тяжесть, и теплота рук и ног — казалось бы, чисто физические свойства — это опять-таки он сам — Рокантэн. Отныне вещи потеряли свою твердость, свою ранящую самостоятельность, свою возмутительную независимость от духа. «Теперь я знал твердо: *вещи именно таковы, какими кажутся,— и за ними... нет ничего*» (курсив наш.— *В. Д.*). Эта роковая — отменяющая науку — мысль была также положена Сартром в основу его философского трактата «Бытие и ничто».

4

Сартр резко отклоняется не только от путей всей классической философии, но и от путей всей классической поэзии; не единство с природой, а разъединение с ней. Не единство мира, а его разъятость и разорванность. Не целесообразность явлений, а их бессмысленная бесцельность. Не единство, а дисгармония противоположностей. Не сознание себя частью мира, а сознание себя в противовес миру. Не человечество, а человек, не род, а индивид. Не связь людей, а их изначальная чуждость. Не коллективность и солидарность, а покинутость и одиночество. Не любовь, а отвращение.

Вполне законен вопрос: как согласуется взгляд Сартра, основанный на чистой отрицательности и субъективизме, с положительной идеей гуманизма? Не отменяет ли его подход к действительности самые устои гуманистического миросозерцания и гуманистического чувства?

Сартр достаточно философ, чтобы понимать неизбежность этого вопроса. И ответ его имеет всеобъемлющий характер, он касается всех сторон гуманизма, а вовсе не той одной стороны, о которой говорится в сочинении «Экзистенциализм — это гуманизм». Сартр не затрудняет себя выбором сильного противника. Бедняга автодидакт, читающий книги в том алфавитном порядке, в каком они расположены в библиотечном каталоге, не способен не только опровергнуть, но даже и понять точку зрения Рокантэна. Но споря с ним, Рокантэн

вспоминает обо всех разновидностях гуманизма, и все они оказываются в какой-то мере включенными в сферу «отвращения». Кое в чем Рокантэн прав: в презрении к лицемерной и высокопарной, ни к чему не обязывающей гуманистической фразеологии или к гуманизму сентиментально-условному, поверхностному и не дошедшему до глубины души. Но он с не меньшим пренебрежением говорит о «левом» гуманизме, «чья любовь принадлежит униженным», о гуманизме коммунистического писателя, «который любит людей со времени второй пятилетки», или о «католическом друге человечества».

«Это, однако, только начальные разновидности, имеются еще и другие — целый легион других: гуманистический философ, склоняющийся, как старший брат, к своим братьям и сознающий свою ответственность; друг людей, который любит людей такими, каковы они есть; другой, который любит их такими, каковы они должны быть; тот, который собирается спасти людей с их согласия, и тот, который сделает это против их воли; тот, который создает новый миф, и тот, который удовлетворяется старым; тот, который любит в человеке смерть, и тот, который любит в нем жизнь; радостный, который смеясь высказывает свою привязанность к людям, и мрачный, которого мы обычно встречаем на поминках».

По этому поводу мы заметим только одно: снобистская насмешка Рокантэна затрагивает также и все то, что Сартр теперь считает неотделимым от своего гуманизма.

И еще одна занятная мысль Рокантэна: «Если выступают открыто против гуманизма, то этим только льют воду на его мельницу — ибо он живет за счет того, что ему противоречат». Гуманизм разжевал, переварил и обратил себе на пользу антиинтеллектуализм, мистицизм, пессимизм, анархизм, культ своего «я», мизантропию и т. д. Рокантэн не попадется в эту ловушку. «Я избегну глупости признать себя антигуманистом: я не гуманист. Вот и все».

Рокантэн остроумно отмечает противоречия гуманистической идеи. Активная, добрая любовь к людям? Но к кому именно любовь? К каждому в отдельности? К каждому из бесчисленного сонма мещан? «Я нахожу,—сказал я,—что есть столько же оснований ненавидеть человека, как и любить его».

Но, быть может, имеется в виду любовь ко всему человечеству в целом? К общим свойствам и абстрактным возможностям человека? Но разве можно любить абстракцию — нечто несуществующее?

Рокантэн указывает на противоречия не для того, чтобы принять гуманизм вместе с его противоречиями, а для того, чтобы поставить под сомнение его действительность. Он далек от мысли, что отмеченные противоречия разрешаются общественно-преобразовательной деятельностью людей, что гуманизм, не останавливающийся на полдороге, осмеливающийся додумать и дочувствовать до конца, неотделим от этой общественно-преобразовательной деятельности. Позже Сартр присоединится к этому решающему выводу.

Мы понимаем, что Сартр ушел от первого своего романа, и не имеем ни малейшего желания ставить всякое лыко в строку. Зачем напоминать о том, что кануло в прошлое? В книге «Критика диалектического разума» (1960) Сартр говорит о времени, когда ему открылось значение рабочего класса, как *решающем и поворотном моменте* своего духовного развития. «То, что меня начало менять,— это движение массы, в которой живет и действует марксизм». Он увидел в пролетариате воплощение и прибежище идеи. Из борьбы рабочих он понял, что все главные проблемы жизни не разрешены. Он убедился в том, что именно рабочий класс является силой, способной противостоять фашизму — этому смертельному и опаснейшему врагу человечности и духовности. Но как ни велика была притягательная сила рабочего движения для честного «мелкобуржуазного интеллигента», ему все же предстоял длинный и трудный путь освобождения от вросших в душу идеологических предрассудков. Марксизм, свидетельствует Сартр, оторвал его от культуры умирающего буржуазного общества, но он и подобные ему все еще оставались в кругу господствующих в этом обществе идей. *«В течение долгого времени мы смешивали целое и индивидуальное»* (курсив наш.— *В. Д.*). Нужны были чуть ли не полвека, чтобы события указали ему и ему подобным место в разорванном обществе. Война, оккупация, Сопротивление окончательно разбили отсталые формы их мышления. *Конкретное — это история и преобразовательная деятельность.* Истинный путь интеллигента — путь борьбы вместе с пролетариатом.

Этот последний вывод Сартра имеет главное значение. Только в союзе с рабочим классом может интеллигенция отстоять ценности культуры, достоинство личности, мир и демократию, лишь при таком союзе она может гуманистическую идею воплотить в гуманистическую действительность.

Пройдя через исторические испытания и кризисы, Сартр увидел, что такое рабочий класс. Гораздо раньше он увидел, что такое буржуазия. В ряде произведений (например, в хорошей новелле «Детство одного хозяина») он ясно выразил свое презрение к лицемерию и лживости буржуазного уклада жизни и свою живую ненависть к капиталисту как человеческому типу. Это социальное чутье отличает Сартра от Камю, никогда не умевшего разглядеть за личными нравственными различиями фундаментальных различий между классами.

Но, приближаясь к марксизму и рабочему движению, Сартр не только учился у них, он также хотел их кое-чему научить. В этом намерении не было, разумеется, ничего плохого. Беда состояла лишь в том, что Сартр

В. ДНЕПРОВ

СУБЪЕКТИВНОЕ В МОРАЛИ

принес в дар пролетарскому движению свой экзистенциализм — философию идеалистического субъективизма, по всей сути своей чуждую марксизму и несовместимую с ним.

Правда, в ходе пересмотра своих взглядов он не раз пересматривал концепцию экзистенциализма, изложенную в сочинении «Бытие и ничто» (1943). Его экзистенциализм таял, как Снегурочка. Входившие в него учения отпадали кусок за куском. В последние годы Сартр отверг даже право экзистенциализма на самостоятельное существование и сохранил лишь как момент, дополняющий марксизм и включенный в него. Более того: в работе «Критика диалектического разума» он признал внутреннюю противоречивость установки, объединяющей исходные положения марксизма и экзистенциализма. «Мы были одновременно убеждены в двух вещах: с одной стороны, в том, что исторический материализм представляет собою единственно верное истолкование истории, и, с другой стороны, в том, что экзистенциализм сформировал единственно конкретный подход к действительности. Я не отрицаю противоречивости этой установки, я, напротив, ее подтверждаю».

Однако тут же выясняется, что указанная двойственность неизбежна и оправданна. Марксизм, притянувший к себе экзистенциалистов, как утверждает Сартр, застыл и не может больше научить своих сторонников чему-либо новому. В такой ситуации остается лишь один выход: двигаться на параллельных курсах, используя близость экзистенциализма к современному мышлению и к реальному человеку, его духовную подвижность и отзывчивость, с тем чтобы на ходу заменить отжившие и омертвевшие части марксизма. В первую очередь замены требует устаревшее и амортизировавшееся учение марксизма о познании, иначе говоря, материалистическая диалектика. *«Теория познания есть как раз самый слабый пункт марксизма»* (курсив наш.— *В. Д.*). Поэтому Сартр особенно озабочен «вводящей в заблуждение» ленинской теорией отражения и оспаривает мысль Ленина о приближении человеческих понятий к объективной реальности. Поэтому он конструирует фальшивую схему расхождений между взглядами Маркса (в них, полагает Сартр, заключены разрозненные элементы реалистической гносеологии, хотя и не развитые и не доказанные) и взглядами Энгельса (в них уже явственно выразились «догматические болезни марксистской философии»).

Сартр предположил, что марксизм износил свою сущность, свою душу (именно сущностью и душой марксизма считали Маркс и Ленин материалистическую диалектику), как изнашивают старое платье, он попытался заменить эту душу другой, более подходящей, более современной — душой новейшего субъективизма.

Сартр приближается к рабочему классу как его друг и союзник. И вместе с тем своими попытками расшатать революционно-материалистическое мировоззрение он приносит вред делу рабочего класса: экзистенциализм приобрел заметное влияние даже в социалистических странах, и значение этого влияния чисто отрицательное — оно идет вразрез с социалистическим развитием культуры.

В то время как Сартр движется к марксизму, колеблясь, петляя, иногда кружась на месте, а в моменты самых трудных испытаний резко откатываясь назад, в это самое время экзистенциализм — главным образом в его французском варианте — оказывается теоретической подпоркой для антимарксистских тенденций в разных странах.

События последнего времени наглядно показали, как философские различия в трактовке гуманизма могут обретать и обретают практически политическое значение. Борьба между революционно материалистической точкой зрения на добро и зло и точкой зрения субъективистски идеалистической не менее актуальна в наши дни, чем столетие назад, когда ее вел Маркс, или полстолетия назад, когда ее вел Ленин. И фразы об «общечеловеческом» добре в противовес классовому или об абсолютности субъективной свободы в противовес реальной логике истории сегодня не менее часто ведут людей, обманывающих себя и других такими фразами, к сползанию на антисоциалистические позиции.

5

В сочинении «Экзистенциализм — это гуманизм» Сартр пишет: *«Наш исходный пункт на самом деле есть субъективность индивидуума* — и это из строго философских оснований... Не может быть никакой другой истины, годной, чтобы из нее исходить, кроме: я мыслю, значит, я существую. Это абсолютная истина сознания, приходящего к самому себе».

И в другом месте: «Достоевский писал: «Если бога нет, то все позволено». *Это как раз и есть исходный пункт экзистенциализма.* И в самом деле все позволено, если бога не существует, человек вследствие этого покинут, не имея возможности за что-либо прочное уцепиться в себе или вне себя» (курсив наш.— *В. Д.*).

Достоевский поставил против бога *не действительный мир человека, а отдельную личность как вполне самостоятельную силу.* Он, решая нравственный вопрос, пропустил необходимое и главное звено — человеческое общество. Но, совершив эту ошибку, гениальный писатель рассуждает дальше с железной логикой. Если нет другого источника объективных, абсолютных и всеобщих нравственных принципов, кроме бога, то вместе с ним терпят крушение и эти принципы. Теперь все ценности устанавливаются личностью по своей воле — над ней, выше нее больше ничего на свете нет. Теперь началом поведения может быть только завершеннейший индивидуализм. Притом Достоевский везде говорит о той действительной личности, которую он так хорошо знал: мыслящей и страстной, идейной и самолюбивой,

сладострастной и одинокой. Раз хорошее и плохое относительно и зависит только от интересов и желаний индивида, в таком случае падает различие между добром и злом и торжествует «ужас своеволия». Если личности «все позволено», то устанавливается нравственный хаос и совместная жизнь людей становится невозможной. Человеческая гордость и своеволие терпят крах, и человеку не остается ничего другого, как смириться и обратить свои взоры к богу.

Сартр совершает ту же фундаментальную ошибку, что и Достоевский, он также ставит на полюсах бога и субъект, опуская природу и общество. Он не только соглашается с мыслью Ивана Карамазова: «Если бога нет, то все позволено», но даже возводит эту мысль в ранг исходного положения экзистенциализма. Но в отличие от Достоевского Сартр рассуждает дальше с присущей ему философской непоследовательностью. Достоевский отвергает формулу «все позволено», считая ее концом всякой морали. Сартр же утверждает эту формулу, усматривая в ней начало свободы и потому начало всякой подлинной нравственности.

На каком же основании Сартр выворачивает наизнанку ход мысли Достоевского? Единственно на том основании, что имеет в виду личность в совершенно другом смысле, чем Достоевский. Достоевский говорил об эмпирической, реально существующей личности, обладающей свойственными ей интересами и страстями. Сартр же говорит о некой чистой субъективности *до* интересов и страстей («никакой природы человека не существует»), о чистой активности, свободно устанавливающей человеческую сущность,— то есть о том, чего никогда не было, нет и никогда не будет.

Но если мы даже согласимся признать бессмысленную абстракцию Сартра за действительного человека, все равно мы не сдвинемся с места и не приблизимся к искомой гуманистической морали. Отбросив бога, Сартр объявил, что в мире имеется только одно существо, способное творить себя из «ничего», «существо, у которого *существование предшествует сущности*» (курсив наш.— *В. Д.*). Это существо — человек. Достоевский, сопоставив бога и отдельного человека, по крайней мере сохранил природу и связь с ней человека через влечения, инстинкты, цели, страсти. Сартр же устранил также и природу. Достоевский противопоставил богу всего человека, Сартр же противопоставил богу только человеческий субъект как исходную реальность. Поэтому он наделил субъект чисто божественными свойствами: *только у бога существование может предшествовать сущности.* Вот уж поистине нескромный субъект, возомнивший о себе бог знает что!

И Гегель, и Маркс, и Ленин говорили о том, что явление богаче сущности. Если бы этого не было, сущность не могла бы изменяться. В этом смысле можно утверждать, что в *любом* развивающемся процессе существование не только проявляет сущность, но также в чем-то ей предшествует. Сартр софистически выхватил один из моментов и поэтому смог представить человеческий субъект в качестве чуда.

Но почему же все-таки этот чудо-субъект должен осуществить морально добрую, а не морально злую сущность? Ведь он исходит только из «себя», а не из «всех», а мораль в том и состоит, чтобы исходить из «всех», а не из «себя». Ведь Сартр утверждает, что никакой установленной морали не позволено давать указаний субъекту, субъект должен сам наново открыть, изобрести мораль. «Вы свободны,— пишет он,— выбирайте, это значит — изобретайте. Никакая всеобщая мораль не может вам указать, что вы должны делать». И в другом месте: «Он (человек) видит себя вынужденным самому изобрести свой закон». Но отчего все-таки этот закон ведет к добру, то есть к конечному согласию со «всеобщей» моралью, а не ко злу, то есть к конечному расхождению с нею?

Ответ Сартра таков: субъекту, осуществляющему моральный выбор, нечего выбрать, кроме себя; он человек, и потому мораль его будет человеческая. «Если,— заявляю я,— свобода в любых конкретных обстоятельствах не может иметь никакой другой цели, кроме самой себя, если человек однажды узнал, что в своей покинутости он сам устанавливает ценности,— в таком случае он может хотеть лишь *одного:* свободы как первоосновы всех ценностей».

Получается что-то вроде философской сказочки про белого бычка:

Что есть человек? То, что он из себя делает. А что он из себя делает? То, что он есть как человек.

Человек свободно выбирает. Но в чем именно проявляется свобода его выбора? В том, что он выбирает свободу.

Конец рассуждения неизменно упирается в его начало, и Сартр пребывает в кругу тавтологий, поскольку остается верным своему философскому исходному пункту. Затруднение не разрешается, а снова и снова отодвигается.

Творя мораль, субъект «выбирает себя» и вместе с собою все человеческое. Допустим. *Но откуда же зло?* Откуда такое изобилие зла?

Послушаем ответ Сартра: «Если, как мы определили, ситуация человека — свободный выбор без оправдания и помощи, то в таком случае каждый человек, который для оправдания ссылается на свои страсти или на обусловленность своего поведения, есть человек злой воли».

Итак, за злой волей прячется метафизическая ошибка «Злую волю я понимаю как заблуждение... Она очевидным образом есть ложь, поскольку утаивает нашу тотальную свободу решения».

Только что мы узнали от Сартра, что человек «выбирает себя» и именно это спасает его от моральных опасностей субъективизма. А теперь выясняется, что он может

также выбрать и не себя, а *вместо себя* — некое отчужденное содержание. Все затруднения воспроизводятся на новом уровне. Почему же субъект в одном случае берет на себя полноту ответственности и становится добрым, а в другом — оправдывает себя объективными причинами и становится злым? Уж не потому ли, что прочитал сочинения экзистенциалистов?

Один из учеников Сартра обратился к нему за советом: покинуть мать, у которой он один остался на свете, и этим ввергнуть ее в пучину отчаяния или не расставаться с матерью, сделать ее счастливой, но зато не драться против фашистов, не исполнить свой долг? Сартр считает оба возможных решения не только нравственными, но также и равноценными в нравственном отношении. Второе решение имеет в виду благо одной только личности, но зато нравственное чувство выразится непосредственнее, а поступки наверняка окажутся эффективными. Первое же решение исходит из интересов громадной национальной общности, но значение индивидуальных усилий может оказаться неопределенным и проблематичным.

Равноценность решений важна для Сартра, ибо в этом случае отключается момент нравственной необходимости, принудительности и удерживает лишь момент свободной субъективности.. Однако перед Сартром тут же возникает опасность доказать слишком много: выбор между равноценными решениями перестает быть моральным суждением. Поэтому Сартр намечает еще и другой аспект проблемы, стоящей перед учеником: «Вместе с тем его затрудняет выбор между двумя *типами морали*. На одной стороне мораль симпатии и личной преданности, на другой—мораль хотя и всеохватывающая, но сомнительная по своей действительности» (курсив наш.— *В. Д.*).

Сартр некритически ставит в одной плоскости выбор уйти — остаться и выбор между «двумя типами морали». Первый выбор обязателен. Второй — недопустим. Мы узнали это из больших и горьких уроков истории. Абстрактная любовь к человечеству, сопровождаемая безразличием к людям, стоящим рядом, может сделаться при некоторых обстоятельствах источником поступков глубоко безнравственных. И точно также самая живая доброта к близким, не перерастающая в заботу об условиях общего блага и борьбу за это благо, при известных обстоятельствах дает человеку соскользнуть на путь, достойный сожаления. Диалектика эта, если позволено так сказать, написана на нашей шкуре, об нее больно ушиблись миллионы людей. *В наше время диапазон практической морали растянулся на всю ширину ее теоретической диалектики.*

Можно ли назвать «добрым» человека, смирившегося с фашизмом? Многого ли стоит искренняя любовь к человечеству у бюрократа? Можно ли считать нравственным человеком рабочего — лично отзывчивого и готового помогать друзьям,— который не борется против войны из-за того, что она повысила его заработок? Такие вопросы, растущие из противоречий жизненного опыта, можно задавать без конца: их почвой является новое соотношение между «личным человеком» и «историческим человеком». Теперь лишь в порядке редкого исключения индивиду удается прожить в границах социального микромира, с которым он непосредственно соприкасается.

Движение огромных социальных кругов успевает не раз пересечь малый круг человеческой биографии. Сама жизнь заставляет искать единства «двух типов морали», о которых говорит Сартр. Один из важнейших моральных уроков новейшей истории таков: личная доброта и справедливость, если она не хочет изменить себе, должна дойти до идеи социальной справедливости; преданность человечеству, если она хочет остаться действительной, должна быть вместе с тем гуманным отношением к отдельному человеку.

Разъединение двух типов морали, о которых говорит Сартр, есть показатель морального неблагополучия и упадка в обществе. Их слияние в одну мораль есть столь же несомненный показатель нравственного здоровья, нравственного подъема в обществе.

Но возвратимся к действительной альтернативе: уйти в армию освобождения — остаться с матерью. Верно ли, что оба решения нравственно равноценны? Если иметь в виду только субъективную сторону, опровергнуть Сартра нельзя: с чисто субъективной точки зрения они равноценны, поскольку в обоих случаях действуют искренние, гуманные, добрые побуждения. Но допустимо ли принимать во внимание только субъективную сторону?

К счастью, мы можем ответить на этот вопрос, опираясь не на дидактически-отвлеченные рассуждения, а на действительный нравственный опыт массы, поэтически освещенный литературой. Только литература представила выбор не с сыновьего, а с материнского конца, то есть довела его до высшей трудности. Сохранить свое дитя по праву и обязанности материнской жалости и любви или отпустить туда, где его ждут страдания и смерть? Это проблема вовсе не теоретическая, ее на деле решали в наш век миллионы матерей. Ее бесстрашно поставили Горький в романе «Мать», Чапек в пьесе «Мать», Брехт в пьесе «Винтовки Тересы Каррар». Упорные возвращения больших писателей к одному мотиву, разумеется, не случайны. И везде одно и то же решение: мать добровольно принимает муки и гибель сына, борющегося за дело народа. Речь идет не о привязанности зверя к своему зверенышу, а о любви человека к рожденному им человеку, в конце концов способной расшириться до любви ко всем угнетенным и страждущим.

Единство всенародной морали утверждает себя трагически: именно потому, что мораль одна, что она неделима, сын должен умереть, и мать должна согласиться с этим, обрекая себя на горе, которому нет равного на свете.

Одним словом, альтернативные решения, между которыми поставлен ученик, вопреки Сартру, совсем не равноценны. И нет *той* свободы решения, о которой без устали толкует Сартр: выбором управляет нравственная необходимость.

Беспомощность Сартра в вопросах морали вовсе не его личная беспомощность. Вся беда в том, что с позиций субъективизма моральные вопросы теоретически неразрешимы.

6

В «Письмах к немецкому другу» Камю по-прежнему считает мир абсурдным, однако в хаосе он нашел теперь *точку опоры и абсолютную ценность* — человека, человечность. Сохранить, отстоять, утвердить эту ценность среди всех ужасов бытия — такова задача.

Свое новое отношение к жизни Камю воплотил в романе «Чума» (1947). В конце романа Гран — старый младенец, устами которого глаголет истина,— подводит итог: «Но что это значит, чума? Это жизнь, вот и все».

Человек и масса людей в момент тягчайшего испытания. Человек и смерть. Кризис, обнажающий суть всех отношений. Разлука, проверяющая силу всех привязанностей. Что и говорить, замысел громадный И мы не должны очень уж сетовать на то, что замысел этот не вполне художественно осуществился. Несмотря на бросающиеся в глаза художественные слабости, большой роман Камю тревожит, задевает за живое, заставляет страдать и думать. Рассказывая о людях, честно мыслящих и правдиво чувствующих в пору огромного всенародного бедствия (некоторые сцены этого бедствия написаны на уровне лучшего Камю — уровне «Постороннего»), писатель сумел поставить в «Чуме» серьезные нравственные вопросы.

В своем философско-эссеистическом сочинении «Миф о Сизифе» Камю говорил об *абсурдном человеке* в абсурдном мире, «Чума» говорит о *разумно-нравственном* человеке в абсурдном мире. В «Мифе» человек еще был «посторонний», в «Чуме» он уже «свой».

«Миф» отстаивал программу: 1) не как, а сколько, с какой интенсивностью жить и 2) заимствованный у Кьеркегора «донжуанизм» (правда, у Кьеркегора «донжуанизм», нашедший свое полное выражение в стихии музыки, был начальным фазисом человеческого развития, у Камю же он стал фазисом конечным).

«Чума» же выдвигает совершенно другую программу:

1. В любых условиях, даже в обстоятельствах всеобщего крушения, человек должен исполнять свои обязанности. «Его роль такова, что он должен делать то, что надо делать». Или: «Самое главное — добросовестно исполнять свои обязанности».

2. Всегда, независимо от результатов и последствий, он должен оставаться человеком, верным всему человеческому в себе.

3. Он должен сопротивляться злу даже и в том случае, если сознает свое бессилие, даже если не рассчитывает и не может рассчитывать на успех, если борьба останется бесплодной, если нет никакой перспективы и надежды.

4. Возникающая в процессе борьбы солидарность и душевная близость людей остается абсолютной ценностью даже в том случае, если практически, исторически она ни к чему не приводит. Солидарность поддерживает и укрепляет все лучшее в человеке.

Разумеется, эта программа осуществима, если человек не только должен, но и может быть таким. Поэтому в «Чуме» исторический пессимизм относительно мира совмещается со своеобразным «нравственным оптимизмом» относительно человека. Вот один из конечных выводов романа: «И надо ведь сказать о том, чему можно научиться во время чумы: в людях больше достойного восхищения, чем презрения». И в другом месте: «Люди скорее добры, чем злы».

Камю всюду дает понять, что под чумой имеет в виду войну и фашистский террор («Террор, длившийся многие месяцы, не выбирает»), так что его новая оценка человека имеет прямую связь с опытом Сопротивления.

Непосредственный голос нравственного чувства совпадает, по новому убеждению Камю, с тем, что единственно разумно — разумно с субъективно-человеческой точки зрения, ибо никакой объективной разумности нет и не может быть. Поэтому Рие, говорящий «не знаю» («Клянусь вам, я ничего не знаю»), идет какими-то сокровенными путями к истине. Поэтому на вопрос: не заставляет ли болезнь мыслить,— он отвечает: «Она может возвысить некоторых, но когда видишь страдания и смерть, которые она несет с собою, нужно быть трусом, слепым или сумасшедшим, чтобы смириться перед нею». Камю выстрадал свою новую точку зрения, и его слова звучат с убедительной искренностью.

Совершенно очевидно: при выбранных Камю условиях нравственной задачи его решение единственно возможное. Даже в безысходной ситуации человек нравственно обязан отстаивать свое достоинство; даже в безнадежных обстоятельствах он не должен отказываться от борьбы со злом; его нравственный долг в любом мыслимом положении включает долг по отношению к самому себе. Что бы ни было, оставаться человеком и не становиться скотиной или зверем!

И при всем том мы не можем не спорить с моральной концепцией «Чумы», не можем не спорить с гуманизмом Камю. Крушение фашизма привело к тому, что к концу и сразу после конца войны все сделались гуманистами, и споры между гуманистами разных толков стали неизбежными.

7

Выражения «чума фашизма», «фашизм — коричневая чума» стали массовыми и вошли в язык народов. Но, построив образ на ходовой метафоре, Камю упустил суть дела и суть времени. На несколько лет раньше Брехт, как бы заранее опровергая роковую ошибку Камю, писал в своих прелестных «Разговорах беженцев»:

«Калле. Вторая мировая война вспыхнула еще до того, как появился хоть один труд по истории первой.

Циффель. Здесь все дело в глаголе «вспыхнула». Им пользуются преимущественно, *говоря об эпидемиях*. Почему? Потому что *считается так: никто в них не виноват и никто им не может помешать»* (курсив наш.— *В. Д.*). Для Брехта даже намек на сходство трагического события истории с эпидемией — нечто опасное для правды и поэзии: опасное тем, что исключает вопрос о действиях классов, партий, лиц, о действиях исторических сил, «устроивших» войну и фашизм. А для Камю именно *эпидемия* стала образом фашизма и войны — и вся цепь вопросов и ответов порвалась.

У Кафки господствующее зло тоже представлено как неустранимый рок. Все же условная реальность Кафки гораздо ближе, чем условная реальность Камю, к подлинной современной действительности.

В мире Кафки имеется *не только зло, но и злые*. Зло персонифицировано. В мире Кафки имеются угнетатели и угнетенные; угнетатели мерзки и достойны ненависти; в проекцию условного мира включена условная проекция социальных антагонизмов. В мире Камю *есть зло, но нет злых*. Бедствие уравняло людей перед лицом невыбирающей смерти; достигнута неслыханная степень демократии — умирают все; классовые противоречия стерлись и потеряли значение — всем одинаково худо; ненавидеть некого.

Камю не хочет ограничиться ссылкой на специфические обстоятельства чумы: вольно же было выбрать эти обстоятельства для образа целой эпохи. Он поэтому ищет дополнительную аргументацию, чтобы обосновать существование зла без злых. «Все зло в мире всегда происходит от невежества». «Наиболее безнадежный порок происходит от невежества, убежденного в том, что оно все знает и потому разрешает себе убийство». Значит, все дело в невежестве, а не в злой корысти, не в злых интересах, не в злых целях! Из праха давно уже мертвых мыслей Камю хочет сложить фундамент своего гуманизма. И мысли эти звучат невыносимой фальшью в эпоху, когда фашизм в неслыханной мере обнажил действительные истоки зла. Камю зовет бороться с фашистской чумой, но не желает знать, что такое фашизм. После этого мы не удивимся словам Тару: «Я пытаюсь найти его (душевный мир.— *В. Д.*) и сейчас, стараясь *всех* понять и не быть смертельным врагом *никому*» (курсив наш.— *В. Д.*). Неужели в то самое время, когда денно и нощно, выбрасывая жирный дым, работают печи Освенцима, гуманист может обойтись без вражды и ненависти?

Камю не решается подвергнуть свой гуманизм подлинному жизненному испытанию, отвлекаясь от того главного и решающего, что в конечном счете определяет историческую судьбу гуманизма,— от социальной борьбы между людьми, форм и целей борьбы разных классов современного общества. Он избирает ситуацию, в которой моральное решение очевидно. Все люди могут быть едины, когда речь идет о борьбе с микробами чумы, но они не могут быть едины, когда речь идет о борьбе с социальным злом. Вот трудность, которую обязан решить сегодня каждый гуманист и от которой уклоняется Камю. Когда Рие хвалит Грана, без колебаний творящего «скромное добро», тот замечает: «Это не слишком трудно, это ясно. Ах, если бы все было так просто».

Через некоторое время Камю пришлось на самом себе проверить все грустное значение восклицания: «Ах, если бы все было так просто!» Алжир вел войну против колониального порабощения. Как же отнесся к этой войне Камю? Как справился с нею его гуманизм, исходивший из любви и отвергший «смертельную вражду»? Камю предложил борющимся сторонам примириться: пусть французы признают справедливые права алжирцев, а алжирцы — справедливые права французов. Камю не захотел стать на сторону угнетенных: ведь это значило бы признать войну и неизбежное в ней убийство. И вот Камю, субъективно руководствовавшийся самыми добрыми побуждениями, попал в положение моральной изоляции — вся прогрессивная интеллигенция Франции, глубоко сочувствовавшая справедливой и геройской борьбе алжирцев, от него отвернулась. Во всем, что писал и говорил по этому поводу Камю, слышится нота тяжелого недоумения, мучительной обиды, неразрешимой горечи: ведь он хотел только хорошего, ведь он всей душой был на стороне добра! Камю столкнулся здесь с тем неустранимым фактом, что самый искренний субъективный гуманизм — это еще не гуманизм действительный, что субъективно искренний гуманизм может постыдно оконфузиться, если вступит в противоречие с условиями своего реального осуществления. Это был тяжелый урок, но он ничему не научил Камю.

Почему? Ответ на это заключен уже в «Чуме». Уже в «Чуме» Камю морально отождествил фашистское насилие со всяким, в том числе и революционным, насилием.

Воевавший в Испании на стороне республиканцев журналист Рамбер говорит, что с тех пор он «кое-что передумал»: «Теперь я знаю, что человек способен на великие деяния. Но если он не способен на великое чувство, он мне не интересен... *С меня хватит людей, умирающих за идею*. Я не верю в героизм, я знаю, что это легко, и *понял*.

что все это было убийство» (курсив наш.— *В. Д.*).

Точка зрения Рамбера подтверждена и Рие, представляющим в романе нравственность в ее подлиннейшей и непосредственнейшей стихии. Может быть, я ошибся, избрав любовь? — спрашивает Рамбер. И ответ Рие: «Нет,— сказал он с силой,— вы не ошиблись». Итак, не только тогда, когда стоял вопрос о войне алжирского народа, но и тогда, когда он стоял о войне испанского народа, любовь и гуманность роковым образом столкнулись с исторической справедливостью. Не указывает ли это на неблагополучие в коренных предпосылках гуманизма Камю?

Несовместимости гуманизма и насилия посвящена большая речь Тару. Тару рассказывает, как он пришел к отрицанию убийства — любого убийства, по любой причине. Он признает, что доводы защитников справедливого насилия очень сильны. «Но я подумал тогда, что если поддаться таким доводам, то после *не найдется доводов и для того, чтобы остановиться самим.* Мне кажется, история подтвердила это, и ныне идет соревнование — кто больше убьет... Вот почему я решил отказаться от всего, что так или иначе, в силу добрых или злых целей, заставляет убивать или оправдывать убийство» (курсив наш.— *В. Д.*).

Как видим, Тару морально уравнивает насилие ради добра и ради зла, насилие закрепощающее и освобождающее, насилие угнетателей и насилие против угнетателей. И на одном-единственном основании — из-за опасности выйти за границу необходимого насилия и нарушить его допустимую меру. Да, такая опасность существует, она реальна, но она отнюдь не связана с неукротимостью стихии насилия, как полагает Камю. Она связана с тем, что к справедливым целям насилия присоединяются и несправедливые, с тем, что нарушаются должные отношения между целью и средством.

Способны ли народные революции XX века справиться с указанной опасностью, способны ли обуздать стихию насилия, подчинить ее революционной дисциплине? *Да, способны. Мы теперь знаем это наверняка.* Знаем не только из опыта гражданской войны, но также из открытого — перед лицом всего мира — разоблачения извращений, порожденных культом личности. Стремление к жестокости и насилию — страшный пережиток капиталистического общества, победа над ним — одно из условий самосохранения революции.

Конечно, гигантская борьба за будущее человечества не может не быть сопряженной с указанной опасностью. Но что отсюда следует? Следует необходимость видеть опасность, научиться предупреждать и устранять ее, бдительно следить за малейшими симптомами ее возникновения, создавать политические и моральные гарантии против возможного ее развития. А Камю выводит отсюда моральную необходимость отказаться от борьбы, выключиться из исторического процесса, снять великие цели мироустройства. Он сознает это и честно об этом говорит, не скрывая своего бессилия и своего исторического банкротства. Вот к какому заключению приходит Тару, отвергший насилие: «Исходя из всего этого, я знаю, что *ничего уже не стою в этом мире* и что начиная с того времени, когда я отказался убивать, я сам себя приговорил к окончательному изгнанию. *Не я, а другие делают историю*» (курсив наш.— *В. Д.*).

Тару отказывается быть судьей этим другим, делающим историю. Он вовсе не утверждает, что решение великих общественных задач возможно без насилия. Он только устанавливает, что моральные требования к самому себе не позволяют ему участвовать в смертельной битве исторических сил.

Тем самым мораль разрывается надвое. Нравственность как субъективное состояние, внутреннее чувство полностью отделяется от нравственности, стремящейся воплотиться в объективную действительность. Есть вопрос о праведном человеке в неправедном мире, но нет вопроса об исправлении мира по законам моральной правды. Уже Гегелю была ясна связь этих двух сторон нравственного. «Само *совершение*,— писал он в «Феноменологии духа»,— говорит, что то, что *нравственно*, должно быть *действительно;* ибо *действительность* цели есть цель поступков». Или в другом месте: «Совершение поступков есть не что иное, как претворение в действительность внутренней моральной цели, не что иное, как порождение некоторой действительности, *определяемой целью,* или создание гармонии между моральной целью и самой действительностью». Поэтому мораль по самой сути своей относится также к политике и обществу, а не только к внутреннему состоянию личности. А если благородное имеет место *лишь* в отдельной личности, то, по суждению Гегеля, «это самое горькое, что о нем можно сказать». Более того, по остроумному замечанию Гегеля, моральная сосредоточенность личности на самой себе говорит о «дурной» ограниченности: ведь моральное есть забота обо всех, а не забота о себе.

Мораль Тару заключает в себе мучительное противоречие: она требует борьбы со злом, и она же *мешает* победить зло.

К вопросу о насилии Камю вновь возвращается в пьесе «Справедливые» (1950). В ней он изображает русских террористов той эпохи, когда террор не только обнаружил свою полнейшую несостоятельность как средство борьбы, но когда и сами террористы (эсеры!) выродились и лишились цельности и внутренней силы, которыми они отличались в 70-х годах XIX века. Художественная полемика Камю некорректна с самого начала: он берет насилие, заведомо не приводящее к цели, берет людей,

внутренне сломленных принятой ношей, он опровергает то, что уже исторически и морально-психологически опровергло себя. Вообще Камю присуща склонность решать трудные вопросы, отвлекаясь от того, что в этих вопросах действительно трудно. Так и в данном случае. Ведь революционеры являются самыми последовательными противниками насилия, ведь они создают мир, в котором совсем не будет насилия и войн. Не на словах, а на деле они хотят устранить насилие из жизни. К насилию истинные революционеры прибегают вынужденно, прибегают лишь в том случае, если иначе нельзя, если ходом борьбы насилие становится необходимым. А Камю хочет отвергнуть необходимое насилие, рассматривая насилие произвольное, ненужное, оторванное от борьбы народной массы, не вынужденное обстоятельствами.

Но зато, избавившись от гнета необходимости, Камю может перенести центр вопроса в субъективную плоскость. Кто убил — убийца. Как же в таком случае остаться праведным, будучи убийцей? Искупить убийство — преступление — своей смертью, отвечает Камю,— другого пути очищения нет. Благородный человек не может жить, сознавая себя убийцей, каковы бы ни были мотивы убийства, сколь бы ни были эти мотивы хороши и важны. «Умереть за идею,— говорит в пьесе Каляев,— единственная возможность быть достойным идеи. Это и есть оправдание... Ночью я ворочаюсь на своем соломенном тюфяке, и меня мучает мысль, что они сделали из нас убийц. Но тогда я вспоминаю, что умру при этом сам, и мир приходит в мою душу».

Говоря в тюремной камере с представителем охранки Скуратовым, Каляев ссылается на то, что бросил бомбу не в человека, а в тиранию. На это следует ответ: «Несомненно. Однако попали-то вы в человека». Каляев указывает на объективный смысл поступка, а Скуратов напирает на его субъективное значение. Он не сомневается, что Каляев чувствует себя виновным, и хочет использовать это. «Вы не должны уклоняться и забывать лицо великого князя — это все, что я хотел сказать. Если вы будете помнить его лицо, тогда вам идея больше ничем не поможет. Тогда вы будете стыдиться своего поступка, вместо того чтобы им гордиться. И с того момента, когда вы устыдитесь, вы захотите остаться жить, чтобы все искупить». Вот тут-то охранник промахнулся: Каляев считает свой поступок несовместимым со своей жизнью и поэтому жаждет смерти.

И жена великого князя бьет в слабое место Каляева:

«— Многое умирает вместе с человеком.

Каляев: — Я знал это.

Княгиня: — Убийцы этого не знают. Если бы они знали, как могли бы они убивать?»

Каляев пытается утверждать, что его поступок — дело справедливости, а не убийство. Но жена убитого сокрушает его терзающими подробностями жизни и смерти своего мужа.

Измученный Каляев просит:

«— Оставьте меня. Я хочу приготовиться к смерти. Лишь в том случае, если бы я не умер, я был бы убийцей.

Княгиня: — Умереть? Ты хочешь умереть? Нет. Ты должен жить и нести на себе крест убийцы. Разве ты его не убил?» Что может ответить на это Каляев? Почему он ищет искупления только в смерти, а не в страдании и любви, подобно Раскольникову у Достоевского? Ссылка на атеизм ничего не объясняет, ибо в сфере морали Камю более христианин, чем сами христиане, и теологи не без ехидства замечают, что он попросту секуляризирует христианские представления.

В последнем действии пьесы Камю спешит довести до конца опровержение революционного насилия. Он осуществляет это устами Доры — революционерки, которая любит Каляева. Она спрашивает: «Не напрасно ли он умирает?» Не придут ли вслед другие, которые не захотят расплачиваться за убийство своей жизнью? Можем ли мы вообще остаться людьми, живя в таком мраке и делая то, что делаем? И главный вывод, определяющий главную идею пьесы: «Любовь вместо справедливости!»

Мораль любви вместо морали справедливости. Вывод достаточно ясный. Но он показывает, что совсем, совсем не просто дело обстоит с гуманизмом Камю.

Камю много говорит о духовной честности. Но именно этой честности не хватило пьесе «Справедливые». Камю сознательно игнорировал в ней зависимость революционного насилия от действий угнетателей. Он сознательно закрыл глаза на то, что угнетатели навязывают революционному народу ответное насилие своим насилием. Разве не так было в России 1918—1919 гг.? Разве не так было в Испании? Разве не так сейчас во Вьетнаме?

На самом деле вопрос революционного насилия — это вопрос необходимости, у Камю же это исключительно вопрос свободы. Его подход *только* со стороны субъективности оставляет единственный выбор: неограниченное насилие или полное его отрицание. Камю *не хочет* понять, что насилие при известных условиях становится *нравственной обязанностью.* Если оно осуществляется лишь тогда, когда нет возможности его избегнуть, если оно осуществляется лишь в мере, необходимой для победы народа, если оно вполне свободно от каких бы то ни было личных целей и связано с целью освободительной борьбы, если оно совмещается с ненавистью к насилию и высокой гуманностью, как, например, у Дзержинского, если оно сознательно поддержано большинством народа,— в таком случае оно становится требованием разгневанной совести, требованием моральной правды.

Принципиальный отказ от *такого* насилия равнозначен измене освободительному делу, измене ленинизму, измене всему будущему человечества; он несовместим не только с честностью по отношению к народу, но и с честностью по отношению к самому себе.

В книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский» Ленин писал: «...социа-

лизм вообще против насилия над людьми. Однако, кроме христианских анархистов и толстовцев, никто не выводил отсюда, что социализм против *революционного* насилия. Значит, говорить о «насилии» вообще, без разбора условий, отличающих реакционное от революционного насилия, значит быть мещанином, отрекающимся от революции, или это значит просто обманывать себя и других софистикой...»* От этой враждебной лицемерию и фразерству ленинской правды не может уклониться ни один гуманист, если он решился быть до конца последовательным.

8

Чего только не говорят буржуазные философы о нравственном учении марксизма! В хрестоматии под обязывающим названием «Панорама современного мышления» (1957) ее редактор Г. Пикон в споре с «традиционным и рационалистическим гуманизмом» утверждает: самый страшный удар моральные ценности XIX века получили от марксистского анализа, казалось бы, продолжавшего рационалистическую критику Просвещения. «Этот анализ разоблачил моральные ценности как простые мистификации, за которыми скрываются интересы... Маркс видел в бюргерских ценностях, в индивидуальности, в свободе, в справедливости замаскированные капиталистические интересы». И пусть читатель не думает, что подобное беззастенчивое вранье является чем-то исключительным в буржуазных писаниях о марксизме. Всякий, кто заглянет в сочинения знаменитого философа Ясперса, найдет там во множестве еще более непристойные искажения марксистской точки зрения. Стоит ли утруждать себя добросовестностью, когда речь идет о борьбе с ненавистным большевистским материализмом?

Но и некоторые люди, признающие великое значение марксизма и даже как будто сочувствующие ему, направляют свою критику против его морального учения. Они говорят примерно следующее: марксизм учитывает относительность морали, но забывает об ее абсолютности; он принимает во внимание зависимость моральных норм от объективных критериев, но упускает из виду ее обязательнейшую субъективную сторону («*пропускает* субъект», как выразился когда-то Сартр); он утверждает моральную необходимость, игнорируя моральную свободу, без которой устраняется вопрос о моральном выборе и моральной ответственности. Благодаря этому нравственность становится поверхностной, утилитарной и рассудочной, лишенной субъективной непосредственности,— делом некоего, пусть благородного, расчета, а не делом совести (мы знаем слишком хорошо, к каким прискорбным последствиям может привести казуистика морального расчета).

Не удивительно, что люди, толкующие подобным образом марксистскую нравственность, рекомендуют позаимствовать у экзистенциалистов их умение не «пропускать субъект».

На это всякий читатель, хоть сколько-нибудь знакомый с общим смыслом марксистской философии, скажет: ведь Маркс упрекал всех предшествующих материалистов именно в том, что они брали действительность не *«как практику,* не субъективно»* (курсив наш.— *В. Д.).* Марксисты всегда требовали партийности, то есть того, чтобы мы не только видели данное объективное положение вещей, но и *определили себя в нем субъективно,* они всегда утверждали, что полная истина возможна лишь тогда, когда мы в противоречивой действительности станем на определенную сторону и выберем направление субъективной деятельности. Ленин настойчиво повторял, что любая объективно революционная ситуация останется бесплодной, если не будут выработаны субъективные условия победы, что нет никакого предустановленного соответствия между объективными и субъективными предпосылками общественного развития и между ними могут возникать глубокотрагические противоречия.

Если это так, а это безусловно так, рассудит далее читатель, то игнорирование субъективного момента в представлениях нравственности могло бы быть у марксиста лишь результатом грубой непоследовательности. Но уж чего-чего, а последовательности у великих учителей марксизма, слава богу, хватало, и даже самым отъявленным их противникам никогда не приходило в голову сомневаться в этом.

К счастью, нет нужды гадать, «пропущен ли субъект» в марксистском учении о нравственности. Не говоря уже о классиках марксизма, этот вопрос разработал в ряде своих сочинений Плеханов, давший превосходное изображение «моральной диалектики»**. Пренебрегая плехановским наследством, мы лишаем себя замечательных научных, духовных ценностей.

Плеханов высоко ценил дух гуманности, которым была проникнута мораль французских материалистов. Он сочувственно цитировал заявление Гольбаха: «Первая из всех общественных добродетелей есть *гуманность.* Она сгусток всех других добродетелей. Взятая в самом широком смысле, она есть то чувство, которое всем существам, принадлежащим к нашему роду, дает право на наше сердце».

Французские материалисты строили свою мораль, исходя из общественного интереса. Это очень хорошо. Однако при всем том моральное учение французских материалистов было несостоятельным. И главный не-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 296.

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 1.

** Б. Бурсов поступил хорошо, когда защитил Плеханова от необоснованных и вздорных нападок «левеющих идеалистов» и «линяющих марксистов». См. «Иностранную литературу» № 7, 1966 г.

достаток этого учения Плеханов усматривал в его *рассудочности*. Согласно взглядам просветителей в человеческой голове существует как бы отдел моральной бухгалтерии, отдел, так сказать, моральных расчетов. Мораль перестает у них быть органической духовной силой, лишается своей безотчетной принудительности, разлагаясь на сумму рассуждений, соображений общей и личной пользы. Нравственные мотивы и побуждения, обязанные своим происхождением, как выражается Плеханов, *«истории вида»*, старые материалисты объясняли исключительно из личной биографии и соображений узко или широко понятого личного интереса. «То, что возникает независимо от *сознания*,— говорил Плеханов в «Очерках по истории материализма»,— предлагается нам как непосредственный, мгновенный плод этого же самого сознания. *Привычка, инстинкт* принимают форму *размышления*, которое вызывает у человека то или иное чувство. В нашем очерке о Гольбахе мы выяснили, что эта ошибка была свойственна всем «философам», защищавшим утилитарную мораль».

Значит, марксист Плеханов был противником утилитарной морали? Именно так оно и было. Значит, те, кто отождествляет нашу мораль с моралью утилитарной, говорят прямую неправду? Именно так оно и есть. Учитывая модную ныне склонность выдумывать несуществующие разногласия между марксистами, заметим, что уже в «Святом семействе» Маркс с осуждением говорил об утилитарной морали, а в «Капитале» определял ее как характернейшее духовное выражение буржуазного общества.

К рассудочности просветительской морали Плеханов возвращается и в книге о Чернышевском. Чернышевский полагал, что и в нравственных вопросах человек «руководится расчетом», хотя *и расчетом особого рода — приводящим к добру*. С этой мыслью Плеханов решительно не согласен. Даже и в том случае, когда добрый поступок оказывается также и умным поступком, даже в том случае, если он в конечном счете оказывается полезным также и для лица, его совершившего, даже и тогда недопустимо связывать нравственный характер поступка с расчетом. «Человеческие *чувства и привычки* так приспособляются обыкновенно к существующим общественным—а также, конечно, и семейным—отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут *показаться* подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в *действительности* они *вовсе не были вызваны расчетливостью*» (курсив наш.— *В. Д.*). По справедливой мысли Плеханова, моральность начинается лишь там, где прекращается расчетливость, какого бы она ни была свойства.

Утилитарно рассудочная мораль ведет к тому, что нравственное решение попросту отождествляется с разумным решением; нравственное отношение между добром и злом насильственно сводится к отношению между знанием и незнанием; зло — всего только другое название для невежества. «Своим анализом,— метко отмечает Плеханов,— Гельвеций лишает наши нравственные чувства их специфических свойств и таким образом *вычеркивает* тот самый *x*, неизвестную величину, значение которой он старается определить».

Значит ли это, что размышление не участвует в нравственном процессе? Нет, не значит. Когда сталкиваются различные моральные обязанности, наше нравственное чувство нередко обращается за советом к нашей мысли. Точно также в эпохи, когда происходит ломка коренных жизненных форм и человеческих отношений, когда моральные нормы вынуждены приспособляться к этой быстрой ломке, разум может и должен облегчать ход нравственного становления.

Однако Плеханов глубоко прав, когда утверждает, что сознательное размышление никогда не было и никогда не будет *единственным* органом человеческой нравственности. Он говорит поэтому *о нравственном чувстве, о моральной привычке,* о том, что *внутренняя моральная необходимость получает форму инстинкта, о непосредственности нравственной воли,* о моральном «не могу иначе». Бессознательный процесс играет важную и неустранимую роль как в развитии нашей нравственности, так и в ее функционировании.

Нравственное развитие человечества приспосабливается к реальным потребностям. «Но,—по словам Плеханова,—исторический процесс этого приспособления совершается за спиною у людей, независимо от воли и разума индивидов». И в другом месте: «С эволюционной точки зрения, столь же нелепо говорить, что люди *сознательно* приспособляют свои... моральные чувства к своим экономическим условиям, как утверждать, что животные и растения сознательно приспособляют свои органы к условиям своего существования. В обоих случаях перед нами *бессознательный* процесс, которому надо дать материалистическое объяснение». К этой мысли Плеханов возвращается настойчиво и многократно: общество подчиняет себе внутреннюю жизнь отдельной личности, и это подчинение осуществляется бессознательным образом. «Но если привычки и правила, руководящие *обществом,*— говорит Плеханов, споря с Чернышевским,—возникают независимо от воли его членов и если на них непременно надо смотреть с исторической, а не с рационалистической точки зрения, то совершенно так же надо смотреть и на привычки и правила, обусловливающие собою поступки отдельных лиц; они в свою очередь складываются независимо от воли, а следовательно, и от *расчета* человека, и человек нередко повинуется им, несмотря на то, что этим нарушаются его личные интересы».

Само собой разумеется, бессознательное приспособление отдельного человека к общему благу может осуществиться лишь в том случае, если в его душевной жизни

функционирует аппарат бессознательного опыта. Читатель видит из этого, как далек марксизм от игнорирования бессознательного момента в развитии личности.

Мы лучше уясним себе взгляд, изложенный Плехановым, если спросим: сохранит ли все свое значение бессознательный элемент нравственности также и в эпоху полного коммунизма?

На это без всяких колебаний отвечаем: сохранит непременно. Чисто сознательной нравственности никогда не будет — она принципиально невозможна.

О бессознательном в общественном развитии мы говорим в двух смыслах.

В том смысле, что социально-экономический процесс в его *целом* развивается стихийно, без контроля человеческого сознания, что общественно-экономические законы, как показал Маркс в «Капитале», действуют наподобие слепых законов природы.

И далее еще и в том смысле, что *подчинение отдельной личности целям и интересам общественного целого осуществляется бессознательным путем.*

Первый вид бессознательного будет полностью устранен, когда коммунизм развернет свои гигантские возможности. И в соответствии с этим полностью исчезнет бессознательное из тех идеологических представлений, в которых отражается движение общества как целого. Экономические представления, например, совершенно освободятся от всех и всяческих видов фетишизма и связанных с ним бессознательных влечений и страстей (скупость, жадность и т. д. покажутся людям развитого коммунизма столь же непостижимым, сколь нам теперь кажется непостижимым людоедство). Точно так же с отмиранием государства отомрет постепенно и та «воля к власти», то «влечение к власти», которое Ницше и Фрейд считали коренным и неустранимым свойством человеческой природы. Во всех этих и подобных областях переход к сознательности будет вместе с тем окончательной ликвидацией бессознательных сил, тысячелетиями действовавших в человеческой душе.

Совсем иначе будет обстоять дело со вторым видом бессознательного в жизни общества. Приспособление внутреннего строя личности к общественному развитию, приспособление эстетических вкусов, морали, психологии отдельного человека к потребностям и интересам всего общества будет, как и раньше, осуществляться бессознательно. Более того. Влияние общества на бессознательную сферу человеческой души возрастет по мере ослабления или уничтожения тормозящих это влияние эгоистических интересов отдельной личности. Большая степень гармонии между разумом и моральным чувством не только не разрушит непосредственного, наивного, органического начала морали, а, напротив, будет содействовать его упрочению. В соответствии с этим упрочится и разовьется бессознательная основа тех идеологических областей, в которых отражается и через которые реализуется внутреннее подчинение личности обществу. Главные из этих областей: этика и эстетика. Поэтому обе они немыслимы и даже бессмысленны при исключении бессознательного элемента. Исключите бессознательное из художественной фантазии, и вы убьете искусство. Исключите бессознательное из нравственного поведения, и вы убьете нравственность.

Отсюда проистекает тот параллелизм в строении этических и эстетических представлений, о котором весьма справедливо говорит Плеханов в статье «Французская драматическая литература». Отметив, что «область, принадлежащая созерцательной способности, несравненно шире области рассудка», указав на то, что «главная отличительная черта эстетического наслаждения — его *непосредственность*», Плеханов добавляет: «Тут замечается полная параллель с *нравственностью*».

Закономерность, исследованную Плехановым, можно примерно так сформулировать в общем виде:

1. Идеологии, отражающие *меру подчинения общественного развития человеку,* стремятся стать вполне рациональными, вполне сознательными, вполне освобожденными от слепого, бессознательного начала.

2. Идеологии, выражающие *меру подчинения отдельного человека общественному развитию,* не могут не содержать и всегда будут содержать в своей структуре бессознательный элемент.

Теперь мы подошли к главному противоречию:

Марксизм объясняет и строит мораль, исходя из общественных интересов.

Вместе с тем он является самым решительным противником утилитарной морали.

Подобно всем невыдуманным, реальным противоречиям и это противоречие разрешается в движении, в переходе его моментов друг в друга.

«И что это за интерес,— спрашивает Плеханов,— который диктует индивидам ту или иную линию поведения? Есть ли это их личный интерес? В бесчисленном множестве случаев — да. Но поскольку индивиды прислушиваются к голосу своих личных интересов, дело уже не идет о тех «добродетельных поступках», которые нам требуется объяснить. При этих поступках выступает интерес *целого, социальный интерес,* который их и предписывает. Диалектика исторического движения приводит не только к тому, что *«мудрость становится безумством, благо — злом»,* но также и к тому, что корыстные интересы общества или класса часто превращаются в сердцах индивидов в движения, полные *бескорыстия* и героизма».

Необходимое в общественном смысле превращается в бескорыстное в личном смысле — в этом суть моральной диалектики. *Объективный интерес превращается в безот-*

четную, вполне непосредственную, вполне субъективную моральную волю.

Благодаря этому разрешается и другое противоречие морали:

Она не может возникнуть в субъекте. (Мы видели, до чего беспомощны экзистенциалисты, пытающиеся строить мораль из «чистой субъективности».)

Она не может возникнуть помимо субъекта (лишь в том случае, если превращение общественной потребности в личную и субъективную моральную потребность осуществится на деле,— лишь в этом случае возникнет мораль как нечто действительное). «Общество,— пишет Плеханов в своей книге о Чернышевском,— стремится воспитать отдельных своих членов так, чтобы они ставили общественный интерес выше своего частного; чем более поступки данной личности будут *удовлетворять* этому требованию общества, тем самоотверженнее, нравственнее, альтруистичнее будет эта личность А чем более ее поступки будут *нарушать* это требование, тем более своекорыстной, безнравственной, эгоистичной она окажется...

Но когда общество применяет свой основанный на интересах целого критерий к оценке поступков отдельных лиц, *оно хочет, чтобы выгодное для него действие было продиктовано внутренним влечением лица, его совершившего,* а не соображениями этого лица о своей собственной пользе... Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что поступки, полезные обществу, *становятся для него инстинктивной потребностью* («категорический императив» Канта). И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее отдельное лицо» (курсив в последнем абзаце наш.— *В. Д.*).

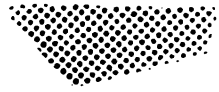
Мораль утилитарна, потому что ее нормы отражают действительные общественные интересы.

Мораль бескорыстна и альтруистична, потому что реализуется и становится действительной в человеческой личности.

Мораль объективна, потому что в ее законах даны условия подлинно человеческого общежития и общения.

Мораль субъективна, потому что может осуществиться только как непосредственная сила человеческой души.

Марксизм видит движение между субъективным и объективным полюсом морали, он удовлетворительно справляется с трудностями «моральной диалектики», перед которыми слепо и беспомощно пасуют экзистенциалисты. Так что экзистенциалистам не стоит беспокоиться по поводу того, что коммунистическая мораль «пропускает субъект» — ни в какой морали за всю историю человечества личная ответственность и личная активность не значили так много, как в морали коммунистической.



А. ЕЛИСТРАТОВА

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ И ЕГО РОМАН «ШПИЛЬ»

Клубы дыма вздымаются над охваченными пожаром тропическими зарослями. Гибнут могучие кокосовые пальмы, банановые рощи... В чаще, подожженной с нескольких концов, мечется, задыхаясь, выбившись из сил, двенадцатилетний мальчик. Он знает: если он не погибнет в пламени, его ждет еще более страшная участь; преследователи гонятся за ним по пятам и уже приготовились предать его пыткам и мучительной казни. Кто же он? Обыкновенный английский школьник, такой же, как и те, что теперь, захлебываясь ненавистью, преследуют его, улюлюкая, размахивая кольями, как загнанного зверя.

Таковы заключительные картины романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух», к которым властно и стремительно с самого начала подготовляет читателя логика повествования.

«Повелитель мух» (1954) — первое произведение, которым дебютировал Голдинг,— сразу же доставил автору широкую международную известность. Читатели — и прежде всего студенческая молодежь Англии и США, особенно живо откликнувшаяся на эту книгу,— почувствовали значительность вопросов, поставленных и открыто, и между строк в аллегорическом романе-«притче» Голдинга.

Модернистская литература уже давно приучила читающую публику Западной Европы и Америки к жанру «антиутопий», чьи создатели, не без кокетства щеголяя своим универсальным скептицизмом, предрекают неизбывные бедствия, которыми будто бы грозит человечеству, по иронии судьбы, даже осуществление самых заветных его мечтаний. Хаксли в «Прекрасном новом мире», Оруэлл в «1984» и многие другие рисовали картины будущего, где обобществление средств производства и технический прогресс лишь уродуют и обедняют жизнь человечества.

Голдинг существенно отличается от таких пророков модного скептицизма и уныния тем, что в его тревоге за судьбы человечества нет ничего нарочитого, деланного и фальшивого. Не обезоружить, а насторожить хочет он своих читателей, предостерегая их против утешительного самообмана и успокоительных иллюзий.

Слова Голдинга, произнесенные на встрече Европейских писателей в Ленинграде в 1963 году, где он призвал своих собратьев по перу «спасти род людской от этого опаснейшего из всех животных — человека», могли бы быть поставлены эпиграфом к его первому роману.

«Повелитель мух» — это не столько роман-«антиутопия», сколько своего рода «робинзонада» наизнанку. Классическая ситуация первого просветительского романа, где одинокий человек, выброшенный на необитаемый остров, не только оставался в живых, но, опираясь на опыт всей цивилизации, сохранил нерушимым свое нравственное достоинство и становился, побеждая обстоятельства, созидателем, строителем и «естественным философом»,— здесь трагическим образом переосмысляется. Несколько десятков несовершеннолетних робинзонов XX века, о которых рассказывает Голдинг, проявляют себя в аналогичных условиях, увы, совсем не так, как терпеливый, трудолюбивый и разумный герой Дефо.

На первых порах эти английские школьники (эвакуированные во время войны и

оказавшиеся в результате воздушной катастрофы на необитаемом острове) пытаются сохранить порядок и дисциплину. Но темные инстинкты скоро вырываются наружу. Первая пролитая кровь кружит головы; изощренное мучительство становится потребностью. Мальчики-певчие из церковного хора, ангельскими голосами возносившие хвалу господу там, дома, в доброй старой Англии, теперь исступленно скандируют: «Убей зверя! Перережь ему глотку! Выпусти кровь!» От охоты за животными — всего лишь один шаг до более увлекательной, опьяняющей охоты за двуногой добычей. Рядом со зловещей фигурой вожака, упоенного властью, появляется и его неразлучный спутник — палач. Первыми погибают те, кто не присоединился к волчьей стае «охотников»,— Саймон, фантазер и мечтатель, одинокий искатель истины; мешковатый увалень по кличке Хрюшка, умница и всезнайка, ставший всеобщим посмешищем из-за своих очков, одышки и неизменной рассудительности... Очередь за Ральфом. В последний момент его спасает от неминуемой гибели появление моряков с британского крейсера (издалека заметивших дым от охватившего остров пожара). Но эта «счастливая» развязка ничего не объясняет и ни с чем не примиряет читателя. Горькой иронией проникнута заключительная сцена. Вылощенный английский офицер (и не подозревающий, какую трагедию предотвратило его появление на острове) со снисходительной усмешкой говорит Ральфу о том, как весело, видно, жилось ребятишкам. «Игры да забавы,— сказал офицер.— ...Небось войну затеяли?» А Ральф, содрогаясь от немых рыданий, «плакал, думая об утраченной невинности, о том, как темно сердце человеческое, и о том, как упал в пропасть его верный мудрый друг по прозвищу Хрюшка».

«Темно сердце человеческое» — этот лейтмотив мы встретим не раз и в «Повелителе мух», и в «Шпиле», и в других романах Голдинга.

В «Повелителе мух» выделяется зловещая символическая сцена. Убив после долгих истязаний дикую свинью, мальчики, опьяненные кровавой охотничьей оргией, решают принести жертву тем неведомым чудовищам, которые, может быть, гнездятся на их острове. Отрезанная голова свиньи, насаженная на палку, укреплена на горной лужайке; тучи мух слетаются к ней. Саймон остается наедине с этим омерзительным фетишем, в то время как все остальные скрылись, охваченные безотчетным страхом. Он чувствует, что какая-то тайная сила притягивает его к этой разлагающейся падали. Полузакрытые мертвые глаза, кажется, всматриваются в него ироническим взглядом, оскаленные челюсти приоткрываются в циничесской усмешке. «Повелитель мух» — именно таково прозвание этого отвратительного фетиша, давшее заглавие всей книге,— кажется, обращается к Саймону с неслышной, но явственной речью. «Вам померещилось, что Зверя можно затравить и убить! — сказала голова. На одно-два мгновенья лес и вся едва различимая в тумане округа огласились пародией на хохот.— Ведь ты-то знал, правда? Ведь я — часть тебя самого?..» Что это? Бред галлюцинирующего, экзальтированного ребенка, как можно полагать, реалистически интерпретируя происходящее? Или мистическое откровение, провозглашающее исконную порочность человеческой природы? Голдинг предоставляет читателям выбирать любой ответ. Но один из его критиков установил любопытное обстоятельство: слова «Повелитель мух», вынесенные в заглавие романа,— не что иное, как перевод древнееврейского слова «Вельзевул» — имени дьявола *.

Так открывается возможность очень разных, многозначных истолкований романа-«притчи» Голдинга. И действительно, книга вызвала самые разноречивые суждения. Традиционалисты религиозного толка восприняли ее как напоминание о первородном грехе, отягчающем человеческое естество. Люди политически мыслящие почувствовали органическую связь этой книги и с современностью, и с уроками второй мировой войны, в которой сам Голдинг участвовал сперва как рядовой моряк, а затем как офицер британского военно-морского флота. В изображении разгула изуверских, садистских страстей, борьбы за власть и культа насилия, которые пятнают кровью и грязью жизнь его юных героев, нельзя не уловить глубокой тревоги автора за судьбы подрастающего поколения. Неужели сегодняшним детям суждено снова пережить ту же трагедию, которая уже выпала на долю человечества? Этот вопрос явственно слышится в подтексте романа.

Слово «фашизм» невольно возникает в сознании читателя «Повелителя мух». Сперва — как смутное зловещее предчувствие, начиная с первого появления на прибрежном песке мрачной процессии мальчиков-хористов, в их черных плащах с крестом на груди, замкнутых, угрюмо-отчужденных от всех, кто не принадлежит к их числу. Потом, по мере того как все отчетливее обрисовывается облик их вожака Джека Мерридью — опасного хищника, опьяненного властью и разжигающего самые темные страсти своих пособников, чтобы разгромить ту наивную детскую «демократию», которая сперва установилась на острове,— ассоциация с фашизмом становится все более отчетливой и неотвратимой.

В «Повелителе мух» были уже заключены главные мотивы позднейших произведений Уильяма Голдинга. Надолго укоренился в творчестве писателя и жанр романа-«притчи» — повествования пластически-конкретного, с живыми и рельефными характерами, с драматичным действием, в развитии которого, однако, проступает скрытый, аллегорический смысл.

---

* Об этом пишет Э. Л. Эпстейн в послесловии к американскому изданию «Повелителя мух». (William Golding. Lord of the flies. New York, Capricorn Books, G. P. Rulnam's Son 1959. Critical Note by E. L. Epstein, p. 190.)

Некоторые из романов Голдинга воспринимаются как своего рода «глоссы» к «Повелителю мух»: настолько тесно связаны они по своему глубинному смыслу с основной проблематикой первого романа.

Так, например, роман «Наследники» (1955) как бы отвечает тем, кто хотел бы утешиться предположением, будто трагическое крушение идиллической «робинзонады» в «Повелителе мух» — всего лишь особый случай атавизма, частный пример одичания, нарушившего общие нормы цивилизации. «Наследники» показывают, как мало иллюзий питает Голдинг на этот счет.

Традиционному либерально-буржуазному представлению о прогрессе как неуклонном поступательном движении человечества, воплощенному в иронически осмысленном эпиграфе из «Очерка истории» Г. Дж. Уэллса, Голдинг противопоставляет в этом романе свою концепцию, в которой на первое место выдвигаются исторические утраты, составляющие подоплеку развития общественного человека, современного homo sapiens.

Действие отодвинуто далеко назад, в предрассветный туман доисторического существования человечества. «Герои» Голдинга, «низколобые» первобытные люди, более похожи на обезьяну, чем на современного человека, своей мохнатой шерстью, походкой, повадками и сложением. Они не знают еще орудий из камня или металла, они не умеют добывать огонь, хотя и пользуются им, живут впроголодь, питаясь побегами растений, личинками, мхом и лишайниками, плодами и падалью... Мышление их примитивно, как и язык. Голдинг нарочито упрощает до предела синтаксический строй и лексику повествования, чтобы передать бедную, скованную мысль и речь своих обезьянолюдей, и примитивистская стилизация — едва ли не главная причина того, что этот интересный роман так труден для перевода.

Но зато жизнь «диких» предков современного человечества в изображении писателя справедлива и по-своему гармонична. Они благожелательны и терпеливы друг с другом, им незнакомо коварство, жестокость и обман. Они никого не убивают — не только себе подобных, но даже зверей и птиц. В столкновении с пришельцами — светлокожими чужестранцами, находящимися на гораздо более высокой ступени развития,— первобытные обезьянолюди обладают, по Голдингу, безусловным моральным перевесом. Homo sapiens вторгается в их жизнь как убийца и тать. Из всей маленькой дружной общины в живых остаются только двое. Их родичи убиты, их дети похищены. Даже смысл этих страшных событий с трудом постигается первобытным «естественным» сознанием косматых обезьяноподобных «дьяволов» (какими кажутся эти существа их светлокожим, одетым и вооруженным противникам). С недоумением смотрят они из чащи на то, как их дитя, мохнатая рыжая Лику, похищенная чужаками, стоит, привязанная за шею к дереву, а светлокожая девочка бьет ее палкой по спине. Когда чужеземцы-лучники засыпают их градом стрел, они на первых порах думают, что эти странные прутики, заостренные с одного конца и оперенные с другого, брошены им в подарок. Все изумляет их: страшные, кровавые жертвоприношения, совершаемые чужаками; непонятные повадки их женщин, украшающих себя золотом, каменьями, странными прическами и разжигающих вожделение и смертельную вражду среди мужчин. С жадностью лакают они хмельной напиток из перебродившего меда, найденный в каменном сосуде на стоянке чужаков, но и этот дар цивилизации оказывается злом, потому что лишает их памяти, самообладания и рассудка. Все симпатии Голдинга принадлежат обезьянолюдям, терпеливым, добрым, близким к природе. А завоевания, достигнутые трудом и изобретательностью, кажутся писателю безнадежно скомпрометированными теми злобными, хищническими, эгоистическими страстями, которые они порождают среди людей. Кажется, будто человечность кончается там, где начинается история.

Роман Голдинга явственно перекликается через два столетия с руссоистской критикой собственнической цивилизации. Но это, конечно, не литературный экзерсис по мотивам Руссо, а по-своему искренняя, глубоко выстраданная книга, написанная художником середины XX века, осмысляющим диалектику истории в свете социального опыта своего времени.

Недоверие к поверхностному самоуверенному оптимизму заурядного буржуазного сознания, характерное для всего творчества Голдинга, проявляется и в его романе «Хапуга Мартин» (1956), озаглавленном в американском издании «Две смерти Кристофера Мартина». Это одна из наиболее кризисных книг Голдинга: он берет здесь под сомнение не только этические и социальные ценности буржуазного мира, но и сам человеческий разум.

Роман о кончине английского морского офицера Кристофера Мартина оказывается, как и «Повелитель мух», своего рода «антиробинзонадой». Но речь идет на этот раз уже не столько о дееспособности современного «робинзона» как строителя жизни и носителя культуры, сколько, прежде всего, о достоверности его самосознания, о действенности его разума.

Смытый волной с палубы своего судна во время боя, Мартин успевает стащить с себя тяжелые сапоги и доплыть до островка, затерянного в океане. Он напрягает все свои телесные и духовные силы, чтобы не сдаться и выжить. Водоросли и моллюски служат ему пищей; дождевая вода, скопившаяся в углублениях скал, служит питьем. Самой страшной оказывается, однако, опасность, угрожающая рассудку Мар-

тина. В одиночестве, обращаясь к прошлому, он мучительно сознает суетность и греховность своей жизни; все, чем он обладал, он отнимал у других; актер по профессии, он и в жизни был актером, не имевшим своего настоящего «я». Душевные муки одинокого, отчужденного от мира героя нарастают; его сознание охвачено безумием, в котором реальность и фантастика уже неразличимы. В заключительных строках романа мы видим труп Мартина, выброшенный на берег. Нашедшие его стражники говорят: «Он даже не успел снять сапог». Эта последняя деталь, как поворот винта, переводит действие романа — задним числом — в новую плоскость. Если духовный крах Мартина составлял первое, лежащее на поверхности значение аллегорического романа Голдинга, то теперь, когда все ранее рассказанное оказывается призрачным видением, мгновенно мелькнувшим в сознании захлебнувшегося Мартина в последние секунды его жизни, аллегория означает также и утверждение несостоятельности человеческого разума, относительность наших представлений о действительности.

В свете, отбрасываемом неожиданным финалом романа на все предшествующее повествование, становится очевидным особый смысл, вложенный Голдингом в некоторые, казалось бы частные, подробности. Так, например, скалистый островок, на который он попал, кажется Мартину похожим на «зуб в древней челюсти потонувшего мира». Этот столь рельефный, осязаемый и зримый пейзаж оказывается, однако, лишь видимостью, порождением субъективных ощущений: Мартин по привычке нащупывает языком больной, испорченный зуб; его очертания и проецируются в образ небывалого острова, созданного его воображением.

Любители мистики нашли в этом романе Голдинга, провозглашающем относительность человеческих суждений, почву для религиозных построений. Высказывалось даже мнение, будто бы муки, претерпеваемые Мартином на воображаемом острове, являются эквивалентом чистилища, через которое, по католическому учению, должна пройти душа после своего разъединения с телом. Текст романа не дает прямых оснований для такого толкования. Но проблемы религии — и, в частности, религиозная концепция греховности человеческой природы — действительно занимают Голдинга и отражаются в его произведениях, хотя и трактуются им далеко не ортодоксально.

Голдинг далек от того беспросветного, нигилистического пессимизма в понимании человека и общества, который характерен, например, для Сэмюэля Беккета и его единомышленников в модернизме. Повышенный интерес Голдинга к проблеме «греха», в сущности, имеет и свои гуманистические корни. Желая выяснить, что делает человека зверем — или, хуже того, палачом,— Голдинг вместе с тем ищет и путей к восстановлению доброго начала в человеке. Его книги полны тревоги, они призваны подорвать иллюзорные, либерально-мещанские представления об автоматическом совпадении технического и нравственного прогресса в наш драматический век. Но человек для Голдинга — не только объект опасений и сомнения.

И если Беккет, ревностный католик, освящает религиозной санкцией свое презрение к земному и социальному человеку, для Голдинга религия существует скорее лишь как одна из областей духовных исканий человечества. Внимательно, как наблюдательный и тонкий психолог, анализируя состояние религиозного экстаза, молитвенного порыва, он вместе с тем беспощаден ко всему, в чем ощущает проявление церковного деспотизма, религиозного ханжества и изуверства. Джек и его «охотники» в «Повелителе мух» недаром были воспитанниками церковного хора — деталь немаловажная!

В современной английской литературе Голдинг занимает видное и своеобразное место. Жанр реалистического социального и политического романа, опирающийся в Англии на давнюю традицию и ярко представленный в творчестве многих английских писателей нашего времени — Чарльза П. Сноу, Нормана Льюиса, Алана Силлитоу, Джеймса Олдриджа и других,— не влечет к себе Голдинга. Но, облекая свои раздумья о судьбах человечества в более иносказательную форму философского романа-«притчи», размышляя, главным образом, об этических вопросах совести и долга, благородства и подлости, творческого порыва и цены его воплощения, он не уходит с поля боя, не бежит от жизни, а борется, по-своему, за спасение гуманистических ценностей. И его творчество в целом — как ни спорны и уязвимы отдельные его стороны — составляет важную, необходимую часть современной английской литературы.

Следует отметить при этом, что, тяготея по преимуществу к одному, охарактеризованному выше, жанру, Голдинг обращается и к другим формам повествования. Так, например, его «Пирамида» (1967) представляет собой гротескно-сатирический роман, где быт и нравы английской провинции, воспринятые то комедийно, то трагически, дают автору повод для горьких выводов о «бездуховности» английского общества и его враждебности живому человеческому чувству *.

Неповторимым художественным своеобразием отличается и «Шпиль» (1964) — одно из самых значительных произведений Голдинга, публикуемое в русском переводе в этом номере журнала «Иностранная литература». Можно надеяться, что, начав с этого романа свое знакомство с Голдингом, советские читатели получат затем возможность прочитать в переводе и другие его книги.

* О «Пирамиде» Голдинга говорилось подробнее в моей рецензии. См. журнал «Иностранная литература» № 1, 1968 г.

По сравнению со всеми предшествующими романами Голдинга «Шпиль», пожалуй, наиболее прочно прикреплен к реальной английской почве и обладает некоторыми приметами исторического романа, хотя и примыкает вместе с тем к жанру романа-«притчи», столь характерному для этого писателя.

Время действия «Шпиля» отделено от нас многими столетиями, но каменный «герой» романа — солсберийский собор, великолепный памятник английской готики,— и сейчас возвышается на кафедральной площади старого города Солсбери. Путешественник, приехавший навестить Голдинга, живущего в окрестностях Солсбери, издалека замечает сверкающую на солнце иглу — «тот самый шпиль!» — как поясняет гостеприимный хозяин.

Уголок Уилтшира в юго-западной Англии, где живет Голдинг, полон воспоминаний о прошлом. Сеть проложенных сотни лет назад узких проселочных дорог, где не разъехаться двум встречным автомашинам и где ветви старых деревьев сплетаются в сплошной зеленый навес, соединяет друг с другом разбросанные фермы. Живым памятником средневековья стоит трактир под названием «Летойл» (тот, что упоминается и в «Шпиле»). Так, на английский лад, произносится теперь его исконное французское название «L'étoile» («Звезда») — ведь он был построен еще в XII—XIII веках, в ту пору, когда из Франции для сооружения солсберийского собора были выписаны тамошние искусные мастера — каменотесы и строители... За оградой в чаще запущенного парка стоит родовой замок графов Пемброк; здесь в XVI веке, в гостях у сестры, графини Пемброк, сэр Филипп Сидни, гуманист, поэт и воин написал свою «Аркадию». Чуть подальше, на открытой равнине, возвышаются серо-голубые гигантские глыбы тесаного камня: это Стонхендж, загадочный памятник глубокой древности, воспетый Вордсвортом и изображенный Томасом Харди в одной из последних сцен «Тэсс из рода д'Эрбервилль». А еще дальше тянется уже в собственном смысле слова «земля Харди» — те пустоши, поля и луга, где располагается патриархальный «Уэссекс» его романов из жизни сельской Англии.

«Пейзаж из «Песен невинности» Блейка»,— говорит Голдинг, когда погожим майским днем мы едем по зеленым уилтширским проселкам, заросшим цветущими травами, мимо старых ферм и лугов, где пасутся овцы. Под стать этому пейзажу и маленький домик писателя, крытый соломой, и «могучий Эбл» (как в шутку называет Голдинг ручей, неторопливо обегающий лужайку перед домом, где зацветают первые розы)...

Эта подчеркнутая отчужденность от сегодняшней урбанистической, индустриальной, коммерческой Англии, конечно, соответствует духу творчества Голдинга и многое в нем объясняет.

Но бури современности доносятся и сюда, и Голдинг откликается на них. Напомним, что автор «Шпиля» вместе с другими прогрессивно мыслящими писателями Англии горячо выступал в печати, требуя прекращения войны во Вьетнаме. Писатель видит большой мир нашего времени, и его проблемы врываются даже в те произведения Голдинга, которые по видимости целиком обращены к далекому прошлому.

История создания солсберийского собора послужила, по всей вероятности, лишь первым, исходным толчком к созданию этого романа. Монументальный шпиль собора на протяжении многих веков был окружен легендами. С точки зрения законов архитектуры он казался загадкой: было неясно, на какой опоре держится эта колоссальная каменная игла, венчающая здание собора. Дэниэль Дефо — реалист-просветитель, прочно стоявший на почве фактов и заведомо чуждый мистицизма, рассказывает в своем «Путешествии через весь остров Великобританию» (1724—1727) о том, как знаменитый тогдашний архитектор Кристофер Рен на рубеже XVII—XVIII веков приехал в Солсбери по специальному приглашению соборного капитула, чтобы осмотреть шпиль, казалось, угрожавший падением. Рен подивился смелости и искусству средневековых зодчих и — хотя и не смог разрешить загадки шпиля — разубедил солсберийских церковников, которые уже подумывали, не разобрать ли его во избежание внезапной катастрофы. Рен оказался прав: шпиль стоит и поныне, и новая архитектурная комиссия, обследовавшая его несколько лет назад, смогла только подтвердить его заключение.

Внимательный читатель романа заметит, что автор вскользь, мимоходом подсказывает ему разгадку непостижимой, по-видимому, устойчивости шпиля: весеннее половодье из года в год намывало землю, и она, оседая и уплотняясь, укрепила почву, на которой возвышается собор. Не будем проверять эту гипотезу принципами теории сопротивления материалов: ведь перед нами художественное произведение, а не архитектурный проект. Важно то, что в отличие от многих персонажей романа Голдинг допускает вполне земное, чуждое всякой мистики решение загадки шпиля.

Самого писателя более занимает другое — те люди, которые строили шпиль. Их психология, их взаимоотношения, борьба и конфликты, их победы и поражения — вот что составляет главное содержание романа.

Как обычно у Голдинга, этот роман многозначен.

Вряд ли можно видеть в нем только умелую попытку «реконструкции» средневековых нравов и средневекового сознания, хотя Голдинг — знаток старины и изоб-

ражает ее с глубоким проникновением и художественным чутьем.

Сама взволнованность этого болезненно напряженного в своем драматизме романа позволяет догадываться, что автор пишет о том, что задевает его за живое и связано с сегодняшним днем не менее, чем с седой стариной.

Говоря о своем романе, сам Голдинг называет главной его проблемой — проблему творческого порыва и его воплощения. История шпиля, понятая таким образом, означает в обобщающем плане романа-«притчи» трагедию субъективного вдохновения творца, которое находит для себя адекватное воплощение лишь ценой величайших жертв и мук.

К числу самых выразительных, надолго запоминающихся страниц романа принадлежат те, где предстает борьба строителей шпиля, соборного настоятеля Джослина вместе с Роджером-Каменщиком и другими — с яростно сопротивляющимися силами природы, с камнями, землей, ветром, водой, которые они хотят подчинить своему замыслу. Великолепен потрясающей энергией символического обобщения эпизод, где Джослин воочию видит ту зыбкую, коварную трясину, на которую должен опереться — или рухнуть! — шпиль.

«Джослин увидел, как вниз полетел камень и два комка земли... Джослин ждал, пока они улягутся, и вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись... Сама земля двигалась под ними... словно каша закипала в горшке; личинки копошились... Там было нечто живое; нечто запретное для глаз, неприкасаемое; сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала...» И полна символического смысла подробность: чтобы засыпать трясину, в числе первых камней на дно брошены те, на которых искусный резчик-каменотес вырезал орлиный профиль Джослина. Вместо того, чтоб горделиво красоваться по углам каменной кладки шпиля, они первыми должны лечь в подземный мрак котлована — первый акт самоотречения, за которым последует еще много других, прежде чем совершится задуманное.

Есть и другой обобщающий аспект, в котором читатель может воспринять символическую «притчу» Голдинга. В истории «Джослинова безумства» (как прозвали постройку шпиля благоразумные сограждане исступленного строителя) можно усмотреть намек на проблему фанатического произвола, который, вторгаясь в жизнь наперекор ее закономерностям, угрожает человечеству неисчислимыми страданиями и катастрофами. Ведь «победа» Джослина, запечатленная на века каменной иглой соборного шпиля, куплена не только его собственной гибелью, но и множеством других загубленных жизней.

Всем строем своего романа Голдинг, однако, как кажется, призывает читателей не спешить с окончательными и односторонними выводами, а вдуматься в объективную диалектику жизни, воплощенную в его образах и ситуациях.

И по своему идейному замыслу, и по системе образов «Шпиль» во многом сложнее, чем такие аллегории-«притчи», как «Повелитель мух» или «Хапуга Мартин». Айрис Мердок, автор известных у нас романов «Под сетью» и «Алое и зеленое», споря с Голдингом-художником, осуждала «кристаллическую» правильность и схематичность его аллегорий. В «Шпиле», безусловно, нет этой предустановленной «кристаллической» схемы. Действительность, изображаемая автором, слишком многообразна, богата и подвижна, чтобы послушно улечься в рамки аллегории. Разные планы повествования сталкиваются друг с другом; из столкновения различных общественных сил и противоречивых характеров, движимых разными побуждениями и страстями, возникают такие последствия, которых не мог предвидеть никто из участников этой исторической драмы.

Две фигуры возвышаются на авансцене повествования. Средневековый клирик, отец Джослин, пожелавший, наперекор здравому смыслу, стихиям природы и сопротивлению окружающих увенчать свой собор — «великолепный узор славы божией» — огромным шпилем, уходящим ввысь, к небесам, словно каменной «молитвой, которая вознесется превыше всех других молитв». А рядом с ним — его антипод, а вместе с тем и соратник Роджер-Каменщик, которому суждено осуществить нечеловечески трудную задачу — облечь в бревна, камень и сталь фантастическую мечту Джослина и сделать немыслимое реальным.

Отношения между этими главными действующими лицами полны глубокого драматизма. Джослин в своей исступленной экзальтации — или мании — живет одной мечтой, которая кажется ему боговдохновенной. Его сила — во всепобеждающей целеустремленности, в фанатическом, судорожном напряжении воли, испепеляющем его самого. Но замысел Джослина неосуществим без Роджера-Каменщика. В мощной, коренастой, круглоголовой фигуре этого средневекового мастера-строителя воплощены ясный ум, опыт и силы людей труда. Вместе с Роджером в роман входят все те, чьими руками построен шпиль, чьи муки, смертельный риск, пот, и кровь, и самая жизнь понадобились для того, чтобы осуществить мечту Джослина.

С присущим ему горько-ироническим осмыслением противоречий жизни Голдинг показывает, чем оборачивается «безумство Джослина» для его прихожан, для приезжих мастеров, нахлынувших в тихое захолустье, и для него самого. Превозмогая все препятствия — нехватку денег и материалов, сопротивление и насмешки своих собратьев-церковников, небывалые трудности самого строительства, где каждый новый ряд каменной кладки грозит катастрофой,— Джослин совершает чудеса энергии и целеустремленности, не подозревая поначалу, какой дорогой ценой заплатят

люди за осуществление его плана. Одержимый своей мечтой, он убежден, что действует во славу божию. Изуверскими истязаниями он поддерживает в себе маниакальный экстаз, чтобы отогнать сомнения, внушаемые, как он старается думать, дьяволом-искусителем.

В этой мучительной борьбе духовный облик Джослина, как показывает Голдинг, претерпевает резкие перемены. В первых главах романа, где изображено начало сооружения шпиля, Джослин весь лучится благостным ликованием: близящееся осуществление его заветного плана переполняет его радостью. Весь мир предстает его глазам — глазам мечтателя и художника — в игре медовых снопов солнечного света, в ярких переливчатых красках соборных витражей, и люди кажутся ему близкими и родными, как братья.

Но от этой светлой и благолепной душевной гармонии не остается и следа. Преодолевая одно препятствие за другим, Джослин становится и сам другим человеком. Его былая доброта уступает место жестокости. Он не только оскорбляет своих братьев-клириков, нарушая все традиции соборного благочиния, но равнодушно взирает, целиком поглощенный одной идеей, на бедствия своих прихожан, среди которых свирепствует голод и чума. Он становится неразборчивым в средствах и с хитростью фанатика-маньяка угадывает тайные желания людей, чтобы использовать их ради своей единой цели. Так, для того чтобы удержать в соборе Роджера-Каменщика, Джослин готов даже потворствовать его страсти к своей духовной дочери Гуди Пэнголл. И когда Гуди (чье обаяние втайне волновало его самого), став любовницей Роджера, погибает, вместе со своим нерожденным ребенком, уличенная и опозоренная женой Роджера, Джослин воспринимает эту смерть как часть огромной цены, которую он уплатил за то, чтобы воздвигнуть шпиль. Но кровавый счет еще неполон. Ушел из жизни жалкий муж Гуди, немощный соборный сторож Пэнголл, тщетно моливший Джослина о заступничестве и помощи. Принесен в жертву «Джослинову безумству» и сам Роджер: этот могучий, твердый духом силач, сломленный горем, после неудавшейся попытки покончить с собой доживает свой век идиотом, впавшим в детство.

Шпиль возносится к небу, но основание его запятнано кровью и грязью.

«Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и вскармливал ненависть». «Я променял четверых людей на каменный молот». Это сознание приходит к Джослину слишком поздно. Назад возврата нет. Да и захотел ли бы он вернуться назад? Он влачит свои последние дни как смердящий полутруп, изуродованный своими самоистязаниями. Собратья-церковники отвернулись от него, горожане осыпают его проклятьями. Но в последние мгновенья, на смертном орде, он видит в распахнутом окне розовеющую в солнечных лучах грань своего шпиля — и вместо слов покаяния шепчет: «Он как яблоня!»

Но трагическая судьба Джослина составляет лишь одну сторону романа. Сквозь его смятенное сознание читателям приоткрываются и более широкие горизонты жизни в ее объективном движении, не подвластном произволу отдельных людей. «Джослиново безумство» имеет такие последствия, каких не мог ожидать ни он сам, ни его соратники, ни враги.

Вместе с толпами рабочих-строителей в ограду собора врываются новые, вольнодумные нравы; мирские страсти и вожделения взламывают вековые запреты. Богохульные песни, смех и крики пришельцев заглушают благочестивые литании и обращают в бегство монахов. Вскрыты подземные склепы, и смрад потревоженных гробов смешивается с запахом известки и стружек. А в то же время сквозь проломы в стенах и в крыше в собор вторгаются голоса и ветер большого мира.

Постройка шпиля оказывается не только воплощением религиозного идеала, но и победой человеческого разума и уменья, новаторским переворотом в строительном мастерстве. Роджер-Каменщик строит так, как еще никто не строил, и сам понимает это. Пытливая мысль и прозорливая интуиция подлинного мастера подсказывают ему новые смелые решения технических проблем. Он скрепляет стенки шпиля мощным стальным поясом («никто еще не употреблял столько стали, как мы!»), пытается определить сопротивление «каменной кожи» собора и шпиля силе ветра, ведет хитроумные расчеты прочности балок и каменной кладки, идя на отчаянный риск, который в конце концов оправдывает себя.

С высоты шпиля людям открываются новые горизонты. Джослин первым обнаруживает это, убеждаясь, как не похож тот широкий мир, который открылся его глазам с верхнего яруса башни, на тесные дворики и узкие проулки, в которых он прожил всю жизнь. Вместе с тем постройка шпиля вызывает и глубокие экономические и социальные сдвиги. Она «преображает землю». «Повсюду были новые дороги, люди кучками упорно шли меж кустов и вереска. Округа покорно обретала новый вид. Скоро, подняв кверху огромный палец, город будет похож на ступицу колеса, возникновение которого предопределено. Новая улица, Новая гостиница, Новая набережная, Новый мост; и вот по новым дорогам уже идут новые люди».

А одновременно с этим нарушено и прежнее застойное соборное благочиние. Монахи, спугнутые грохотом стройки, на время покинули собор; но и после сооружения шпиля, вернувшись под сень освященных стен, они уже не будут, как раньше, полновластными хозяевами человеческих

судеб. В недрах средневековья уже зарождаются зачатки новой жизни, с другими, мирскими интересами, другой деятельностью и другими взглядами. «Джослиново безумство», предпринятое во славу божию, в широкой перспективе истории, может статься, окажется ступенькой на пути раскрепощения человеческих душ. Голдинг не настаивает на этом выводе, но роман его дает для него известные основания.

«Шпиль», как и другие произведения Голдинга,— не роман для легкого чтения. Но он вознаграждает терпение читателей, давая пищу их мысли и воображению. Эта книга — не из тех, которые, прочитав, можно спокойно закрыть и тотчас же забыть о прочитанном. Она может вызвать раздражение, несогласие, побудить к спору — но не оставить равнодушным.

По своей повествовательной манере этот роман, пожалуй, сложнее и затемненнее многих других произведений Голдинга: все происходящее предстает здесь сквозь призму больного сознания Джослина, то озаренного мистическим экстазом, то повергнутого в бездну уныния. Влияние эстетики модернизма сказывается и в разорванности повествования, и в той нарочитой изощренности, с какой автор смещает в разных пересекающихся измерениях пласты яви и бреда, заставляя читателя отделять галлюцинацию от реальности, угадывать смысл недомолвок и проникать в бессознательные побуждения своего героя.

В романе появляются и фрейдистские мотивы: тема бессилия, бесплодия и их психологической компенсации вплетается в развитие сюжета (сам образ шпиля в некоторых эпизодах явственно приобретает значение фаллического символа). Но не это главное, не этим определяется значение всего произведения.

Противник облегченных решений, дешевого штампованного оптимизма в духе буржуазно-либеральной философии и морали, Голдинг вошел в английскую литературу середины нашего века как писатель, глубоко озабоченный настоящим и будущим человечества. Он ищет истину по-своему, на путях, которые иной раз приводят его в тупик или к пропасти. Но даже если читатель разойдется с ним на полдороге, он не пожалеет о своем знакомстве с творчеством этого талантливого и мыслящего художника.

ФРЭНК ХАРДИ

ПАСЫНКИ АВСТРАЛИИ

Фрагменты из книги

Перевод с английского
И. ГУРОВОЙ

Только что вышедшая документальная книга Фрэнка Харди «Пасынки Австралии», с фрагментами которой мы знакомим читателя, посвящена борьбе австралийских аборигенов за свои права. В книге описана первая в истории аборигенов забастовка 1967 года на скотоводческих станциях Северной Территории.

Прогрессивная общественность страны и прежде всего коммунисты не раз возвышали голос со страниц печати в защиту прав аборигенов. Активное участие в этой борьбе принимал писатель Фрэнк Харди, живший среди забастовщиков, систематически публиковавший в газетах очерки, посвященные трагической участи аборигенов.

Книга написана по горячим следам событий. В этом своеобразном по форме произведении — сплаве страстной публицистики с портретными зарисовками, с записью рассказов участников событий — аборигенов и белых, с яркими зарисовками, воскрешающими облик экзотического уголка страны (в нашем монтаже выделена линия рассказов «от первого лица»),— Харди анализирует социальные причины бедственного положения аборигенов.

Книга «Пасынки Австралии» (так переводим мы заглавие «Unlucky Australians»— буквально «несчастливые австралийцы» — ироническое противопоставление расхожему штампу «счастливая Австралия») стала документом классовой борьбы, свидетельством общественного подвига писателя-коммуниста.

ВЛАСТЬ ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ

Мы почти не разговаривали. Шофер прерывал молчание, только чтобы буркнуть что-нибудь о моторе, о регулировщиках, о конторах дальних перевозок. Потом начал жаловаться, что вот полтора года работал себе спокойно в Сиднее, а теперь его опять послали к черту на рога. Он не знал, кто я такой, и ни о чем меня не спрашивал. А я подавил в себе привычное желание завести свойский разговор, который помогает узнать человека поверхностно, но мешает распознать его подлинную сущность,— эта австралийская общительность обрекает человека на особое одиночество: он как будто знает всех и не знает никого.

Рефрижератор постанывал, жалуясь на пустоту в своем огромном брюхе — голодное чудовище мчалось вперед, чтобы заполнить эту пустоту мясом кенгуру. Водитель вел его через Голубые горы к равнинам Батерста с терпением, рожденным миллионом оставленных за спиной миль.

Подо мной содрогалось кожаное сиденье, а я смотрел сквозь ветровое стекло на не по-австралийски сочную зелень влажных лесов, смотрел на толстые стволы — на их коре исследователи вырезали свои имена в те дни, когда белые еще не знали, что лежит впереди, ибо древняя земля всегда что-то от них прятала и налагала свою печать сначала на темнокожих людей, а потом и на белых.

Мы въехали в окутанный знойным маревом Берк. Пока водитель заправлялся, я заглянул в бар. За столиком пили пиво трое стариков. Один, широкоплечий, костлявый, во фланелевой рубахе, морщинистый, с мудрыми глазами,— конечно, старый стригальщик, который за свою жизнь много тысяч раз ночевал у речных излучин, подложив под голову дорожный мешок.

Я залпом осушил свою кружку и вышел во двор. Старуха аборигенка, толстая и пьяная, тяжело плюхнулась на скамью, что-то бормоча. Ее глаза, полные тайны и безнадежной горечи, были облеплены мухами. Она сидела одинокая, утратившая человеческий облик. Символ вины белой Австралии.

Я отвернулся и пошел разыскивать свой грузовик...

Мы приближались к границе Квинсленда, и асфальт сменился грейдером, баранка в руках шофера подрагивала. По сторонам дороги лежала умирающая от жажды земля. Ни травинки, ни зеленого листика. Даже мульга и спинифекс не выдержали засухи. Только пыль и тела мертвых и умирающих животных — овцы, волы, лошади, кенгуру. И белые скелеты в рыжей пыли.

Темнокожие люди, которые когда-то покорили этот безжалостный край... не старуха в Берке, а те, в Матаранке, двадцать три года назад...

Каждый день их привозили в грузовике из туземного лагеря. Они стояли или сидели на корточках в кузове под палящим солнцем, в клубах пыли. Они много смеялись, хотя, казалось, никаких причин смеяться у них не было. Солдаты относились к ним со снисходительным презрением, и они держались особняком, не показывая, что думают об этих чужих белых людях. Возможно, они удивлялись, зачем мы явились сюда, как их предки удивлялись появлению других белых «давным-давно». Те белые разводили скот или рылись в земле в поисках камней. А мы ничего не делали — только маршировали по четверо в ряд в полуденный жар, стреляли из винтовок в бумажные мишени и охраняли лагерь от самих себя. Они рыли отхожие ровики, неторопливо, отдыхая всякий раз, когда белый надсмотрщик отворачивался, или сидели под деревом, играя в карты — правила этой игры не удалось постичь ни одному белому.

Один из них был образованным человеком, сторонился своих соплеменников и жил в белом лагере. Он работал со мной в инструменталке второй казармы. Как-то новенький лейтенант спросил его на ужасающем ломаном языке:

— Твоя знай, где капрал этот склад? Его мала-мала уходи, мала-мала не работай?

— Полагаю, вы имеете в виду капрала Харди? — ответил он.— Капрал ушел в штаб и должен вернуться через полчаса.

Тратим час под беспощадным солнцем на починку педали акселератора, а потом мчимся на предельной скорости и добираемся-таки до Каннамаллы засветло. Рефрижератор оставляем в гараже и перекусываем бифштексом с яичницей. Водитель решает всхрапнуть пару часов. «Разбуди меня, когда закроются пивные».

Выхожу на улицу и оказываюсь позади трех аборигенов. Они поднимаются в бар, и я следую за ними. В зале одни белые — аборигены забираются в самый темный угол. Компания белых встает и демонстративно выходит, бросив парочку язвительных слов в адрес бармена. Я иду за ними в пивную по соседству и останавливаюсь в стороне вне себя от злости.

— Туда заявились черномазые, ну, мы и ушли,— объясняет буфетчику широкоплечий верзила, но буфетчик молчит. Деньги, которыми платят аборигены, не чернее всех прочих.

Компания садится пить и продолжает толковать об аборигенах, уснащая речь расовыми кличками: тут и «черномазые», и «черные образины», и «черные шкуры». С трудом сдерживаюсь, но решаю остаться в роли наблюдателя.

— Выпей с нами, приятель,— приглашает меня верзила, и я не знаю, что ответить человеку, который сбегает из бара от людей, которых знает, и зовет «приятелем» первого попавшегося незнакомца. У меня в голове брезжит еще неясная мысль: как это типично для Австралии — исключать цветных из дружеского человеческого общения.

В Уинтоне шофер высадил меня и помчался дальше сквозь ночь туда, где рефрижератор поджидают убийцы кенгуру. Я взвалил чемодан на плечо и побрел к неоновой вывеске «Мотель «Вальсирующая Матильда».

Захожу в соседний бар. Там сидит чистая публика — здесь пьют местные воротилы, которые не желают якшаться со всякой шушерой. Но здесь и пастух-абориген — разговаривает с каким-то белым, и тот пишет поручительство на обороте его чека. Буфетчица с сомнением берет чек и несет его в соседнее помещение показать хозяину. Хозяин рассматривает чек и, по-видимому, решает принять его. Буфетчица подходит к кассе и приносит белому пачку купюр. Он отдает их аборигену, который кладет на стойку два доллара. Буфетчица говорит:

— Это бар для постоянных клиентов. Вам тут пить нельзя. Извините. Лучше пройдите в общий зал.

Ее слова раздаются как пощечина. Но абориген только поворачивается на каблуках, расправляет плечи и уходит, не сказав ни слова. Два доллара остаются лежать на стойке. Не впервые его право на равенство и свободу обернулось издевательской насмешкой. И это не последний раз. Он держится с безупречным достоинством.

Я говорю буфетчице.

— Вы не имеете права! Согласно закону он может пить где угодно. Он не пьян и чисто одет. У него есть деньги. Вы не имеете права отказаться его обслужить!

— А мне так велено,— отвечает она, пожимая плечами, и добавляет вполголоса:— Если я буду их обслуживать, то сразу вылечу отсюда. Сама-то я против них ничего не имею, да и мистер Имярек пускает их в общий зал. А это бар для постоянных клиентов — они тут устраивают деловые совещания.

Всю ночь слышишь, как за стеной вибрирует кондиционер. Снотворное почти не действует. Стоит задремать, как начинаются кошмары. Все идешь и идешь за высоким пастухом-аборигеном, а он исчезает в тумане сна...

Ты приехал в самое сердце своей страны и узнал только то, что знаешь больше двадцати лет: аборигенам живется хуже, чем любому другому национальному меньшинству на земном шаре, а белым австралийцам это все равно. Те же, кому не все равно, предпочитают отворачиваться.

МОЖЕТ, У НИХ ЕСТЬ НОРМА

Мы едем по Дарвину в прохладных сумерках сухого сезона. В Дарвине я очутился благодаря Секу. С тех пор как он уехал из Сиднея три года назад, мы регулярно переписывались и обязательно виделись, когда он ненадолго приезжал в Сидней. Он рассказывает мне проект освоения Орд-ривер («Проклятое правительство уперлось, и все тут. Слишком уж социалистический проект!»); об истощении горнорудных богатств, отданных на откуп американским и другим иностранным компаниям; об упадке животноводства. Но больше всего он говорит на свою излюбленную тему: о положении аборигенов Северной Территории.

Наконец он заявляет:

— Надо тебе посмотреть «Арену», сынок. Поехали.

И мы едем.

Позже один расист сказал мне:

— Из белых в «Арене» пьют только те, кто якшается с черномазыми или спит с их бабами.

Сека со всех сторон окликают аборигены. Он знакомит меня с ними, а потом со стариком Джеффом — седовласым уроженцем острова Четверга. В юности Джефф был знаменитым босым футболистом. Еще он — знаменитый гитарист и автор прекрасных песен, один из многих талантов, которым не дала хода наша демократия.

Сек отходит к стойке, намереваясь угостить всех друзей, а мое внимание привлекает какая-то суматоха у дверей, где собралась толпа. Два одетых в форму полицейских арестовывают двух аборигенов. Толпа угрюмо расступается, давая им дорогу.

— Они же ничуть не пьяны! — возмущаюсь я.

— Не лезьте не в свое дело,— холодно советует мне полицейский.

— Что случилось? — спрашивает Сек, подходя ко мне.

Я объясняю, и мы выходим на улицу. Аборигены покорно влезают в тюремный фургон, и он отъезжает.

— Это случается постоянно.— говорит Сек со вздохом.

— Ты скоро к этому привыкнешь, приятель,— утешает какой-то белый пьянчужка.

— Но за что их арестовали?

— А может, у полиции есть норма? Вот они ее и выполняют. Ничего, приятель, привыкнешь.

Работая в газете, Сек побывал на многих скотоводческих станциях. Он признает, что белые пастухи и объездчики — фигуры весьма живописные, но все его симпатии отданы работникам-аборигенам. Он рисует яркую картину условий, в которых они живут: еда — солонина и хлеб; дома — жестяные лачуги; все полагающиеся им деньги и пособие не выдаются им на руки, а выплачиваются хозяевам. Посягательство на их жен — дело самое обыкновенное. Без разрешения управляющего они не имеют права уходить с территории станции или принимать у себя гостей. Заработная плата — два фунта восемь шиллингов в неделю, и тратится она на всякий хлам в хозяйской лавке.

Он заговорил о борьбе, ведущейся вокруг вопроса о заработной плате пастухов. Три месяца назад, в марте, арбитражный суд после бесконечных проволочек вынес решение, уравнивающее заработную плату пастухов-аборигенов с зарплатой, которую получают белые. Решение это должно вступить в силу через три года — в декабре 1968 года. Суд не вызвал ни одного свидетеля-аборигена. Судьи, адвокаты, профсоюзы и нанимали распорядились судьбой аборигенов по своему усмотрению — и победа осталась за скотопромышленниками. Им дали отсрочку в три года, чтобы они тем временем нашли способ обходиться без труда аборигенов. Уравнение в заработной плате касается только самых квалифицированных работников. Оговорена сниженная плата для тех, кто работает медленно. (Право решать, быстро работает человек или медленно, оставлено за нанимателями, а многие из них утверждают, что равной платы заслуживают лишь двадцать процентов аборигенов, не больше.) Домашней прислуги это решение как будто не касается, и ей придется обходиться прежней заработной

платой, которая равна одному фунту пяти шиллингам трем пенсам в неделю. Итак, через три года некоторые аборигены на скотоводческих станциях будут получать равную с белыми заработную плату. Белая Австралия может быть довольна: мы сделали все, чтобы помочь им, но сами себе они помогать не желают.

Однако тут вышел небольшой просчет. Скотоводческие станции, резервации и поселки облетела новость: «Суд постановил, чтобы аборигенам платили настоящие деньги. А платить их будут только через три года». И вот совершенно неожиданно для всех белых первого мая (самый лучший день для такого хорошего дела!) аборигены-пастухи и домашняя прислуга на скотоводческой станции Ньюкасл-Уортерс в пятистах милях к югу от Дарвина объявили забастовку. В этом принимал какое-то участие Декстер Дэниелс, абориген, работавший в Профсоюзе рабочих Северной Австралии. Лидеры ПРСА обратились к южным профсоюзам за денежной помощью, и на этом дело на два месяца застопорилось.

— Филипп Робертс говорит, что по всей Северной Территории среди аборигенов идет брожение,— сказал Сек.— Они готовы объявить забастовку повсюду, но профсоюз бездействует.

— Ну, а Декстер Дэниелс? — спросил я.— Почему он не организует забастовки на других станциях?.

— По слухам, Декстер больше не работает в профсоюзе.

НАДО ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ЛЮДЯМ

(Рассказ Декстера Дэниелса)

Меня зовут Декстер Дэниелс. Мы все на два «Д». То есть у нас у всех имена начинаются на «Д». Так нас назвали отец с матерью. Жили мы на Ропер-ривер. Я там ходил в школу при миссии. Потом я работал на скотоводческой станции, поставил в платежный день свою метку в ведомости и получил горсть монет. Тогда я ушел в Дарвин и работал в больнице. А потом получил работу в Профсоюзе рабочих Северной Австралии.

Я женился на девушке, которая тоже работала в больнице. Сама она с Гроте-Эйландт. (Ее сговорили за одного старика, но я съездил к нему потолковать.)

Как-то я побывал в Ист-Арм. Там держат прокаженных. Познакомился с одним стариком из Ньюкасл-Уотерс. Его звали Двойное «О». Вот так. Он болел проказой, но его как раз вылечили. И этот старик рассказал мне про то, что делалось в Ньюкасл-Уотерс. И особенно про зарплату. Он рассказал мне про Капитан-Майора. И я подумал: этот Капитан-Майор — сильный человек. Надо бы мне как-нибудь побывать в Ньюкасл-Уотерс.

А потом настала пасха и в Реннер-Спрингс были скачки. Это далеко, но я подумал: надо побывать в Реннер-Спрингс, потому что там соберутся пастухи со всех станций. Они всегда встречаются на скачках в Реннер-Спрингс.

Ну, побывал я в Реннер-Спрингс и поговорил с пастухами-аборигенами. И они меня внимательно слушали. Лучше всех слушали ребята из Брюнетт-даунс, и потом они устроили забастовку. Только они не послали мне телеграммы, и я ничего не знал, и они опять начали работать.

А на обратном пути из Реннер-Спрингс в Дарвин я все думал о том, что старик Двойное «О» рассказывал мне про Ньюкасл-Уотерс. А потому я свернул с шоссе под Эллиотом и поехал на станцию Ньюкасл-Уотерс. Старик Двойное «О» уже вернулся туда, и я спросил его про Капитан-Майора — тут ли он и остальные пастухи. Он сказал, что пастухи объезжают стада. Тогда я оставил ему записку для Капитан-Майора. Вот такую: «Если вы, пастухи-аборигены, и правда хотите чего-то добиться, то надо бросить работу. Есть только один правильный путь — забастовка. Если вы бросите работать, пришлите мне телеграмму, и я приеду».

Потом я вернулся в Дарвин.

Через два дня приходит телеграмма. А в ней говорится:

«Ты нам нужен здесь. И мы не начнем работать, пока ты не приедешь».

На следующее утро я уехал из Дарвина и на другой день на рассвете был уже в Ньюкасл-Уотерс. Там я познакомился с Капитан-Майором. И когда я с ним познакомился, я очень в него поверил. Я очень хотел, чтобы забастовка кончилась победой. А он показался мне человеком, который будет бороться до конца. Он сказал мне, что часто сам об этом думал. Он сказал, что ему нужно было чувствовать чью-то поддержку — поддержку человека, который хочет помочь аборигенам. Он сказал:

— Я хотел найти человека, который мог бы нам помочь добиться того, чтобы нам платили, как белым, и обходились бы с нами, как с белыми. И я очень рад, что это человек из моего народа и одной со мной кожи.

Вот что сказал мне Капитан-Майор. А я сказал ему, что лучший способ — забастовка. Он как будто знал, что такое забастовка.

Тогда мы устроили митинг, и я увез их в Эллиот — всех аборигенов, которые работали в Ньюкасл-Уотерс, и женщин, и детей. Больше восьмидесяти человек.

Как-то днем ко мне пришел полицейский и сказал, что может меня арестовать. А я ему ответил:

— Ладно, сажайте меня в тюрьму, если вам хочется. Только я поступаю правильно. Я хочу помочь моим землякам на всех скотоводческих станциях. Пусть им платят столько же, сколько белым.

Он меня не тронул, и тогда я сказал:

— А вы состояли в союзе?

А он сказал:

— Да, я состоял в профсоюзе на юге, когда еще не был полицейским.

Тогда я сказал:

— Значит, вы знаете, как действуют профсоюзы. Вы знаете, что одними разговорами нельзя добиться повышения заработной платы и улучшения условий. Для этого надо показать себя людям.

Ему пришлось со мной согласиться, а я сказал:

— С моим народом должны обходиться как с белыми. А не как с рабами. Прежде, когда я еще не родился, с ними обходились как с рабами. Дешевый труд, голодные пайки. И до сих пор с ними обходятся плохо и платят им гроши.

Мне нужно было вернуться в Дарвин. И перед отъездом я сказал им:

— Если кто-нибудь из Обеспечения или полицейский спросит вас, что случилось, и скажет, что вам надо вернуться и начать работать, пошлите мне телеграмму, и я приеду.

Как раз когда я собрался уехать, ко мне пришел представитель социального обеспечения и сказал:

— Будет лучше, если эти люди вернутся в Ньюкасл-Уотерс и начнут опять работать.

А я ему ответил:

— Слишком поздно, они не хотят возвращаться. Они работают по семь дней в неделю. Они все хорошие пастухи. Им следует платить, как белым пастухам.

А потом я вернулся в Дарвин.

ТЕПЕРЬ МЫ САМИ СЕБЕ ПОМОГАЕМ

(Рассказ Капитан-Майора)

Белый человек дал моему отцу имя Барни Майор, и когда я был мальцом, меня прозвали Капитан-Майор. А настоящее мое имя Лупгна Джиари. Я родился в Уэйв-хилл.

Я долго думал о том, что нашим людям платят мало и живут они плохо. И я думал, что нам никто не поможет. А потом я услышал, что белые говорят в каком-то суде, чтобы платили всем одинаково.

Работать я начал у себя в Уэйв-хилл. Я тогда был еще мальцом. Уэйв-хилл — моя родина. Я из племени гуринджи. Племя гуринджи все еще живет в Уэйв-хилл. (Я когда-нибудь туда вернусь.) Я научился делать всякую работу: плести кнуты, выделывать шкуры. В школе я никогда не учился.

Я ушел из Уэйв-хилл, когда мне было лет тринадцать. Еда в Уэйв-хилл была плохая, а денег вовсе не давали — только немножко леденцов, табак и спички. Я ушел оттуда и пришел в Виктория-ривер-даунс. И там то же самое: еда плохая, только солонина и хлеб, денег не дают, одежды не дают. Только что к солонине добавляют соли. (Это я тогда такую шутку придумал.) Потом я ушел в Брюнетт-даунс. Все работаю, а заработал драную одежду, сапоги и шляпу, денег так и не дали. Потом я был пастухом в Галлиполи. Мне обещали платить деньги — два фунта в неделю. Я там пробыл тринадцать лет. А когда уходил, они мне дали только восемь фунтов. «Это неправильно»,— сказал я себе.

За тридцать лет я обошел всю Территорию. И все думал: белые нас притесняют — платят мало, а то и вовсе не платят. И читать не учат. Только считать. Потому что скот надо считать.

Иногда я перегонял скот и работал в Квинсленде. Когда шла большая война, я работал для армии. Я возил лошадей из Дарвина за море в Новую Гвинею.

Два года назад я стал работать в Ньюкасл-Уотерс у Роя Эдвардса. Рой самый лучший хозяин, на каких я только работал. У нас в Ньюкасл-Уотерс был хороший дом. Полы цементные. И электричество. Лучше, чем на других станциях. Но только одна труба и один кран, который дает воду. И у нас не было плиты, чтобы стряпать, и умывальной, и вообще ничего. И мы должны были сами покупать себе одеяла. А они стоят больших денег. А Рой Эдвардс тем хорош, что с ним можно разговаривать. И он тебя слушает и отвечает тебе, как человеку, а не кричит, точно на собаку, как другие скотоводы.

Я был у Роя Эдвардса главным пастухом, а получал только десять долларов в неделю. И я думал про себя: этого мало.

Ну, в прошлую пасху мы сортировали скот и клеймили. Работали семь дней в неделю с рассвета до темноты. А в субботу, когда мы были в тридцати милях от станции, меня сбросила лошадь. Совсем необъезженная. Я ударился головой о дерево. И совсем обмер. Потом у меня очень болела шея. Я обмотал ее ремнем и работал. Мне было очень плохо. В воскресенье я увидел Роя Эдвардса и попросил его вызвать летающего доктора, а он сказал: «Ты и так выздоровеешь, Майор. Я скажу, чтобы жена растерла тебе шею мазью». Она растерла, а шея все равно болит. Всю неделю мы работали, а потом вернулись на станцию. Вечером я кончил объезжать лошадей, шел по двору и думал: я получаю только десять долларов, а другие и вовсе шесть. А женщины берут товар в лавке, и нам еще повезет, если через два месяца у нас останется тридцать шиллингов. Неправильно это. И опять я подумал: хорошо бы кто-нибудь нам помогал.

И тут один человек, Прентис, дает мне письмо. А я прежде никогда писем не получал. Читать я не умею и попросил Прентиса, чтоб он его дал Арти, молодому парню — он в школе учился. Арти мне и сказал, что было в письме. Прислал его Декстер Дэниелс. А я про Декстера слышал, что он молодой, и абориген, и работает в Дарвине для профсоюза. А в письме он говорил: «Все вы, пастухи, должны подождать меня. Я вернусь. Оставайтесь тут. Кончайте эту работу, а потом бросайте работать, чтобы вам платили правильно». Вот что было в письме.

А я сказал: «Это не дело. Мы кончаем сейчас. И все уйдем. Все до одного. Больше мы работать не будем». Так и сказал.

Рой Эдвардс очень рассердился и сказал: «Ладно. Уходите. Уходите на все четыре стороны. Я найму белых пастухов».

А я сказал: «Им эта жизнь будет не по вкусу. Они долго тут не останутся». И еще я сказал: «Мы хотим взять все деньги, которые нам причитаются. Мы два месяца никаких денег не получали».

И мы пошли к лавочнику за деньгами. А он дал мне только восемь фунтов. А я сказал: «Я в лавке почти ничего не брал. Это неправильно».

Тут из Эллиота вернулся Декстер в грузовике Помпея Аллена — он живет в Эллиоте,— и мы уехали. И с женщинами, и с детьми — все до одного, больше восьмидесяти аборигенов. За один раз все не поместились, и грузовик вернулся за остальными.

Один белый говорит, что Декстер приказал мне объявить забастовку, потому что по закону племени я должен его во всем слушаться. Это неправда. Он с Ропер-ривер, а я — гуринджи, и племена на Ропер-ривер мне чужие. Мы объявили забастовку, потому что нам мало платили. И нам помогли.

Мы остались в Эллиоте, а Декстер поехал назад в Дарвин.

А через несколько дней пришел мистер Кук из Обеспечения и сказал людям, что пусть пять человек вернутся в Ньюкасл-Уотерс и начнут работать. Меня там не было, и они пошли за мной. Он мне сказал: «Ну, ладно. Майор, что ты думаешь с ними делать?»

А я спросил Чарли и Давай-Валяя: «Что вы хотите делать? Решайте сами».

Они говорят: «Мы туда на тех же условиях возвращаться не хотим».

Тогда я пошел с Арти на почту и послал телеграмму Декстеру.

И я подумал: вот и есть человек, который нам помогает. Я стал ждать и никому ничего не говорил. Во вторник мы стали опять готовиться к отъезду. Я боялся, что Дэниелс не вернется. Нас, пастухов-аборигенов, было двенадцать, и уехать мы должны были на две недели. Мы собрали лошадей, пригнали их во двор. Всех лошадей собрали, чтобы уезжать.

А тут в шесть часов в этот вечер, в понедельник, вернулся Декстер и сказал: «Вот что, пастухи! Союз хочет, чтобы вы бросили работать. Сейчас бросили».

Я спросил: «А лошади как же? Они же во дворе».

Он сказал: «Ничего. Бросайте работу сейчас».

Я сказал: «Ладно, Декстер. Мы готовы».

Декстер тогда поехал в Эллиот, чтобы все там для нас приготовить.

Тогда я поговорил с остальными — с Диком, он родился и вырос в Ньюкасл-Уотерс, и с остальными ребятами: с Чарли, с Давай-Валяем, с Лео,— все они получали по шесть долларов. И они все сказали: «Ладно, Майор, мы бросим работу. Мы хотим, чтобы нам платили правильно, и не согласны ждать три года, как придумал этот суд».

Поэтому утром я пошел в большой дом поговорить с Роем Эдвардсом. Я сказал ему: «Мне очень жалко, только мы бросаем работать».

Он спросил: «Почему? Что случилось?»

Я ему ответил: «Тут был Декстер и сказал, что нам следует получать больше денег. Мы хотим получать правильные деньги, потому что мы хорошо работаем. Мы для вас отобрали две тысячи бычков, а каждый стоит тридцать фунтов».

Он сказал: «Я не могу платить вам, как белым, пока так не решит суд и другие хозяева».

Утром у нас не было никакой еды. Декстер ехал на грузовике, но грузовик по дороге сломался.

Пришел другой человек из Обеспечения, и мы его спросили: «Вы дадите еды для женщин и детей?» И он обещал. И вечером принес.

Потом приехал Декстер с едой и одеялами. А когда Декстер уехал, пришел еще один человек из Обеспечения и сказал: «Вы затеяли глупое дело. Профсоюз беден, а скотопромышленники богаты».

Он спросил меня, как нас всех зовут, и сказал, что поможет нам, если мы начнем работать.

А я сказал ему: «У Обеспечения было много времени, чтобы помочь нам. А теперь поздно. Теперь мы сами себе помогаем».

Ну, он и ушел.

Первого июня я договорился перегонять скот с Биллом Шарпом. За себя я оставил Чарли и Давай-Валяя. Когда я перегнал скот и вернулся, забастовщики перебрались в школьный дом в Ньюкасл-Уотерс. Там жить лучше. Это их родная земля. Но они не работали. И я спросил себя: «Раз мы вернулись, начинать нам работать или не начинать, пока не дадут равной платы?» И я себе ответил: «Так лучше. Работать мы не будем».

И мы не стали работать. А союз прислал деньги в лавку в Эллиоте, и мы могли покупать там еду и табак.

А потом Джордж Гиббс приехал туда с Кланси Робертсом, и они попросили меня поехать на юг поговорить с людьми из союза.

Может, мы победим. И у нас будет электрический свет и труба, проводящая воду, а если нам что-нибудь будет нужно, мы купим в лавке — печку, кровать. И мы купим книги для детей в школе. Все, что детям будет нужно, мы купим. И мы хотим, чтобы женщины получали пособия на детей сами и чтобы пенсионеры получали пенсии сами, а не управляющие за них. Так потом и будет. И мы будем получать правильные деньги, такие же, как белые. Наверное, так будет.

И я говорю все эти слова, верные слова, правильные слова Фрэнку Харди, и, может, он их запишет, чтобы все про них узнали.

А я хочу увидеть, как мои люди будут получать правильные, равные деньги, и тогда я, наверное, вернусь в Уэйв-хилл вместе с Эми и буду жить в моем родном краю с племенем гуринджи.

ОНИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ СТОЯТЬ НА СОБСТВЕННЫХ НОГАХ

Час был поздний, влажная тропическая духота лишила меня последней энергии, и я сказал, что попробую повидаться с Филиппом Робертсом на следующий день. Но, к моему большому удивлению, Джордж Гиббс заявил, что отвезет меня к Робертсу «сию же минуту».

Мы поехали в его стареньком «холдене». Ехать пришлось недалеко. Робертс стоял на пороге своего маленького коттеджа. Филипп Робертс невысок, но хорошо сложен и очень силен. Он — абориген с Ропер-ривер. Очень красивая голова, словно вырезанная из черного дерева, глубоко посаженные умные глаза, короткие курчавые волосы. После нескольких недель знакомства я убедился, что это человек исключительный: глубоко честный и решительный, с независимым умом, что большая редкость в эти дни повального конформизма.

Филипп пригласил нас войти. Старый стол, несколько колченогих стульев и приделанная к стене скамья — этим как будто исчерпывалась обстановка комнаты. Во время последней поездки королевы по странам Британского содружества наций предполагалось, что она посетит Филиппа. Дарвинские власти предложили купить ему полностью меблированный дом. Он отказался: «Если вы не хотите, чтобы она знала, как мы живем на самом деле, то не приводите ее к нам».

Мы сели у стола и сообщили Филиппу о цели нашего прихода. Он сказал, что недавно вернулся из поездки, которую совершал как служащий министерства здравоохранения: выискивал больных среди своих соплеменников, оказывал им медицинскую помощь или обеспечивал им лечение у более квалифицированного врача и обучал их начаткам санитарии и гигиены. И повсюду он видел волнение и негодование — люди ждали только призыва действовать. Повсюду его расспрашивали об увеличении заработной платы и изменениях условий труда. Все они слышали о судебном постановлении и о забастовке в Ньюкасл-Уотерс.

— О чем думает Пэдди Кэррол? — спросил он, стукнув кулаком по столу.— Почему он не призывает бастовать другие станции?

А не поговорить ли ему самому с Пэдди, посоветовал я. Филипп сначала отказался, говоря, что лучше бы это сделать Брайену Мэннингу. (Это было первое доказательство того, с каким доверием аборигены Северной Территории относятся к Брайену Мэннингу,— и далеко не последнее.)

— Я слышал, что Мэннинг сейчас в отъезде,— ответил я.— Да и в любом случае аборигенам следует как можно больше действовать самим. Что толку, если белые

доброжелатели, желая им помочь, будут все делать за них — организовывать их забастовки, а потом кормить их. Им надо дать возможность вести борьбу самим: пусть объединяются, пусть сами распоряжаются своими денежными средствами, пусть организуют свои забастовочные комитеты.

— А что делает Декстер Дэниелс? — спросил Филипп.

Я рассказал ему, что Декстер думает начать забастовку еще на нескольких станциях, если сумеет достать грузовик и заручиться необходимой помощью.

Филипп заговорил о Декстере, и в его голосе послышалась гордость:

— Он умеет бороться, этот юноша. Я с ним часто вижусь. Иногда приходится держать его в узде.

Обе стрелки моих часов стояли на двенадцати, когда мы, наконец, встали, чтобы уйти.

Мы с Джорджем Гиббсом еще раз пришли к Филиппу. Я разговаривал и с другими аборигенами, в том числе с братом Декстера Дэвидом и братом Филиппа Кланси Робертсом. Все они с большим энтузиазмом отнеслись к идее возрождения Совета по защите прав аборигенов. Вместе с Филиппом Робертсом мы составили план созыва большого митинга аборигенов, чтобы реформировать Совет и избрать исполнительный комитет. Филипп сказал, что Совету следует разработать подробную программу по вопросам заработной платы, образования, жилищ и т. д. Я согласился набросать проект программы, чтобы затем обсудить его с группой аборигенов дома у Филиппа.

Мы с Брайеном Мэннингом сидели в его грузовике и смотрели на устрашающую вывеску, которая гласила: «Бэготская резервация для аборигенов. Посторонним вход воспрещен!» Поездка в Бэгот — унизительное испытание для белых и для аборигенов, с которыми они хотят увидеться. Приходится ждать у ворот какого-нибудь аборигена, чтобы он сообщил о вас тому, к кому вы приехали. Мы послали за Декстером Дэниелсом незнакомого старика. Пока мы ждали, с Брайеном радостно поздоровалось несколько аборигенов. Старик вернулся и сообщил, что Декстера нет — он два дня как уехал.

Мы отправились к Брайену выпить чаю. Я рассказал ему о моих разговорах с Декстером, Филиппом и Джорджем и спросил, что он думает о наших планах. Брайен согласился, что забастовку следует продолжать и расширять, чтобы аборигены могли приобрести опыт и чтобы привлечь внимание к их бедственному положению, но он опасался, что время работает против них. Больше всего ему понравилась мысль о хорошо подготовленном массовом митинге аборигенов для преобразования Совета по защите прав аборигенов.

На следующее утро мы застали Декстера в Бэготе. Он подошел к грузовику.

Декстер сообщил мне, что его машина отказала в пути и ему пришлось бросить ее на обочине. Я рассказал Декстеру, что я сделал в его отсутствие. Преобразование Совета его не очень заинтересовало. Его точка зрения была очень простой: борьба — вот единственная надежда его народа. Если бы мы могли раздобыть ему грузовик и кто-нибудь поехал бы с ним, он призвал бы бастовать другие большие станции.

— А этот грузовик годится? — спросил его Брайен.

— Сойдет. Он твой, Брайен? Ничего, сойдет. Маловат, конечно, но и такой сгодится.

В клубе за рюмкой мы обсуждали опасности, которыми было чревато намерение Декстера действовать в одиночку. Без помощи Пэдди Кэррола и ПРСА аборигенов ждала верная неудача. Даже если Совет защиты прав снова будет функционировать, поддержат ли южные профсоюзы забастовку нечленов союза, действующих на свой страх и риск? Удастся ли убедить Пэдди поддержать дальнейшее расширение забастовок или хотя бы ту забастовку, которую Декстер организовал против его желания?

Эту ночь я пролежал без сна, томимый унылыми сомнениями.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ — И В ОДИНОЧКУ

Джордж Гиббс представил друг другу Филиппа Робертса и Пэдди Кэррола в помещении ПРСА.

— Я хотел бы, чтобы вы сказали прямо, мистер Кэррол, как вы помогаете моим соплеменникам бороться за их права и равную заработную плату.

Пэдди достал папку с документами, имеющими отношение к забастовке в Ньюкасл-Уотерс,— в том числе бухгалтерский баланс, переписку с нанимателями, расписки эллиотской лавки и просьбу к южным профсоюзам о денежных средствах.

Просмотрев документы, Филипп сказал:

— Дело не только в заработной плате. Вы не бываете на скотоводческих станциях, мистер Кэррол, а я там бываю постоянно. Мои соплеменники живут как собаки и питаются из рук вон плохо.

Пэдди ответил, что об этом должно заботиться министерство социального обеспечения. Профсоюз же занимается заработной платой и обращался в суд, чтобы

добиться для аборигенов на скотоводческих станциях уравнения в заработной плате с белыми. А суд постановил, что они должны подождать до декабря 1968 года.

— Мои соплеменники говорят, что не будут ждать три года.

— Я их не виню, мистер Робертс. Мы будем добиваться, чтобы заработная плата была повышена еще до декабря шестьдесят восьмого года. Третьего августа в Сиднее состоится конференция между АСТЮ, скотопромышленниками, правительством и ПРСА.

— И вы думаете добиться там равной зарплаты?

— Я убежден, что заработная плата пастухов-аборигенов будет повышена.

— Мои соплеменники хотят получать столько же, сколько белые, потому что они выполняют такую же работу, мистер Кэррол. А в Ньюкасл-Уотерс их слишком мало, чтобы они могли добиться уступок от скотопромышленников. Начать забастовку должны и другие станции, которые принадлежат крупным компаниям вроде «Вести».

— АСТЮ дал мне указание ничего не предпринимать до августовской конференции, мистер Кэррол. Мои руки связаны. Но я думаю, мы добьемся на ней уравнения заработной платы.

— Вы действительно считаете, что скотопромышленники будут выплачивать лишний миллион в год, когда им предоставлена возможность подождать до тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года? Что, если они не уступят? Как вы поступите тогда? Мои соплеменники готовы бороться — и вы должны им в этом помочь.

— Если в этом году, мистер Робертс, мне не удастся добиться уравнения заработной платы, я призову к забастовке другие станции.

— Год — это долгий срок, мистер Кэррол. Если конференция не примет решения уравнять зарплату, забастовку надо будет начать немедленно.

— Мистер Робертс, я хочу добиться победы, не подвергая ваших соплеменников ненужным лишениям. Я убежден, что конференция кончится успешно. Если же нет, я призову к забастовке другие станции.

Филипп Робертс встал и пошел к двери. Он обернулся:

— Спасибо, мистер Кэррол. Но помните одно: если вы не призовете станции бастовать, их призовем мы!

Джордж Гиббс отвез меня к Филиппу Робертсу, где собрались аборигены: брат Филиппа Кланси, смеющийся молодой великан с вдумчивым интеллигентным лицом, Декстер Дэниелс, импульсивный, умный, Дэвис Дэниелс, медлительный толстяк, добродушный, любящий пошутить — во время дальнейших событий его стойкости могли бы позавидовать все остальные. Еще там были Уолтер Роджерс и Мэтью Томпсон, люди, предпочитавшие не говорить, а действовать.

Все они горячо поддерживали мысль о созыве в следующее воскресенье у Рэпид-крик большого митинга, чтобы избрать новый исполнительный комитет и утвердить программу Совета защиты прав аборигенов. Я зачитал проект программы, посвященной главным образом вопросам заработной платы, жизненного уровня и социального обеспечения. «Нынешний жизненный уровень подавляющего большинства рабочих-аборигенов в Северной Территории — это позор для Австралии и прямое нарушение Хартии прав человека...»

Они подробно обсудили каждый пункт и признали программу хорошей.

— Вы хотите что-нибудь добавить?

— Да! — сверкнув глазами, воскликнул Филипп Робертс.— Надо положить конец тому, чтобы людей называли «черномазыми» и «образинами».

Его слова задели больное место, и мы, сформулировав это требование, внесли его в программу.

Завершив работу над программой, мы пришли к решению позже выпустить ее в форме листовки. Потом мы обсудили подробности предстоящего митинга. У Джорджа все было уже подготовлено и предусмотрено — организатор он прекрасный. Затем мы договорились после третьего августа «начать забастовку хотя бы на одной из больших станций, принадлежащих «Вести», как сказал Филипп. Понимая всю сложность положения, я внес поправку: не предпринимать ничего, не поговорив еще раз с Пэдди Кэрролом. Дэвис Дэниелс, сторонник гласности, обещал добиться, чтобы обо всем этом было напечатано в газетах: пусть люди знают, что происходит. Он, кроме того, предложил обратиться к Организации Объединенных Наций. Они с Филиппом несколько лет назад побывали в Кении. как гости Тома Мбойи, и это путешествие придало их взглядам интернациональную широту.

Когда мы прощались, все были в прекрасном настроении, кроме Филиппа. Причиной тому были его семейные неприятности. Он сказал нам, что не выставит свою кандидатуру в председатели Совета и, возможно, вообще не придет на митинг.

Джордж не хотел ничего слушать.

— В Совете вы необходимы!

— Они должны научиться стоять на собственных ногах,— возразил Филипп.

В воскресенье 29 июля в девять часов утра Джордж Гиббс и я подъехали к воротам Бэгота. Там собрались аборигены. Атмосфера была праздничной. Нам сказали, что первый автобус уже уехал, битком набитый. Подошел Декстер и сообщил, что на ми-

тинг соберется много народу. Он разговаривал с аборигенами, которые в свое время обслуживали армейские и летные части. Некоторые из них тоже собирались прийти.

К полудню более двухсот аборигенов — мужчин, женщин и детей — собрались под деревьями у заливчика Рэпид-крик. Молодежь и дети купались, люди постарше, присев на корточки, оживленно разговаривали. Некоторые играли в буту — карточную игру, напоминающую очко. Среди игроков сидел Роберт Тьюдавали. Он был совершенно трезв.

(А давно ли в старомодном баре отеля «Вик» я спросил у буфетчицы:

— Кто это там?

— Один абориген. Его, кажется, зовут Бобби Уилсон.

Бобби Уилсон? Это имя я слышал впервые, но самого человека, несомненно, видел прежде.

Я заговорил с Бобби Уилсоном, пригласил его выпить со мной, и он занял у меня доллар.

— Может быть, вам знакомо мое племенное имя — Тьюдавали?

Тьюдавали! Лицо, обросшее седой щетиной, беззубый рот, губы движутся, точно у рыбы, тоскливые, налитые кровью глаза, высохшее тело — когда-то сильное и гибкое. Да, это был Роберт Тьюдавали, в прошлом знаменитая кинозвезда, прославившийся в фильмах «Джедда» и «Хлыст».

Я сказал ему, что серии «Хлыста» возобновлены на телевидении.

— Все еще идут? — сказал он со слабой улыбкой.

Мы выпили и продолжали разговаривать. Я рассказал ему о своих беседах с Декстером и Филиппом. Аборигены готовы начать борьбу. А он — знаменитость. Он мог бы помочь. Им нужна его помощь.

— Я и себе-то не могу помочь,— ответил он с горечью.)

Я увидел, что Джордж спорит с Декстером, и подошел к ним. Филипп Робертс не появился, и Джордж настаивал, чтобы Декстер взял на себя роль председателя. Декстер смущался и не хотел соглашаться. Тут я увидел, что через дорогу идет Филипп. После некоторого спора он согласился быть председателем.

Декстер захватил с собой портативный усилитель и микрофон — подарок мельбурнских докеров, когда он ездил на юг. Однако никто не спешил воспользоваться микрофоном. Назначенное время уже прошло, а митинг все не начинался.

— Пэдди Кэррол здесь? — спросил я Дика Уорда, которого уговорил приехать и выступить.

— Нет, и он не приедет. Его жена звонила мне вчера и сказала, что я никогда не попаду в парламент, если буду якшаться с коммунистами, а все это — затея коммунистов. Я ответил ей, что обещал выступить,— и выступлю.

Несколько минут спустя поблизости остановилась синяя спортивная машина.

— Да это он! — удивленно воскликнул Дик.

Пэдди Кэррол не стал выходить из машины. Дик направился к нему, и они обменялись несколькими фразами. Когда Дик вернулся, я спросил, будет ли Кэррол выступать. Дик ответил, что не знает.

— Эй, ребята, подходите ближе! — загремел в усилителе чей-то голос. Микрофон держал Тьюдавали — босой, в расстегнутой рубахе.— Вы что, на пикник сюда приехали? Эй вы, там, в воде, вылезайте! — давняя привычка Бобби выступать перед микрофоном теперь хорошо послужила его соплеменникам.

Собравшиеся придвинулись ближе, но по-прежнему стояли, разбившись на отдельные группы. Филипп Робертс объявил просто:

— Даю слово Дэвису Дэниелсу, который прочтет новую программу Совета.

Дэвис начал читать, держа микрофон слишком далеко ото рта. Напечатанные мной листки программы дрожали в его руке.

— «Программа повышения жизненного уровня аборигенов Северной Территории. Пункт первый: работники-аборигены на скотоводческих станциях или занятые еще где-либо должны получать равную плату с этого года, а не через три года, как постановил суд».

— Ничего не слышно! — крикнул кто-то, когда Дэвис начал разъяснять этот пункт.

— «Пункт второй: та часть постановления суда, которая касается медленно работающих, вообще не должна «применяться». Мало ли белых работает медленно, а платы им за это никто не снижает! — пояснил Дэвис, по-прежнему мимо микрофона.— «Пункт третий: с нынешней противозаконной и дурной практикой, когда фондами социального обеспечения распоряжаются управляющие станций, служащие социального обеспечения и миссии, должно быть покончено. Все пособия матерям и детям, все пенсии и иные пособия должны выплачиваться прямо аборигенам».

Филипп, по-видимому, решил, что собравшимся следует обсудить и проголосовать каждый пункт программы отдельно; он взял микрофон и крикнул:

— Скажите, когда вы получаете пенсии и пособия на детей, хотите вы, чтобы деньги за вас получало Обеспечение и управляющие? Или вы хотите сами их получать?

— Мы хотим получать их сами! — отозвалась женщина, кормившая младенца.

Филипп повернулся к мужчинам, сидевшим в тени деревьев.

— А вы, ребята, что вы думаете? Не говорите «да» только потому, что женщины говорят «да»!

Дэвис прочел пункт о жилищных условиях. Филипп объяснил его и получил одобрение толпы. Дэвис прочел пункт пятый, содержавший требование одинаковых рационов. Филипп добавил:

— Вот вы все мне говорите, что еду вам дают всю вместе — мясо, овощи, суп, даже сласти. Все в одной тарелке. Как вы, ребята, хотите получать еду? Всю вместе или раздельно?

— Раздельно! — закричали они.

Дэвис Дэниелс прочел пункт шестой об образовании и пункт седьмой:

— «Туземная раса аборигенов должна быть поставлена под защиту федерального закона; уже существующие законы должны применяться в полную силу для защиты женщин-аборигенок. Пункт восьмой: употребление оскорбительных и унизительных кличек вроде «черномазый» и «образина» должно быть признано уголовным преступлением». Мы не должны больше терпеть оскорбления и мириться с расовыми предрассудками,— объяснил Дэвис.— Если кто-нибудь обзовет вас «черномазыми», вы должны иметь право требовать, чтобы полицейский забрал его в тюрьму. «Пункт девятый: резервации должны находиться под полным контролем и в полном владении аборигенов».— Дэвис совсем оправился от смущения и заговорил в микрофон.— Ведь если дело и дальше пойдет так, через пятьдесят лет у нас не останется никакой земли,— закончил он.

Филипп ставил каждый пункт программы на голосование. В заключение митинг постановил «сотрудничать с профсоюзами и другими заинтересованными организациями...», и Филипп сказал:

— Эта бумага будет напечатана и разослана по всей Австралии. Мы пошлем ее и за границу.

Потом он дал слово Пэдди Кэрролу, который все еще сидел в машине. Пэдди подошел к нему и заговорил, не беря микрофона. Иногда он пускал в ход ломаный язык:

— Мы все австралийцы, мы все рабочие, и довольно таких разговоров: черный парень, белый парень...

Внезапно его перебил бородатый абориген. (Холдер Адамс, как я узнал позднее. Адамс работал в Дарвине, получал такую же заработную плату, как и белые, и жил в квартире в одном доме с белыми.)

— Погоди, Пэдди! Это неверно. Мы пришли сюда сегодня поговорить как черные с черными.

Неслыханная вещь! Абориген перебил белого! Но Пэдди продолжал как ни в чем не бывало. Если на следующей неделе правительство не согласится на уравнение заработной платы, они не должны соглашаться работать, получая меньше. Профсоюз их поддержит. Но главное зависит от самих аборигенов.

— Я призываю вас поддержать Филиппа Робертса, Дэвиса Дэниелся и их товарищей — они делают нужное дело. И помогите нам, чтобы мы могли помочь вам.

Потом он пустил в ход обычный прием профсоюзных деятелей: начал выговаривать тем, кто пришел на митинг, за то, что народу собралось меньше, чем хотелось бы. Посмотрите, как тут мало людей! А ведь только в Бэготе живет шестьсот человек. И в Дарвине нетрудно найти работу — в порту или в муниципалитете,— за которую они будут получать равную плату. Но они не ищут эту работу.

— Вы должны работать и посылать своих детей в школу учиться!

Аборигены внимательно слушали и кивали. Это была отличная речь, хотя и несколько туманная.

Затем Филипп дал слово Дику Уорду, который сказал, что их поддерживает большинство белых австралийцев. Он объяснил, что в Дарвине открывается отделение службы социального обеспечения. Им следует обращаться туда и требовать, чтобы их пособия выдавались прямо им самим.

Тут, совсем меня ошарашив, Филипп дал слово мне. Я ничего подобного не ждал и не был готов. Но все-таки я сказал, что равенство возможно лишь тогда, когда человек получает равную зарплату, живет в хорошем доме, сам распоряжается своими деньгами и посылает своих детей в хорошую школу. Если они будут бороться за свои права, люди их поддержат, а я налажу связь с людьми на юге.

Затем Филипп Робертс приступил к проведению выборов. Председателем единогласно был избран Декстер Дэниелс. В секретари баллотировались Дэвис Дэниелс и старший брат Филиппа Джейкоб. Дэвис был избран большинством всего в шесть голосов.

Когда Филипп предложил называть кандидатуры заместителя председателя, кто-то крикнул: «Бобби Уилсон!» И Тьюдавали был избран единогласно. Он сказал негромко:

— Я вижу теперь, что мои соплеменники еще верят в меня, и я не обману их доверия: я буду бороться за их права, а пить брошу совсем.

Среди кандидатов в члены исполнительного комитета была названа Дорис, жена Дэвиса Дэниелса.

— Голосуйте против! — крикнула она.

Но все проголосовали «за», и она стала членом исполнительного комитета — возможно, первая чистокровная аборигенка, избранная в подобный орган. Как показало дальнейшее, к своим обязанностям она отнеслась очень серьезно и справлялась с ними отлично.

Филипп Робертс закрыл митинг весьма многозначительными словами:

— Мы встретимся снова, когда закончится конференция в Сиднее. Постарайтесь, чтобы на следующий митинг собрались все. Это зависит только от вас. Если конференция ни к чему не приведет, мы начнем действовать — в случае необходимости и в одиночку!

СПИЧКА В СУХОМ СПИНИФЕКСЕ

Наступило третье августа, и все мы думали о том, чего удастся добиться Пэдди Кэрролу на сиднейской конференции. Деньги с юга поступали медленно, и суммы были такими незначительными, что я несколько раз звонил в Сидней. Оказалось, что наши письма заблудились в бюрократическом лабиринте, к тому же чувствовалось явное нежелание оказывать какую бы то ни было помощь помимо ПРСА, однако некоторые профсоюзы послали деньги. Я спросил про конференцию, и мне сказали, что заседания прерваны.

Я поговорил с Филиппом, Декстером и Дэвисом. Я постепенно убеждался, что больше всего им не хватает той уверенности в себе, которую могут дать только самостоятельные действия. Я поговорил с рабочими мясохладобоен, а также с работниками скотоводческих станций, оказавшимися в городе, и пришел к выводу, что для расширения забастовки еще есть время, так как отбор скота должен был продлиться до конца ноября, когда начинается сезон дождей.

Пэдди Кэррол вернулся в Дарвин, но отказался что-либо сообщить — даже местной прессе. Он не собирался заранее показывать свои карты. Мне удалось узнать у него только одно — он не согласился на условия, предложенные правительством и нанимателями.

Я почувствовал, что было принято какое-то закулисное решение, причем никто не потрудился хотя бы узнать мнение забастовщиков Ньюкасл-Уотерс или других аборигенов.

Мы с Брайеном Мэннингом совещались ежедневно. Сотрудничество наше было очень плодотворным, а его редкая осведомленность во всем, что касалось аборигенов, и недюжинная политическая проницательность оказались для меня драгоценной поддержкой. По его мнению, Совет защиты прав следовало расширить и ввести в него представителей различных областей и племен. Большую же забастовку, считал он, быть может, следовало бы отложить до марта — до начала сезонных работ.

Оставалось одно белое пятно. Я не располагал никакими прямыми сведениями о том, действительно ли аборигены на скотоводческих станциях готовы приступить к активным действиям. И я решил узнать это без дальнейших проволочек.

Мы с Диком Уордом пили в уголке бара «Коммерческой гостиницы» в городке Катерин, в двухстах с лишним милях к югу от Дарвина. К вечеру зал заполнился рабочими мясохладобоен и другими местными жителями. Всюду виднелись широкополые шляпы и эластичные сапоги — в этот день в городе проходило совещание Ассоциации скотопромышленников Северной Территории. Сейчас его участники пили, обсуждали прогнозы погоды, цену на скот, недовольство среди аборигенов и слухи о новых забастовках.

— Если Декстер Дэниелс заявится ко мне,— сказал один из них, принадлежащий к породе молодых, подтянутых, щеголеватых управляющих с жестокими глазами,— я застрелю его тут же на месте. И я не шучу!

Дик отправился потолковать с посетителями соседней пивной, а я подсел к группе аборигенов, которые расположились возле окна подальше от белых.

Я пригласил их выпить со мной. Они как будто смутились — в Катерин белые редко пьют с аборигенами, хотя в бары обеих гостиниц аборигенов пускают. Но когда я заговорил об уравнении заработной платы, их недоверие рассеялось.

— Вы, ребята, слышали, что пастухи в Ньюкасл-Уотерс бросили работу и бастуют, требуя равной платы? — спросил я.

Да, они про это слышали и считают, что это «хорошо придумано; лучший способ добиться правильной платы».

Но я был осторожен. Аборигены всегда готовы сделать приятное белому, особенно когда он держится с ними по-дружески, и говорят ему то, что, по их мнению, он хочет от них услышать. Таким образом они оберегают свои истинные мысли и чувства, которые у белых часто вызывают только пренебрежение; он же, возможно, угостит их пивом, даст закурить и уйдет довольный. А психологи они прекрасные и по тону голоса легко отгадывают, какого ответа от них ждут. Вот почему так мало белых знает их по-настоящему. Но я скоро убедился, что они были искренни со мной: они

говорили о том, как мало они зарабатывают — да и эти деньги им далеко не всегда удается получить целиком и точно в срок,— и о том, что они ждут Декстера Дэниелса (двое были пастухами на разных станциях, а третий — погонщиком). Их, безусловно, возмущало то, что за одинаковую работу они получают гораздо меньше белых. Они слышали, что по постановлению суда им придется ждать еще три года, и это их также возмущало. Все слышали про митинг у Рэпид-крика, хотя никто не умел читать.

Один из них куда-то ушел и через четверть часа вернулся с двумя товарищами. Другие последовали его примеру, и вскоре в нашем углу собралось уже человек двадцать. Я испытал очень неприятное чувство, когда один из вновь пришедших, бывший полицейский «бой», почтительно сняв шляпу, назвал меня «большим начальником из Дарвина». (Полицейские старой школы муштровали своих «боев», как заправские дрессировщики.)

Я рассказал им про Капитан-Майора, про Совет защиты прав и о том, что следовало бы устраивать больше забастовок. А они с несомненной искренностью сообщили, что повсюду аборигены говорят о том, чтобы «бросить работу, как в Ньюкасл-Уотерс»,— не только на ближних станциях, но даже в Виктория-ривер-даунс и Уэйв-хилл. И они хотят, чтобы их дети ходили в школу, хотят покупать для них книги, хотят жить в настоящих домах.

Скотопромышленники злобно косились на нас, старались подслушать, о чем мы говорим, но не вмешивались. Правда, когда я вышел в коридоре меня нарочно толкнул какой-то пьяный управляющий, явно рассчитывая затеять драку.

В десять вечера аборигены разошлись и каждый отправился своим путем, надеясь, что Декстер Дэниелс придет и к ним. Многим из них не пришлось долго его ждать.

Лидеры аборигенов Декстер, Дэвис и Кланси Робертс встретились с Пэдди Кэрролом. С ними пришли Брайен и Джордж.

Кэррол сказал, что в Сиднее он принципиально отказывался от компромиссных решений и требовал установления равной платы, но что в самом ближайшем будущем заработная плата пастухов-аборигенов, несомненно, будет несколько повышена. А для продолжения забастовки у него нет денежных средств. И вообще ему хочется добиться уравнения платы, не подвергая аборигенов ненужным страданиям. Рассердившись на возражения Джорджа, он сказал потом, что они только от него чего-то требуют, а сами палец о палец ударить не желают. Почему бы им, например, не организовать демонстрацию в Дарвине? Завтра законодательный совет будет рассматривать билль о праве аборигенов владеть землей. Почему бы им не устроить демонстрацию перед зданием совета?

Кланси и Дэвис согласились, хотя и без большой охоты. Филипп Робертс, когда ему сказали про демонстрацию, заметил:

— Даже если билль пройдет, его должен будет утвердить генерал-губернатор, а он подотрет им задницу.

Ни до, ни после я не слышал, чтобы Филипп употреблял крепкие выражения.

Декстер не видел в демонстрации никакого смысла; ему не терпелось отправиться в поездку по станциям. Но после некоторых споров было решено поймать Пэдди на слове.

Джордж энергично взялся за дело: позвонил члену совета от лейбористской партии, который внес билль, а потом мэру города, и тот согласился на следующее утро принять делегацию аборигенов. Брайен, Дэвис, Декстер и я начали сочинять и писать лозунги.

На следующее утро около пятидесяти аборигенов — в том числе несколько женщин — демонстрировали перед зданием законодательного совета, а мэр Гарри Чэн сказал, что пока он останется мэром, они всегда могут рассчитывать на его поддержку. Дэвис заявил репортерам, что Совет защиты прав аборигенов намерен «призвать к забастовке еще несколько станций, если профсоюз не захочет этого сделать». (Дэвис не признает уклончивой тактики.)

Я смотрел на них с противоположного тротуара. Внезапно из-за угла вылетела машина Пэдди Кэррола. Пэдди вылез и подошел к аборигенам и репортерам. Джордж Гиббс ткнул его в грудь и сказал воинственно:

— Ну, аборигены вышли на демонстрацию! Пора и вам что-то для них сделать!

Пэдди только зубами заскрипел.

Дэвис и Кланси построили аборигенов в колонну по четыре в ряд.

Пэдди спросил:

— Куда это они идут?

— К помещению профсоюза,— ответил Брайен.

— А зачем? Ведь я же здесь! — удивился Пэдди.

Но демонстрация двинулась вперед. Она шла через город. Марширующие аборигены раздавали листовки с программой Совета. Белые прохожие на тротуарах смотрели на них с изумлением. Какой-то белый с весьма суровым лицом крикнул:

— Кланси Робертс! Сейчас же выйди из рядов!

Но Кланси не обратил на него никакого внимания. Декстер сказал мне, что уезжает в четверг. Он не сомневался, что аборигены Уэйв-хилл готовы начать забастовку. Я рассказал ему про то, что узнал в Катерин.

Он ответил с простодушием, которое могло быть напускным:

— Пэдди сказал, чтобы я не начинал никаких забастовок во время поездки.

— Начинать ты их не будешь,— ответил я.— Но и прекращать тоже не будешь!

Он улыбнулся во весь рот.

— Верно, Фрэнк! Если ребята в Уэйв-хилл захотят бросить работу, я их останавливать не стану. Да я и не смог бы их остановить, даже если бы захотел.

Я едва успел вернуться домой в Сидней, как зазвонил телефон. Это был Брайен. Пришла телеграмма. Она была несколько туманной, но во всяком случае в Уэйв-хилл забастовка началась, а может быть, и не только там.

Утром я включил «Последние известия». Одна из новостей: более двухсот аборигенов объявило забастовку в Уэйв-хилл (Северная Территория), требуя повышения заработной платы.

Спичка была брошена в сухой спинифекс.

Возврата больше не было.

КАК НАЧАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА В УЭЙВ-ХИЛЛ

(Рассказ Декстера Дэниелса)

Я помню, как я познакомился с Фрэнком Харди. Он из Сиднея и пишет книги. Я сказал себе, что мне надо его повидать, и пошел к нему. Я ему сказал:

— Что ты думаешь про забастовку аборигенов в Ньюкасл-Уотерс?

А он сказал:

— Это правильная забастовка.

И тогда я сказал:

— Эта забастовка маленькая. Эти люди умеют ждать, но их слишком мало.

И тогда я его спросил, как он думает, надо ли аборигенам устраивать еще забастовки, а он ответил, что надо, если аборигены хотят бороться. И тогда я ему сказал, что аборигены-пастухи повсюду ждут меня. А он меня спросил:

— Почему ты больше не работаешь в профсоюзе?

И я ему объяснил:

— Пэдди не понимает, что аборигены ждут меня.

Тогда Фрэнк сказал, что надо помочь им бороться, а я сказал, что самый верный путь — это забастовка.

И Фрэнк сказал, что для этого нам нужен Совет защиты прав, и тогда мы поговорили с Джорджем Гиббсом, Филиппом Робертсом и Брайеном Мэннингом, и потом был митинг у Рэпид-крика. Там собралось много аборигенов. И Совет защиты прав опять заработал. После этого было много всяких разговоров про конференцию в Сиднее. Мне эти разговоры не нравились. И я сказал себе: «Я, пожалуй, уйду к своим людям, туда, где они живут. Так я им больше помогу».

Потом я как-то после обеда пошел в больницу и познакомился там с одним стариком. Его зовут Винсент Линджиари. Белые называют его Том Винсент. И я ему сказал:

— Ты откуда, старик?

А он сказал:

— Я из Уэйв-хилл.

И я сказал:

— А сколько в Уэйв-хилл платят работникам-аборигенам?

Он сказал:

— Только шесть долларов в неделю и паек: мука, сахар, хлеб и солонина.

В больнице он был потому, что повредил на работе ногу. А теперь возвращался в Уэйв-хилл.

Я сказал ему:

— Я еду в Уэйв-хилл. Выеду в четверг.

Утром в четверг я уехал из Дарвина с Уолтером Роджерсом. И еще с Ником, который работает в порту.

В Аделаида-ривер мы встретились с Фрэнком и долго разговаривали. И он сказал мне:

— Начни с Уэйв-хилл, Декстер.

А я ответил:

— Ладно, Фрэнк. Уэйв-хилл.

Фрэнк неделю назад ездил по этим краям и разговаривал с пастухами-аборигенами. Он знал, что они меня ждут, и знал, что я говорил со стариком Винсентом. И мы поглядели на карту. И сказали, что на обратном пути, может быть, побываем в Виктория-ривер-даунс. Потом мы поехали в Катерин. И переночевали там. Рано утром мы поехали дальше. Это была пятница. Ник хотел, чтобы мы заехали в ВРД, и я сказал: ладно, Кинга Брамби я знаю. И мы поехали туда. Кинг Брамби был в поселке. Он старик. На шее он носит шнурок с дощечкой, а на дощечке написано его имя. По-моему, ему не надо бы носить эту дощечку. Я поговорил с ним и сказал:

— Вы тут не получаете правильной платы.

А он сказал:

— Нет, не получаем.

А я сказал:

— Правильный путь — это объявить забастовку.

А он сказал:

— Верно, Декстер. Я про тебя слышал: ты научил ребят в Ньюкасл-Уотерс бросить работу.

И тогда я сказал, что это я, и спросил, хотят ли они сделать то же самое? А он сказал:

— Да, Декстер. Мы хотим бороться.

Мы все собрались вместе, и тут к нам пришел падре-миссионер в пижаме. И он тоже сказал мне, что поможет аборигенам бороться, что он для них тут, в ВРД, может сделать очень много.

А я сказал ему:

— Вы христианин, вы должны помочь этим людям бороться.

И он сказал «да», но потом он ничего не сделал, а только все рассказал управляющему.

Тут я сказал Нику, что Фрэнк говорил, чтобы мы ехали прямо в Уэйв-хилл, а то управляющий там приготовится к нашему приезду. Поэтому мы сказали Кингу Брамби, чтобы они бросили работу в следующий вторник и прислали нам телеграмму. Кинг Брамби не умеет писать, и мы ему написали две телеграммы, чтобы он их послал в Дарвин. Он сказал, что пошлет их во вторник. И мы уехали оттуда в Уэйв-хилл. Дорога в Уэйв-хилл плохая, ехать трудно. Но нам надо было торопиться, потому что старик Винсент должен был вернуться в субботу. А была уже суббота.

И получилось так: только мы подъехали к летной дорожке в Уэйв-хилл, как там сел самолет из Дарвина, а на нем прилетел старый Винсент. Он подошел и пожал нам руки, а я сказал: это Уолтер, а это Ник. Винсент стал говорить с нами про плáту и сказал мне:

— Мы тебя тут долго ждали. (Это он мне говорил еще раньше в Дарвине.) Мы много слышали про тебя и про ребят в Ньюкасл-Уотерс.

Тогда я сказал ему:

— Ну, вот я здесь.

Я сел в грузовик, и мы поехали к скотоводческой станции Уэйв-хилл. Винсент Линджиари поехал туда в грузовике лавочника в кузове. В Уэйв-хилл я увидел лавочника и спросил его, где управляющий. А он сказал, что они все уехали на скачки. Тогда я спросил, можно ли мне поговорить с аборигенами, а он сказал, что я должен сперва дождаться управляющего. А я сказал ему: если я хочу поговорить с аборигенами, мне никто этого запретить не может. А он сказал, что мне лучше подождать управляющего. Ник с ним тоже разговаривал. Он не боится белых начальников. Уолтер больше молчал, но он тоже не боялся.

Через пять минут пришел Винсент Линджиари и сказал, что все пастухи уехали на скачки. Тогда я ему сказал:

— Это усложняет дело,— сказал я ему.— Но я хочу, чтобы вы бросили работу. Не выходите на работу, когда пастухи вернутся. Собери пастухов и скажи им то, что я тебе сейчас говорю,— сказал я ему.— Не выходите на работу и пошлите мне телеграмму, тогда я вернусь и привезу еду. Я обязательно вернусь.— И еще я ему сказал: — Нам надо делать так, как делали в Ньюкасл-Уотерс. Мы должны сплотиться. Это не просто забастовка. Это очень большое дело. О нем могут узнать во всем мире; люди будут слушать о нем по радио и читать в газетах.

И я написал ему телеграмму и объяснил, чтобы он ее послал, когда они бросят работу.

Винсент Линджиари времени не терял. Когда я вернулся в Дарвин, телеграмма уже пришла. Кинг Брамби телеграммы не прислал, и я прочел в газете, что он эти телеграммы разорвал. Поэтому я сказал: я съезжу в ВРД, и поехал туда.

Только сперва я вернулся в Уэйв-хилл. Мы поехали туда через неделю. Со мной поехали Брайен Мэннинг и Бобби Уилсон. А в Уэйв-хилл мы нашли аборигенов в десяти милях от станции на берегу Виктория-ривер. Они устроили там лагерь. Мы туда приехали ночью. Они нам очень обрадовались. Чуть не стали нас целовать. Мы проговорили с ними всю эту ночь и рассказывали им про людей, которые хотят им помочь,— про людей в Дарвине и на юге.

На следующий день Брайен поехал в поселок Обеспечения поговорить с Биллом Джеффри. Он представитель Обеспечения. Он лучше многих. Он помог Винсенту отослать телеграмму, и он все время помогал аборигенам. А я поехал в ВРД с Бобби Уилсоном. Мы остановились возле лавки, и мимо шел человек, и я сказал ему, что хочу увидеть Кинга Брамби. А он спросил зачем. Я сказал: он послал мне телеграмму, а я ее не получил. Он сказал, что Кинг Брамби передумал и разорвал телеграмму, а я сказал, что сам его спрошу. И тогда он послал мальчишку за Кингом Брамби, и когда он пришел, я спросил:

— Ты послал мне эту телеграмму, Кинг Брамби?

А он сказал:

— Я хотел послать ее, Декстер, а кто-то ее разорвал.

— Покажи, кто ее разорвал?

И Кинг Брамби показал на белого служащего.

— Вот он. Он разорвал телеграмму, Декстер.

А тут как раз подошел этот падре-миссионер, и я ему сказал:

— Никакой вы не христианин и зря себя так называете!

А потом я спросил у Кинга Брамби, где пастухи, а он ответил:

— Они знали, что ты вернешься, Декстер, потому отослали всех пастухов объезжать стада.

Так забастовка в ВРД не началась, и мы с Бобби вернулись в Уэйв-хилл. И мы разговаривали с Брайеном Мэннингом, и с Билом Джеффри, и с людьми гуринджи на их стоянке у реки. И они очень радовались, что борются за хорошую плату и условия и что у них всюду есть друзья. Пока они не начали забастовки, друзей у них не было.

РАССКАЗ ВИНСЕНТА ЛИНДЖИАРИ

— Я — Винсент Линджиари из Уэйв-хилл. Это мое настоящее имя. Том Фишер и белые служащие называли меня Томми Винсент. Я из племени гуринджи. Мои люди живут в области Уэйв-хилл. Это мой родной край. Я прошел посвящение Гунабибы. Гунабиба — это мать племени гуринджи. Пляски корробори рассказывают о том, как змея-радуга выплюнула человека и его сына вблизи Ватти-крик в Дни снов.

Управляющим Уэйв-хилл был Том Фишер. Он служил у «Вести». Объезды и сортировка всегда бывают два-три месяца. И аборигены все время на стоянках. А белые пастухи каждую пятницу возвращаются на станцию. Это неправильно. Я долго об этом думал. И я думал, что хозяева с аборигенами обходятся плохо. Некоторые белые пристают к нашим женщинам и поэтому отсылают аборигенов со станции на все время сортировок. А когда пастухи-аборигены возвращаются на станцию, их сразу снова отсылают. Это неправильно.

Один раз я попросил у Тома Фишера грузовик, чтобы привезти дрова в поселок аборигенов при уэйв-хиллской станции, а он сказал, что все грузовики сломаны. И другой раз я опять просил грузовик, чтобы поехать в Никольсон на большой праздник — на церемонию посвящения, а он опять не захотел дать мне грузовик.

И деньги аборигенам платили неправильные. Шесть долларов в неделю, только не каждую неделю. Два-три месяца — и денег нет. Все истрачено в лавке. Может, два-три фунта на скачки или праздник. И пособий на детей — никаких.

Том Фишер нас совсем допек. И мы бросили работу, когда приехал Декстер. Мы были очень рады, что он приехал. Он нам помог.

Я помню, как Декстер пришел вечером в больницу. Я попал в больницу — сломал ногу. И Декстер спросил, как платят в Уэйв-хилл. Я сказал:

— Плохо платят.

— А еда какая?

Я сказал:

— Солонина и хлеб.

— И все?

А я сказал:

— Да, все.

Декстер спросил:

— Ты большой вождь у аборигенов Уэйв-хилл?

Я сказал: «Да». И я сказал ему, кто я в племени гуринджи. А он сказал мне, что он в племени Ропер-ривер. И мы поговорили про нашу кожу. Белым я про это сказать не могу, а Декстеру я сказал, и он сказал мне. Он может жениться на моей сестре, а я могу жениться на его сестре. Только жениться мы не будем, потому что у нас уже есть жены. Но мы могли бы, если бы хотели,— по нашему закону.

И Декстер сказал:

— А что вы в Уэйв-хилл думаете делать, если вам не станут платить правильных денег?

— Не знаю,— сказал я.— Том Фишер нас совсем допек, и нам надоело терпеть, что на земле гуринджи живут служащие «Вести».

Когда нога у меня срослась, я ушел в Бэгот и жил там несколько дней. А Декстер всегда живет там, и он мне сказал:

— Когда ты возвращаешься в Уэйв-хилл?

А я сказал, что в субботу, на самолете.

— Может, я приеду к тебе в Уэйв-хилл,— сказал он. И приехал.

Я сошел с самолета и увидел Декстера. И мы с ним поговорили. Потом я поехал на грузовике на станцию, чтобы получить свой паек. И я сидел под деревом в тени, когда на станцию пришел Декстер с еще одним аборигеном и белым из Дарвина, тут прибежал мальчишка и позвал меня к Декстеру. Я пошел и поздоровался с

Декстером, а он спросил, что мы решили делать дальше. Я сказал ему, что все на скачках.

— Это я знаю,— сказал он.— А вот когда они вернутся? Что вы скажете Тому Фишеру?

— Я скажу, что мы хотим получать правильную плату, как ты говорил в Дарвине.

А Декстер сказал: «Ладно». И сказал, что оставит мне письмо. Он написал два письма и сказал:

— Вот бери. А когда племя вернется со скачек, ты будешь знать, что делать.

И тогда Декстер уехал.

Том Фишер вернулся со скачек ночью в субботу. После полуночи. Я слышал, как он вернулся. А пастухи-аборигены вернулись на рассвете, и я рассказал им про то, что мне говорил Декстер.

Рано утром я пошел к Тому Фишеру и сказал ему: «Добрый день». И он мне сказал: «Добрый день». И тогда я ему сказал:

— Пока я был в Дарвине, тут белые объездчики приставали к нашим женщинам.

— Нет, нет! — сказал он.

— Приставали,— сказал я.— Так они говорят. И вот что, Том. Надо повысить плату. Я хочу для наших пастухов двадцать пять фунтов в неделю.

— Нет, нет,— сказал он.— Ты этого не получишь.

— Ладно. Если я этого не получу, то я сегодня бросаю работу.

Я пошел в поселок. И поговорил там с людьми, сказал им про мой разговор с Томом Фишером. И они мне сказали:

— Ты правильно сделал, старик. Мы очень довольны, что ты так для нас сделал. Только вот как будет с едой?

— О еде не беспокойтесь,— сказал я.— Декстер привезет из Дарвина много запасов.— И еще сказал: — Может, уйдем к реке и устроим там лагерь. Тут нам оставаться нельзя.

И мы ушли. Взяли свои мешки, чайники и все, что могли унести. Не так уж много, никакой мебели. Но все равно было тяжело нести. Мы прошли десять миль по реке, с женщинами и детьми. И устроили лагерь в сухом речном русле. Хороший песок, хорошая галька. Хороший лагерь, лучше старых хижин в поселке.

Пока мы шли, я все думал про письма, которые дал мне Декстер.

Утром я пошел в поселок Обеспечения и отдал эти два письма Биллу Джеффри, чтобы он их отправил. Он сказал: «Ладно, я их отправлю за тебя». Я пошел назад в лагерь. Туда пришел Том Фишер с Питером Моррисом, белым начальником из Сиднея — он в «Вести» большой человек. Питер Моррис со мной поздоровался, и я с ним поздоровался. И он сказал:

— Зачем вы это делаете?

А я сказал:

— Я попросил у Тома Фишера двадцать пять фунтов в неделю. А он не согласился.

— Мы вам столько платить не можем,— сказал Питер Моррис.— Возвращайтесь-ка на работу.

А я сказал:

— Нет.

И он спросил:

— Кто вас научил так сделать? Декстер Дэниелс?

Я сказал:

— Да. Я теперь буду делать все правильно.

— Может, вы, ребята, вернетесь? — спросил Питер Моррис.

— Нет, я назад не вернусь. Может быть, я совсем назад не вернусь. Я должен подождать Декстера Дэниелса. Теперь он мой босс.

А Питер Моррис сказал, что союз про эту забастовку ничего не знает. Вот пастухи в Ньюкасл-Уотерс забастовали и никаких денег не получили. Он сказал, чтобы мы лучше передумали. А я ему ответил, что передумывать не буду, а буду ждать Декстера. Питер Моррис сказал:

— Возвращайтесь на станцию и не работайте, а я скажу, чтобы вам давали еду.

А я сказал:

— Нет, мы будем ждать Декстера.

Тут заговорил Том Фишер и сказал:

— Я пришлю вам выбракованного бычка, Томми.

А я сказал:

— Нет, спасибо, Том, нам бычок не нужен. Мы больше от «Вести» ничего не возьмем.

Они уехали, а потом вернулись и сказали, что им нужны люди, чтобы работать на станции. Тогда я сказал:

— Ладно. Одного-двух я могу вам дать в помощь, но забастовку кончать не буду.

— А что вы будете есть? — спросили они.

— Декстер вернется,— сказал я.— Люди в Дарвине и на юге нам помогут.

А Питер Моррис сказал:

— Вы все уволены!

И они ушли.

А я стал думать, что мы тут совсем одни и без еды. А Декстер может и не вернуться. И я все думал, правильно ли я сделал. Привел всех сюда без еды. Тогда я сказал мужчинам, что мы пойдем охотиться на кенгуру и гоанн, а женщины будут собирать ягоды и ловить рыбу в бочагах. Тут пришел Билл Джеффри и сказал, что даст еду детям, которые ходят в школу, и женщинам на сносях. Он так и сделал, а еду мы разделили.

И стали ждать Декстера Дэниелса.

Сиднейские газеты писали о забастовке в Уэйв-хилл на первых страницах: 200 аборигенов бастуют, требуя 5 фунтов в неделю; туземцы бросают работу; станция взята за горло. Я читал:

«На забастовку аборигенов толкнул двадцатитрехлетний Декстер Дэниелс, который побывал на станции в прошлую субботу, забастовка началась без ведома профсоюза... секретарь профсоюза П. Дж. Кэррол вел переговоры... некоторое повышение заработной платы пастухам-аборигенам до уравнения платы в 1968 году... стороны почти пришли к соглашению... от 14 до 15 долларов в неделю... Мистер Кэррол сказал, что профсоюз не давал полномочий и не рекомендовал аборигенам Уэйв-хилл бросать работу. Он сказал: «По нашему мнению, мы можем добиться цели, не подвергая страданиям большое число людей, которых мы не сможем прокормить... но есть другие заинтересованные лица... которые, по-видимому... подстрекали аборигенов уйти».

Известие о забастовке подняло в моей душе мучительные сомнения. Если она окажется несвоевременной, то может иметь для аборигенов катастрофические последствия. И вина падет на меня, писал я в своем дневнике.

РАССКАЗ БРАЙЕНА МЭННИНГА

Мы приехали поздно, часов в восемь вечера. Мы свернули с дороги, спустились в русло прямо по гальке и вдруг увидели аборигенов в свете фар нашего грузовика. Нетрудно было заметить, что они очень возбуждены. Наверное, они сначала приняли нас за каких-нибудь белых объездчиков, которые опять будут приставать к их женщинам. Но когда они узнали Декстера, то очень обрадовались. Я спросил, хотят ли они есть, но они ответили «нет». Декстер вылез из кабины, и мы забрались в кузов — он был по борта нагружен мукой, сахаром, чаем, рисом и, конечно, табаком. Продовольствия мы привезли около двух тонн — машина у нас была трехтонка. Сахар у них кончался, чая совсем не было. Но Джеффри о них позаботился. Я спросил у Винсента:

— Будем сейчас разгружать или подождете до утра?

— Мы снимем один мешок,— сказал он.

Мы сбросили мешок с сахаром и развязали его. Тут они все кинулись к мешку с чайниками, кружками и всякими другими посудинами — каждый брал горстку. Только всего им и надо было — выпить чашку чая.

Подходили люди, которых я прежде никогда не видел, и хлопали нас по спине. Им было нужно не только продовольствие: они хотели узнать новости, искали моральной поддержки. Ведь шесть дней они провели в полной изоляции, не имея никаких вестей от Декстера или от профсоюза. Они были совсем одни, если не считать Билла Джеффри. И вот теперь они вытащили чайники, а мы сели с ними у костров и стали им рассказывать о том, как мы думаем поддержать их, и о том, что мы рассчитываем на денежную помощь с юга. С нами разговаривали Винсент, Пинчер, Длинный Джонни, Джек Сухостой и высокий толстяк — забыл его имя, но он был у них в лагере поваром.

Ну, как только они удостоверились, что еда у них будет, мы уселись у костра и начали толковать по душам. Я все это записал на магнитофон, получился полнейший доклад для профсоюза и Совета защиты прав аборигенов. Они, например, говорили так: «Этот белый, он со мной всегда обходился как с собакой». Они имели в виду его привычку почти никогда не обращаться к аборигенам по имени, а подзывать их свистом, точно собак. Они рассказали мне, как их кормили на стоянках во время объездов — ломоть хлеба с куском мяса и кружка чая. Причем кружек у них часто не было вовсе, а чайником служил старый молочный бидон. Чая им давали достаточно, но без молока и почти без сахара. А они любят, чтобы чай был сладким. Они сообщили мне, по скольку часов в день работали. Они никогда не знали заранее, будут ли им платить через месяц или через три месяца, да и вообще денег на руки почти не получали. Особенно их задевало то обстоятельство, что во время объездов «кудебы» (так они называют белых пастухов, объездчиков и т. п.) могли, когда хотели, возвращаться на станцию и спать с их женщинами.

Они дали мне в пользование чайник и обходились со мной как с дорогим гостем. Я разговаривал с ними про заработную плату и условия их труда, но после я

пришел к заключению, что это было для них скорее второстепенным вопросом — гораздо больше их волновала узаконенная унизительность их положения. Старика Винсента весьма насмешило следующее обстоятельство: когда они вернулись на станцию за своими вещами, то там один белый колол дрова. Такого зрелища им еще никогда видеть не приходилось. Было уже, наверное, три часа ночи, когда я, наконец, лег спать.

На следующее утро они собрались у грузовика, и я сказал:

— Ну, Винсент, что вы намерены делать с этими припасами?

Мы привезли только самое необходимое — никаких деликатесов (черной икры достать не удалось). Животное масло и пищевые жиры они не употребляют. Мы привезли много джема и ящик сухих дрожжей, так как они пекут лепешки на свой лад из дрожжей и простой муки. Получается очень неплохо — я много раз ел эти лепешки.

Винсент сказал, что все возьмут сейчас понемногу. Аборигены разбились на семьи, а семьи расположились по берегу реки родственными группами. Они брали по мешку муки и мешку сахара для родственной группы в целом, а уж потом каждый брал свою долю. У них существует своя система дележки, очень рациональная. Остальное Винсент попросил нас отвезти на склад Обеспечения.

Я хотел расспросить Билла Джеффри о здоровье детей и о школе. Прежде я с ним знаком не был. Мы приехали к его дому рано утром, и он встретил нас с распростертыми объятиями. Он тут же заявил:

— Где этот страшный Декстер Дэниелс? Я хочу познакомиться с парнем, который заварил всю эту кашу!

Тогда Декстер слез с грузовика — невысокий, спокойный, скромный и застенчивый, как всегда. Билл сказал:

— Черт побери, я вам очень рад! Я уж начал беспокоиться. Боялся, что у вас все сорвется. И у них ничего не выйдет.

Я попросил его забрать продовольствие.

— Хранить его в казенном складе я не могу, но у нас есть сарай. Сложите его там.

И аборигены перетаскали мешки в сарай.

Джеффри даже предложил мне поселиться в комнате для приезжих. Я воспользовался его гостеприимством и чуть было не навлек на него неприятности, так как переночевал там, пока Декстер и Тьюдавали ездили в ВРД.

Мне казалось, что я имею полное право жить там, ведь я приехал помочь аборигенам. Однако из Дарвина прибыл чиновник министерства социального обеспечения и заявил Джеффри, что я — персона нон грата. Мне пришлось вернуться в лагерь забастовщиков.

Утром мы устроили большой митинг. Декстер, Тьюдавали, я, Винсент, Длинный Джонни и Пинчер сели полукругом, так, чтобы видеть друг друга. Остальные аборигены сели напротив, образовав большой полукруг. Мы обсуждали забастовки и планы на будущее, а они слушали очень внимательно и говорили «да» всегда впопад. Они решили, что не вернутся назад, пока для этого не настанет подходящий момент, о чем им сообщим мы с Декстером.

Мы должны были еще уточнить их требования. Главным было: равная плата с белыми, приличная еда, хорошие дома для жилья. Так и порешили. Мы сказали: «Ладно! Мы будем стоять за вас, пока вы всего этого не добьетесь».

И мы уехали.

ТОМ ФИШЕР ТРЕТ ЛЫСИНУ

«Сессна-310» поднялся с взлетной дорожки дарвинского аэропорта, развернулся и взял курс на Уэйв-хилл. Нам предстояло пролететь 350 миль на юго-запад над спаленным засухой краем. Менее чем через два часа мы приземлились на летном поле возле поселка социального обеспечения при скотоводческой станции Уэйв-хилл — кучки железных крыш над пересохшим руслом широкой Виктория-ривер. Нас (Пэдди, Питера, Дэвиса Дэниелса и меня) встретил бородатый великан в рубахе, шортах, сандалиях и сомбреро с пестрой пластмассовой лентой. Его сопровождала любопытная ватага лупоглазых босых ребятишек.

Это мог быть только Билл Джеффри. Он выпрямился во весь свой внушительный рост — шесть футов пять дюймов — и спросил грозно:

— У вас есть разрешение на посещение этого поселка?

— Нет,— ответил Пэдди Кэррол.

— В таком случае,— объявил Джеффри, и его глаза весело заблестели,— посетить его вы не можете. Но вы можете оставаться в моем доме, сколько захотите.

Мы отнесли свои вещи в сарайчик, где стояло шесть кроватей с пружинными матрасами и была душевая кабинка. Оттуда мы прошли в дом Билла — небольшой коттедж, на сваях. Билл познакомил нас со своей женой Энн, высокой красивой жен-

щиной, и их пятнадцатилетней дочкой Сью — тоже высокой и очень красивой. Завязалась беседа, Билл откупоривал запотевшие жестянки с пивом, и так же, как и Энн, прямо говорил о том, что он всецело на стороне забастовщиков.

Мы решили пойти в лагерь забастовщиков. Он показался нам очень чистым, а его обитатели были проникнуты какой-то особой спокойной гордостью и решимостью. Мужчины в большинстве были одеты как объездчики — широкополые сомбреро, холщовые джинсы, пестрые рубахи и «смеющиеся» сапоги. На женщинах были яркие платья, голову они повязывали шарфом.

Нам навстречу вышел невысокий худощавый человек, державшийся с большим достоинством. Я узнал его по фотографии, снятой Брайеном. Это был Винсент Линджиари.

Пэдди Кэррол обратился с речью к собравшемуся племени. Союз их поддержит, будет кормить их. Завтра приедет еще один грузовик. Он ведет переговоры с директором «Вести» и с правительством, чтобы им платили правильно. Они должны остаться тут, и никто не должен возвращаться на станцию, пока он не скажет. Никто не должен возвращаться, пока им не дадут правильных денег и хорошие дома. (Я даже ущипнул себя, чтобы не забыть, как Пэдди вначале выступал против этой забастовки). В заключение Пэдди заговорил о том, что аборигены по-прежнему работают у насосов колодцев, разбросанных по всей огромной площади пастбищ, и по-прежнему снабжают водой станцию и скот.

— Это неправильно! — сказал им Пэдди.— Работу бросают все до одного. Устраивают забастовку все вместе. Тот, кто вернется,— плохой человек. Пусть «Вести» найдет белых, чтобы они работали у насосов.

Потом Пэдди спросил, есть ли у них какие-нибудь жалобы. Есть ли у них жалобы? Люди окружили нас тесным кольцом. Они говорили, что Том Фишер забрал несколько ружей — собственность аборигенов; что деньги, заработанные к началу забастовки, им не выплатили; что пособия на детей и пенсии задержаны «Вести»; что их имущество, оставшееся на станции, было сожжено или украдено; что белые приходят по вечерам в их лагерь с виски и ружьями в поисках женщин.

Мы решили навестить Тома Фишера. Центральная усадьба казалась безлюдной. Вся работа замерла. Под навесом висели и пылились седла. Прожорливые мясохладобойни Дарвина тщетно ждали скота Уэйв-хилл. Вдали горбились лачуги безмолвного, опустевшего поселка аборигенов. Да, они действительно жили как собаки — некоторые жестяные хижины были так низки, что человек мог забраться в них только ползком. Впрочем, и белые жили вовсе не как привилегированные служащие компании, ворочающей миллиардами. Все здания станции были построены из кровельного железа — самого неподходящего материала для здешнего беспощадного климата. Питер постучал в жестяную дверь за лавкой.

— Фишер тут. Они обедают. Он сейчас выйдет.

Во дворе усадьбы стоит толстяк, курит трубку со стальным мундштуком и трет лысую голову.

Он белый, и зовут его Том Фишер. Он полновластный хозяин над 6185 квадратными милями уэйв-хиллской станции, входящей в огромную скотоводческую империю «Вести», которая протянулась от восточного побережья Квинсленда через весь австралийский континент до гор Кимберли на западе. Империя, по величине почти не уступающая Англии и арендуемая за гроши — по шиллингу за квадратную милю! Нет! Том Фишер был тут полновластным хозяином, пока не началась забастовка!

Том Фишер не приглашает нас войти и, нарушая все традиции гостеприимства Северной Территории, даже не предлагает нам чашки чая.

— Сиднейское управление дало указание не вести никаких разговоров с репортерами. Все, что надо, они скажут сами.

Пэдди Кэррол говорит, доказывая, что его репутация человека упорного и находчивого заслужена им недаром:

— Я — Пэдди Кэррол. Потолкуем-ка по душам, не для печати, а? Аборигены утверждают, что вы не выплатили им заработанных денег.

— Об этом можете запросить управление.

— Неужто? — Пэдди стоит, широко расставив ноги, как боксер.— Не старайтесь меня уверить, будто деньги не здесь у вас. А кроме того, они говорят, что вы им не выдали пенсионных чеков.

— Пенсионные чеки были отосланы назад в министерство социального обеспечения. Мы не обязаны работать за них,— раздраженно отвечает Фишер, потирая ладонью лысую голову.

— Но вы же занимались пенсиями, пока аборигены были тут! — многозначительно говорит Пэдди. Том Фишер трет лысину еще сильнее, но обещает выплатить задержанную заработную плату представителю Обеспечения.

— Аборигены жалуются,— вмешиваюсь я,— что белые объездчики являются по ночам в лагерь и пристают к их женщинам. Они говорят, что уже много лет их женщинам здесь постоянно грозит такая опасность.

— Я их предупреждал, чтобы они не ходили в лагерь забастовщиков. Но в Северной Территории такие вещи случаются, хотя тут, в Уэйв-хилл,— очень редко,— и он снова трет лысину.

Мы спрашиваем его про ружья. Том Фишер отвечает, что забрал три ружья и не дал расписки владельцам. Пэдди возвращается к вопросу о невыплаченных деньгах и напоминает Тому Фишеру, что за ними зайдет представитель Обеспечения. Я говорю, что, по словам аборигенов, их имущество было раскрадено и сожжено.

— Это все вранье. Мне ничего подобного не известно,— отвечает Том Фишер и, когда мы влезаем в грузовик, снова энергично потирает лысину.

Я оглядываюсь. Почему он трет голову? Может быть, обычно он носит шляпу и ему напекло затылок. Может быть, у него такая привычка. Может быть, он смущен. А может быть, он растерялся, как человек, привыкший властвовать и вдруг лишившийся своей власти.

На следующее утро Пэдди, Питер и Дэвис вернулись в Дарвин. Больше Пэдди к аборигенам не ходил. Он представлял профсоюз, и его интересовали только вопросы заработной платы и условий труда. Однако он сделал свое дело, и я не сомневался, что борьба аборигенов и дальше будет затрагивать какие-то струны в его душе.

Тем временем прибыла телевизионная группа Фрэнка Беннета — в этой первобытной глуши они казались космическими пришельцами. Джордж начал наставлять Декстера: что и как ему следует говорить. Но я положил этому конец, считая, что сказать лучше, чем скажет сам Декстер, не может никто. Бобби Тьюдавали удалился в тенистый уголок, чтобы сосредоточиться по системе Станиславского как профессиональный актер.

Фрэнк Беннет взялся за дело с обычной энергией, и через два часа передача об Уэйв-хилл была готова. Декстер нервничал, но легкая неуверенность только придала его словам особую искренность. Он нарисовал простую и выразительную картину жизни аборигенов-пастухов, а некоторые его ответы на вопросы Беннета производили сильное впечатление.

Фрэнк: Вы намерены призвать к забастовке и другие станции?

Декстер: Да, все до одной.

Фрэнк: Вы думаете, аборигены вас послушают?

Декстер: Да. Они меня всюду ждут.

Фрэнк: Чтобы объехать все станции, потребуется много времени.

Декстер: Да. У меня есть только один грузовик, но я все равно постараюсь объехать их все.

Фрэнк: Суд постановил, что аборигенам равная плата будет дана только через три года. Вы намерены взять закон в свои руки?

Декстер: Я это уже сделал.

Бобби Тьюдавали держался с неменьшим достоинством. Говорил он главным образом про заработную плату, жилищные условия и образование. Последний вопрос Фрэнк задал ему такой:

— Когда аборигены станут получать равную плату, будет ли министерство социального обеспечения по-прежнему опекать их и их семьи?

Тьюдавали ответил после некоторого размышления:

— Этого не нужно. Моим соплеменникам больше всего нужна независимость. Пусть они сами распоряжаются своей заработной платой и пенсиями. Покупают для своих детей, что хотят. Будет лучше, чтобы они сами о себе заботились.

Фрэнк Беннет снял Винсента Линджиари крупным планом, и он тоже ответил на несколько вопросов.

Аборигены следили за происходящим затаив дыхание. Какой-то молодой объездчик сказал:

— Это изображение Винсента будет двигаться, как ковбои в кино. Изображение будет двигаться, и люди на юге увидят Винсента и услышат его слова.

Вечером аборигены устроили митинг и решили потребовать у Фишера возвращения их имущества. Билл Джеффри подтвердил справедливость их жалоб: белый пастух сказал ему, что вещи аборигенов были вытащены из хижин и унесены или сожжены. Стэн Дейви, Джордж Гиббс и я решили навестить Тома Фишера. Сначала мы отправились к полицейскому — высокому веснушчатому человеку по имени Рой Харви. Он совсем растерялся, когда мы потребовали, чтобы он пошел с нами и занялся разбором жалоб. На изолированных скотоводческих станциях полицейский неизбежно становится как бы служащим компании. Аборигены лишены каких бы то ни было прав и не смеют жаловаться. А если они держатся дерзко или хотят самовольно бросить работу, он по закону обязан принимать меры пресечения.

С нами поехали Винсент Линджиари, Декстер и Тьюдавали. У ворот усадьбы Декстер остановил грузовик, словно думая остаться ждать нас снаружи, но Джордж потребовал, чтобы он ехал дальше.

Фишер стоял возле лавки, прислонившись к калитке. Если Рой Харви растерялся, то Фишер и вовсе был ошарашен, когда Харви сказал, что мы намерены подать на

него жалобу. Фишер был ошеломлен и рассержен и в глубине души он, возможно, стыдился того, что не сумел выполнить главной обязанности всякого управляющего — не сумел «обработать своих чернокожих».

— Аборигены жалуются, что имущество, которое они оставили в их хижинах, было украдено и сожжено.

— Какое еще имущество? — еле выдавил из себя Том Фишер.

— Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны осмотреть поселок,— ответил Стэн Дейви, и Фишер скрепя сердце разрешил нам поехать в поселок.

К своему удивлению, я заметил, что Джордж, который обычно возглавлял всякое предприятие и меньше всего был робок, на этот раз остался с Фишером и лавочником.

Перед одной из хижин в унылом одиночестве сидел старик абориген-пенсионер, слишком старый и больной, чтобы уйти с остальными. Поселок производил самое тягостное впечатление. Два ряда жестяных лачуг примерно десять на восемь футов с земляными полами. Ни водопровода, ни уборных, ни прачечных. А внутри — никакой мебели, только кучи жалких лохмотьев и рваные одеяла, а в некоторых хижинах, кроме того, одна-две ржавые жестяные тарелки да изображение Иисуса Христа, прилепленное к стене.

И это — в богатой Австралии, в шестидесятых годах двадцатого века! Бессмысленно было бы винить Тома Фишера, который даже не понимал, что с аборигенами можно обращаться как-то иначе; или его хозяев, которые не сразу бы сумели отыскать Уэйв-хилл на карте; или Питера Морриса, который не имеет ничего против аборигенов, но полагает, что подобная жизнь их вполне устраивает; или даже федеральное правительство, которое ввело политику ассимиляции, в конечном счете сводящуюся к геноциду. Нет, вина лежит на всей белой Австралии, на каждом белом австралийце, начиная с тех десяти процентов расистов, которые так презирают «чернокожих», что менее чем через год после того, как я, охваченный стыдом, стоял посреди этих лачуг, голосовали за то, чтобы аборигенов даже не допускали к участию в референдуме, и кончая теми девяноста процентами, которые проголосовали «за», облегчили совесть и самодовольно вернулись к своему пиву.

Винсент Линджиари молча стоял в стороне, пока мы осматривали его хижину. В ней не было ничего, кроме старого чемодана со всяким хламом. Ножи и ножеточка, о которых он так беспокоился, пропали бесследно. Уходя, он повесил на двери замок в бессильной попытке охранить свои бесценные инструменты, но дверь была сорвана.

В хижине Длинного Джонни мы не нашли ни чемодана, ни граммофонных пластинок, о которых он говорил.

Когда мы ехали назад, меня душила ненависть. Фишеру придется поплатиться за этот разбой!

Рой Харви спросил, хотим ли мы подать жалобу. Мы со Стэном Дейви ответили утвердительно.

ВСЕ ЭТО — СТРАНА ГУРИНДЖИ

Билли Кэпбелл, одиннадцатилетний пастух, тихонько плачет возле моей хижины.

— Что случилось, Билли?

— Я пошел в школу... а учитель говорит: «Тебе нельзя ходить в школу, ты плохой человек, ты забастовщик».

В темных глубоких глазах боль и недоумение.

Я завтракал на кухне и болтал с Мэгги, веселой молодой аборигенкой, домоправительницей Джеффри. Тут вернулся Билл и сказал с лукавой улыбкой:

— К вам пришли гости. Ждут во дворе.

У навеса, где гудел мотор, терпеливо сидели Винсент Линджиари, Пинчер Мангуари, Длинный Джонни и Джерри.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Здравствуй, Фрэнк,— ответили они, и Пинчер продолжал от имени всех остальных: — Я сказал Винсенту, Джонни и Джерри, о чем мы говорили. Мы хотим собрать свой митинг и поговорить про землю гуринджи.

Мы проговорили все утро. Вернее, говорили они, а я хранил молчание — насколько способен хранить молчание словоохотливый человек — и только задавал вопросы, стараясь узнать, серьезны ли их намерения и хорошо ли они понимают всю сложность проблемы. Они хотели, чтобы служащие «Вести» ушли отсюда. Они хотели вернуть себе свою землю. Но у них не было никакого конкретного плана, и они не отдавали себе отчета, как трудна эта задача. И тут я вдруг живо представил себе, каким страшным препятствием была их неграмотность. Ведь если бы они даже вернули себе землю, умение обращаться со скотом далеко не решило бы дела — оставались бы проблемы управления, перевозки, ведения счетных книг, ремонта машин и оборудования. Я сказал им, что им понадобится помощь образованных белых.

— Правда, книги вести нужно,— согласился Винсент.— Но нам помогут хорошие белые, вроде тех, кто помогает нам на юге. А не служащие «Вести» или Обеспечение.

— Вам будет нужен не только бухгалтер, но и управляющий. И механик, а может быть, и лавочник.

— Верно, Фрэнк,— сказал Длинный Джонни.— Это верно. Но наши дети ходят в школу. А потом они научатся всей этой работе.

Я посоветовал им сегодня же собрать все племя.

— Объясните им,— сказал я.— Но дайте и им сказать. Если говорить будете только вы, они могут вас не понять. Скажите им свое слово, а потом выслушайте их слово.

— Хорошо, Фрэнк. Мы теперь хотим делать все правильно.

К вечеру я решил пойти в лагерь забастовщиков. Пинчер встретил меня на полпути и сообщил, что они собрали племя и все согласились со старейшинами. В лагере Винсент сказал мне то же самое. Я переходил от группы к группе и расспрашивал молодых и девушек про собрание племени. Они все отвечали: «Это очень хорошо. Это правильно, чтобы наша земля была наша».

Я сказал одному молодому объездчику:

— Но, может, после забастовки «Вести» построит вам хорошие дома и будет платить по двадцать пять долларов в неделю. Что тогда?

Он неуверенно усмехнулся:

— Может, и так. Только я лучше буду работать у Томми Винсента.

И все же мне показалось, что кое-кто из молодежи, возможно, в глубине души предпочел бы работать у белых за правильные деньги и пользоваться всеми благами белого общества.

Тут меня начали одолевать сомнения. Гуринджи бастовали, добиваясь повышения заработной платы,— на этом основывалась поддержка, которую им оказывали. Возвращение же земли было недостижимой мечтой, и я не имел права поощрять их в этом заблуждении. За ужином я поделился своими сомнениями с Биллом и Энн. Но их уже захватила эта идея.

— Пока можно сделать только одно,— сказал я.— Нам следует составить прошение о возвращении им их земли.

И тут же почувствовал всю бесцельность подобного шага — ведь министерство Территорий всегда стремилось к тому, чтобы сдавать землю как можно дешевле в аренду магнатам-скотопромышленникам, а аборигенов земли лишать, превращая их тем самым в источник дешевой рабочей силы.

Четыре старейшины снова пришли утром, чтобы подогреть нашу решимость. Я сказал, что напечатаю письмо обо всем том, что они говорили вчера. Потом прочту письмо им, и они его подпишут — поставят отпечатки своих больших пальцев. Было очень трудно втолковать им, что это письмо мы пошлем в парламент в Канберре, что некоторые белые поддержат их требование, но правительство почти наверняка им откажет.

В конце концов мы составили два плана. Скоро должен был начаться сезон дождей, а до этого времени «Вести» вряд ли предложит им правильные деньги. Таким образом, у нас есть время до марта — апреля 1967 года, чтобы попробовать вернуть им землю. Если у нас ничего не выйдет, они начнут переговоры с «Вести» о возвращении на работу, если им согласятся платить равную заработную плату.

Билл, Энн и Сью, четыре старейшины гуринджи и все школьники пошли проводить меня на взлетную дорожку. Они махали мне, пока аэродром не скрылся из вида.

Я и Брайен встретились с Джорджем в клубе, где и узнали все новости. Пэдди Кэррол добился соглашения, по которому аборигенам должны были платить четырнадцать долларов пятьдесят центов в неделю плюс продукты для самого работника, его жены и ребенка. Заработная плата тех, кто работает медленно, оставалась прежней — шесть долларов. Это было значительное повышение заработной платы: более, чем на сто процентов. Конечно, забастовщики Уэйв-хилл не примут этих условий, но для остальных пастухов-аборигенов Северной Территории это было большим достижением.

Я писал Биллу и Энн Джеффри:

«...я по-прежнему живо интересуюсь вопросами, которые мы обсуждали, и особенно попыткой вернуть племени гуринджи его землю... Я обдумываю это письмо, но у меня пока не было времени окончательно его составить. Наверное, я скоро пришлю вам черновик для замечаний... Пожалуйста, объясните Винсенту, Джерри, Пинчеру и Длинному Джонни, что, хотя я не сумел на этот раз вернуться в Уэйв-хилл, в Сиднее я сделаю для забастовщиков все, что в моих силах... Надеюсь, мы снова скоро увидимся...

С приветом...»

Декстер собирался поехать в Уэйв-хилл вместе со Стэном Дейви, чтобы объяснить аборигенам условия соглашения. А пока мы решили посетить полицейского инспектора Хука и узнать результаты расследования в Уэйв-хилл. Хук, загорелый, энергичный

и, по-видимому, способный человек, прочел нам целую лекцию о культуре аборигенов, сведения для которой он почерпнул, занимаясь полицейской работой в различных областях Северной Территории. Он был сторонником равенства для аборигенов, но не видел, как оно может быть реально осуществлено — по его мнению, пока еще никто не предложил ничего реального. Затем он сказал, что следствие продолжается.

НА ЮГЕ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

Речи при всяком удобном случае — на заводах, на профсоюзных собраниях, в университете.

«На следующей неделе в Сидней должны приехать два человека. Два аборигена. Это они начали великую борьбу, которая ведется сейчас на севере. Скоро начнется сезон дождей, но дожди не могут смыть позора белой Австралии. Аборигены пробудились от долгого сна и требуют того, что принадлежит им по праву...»

Письмо от Брайена Мэннинга:

«Декстер едет с Капитан-Майором... Тебе придется немного помочь Декстеру... А Капитана попробуй заставить разговориться. Задавай ему вопросы. Он великолепен... Борьба, по-видимому, затягивается... Сезон дождей будет как будто ранним. Кое-где уже прошли ливни...»

К приезду Декстера и Капитан-Майора все уже было готово.

РАССКАЗ КАПИТАН-МАЙОРА

Я сидел вечером в Ньюкасл-Уотерс позади школы и думал, что мы ждем уже очень долго. Тут подъехала машина. За рулем сидел белый, а рядом с ним абориген. Я подумал: кто они такие? А они сказали, что их зовут Джордж Гиббс и Кланси Робертс. Они просили меня поехать с ними в Хелен-спринг.

Когда мы приехали в Хелен-спринг, в усадьбу, Кланси пошел в дом к жене управляющего. Он ей сказал: «Мы хотим поговорить с работниками». А она сказала: «Нет! Они все живут хорошо. Мы о них заботимся. У них много мяса, всякой еды и денег. А вы, подстрекатели, убирайтесь отсюда!»

Тогда мы отъехали от усадьбы миль на семнадцать и увидели в загоне много бычков, наверное целую тысячу. Это стадо должны были отправить в Катерин на бойню. Мы подъехали ближе и увидели двух аборигенов, и один спросил: «Ты Декстер Дэниелс?» А Кланси сказал: «Нет, я Кланси Робертс». «Мы ждем Декстера Дэниелса»,— сказали они. Тогда мы сказали, что мы все равно из Совета защиты прав, и они оставили своих оседланных лошадей и бычков без всякого присмотра. А сами пошли с нами на свою стоянку. Там было еще восемь пастухов-аборигенов. У них там был дом — маленькая хижина. А из еды у них была только солонина, пресные лепешки и жидкий чай. А сахара совсем не было. Они побросали свои мешки в кузов. А Кланси спросил: «Вы готовы?» И они сказали: «Да. Мы ждали Декстера». А я сказал: «Это правильно».

Джордж Гиббс пошел поговорить с управляющим. Его там не было. А мы поехали в усадьбу забрать их жен и детей. Мы времени не теряли и в три часа ночи уже привезли их в Ньюкасл-Уотерс.

Когда приехали туда, один мальчик начал звать маму. Я его спросил: «Где твоя мама?» А он заплакал и сказал: «Моя мама осталась в Хелен-спринг». Ну, мы и поехали назад.

Когда мы вернулись в Хелен-спринг, было полвосьмого. У Джорджа Гиббса на руке были часы. Мы поехали в поселок и увидели мать того мальчика. Я спросил: «Где твои вещи?» Мы бросили ее мешок в кузов и поехали назад.

Тут в своей машине подъехал управляющий. Джордж Гиббс пошел к нему. Управляющий держал в руке ружье. Джордж Гиббс не сразу увидел ружье. Управляющий из машины не вышел. Он поднял ружье и прицелился. «Эй! Даю вам пять минут! Если не уберетесь, будет худо!» Мы уехали. Возле большого дома нам надо было развернуться, чтобы выехать на дорогу. А управляющий все еще держал ружье. Я сидел в кузове на бочке с бензином. Джордж и Кланси сидели в кабине. А эта аборигенка лежала в кузове на полу. Она очень испугалась и легла на пол. Я сказал: «Не бойся! Он нам ничего не сделает».

Мы вернулись в Ньюкасл-Уотерс, и этот мальчик очень был рад своей маме.

Ну, потом мы поспали, и Джордж Гиббс сказал: «Что же, Майор, может, ты поедешь на юг в Сидней и расскажешь там людям про вашу забастовку? Ты умеешь говорить речи? Сумеешь ты встать и поговорить там с белыми?» А я сказал: «Не знаю».

Я немножко испугался. Потом я сказал Эми: «Может, мне поехать на юг?» А она сказала: «Да, это хорошая мысль». И я сказал: «Ладно, я попробую сказать там правильное слово». И тогда я сказал Чарли и Давай-Валяю: «Ладно, ребята, я поеду на юг и расскажу там белым про все, как у нас было. А вы тут ждите. Не выходите работать на Роя Эдвардса. Я потом вернусь».

Я уехал на другое утро. Джордж Гиббс и Кланси привезли меня в Дарвин. Они там меня испробовали, проверили, как я буду говорить на юге. Когда я начал, мне было не по себе, потому что я этого никогда не делал прежде. Я должен был говорить на ленту в ящике, и все люди из Совета защиты прав сказали, что я гожусь. Они сказали: «Хорошо, Майор, ты поедешь на юг с Декстером Дэниелсом». И мы поехали. Мы уехали из Дарвина на самолете, в девять часов утра — я и Декстер. Мы полетели в Маунт-Айзу. Туда мы прилетели в одиннадцать часов. Там самолет сел, и мы немного погуляли вместе. Оттуда мы полетели в Брисбейн. Там нам надо было пересесть на другой самолет. В Брисбейн мы прилетели в два часа. Я не знал, как все будет. И мне было не по себе. Я чувствовал, что никто нам не поможет, ни один белый.

В самолете я сказала Декстеру: «Как по-твоему, нам на юге кто-нибудь поможет?» А он сказал: «Не знаю». Я думаю, что Декстеру тоже было не по себе.

В Сиднее я сперва боялся. Я вошел в аэропорт, а там нас ждало много народу. Я испугался, когда они сказали, чтобы я начал говорить. Я никогда не видел столько людей, как на юге. И сначала я не мог говорить. Белые там были неплохие, и я подумал, что, пожалуй, кто-нибудь нам поможет. Почему белые на станциях совсем другие?

Один там держался недружески — он пишет в газетах, но он думал, что мы получаем не одну солонину и хлеб, а нам и другое добавляют. Я тут вспомнил свою шутку, как к солонине добавляют соли. Они все стали смеяться. И тогда я перестал бояться. И отвечал на все вопросы.

Потом мы пошли с Хэлом — он хороший человек, главный начальник над всеми актерами,— с Фрэнком и со всеми другими друзьями. Я никогда не ел в таком кафе. Хорошая еда, не как в Ньюкасл-Уотерс.

На другой день вечером мы пошли на большой митинг — собрались люди, которые учат детей в школах, и я боялся говорить. Когда я начал говорить, мне сначала было не по себе. Там было очень много женщин, потому я и не мог говорить. Когда мы говорим про наши племенные законы, женщины слушать не должны. И потом я боялся, что выругаюсь. Я робел, потому что я никогда не стоял перед столькими людьми, да еще женщинами. Я сказал: «Уважаемые дамы и господа...» (Это меня Декстер научил так сказать.) И больше не мог ничего сказать. В голове у меня было много слов, а сказать их я не мог. Я весь был испуганный, с головы до ног. Тогда ко мне подошел Хэл и спросил, какую еду дают в Ньюкасл-Уотерс, и я ему сказал. А потом он стал говорить: «Ну-ка, Капитан-Майор, расскажи про это», «Капитан-Майор, расскажи про то», и я рассказывал.

Утром мы поехали в место, которое называется Гарден-Айленд, говорить с рабочими в порту. Их называют «докеры». Декстер сказал: «Хорошие ребята эти докеры!» Они ему еще раньше подарили громкоговоритель. Мы говорим в него — держим в руке, а голос из него выходит громким. Там было пятьсот человек, но женщин совсем не было. Мне теперь никто не задавал вопросов, и я сказал настоящую речь, как Декстер. Он горошо говорит. Мы говорили каждый день, иногда по пять раз в день — я и Декстер.

Когда мы кончили говорить, они хотели задавать вопросы, и тут один парень закричал: «Эй, белые! Все, кто тут белый, члены профсоюза! Чего задавать вопросы! Мы слышали, что они говорили. Мы им поможем. Будем давать по доллару каждый, каждую неделю, каждый человек. Давайте, ребята, выкладывайте по доллару». И я сказал ему, что это хорошая мысль. А он сказал: «Да, мы дадим по доллару». И они дали.

После этого мы поняли, что нам помогают много людей. На юге все по-другому. Там очень много людей хотят помочь нам. Может, три тысячи в Новом Южном Уэльсе. Мы были на митинге, где они строят новую оперу. Это смешной дом: когда мы ехали на пароме в Мэнли с Фрэнком, мы думали, что это не дом, а корабль плывет рядом. В Сиднее и Воллогонге было много митингов.

Потом мы поехали в Викторию — это там, откуда приходит «Радио Австралии», из Мельбурна, из Виктории. По дороге в Викторию мы заехали в Канберру, где правительство. У нас там был хороший митинг, и мы познакомились с политиками. С лейбористами, что ли,— хорошие люди. Одного звать Брайентом, он друг Стэна Дейви. А Колуэлл, начальник над всеми лейбористами, сказал, что он с нами, и я сказал: «Ладно, это хорошая мысль».

В Канберре я здорово смеялся из-за Декстера. Мы там встретились с одним маленьким человеком с толстыми стеклами на глазах. Уэнворт, что ли, и он принес нам по чашке чаю и по печенью и сказал Декстеру: «Вы делаете неверно. Забастовка — это плохо. Я ваш друг. Сделаю для вас большой референдум. Вот такой: все вы, аборигены, уедете в Арнхемленд, построите вокруг забор, будете там жить». А Декстер сказал: «Кто будет платить за проволоку для забора?» А я сказал: «В Арнхемленде полно клещей. Эта земля для скота не годится». И Декстер еще сказал: «Племена все разные и хотят жить в своем краю». А этот Уэнворт разозлился и сказал: «Ну, ладно. Значит, вам помощь не нужна. А я занят».

И он повел нас к Барнсу. Это большой начальник в Обеспечении. Он дал нам еще по чашке чая и по печенью и стал ругать Декстера. Он сказал: «Вы делаете

плохо аборигенам. Забастовка не нужна. От забастовки будет плохо. Обеспечение все для вас сделает. Построит вам хорошие дома, будет платить вам хорошие деньги». А Декстер спросил: «И когда же вы сделаете? Через три года? Это нам не годится». Барнс сказал: «Обеспечение уже сейчас все делает, мы тратим много денег на аборигенов». Декстер сказал: «Я знаю одно: если в новом сезоне они не получат равной платы, они все объявят забастовку». А Барнс сказал: «Некоторые работают медленно и не могут получать равную плату». Тут Декстер сказал этому Барнсу: «Вы говорите двумя языками. И сказали так только потому, что на вас в Квинсленде работают аборигены, а вы платите им только шесть долларов в неделю, и еще солонину и хлеб». Тогда Барнс разозлился и сказал: «Я с вами больше разговаривать не буду. Я занят. Я отвезу вас к премьер-министру. Он вас ждет». А Декстер сказал Барнсу: «Мы заняты и к премьер-министру не пойдем». И мы уехали из Канберры в Мельбурн.

В Мельбурне мы были две недели. Там было много митингов, хороших митингов. Джордж Силаф повез меня и Декстера к большому начальнику АСТЮ — маленькому человеку в толстых стеклах. Звать его Альберт Монк. Он думает устроить конференцию в Дарвине с Пэдди Кэрролом и хозяевами станций. А Декстер сказал ему: «Ладно, но там должны быть и аборигены. Из Союза защиты прав».

Потом мы поехали в Джилонг и Балларат — вокруг Балларата самые лучшие края, какие я видел на юге, хорошие края для скота вокруг Балларата. Джилонг тоже хорошая страна, много лошадей. Их там разводят. Мы поехали назад в Мельбурн, потом опять в Сидней. И в Воллонгонг. Там есть старая церковь, построенная в старые времена, а около мы видели миллион овец. Хорошие края.

В Брисбейне тоже были хорошие митинги. В первое утро — четыреста человек. Потом мы поехали еще в одно место — фабрика, что ли. И там был митинг с одними женщинами, триста женщин. Я очень робел. Но эти женщины нам хорошо улыбались, и нам стало легко. Потом мы поехали в порт и на корабль. Хорошие люди работают на этом корабле, белые люди. Там был хороший митинг, и мы пили чай, и еды было много — не как в Канберре, по одному печенью.

Утром в субботу Декстер уехал назад в Дарвин, а я поехал в Таунсвилл. В Таунсвилле много аборигенов и людей с острова Четверга. Это хорошие люди. У нас был там митинг. Они пели, и я спел песни, которые сам придумал. Я мои песни пел на юге несколько раз. А потом один абориген — я забыл, как его звать,— большой у них начальник, сказал мне: «Дай мне твою шляпу, Майор». Я дал ему шляпу, а сам думал: зачем она ему? А он стал ее передавать дальше, и они клали в нее деньги. Денег было по самый край. Больше восьмидесяти долларов для Совета защиты прав.

Утром я вернулся в Сидней. Мне нужно было пойти к доктору. Уэл и Фрэнк договорились об этом в союзе докеров. Я повредил себе шею в Ньюкасл-Уотерс и еще давно — один глаз. Он совсем не видит. Когда себе что-нибудь повредишь, за это платят возмещение. Я раньше про это не знал. Сперва я пошел к глазному доктору. Он мне сказал: «Майор, для левого глаза я кое-что сделать могу». И сделал стекло для этого глаза. Я думаю, он был хороший доктор. Хороший доктор по глазам. И он хороший человек. Я еще ходил к нему, и мы хорошо поговорили, перед тем как я вернулся домой.

В Сиднее я рассказал Фрэнку про семнадцать человек из Уэйв-хилл, которых хотели поселить в Дарвине. Я сказал ему, как я сказал Панто: «Сюда вас привезло Обеспечение. Они так хотят покончить с забастовкой. Возвращайтесь в Уэйв-хилл». А он сказал: «Я не гуринджи, я валбири». «Все равно,— сказал я.— Аборигены теперь должны стоять друг за друга».

Потом мы поехали в аэропорт, и я сел в реактивный самолет. Я полетел в половине одиннадцатого и приехал в Дарвин в два часа.

В самолете я думал: если аборигены не получат равной платы до нового сезона, мне надо будет поехать в Брюнетт-даунс, и в Энтони-лагун, и в другие станции на плоскогорье Баркли и поговорить со всеми пастухами. Пусть бросают работу и едут к нам в Ньюкасл-Уотерс. А другого пути нет.

Люди на юге не знали, что делается в Территории. Теперь они это знают. И на нашей стороне много людей. Люди на юге хорошие.

(Окончание следует)

ТЕО БАЛЬДЕН

Тео Бальден за работой.

Те, кто побывал в свое время на выставке искусства социалистических стран в московском манеже, вероятно, помнят необычный скульптурный портрет в разделе ГДР — резкий, изломанный, напряженный, весь словно сотканный из острых углов, четко вырисовывался он на фоне холодной стены.

Портрет поражал лица «необщим выражением» и той проникновенностью, с которой художник входил в мир значительного, сложного человека и артиста: в нем была и злобная саркастичность уличного певца из «Трехгрошовой оперы» Брехта, и трагизм Галилея из одноименной пьесы того же автора, мужество известного всему миру исполнителя боевых антифашистских рабочих песен; борца, стойко сражавшегося в рядах интернациональной бригады за свободу Испании, узника концентрационных лагерей, не склонившего головы перед фашистами.

Эрнст Буш и скульптор Тео Бальден — люди одного поколения, одной достаточно сходной судьбы. Опыт человека, помноженный на талант и мастерство художника, позволил Бальдену превратить портрет Буша в гимн во славу антифашистской Германии.

Тео Бальден не был в Испании, он работал в одной из подпольных организаций Берлина, его арестовало гестапо, и в 1935 году он бежал в Чехословакию, а оттуда, в 39-м, в Англию. В Праге он стал одним из организаторов «Союза Оскара Кокошки», в Лондоне — одним из активнейших членов «Союза свободной немецкой культуры». Это были объединения антифашистских художников, ставящие целью популяризацию и продолжение тради-

ций немецкого гуманистического искусства в условиях эмиграции, помощь демократическим организациям, боровшимся с фашизмом за освобождение Германии.

Листаю материалы секции изобразительного искусства «Союза свободной немецкой культуры», любезно предоставленные автору этих строк ее бывшим секретарем — скульптором Гейнцем Ворнером. «...Коллег, желающих рано или поздно вернуться в Германию, просят сообщить о том руководству секции, чтобы она располагала какими-то примерными сведениями для переговоров. Само собой разумеется, речь идет не об окончательном решении» (15 сентября 1945 года). Оторваться от привычной жизни и деятельности, променять мир победителей на мир побежденных было делом нелегким. В ушах все еще звучали названия лагерей уничтожения, и люди, оставшиеся в Германии, внушали недоверие и настороженность. И все же «я должен вернуться, или укоры совести меня замучат»,— говорил Т. Бальден в 1947 году.

К сожалению, искусство этого яркого, своеобразного, думающего мастера, получившего широкое признание и за пределами ГДР — от Англии до Японии, у нас до сих пор мало известно. О Тео Бальдене как о художнике до 1939 года мы, по существу, ничего не знаем. В юности, стремясь разъять живое и одухотворенное, постичь его кубистическую сущность, он учился какое-то время у конструктивистов О. Шлеммера и Л. Мохоли-Надь. Бальден мало извлек из их аналитической науки, ибо она уводила его от жизни с ее политическими бурями. Но вкус к поискам новых форм, форм, наиболее адекватных содержанию, он приобрел и сохранил на всю жизнь. На вопросы о дальнейшем Т. Бальден отвечает скупо — все, что оставалось в Германии, все, что было сделано в Чехословакии, исчезло бесследно. Чехословакию Бальден покидал с последним самолетом, вывозившим судетских противников Генлейна и немецких эмигрантов в Англию. Там их ожидали новые лишения, враждебный прием со стороны властей, готовых упрятать немецких эмигрантов в лагеря для интернированных. И если в Чехословакии была публика, интересовавшаяся немецким искусством и знавшая его, то в Англии о немецкой скульптуре знали мало или не знали ничего.

«Вечный странник», рельеф, 1943 г.

Эрнст Буш, бронза, 1956 г.

странника» он остановился на технике рельефа, позволившей ему придать изображению плоскостность и построить его на принципе диссонанса. Плавный наклон головы, округлые покатые плечи, но даны они в остром ракурсе. Сколько трагической отрешенности в скорбно склоненном лице, сколько беспокойной устремленности в фигуре,— выталкиваемой неведомой силой за отведенные ей пределы! Из-под тяжелого свода выступает повернутое в профиль тонкое задумчивое лицо, а руки и ноги, натруженные, массивные, живут в иной плоскости, в ином ритме, привычно и уверенно пускаясь в новый путь, словно олицетворяя собой неистребимое жизнеутверждающее начало.

Воплотить свои замыслы в скульптуре Бальдену удавалось не всегда (ремесло

«Мать и дитя», терракота, 1963 г.

Но несмотря на все невзгоды в Англии работа продолжалась. Персональная выставка в интернациональном клубе «Дерби», на которой Бальден показал около 50 рисунков, акварелей и скульптур, — итог его восьмилетнего пребывания в Лондоне. Жестокое время изгнания породило мрачные аккорды в многоликом искусстве художника, всегда подчиненном точному раскрытию темы. Страдания и горести вызвали к жизни образ забытого миром узника, одинокого и затравленного беглеца, бесприютного «Вечного странника». Бальден — художник, тяготеющий к широким обобщениям, и его «узники», «беглецы» — не конкретные люди, а персонифицированные идеи, несущие большую смысловую нагрузку. Для «Вечного

скульптора требует больших затрат), чаще приходилось ограничиваться двухмерностью рисунка, и там мы встретимся с еще более заземленными тяжелыми фигурами, которые подчас покажутся странными. Талантливый исследователь творчества Бальдена Урсула Файст пишет, что художник неосознанно старался придать этим тяжелым фигурам форму каменных массивов, растений. «Когда ему нужно было воплотить твердость, моральную силу, духовное величие и человеческую красоту... он видел ее в сфере земного, высящегося, подобно горным массивам, тянущегося, подобно деревьям,— к небу или пробивающегося к нему, подобно летним, тонким травам». Когда Т. Бальдену понадобится восславить освобождение, он обратится к образу женщины — матери, протягивающей своего ребенка навстречу солнцу, изуродованным безжалостной рукой деревьям, скованным тончайшей проволокой, вгрызающейся в живую плоть. Они сохранили волю к жизни и выстояли. Узловатые лапы корней тянутся к земле, а мощный луч света со звоном разрывает опостылевшие путы, обещая новое цветение.

Но Бальден приходит к широким обобщениям, отнюдь не всегда отталкиваясь от аллегории. Вот портреты Э. Буша, Ф. Кремера, супругов Розенберг, немецкого писателя-антифашиста Фон Ранке-Гревса (1939). Скульптор лепит только голову без шеи и плеч (прием, широко распространенный в немецкой скульптуре, призванный сосредоточить все внимание на лице). О бессонных ночах, о горечи и невзгодах говорит шероховатая рваная поверхность сумрачного усталого лица, спутанные неухоженные волосы, тяжелые припухшие веки, плотно сомкнутый твердый рот.

Бальден не любит, когда ему позируют. Он говорит, что тогда появляется масса второстепенного, заслоняющего главное. Число его портретов невелико, потому что, постоянно стремясь к законченности выражения, стремясь найти характеристику лица, тела, соответствующую данному эмоциональному состоянию, он неоднократно обращается к одному и тому же образу. И от умения отобрать главное, от этой пристрастности видения идут его портреты с их достоверностью конкретного и тем духовным настроем, за которым стоит время, люди и страсти. Впрочем, в ряде случаев он не дает своим героям определенных имен: скорбная «Рабочая мать», «Поющий вьетнамец»..

Вернувшись в Германию, Т. Бальден долго искал себя как художник. Он преподавал, сотрудничал в «Уленшпигеле», во время случайных трамвайных поездок незаметно для окружающих лепил, в его карманах всегда можно было найти кусочки пластилина или глины*, работал над портретом Ленина, стремясь выразить самое главное.

Новому миру нужно искусство, не только новое по содержанию, но и по форме, считает художник.

Эпоха возрождения оставила нам скульптуру, рас-

* Для своих работ Бальден предпочитает бронзу, так как она хранит во всей непосредственности почерк художника.

Эскиз памятника Карлу Либкнехту для г. Луккау, тонированный гипс, 1965 г.

считанную на осмотр со всех сторон, обладающую множеством точек зрения. Подобно живому человеку, она должна была создавать вокруг себя свою собственную атмосферу. Следующий шаг был сделан в наше время, когда пространство начали рассматривать как образный элемент, взаимодействующий с физической массой.

Каждая новая работа — свидетельство поиска. Вот «Старуха в окне», которую Т. Бальден поместил в специально созданное для нее пространство, найдя живое решение оконной рамы и позволив зрителю увидеть ее в новом и неожиданном аспекте. «Влюбленных» он разместил в разных плоскостях, скомпоновал их позы и движения в расчете на совместное «звучание», и заданный им ритм, просвет между ними — все это передает определенное состояние и настроение людей.

Роден писал — «всяк а я жизнь возникает из центра, затем она произрастает, раскрывается изнутри вовне». А почему, спрашивает Т. Бальден, невозможен иной процесс — извне вовнутрь?

Почему нельзя отказаться от замкнутой в себе

Супруги Розенберг, бронза, 1956—1957 гг.

«Разговор», бронза, 1962 г.

скульптуры? Нельзя ли преодолеть ее статичность, акцентируя то или другое направление, те или другие диагонали, вертикали и горизонтали, по которым она строится?

Мастерская художника — царство глины и пластилина. Бесконечное множество фигур и фигурок (самые маленькие едва достигают размера спичечной коробки): первое воплощение возникшей идеи, фиксирующее самое главное — общий облик пластической фигуры и поиск формы, адекватной идее. Так в числе многих других художник постоянно возвращается к теме — мать и дитя. В решении ее множество оттенков — от лирического, раздумчиво - мечтательного утверждения первозданной радости бытия до гневного исступленно-страстного проклятия тех, кто обрек человечество на горе, принеся гибель его сыновьям. Не случайно последняя из работ этой серии посвящена

«Влюбленные», бронза, 1959 г.

женщинам и детям Вьетнама.

Новой для Т. Бальдена задачей стал памятник К. Либкнехту для небольшого городка Луккау. Скульптор хочет показать вождя и человека — носителя революционной воли, борца против милитаризма и войны, живую импульсивную натуру. Второй круг проблем связан с характером города, места, на котором будет стоять этот памятник. Луккау никогда не был промышленным центром, толпы рабочих не встречали там Либкнехта по выходе из тюрьмы. Для памятника предназначена старинная торговая площадь, окруженная домами с причудливыми фронтонами, неподалеку от готической церкви. Все это создает дополнительные трудности — как «вписать» Либкнехта в чужеродное окружение? Так возникла идея стены, имитирующей тюремную решетку и создающей для скульптуры особый мир. К. Либкнехт не будет подавлять своими размерами, он должен стоять на невысоком постаменте, как «живой с живыми говоря». Без конца выверяет скульптор мимику, жест, пробует то один, то другой поворот головы, мысленно представляя себе, как будет смотреться на месте тот или другой вариант...

«Поющий вьетнамец», бронза, 1957 г.

«Голова с маской», терракота, 1964 г.

Осенью прошлого года Тео Бальден был удостоен высокого звания Лауреата национальной премии за всю совокупность им созданного. Впереди — новые творческие успехи на трудном и благородном пути.

З. ПЫШНОВСКАЯ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ПАЗОЛИНИ, СТУДЕНТЫ И ПОЛИЦИЯ

Когда в итальянской политике, или культуре, или, скажем, в уголовной хронике происходит какое-либо из ряда вон выходящее событие, в печати мелькает слово caso, что можно перевести как чрезвычайное происшествие. Таким литературно-политическим caso явилось стихотворение Пьера-Паоло Пазолини, озаглавленное «PCI ai giovani», то есть «Итальянская коммунистическая партия — молодежи».

Пазолини — многогранный и талантливый художник. Он серьезный лингвист, автор нескольких оригинальных и значительных, но спорных кинофильмов, романист и поэт. В современной итальянской культуре он занимает особое место, быть может, благодаря своему полемическому темпераменту и категоричности суждений. В 1957 году, когда много говорили о кризисе неореализма и искали новые ценности, с большим интересом была встречена поэма Пазолини «Пепел Грамши». Поэта считают, а главное, он сам себя к ним причисляет, «левым», даже марксистом. Но его представления о марксизме крайне своеобразны. Несколько лет тому назад он вел еженедельную рубрику в массовом журнале «Вие нуове», отвечая на письма читателей, затрагивавших самые различные темы. Ответы Пазолини зачастую изумляли хаотичностью мысли и редкой безапелляционностью, и я все гадала, долго ли он будет выступать в качестве духовного наставника людей. После одного совсем уж странного опуса Пазолини и последовавших читательских протестов он перестал вести свою рубрику.

Может быть, не стоило бы говорить об этой давней истории, но я сразу вспомнила о ней, и поэтому меня не так уж удивило то, что произошло сейчас. А стихотворение «PCI ai giovani» — в самом деле происшествие, имевшее большой общественный резонанс. Хотелось бы дать подстрочный перевод стихотворения, но оно очень длинное, поэтому ограничусь пересказом и переводом лишь отдельных кусков.

Молодые, к которым обращается Пазолини,— это студенты. В ходе дискуссии — о ней несколько позже — Пазолини уточнил, что он не имел в виду американских студентов, борьбой которых против империализма и расизма он глубоко восхищается, а также западногерманских студентов, ибо к ним он относится с уважением. Стихотворение адресовано итальянским студентам, и с ними Пазолини расправляется очень лихо.

> «У вас физиономии папенькиных сынков. Я ненавижу вас так же, как ненавижу и ваших папенек. Яблоко от яблони недалеко падает. У вас злобные глаза хозяйчиков».

Этому «объяснению в ненависти» предшествует предупреждение: он, Пазолини, «не намерен лизать студентам зад», как это делают «журналисты всего мира, включая тех, кто работает на телевидении». Непосредственным поводом для стихотворения послужило крупное столкновение студентов с полицией в Риме, на Валле Джулия, причем в этом случае студенты одержали верх над полицией. Пазолини заявляет:

> «Я стою на стороне полицейских, потому что они — сыновья бедняков».

За этим следует элегия, посвященная полицейским: убогое детство, нищенская заработная плата, нелепая форма, которую их заставляют носить, их душевная опустошенность и всякие сложные психо-физические комплексы. Оказывается, полицейские

разучились улыбаться, у них нет друзей, все их ненавидят, и поэтому они тоже, естественно, начинают ненавидеть. Но что же случилось на Валле Джулия?

«Вчера там произошел эпизод классовой борьбы. И вы, дорогие, — хоть вы и правы,— вы были богатыми. А полицейские — пусть они и не правы,— они были бедняками. Нечего сказать, хорошенькую победу вы одержали! В таких случаях, дорогие мои, полицейским надо преподносить цветы!»

Затем Пазолини применяет свой психо-физический метод, позволивший ему так горячо заступиться за полицейских, к итальянским студентам. Их отцы плоско морализируют, их матери ненавидят культуру, «ужасные лозунги студенческого движения» свидетельствуют о патологической жажде власти, но внешность студентов, их претенциозные бороды и бегающий взгляд говорят о бессилии и сексуальной неполноценности. Поскольку в представлении Пазолини все студенты — буржуа или мелкие буржуа, в их движении не может быть решительно ничего серьезного или стоящего:

«Интеллигента или рабочего, находящегося вне вашей драки, очень развлекает мысль, что молодой буржуа дубасит старого буржуа, а старый буржуа посылает молодого буржуа в тюрьму. Потихоньку возвращаются времена Гитлера: буржуазия любит наказывать себя своими собственными руками!»

Во второй части стихотворения Пазолини пишет о молодых рабочих; он выражает им горячее сочувствие. У них нет денег, они не могут изучать иностранные языки, не могут занимать фабрики, подобно тому как обеспеченные студенты занимают здания университетов,

«потому что через три дня подохнут с голоду... Они, рабочие, остались на уровне 1950-го или еще более давних лет».

И вот, наконец, Пазолини переходит к вопросу об Итальянской коммунистической партии. Рабочие продолжают стоять за коммунистов, но со студентами дело ясное:

«вы — буржуа и, следовательно, все вы — антикоммунисты».

Вслед за этим начинается такая абракадабра, что и передать трудно. Оказывается, студенты требуют *всего* только на словах, а в сущности ограничиваются тем, что хотят лишь

«применения новых педагогических методов и обновления государственного организма».

Между тем, если они по-настоящему стремятся выступить против своих отцов, почему же в таком случае они не пользуются «единственным в самом деле опасным оружием: коммунизмом»? Тут уж я лично теряюсь. Что, в самом деле, студенты (как мы помним, все они «антикоммунисты») должны делать? Пазолини, не смущаясь, предлагает им такую программу действий:

«Надеюсь, вы поняли, что быть пуританами — это способ избавить себя от скучной необходимости заниматься настоящей революционной деятельностью. Безрассудные, идите лучше на штурм Федераций!..»

Я поставила многоточие не потому, что хотела оборвать цитату, а потому, что хочу менее темпераментно и более внятно передать мысль Пазолини. Оказывается, что Итальянская коммунистическая партия, которая «все же является оппозиционной»,— на самом деле не слишком нравится Пазолини, поскольку в ее рядах тоже имеются ...«буржуа, сверстники ваших отвратительных папенек» (за этим следует психо-физическое описание подобных «буржуа»). Пазолини очень сомневается, решит ли ИКП «уничтожить то, что в ней самой есть буржуазного», даже при помощи студентов.

«Но, во всяком случае,— пишет он,— Итальянская коммунистическая партия должна принадлежать молодым, черт побери!»

Даже как-то неловко всерьез полемизировать с Пазолини, который позволяет себе с удивительной развязностью и легкомыслием отзываться о партии, за которую голосовал каждый третий итальянец на парламентских выборах 19 мая. Любой непредубежденный человек знает, как велик авторитет и престиж Итальянской коммунистической партии и в рабочем движении, и среди интеллигенции. Без всякого преувеличения можно утверждать, что сейчас в Италии нет ни одного сколько-нибудь серьезного течения общественной мысли, которое (соглашаясь либо споря) не считалось бы прежде всего с идеологией марксизма. Это влияние, этот престиж не пришли сами собой, партия Грамши и Тольятти *завоевала* ту роль, которую она сейчас играет в стране, и странно, что провозглашающий себя марксистом Пазолини этого не понимает.

Заключительную часть его стихотворения я добросовестно перевожу, предоставляя читателям самим разобраться, что Пазолини, собственно, имел в виду:

«Но — увы — что же я вам внушаю? Что я вам советую? На что я вас толкаю? Я раскаиваюсь, я раскаиваюсь! Я потерял путь, позволяющий из двух зол

выбрать меньшее, пусть господь меня накажет. Не слушайте меня. Увы, увы, увы, шантажируемый шантажист, я начал болтать благоразумные вещи. Но я вовремя остановился, сохранив и фанатический дуализм, и двусмысленность. И мне бесконечно стыдно. О боже! Должен ли я считаться с возможностью, что буду плечом к плечу с вами участвовать в Гражданской войне, отказавшись от своих прежних представлений о Революции?»

■

Студенческое движение в Италии — сложное, противоречивое и важное явление общественной жизни. О нем много пишут, и отнюдь не только те, которые «лижут» и т. д. Передо мной весьма интересные материалы: одна книга и журнал*. В них включены и программные статьи, и документы о студенческом движении в различных итальянских городах: Тренто, Турин, Неаполь, Пиза, Милан, Рим, Генуя. Достаточно прочесть эти материалы, чтобы убедиться в том, что движение — неоднородное, даже пестрое, что в нем представлены различные группы учащейся молодежи. Немало среди них «леваков» анархистского толка, но много людей, стремящихся объединить свою деятельность с борьбой рабочего класса. И «теоретические посылки», и политические взгляды, и программу действий, и то, что в действительности делают студенты, надо анализировать без всякой предвзятости.

Итальянская коммунистическая партия выразила свою точку зрения в статье товарища Луиджи Лонго, опубликованной в теоретическом журнале «Ринашита». Статья называется «Студенческое движение в антикапиталистической борьбе». Лонго пишет:

«Не забудем, что на одном из последних наших съездов мы впервые в заключительном документе назвали передовую интеллигенцию одной из движущих сил революции в Италии. Очевидно, что именно из студенческой среды придут новые поколения передовой интеллигенции. Широта, сила, размах, которые приобрело сейчас студенческое движение, являются залогом этого».

Далее Лонго подвергает подробному анализу различные аспекты студенческого движения в Италии, не затушевывая трудностей, не скрывая теневых сторон, спорных моментов, нелепых экстремистских выходок. Он отнюдь не идеализирует движение, но и не преуменьшает его силы и возможности. Лонго упоминает о том, что одно время возникла, но потом была отвергнута ошибочная идея создать особую «партию студентов». Он ставит вопрос ясно и четко:

«Задача состоит в том, чтобы найти политическую связь и точки соприкосновения между студенческими требованиями, имеющими большей частью весьма обширное социальное и политическое содержание, и проблемами рабочего и народного антикапиталистического движения. Речь идет о взаимоотношениях и о единстве действий с силами, которые объективно противопоставляют себя системе и ведут борьбу в том же плане, в первую очередь — о взаимоотношениях с Коммунистической партией, как с представителем и руководителем громадного большинства рабочего класса».

Жаль, что считающий себя марксистом Пазолини так далек от понимания этого вопроса. В последующей дискуссии он запутывался все больше и больше. Еженедельник «Эспрессо» устроил встречу с Пазолини; в ней приняли участие секретарь Всеобщей Конфедерации Труда профсоюзный деятель Витторио Фоа, секретарь ЦК итальянского комсомола Клаудио Петруччоли и сотрудник «Эспрессо» Нелло Айелло. Кроме того, за круглый стол пригласили двух студентов, но они ограничились тем, что зачитали краткие заявления и ушли. Журнал опубликовал текст этих заявлений, однако фамилий их авторов не сообщил. Указано просто: первый студент, второй студент, что, впрочем, понятно, ибо они выступили в качестве делегатов движения, а не как частные лица.

Первый студент сказал, что редакция «Эспрессо» — неподходящее место для дискуссий. Студенты охотно встретятся с Пазолини на баррикадах или на захваченных рабочими фабриках. Второй студент предложил Пазолини внимательно прочесть, что писал В. И. Ленин в своей работе «Что делать?» относительно роли интеллигенции в создании доктрины научного социализма, и привел большую цитату. Что же касается пассажа о полицейских, то второй студент посоветовал Пазолини прочесть книгу Ленина «Государство и революция».

Но раньше перечислим, какие места стихотворения вызвали наибольший интерес, возражения и споры. Тирады о полицейских. Выпады против студентов как представителей мелкой буржуазии. Рассуждения о рабочем классе. Оценка Итальянской коммунистической партии. И, разумеется, финал.

«Эспрессо» опубликовал стенограмму дискуссии. За обменом репликами и отдельными полемическими замечаниями стояли очень серьезные разногласия. И Витторио

* Università: l'ipositesi rivoluzionaria. Documenti delle lotte studenteschi. Trento, Torino, Napoli, Pisa, Milano, Roma. Marcilio Editori. Problemi del socialismo N 28-29, 1968.

Фоа и Клаудио Петруччоли высказались откровенно, не щадя автора. Фоа заявил напрямик:

«Стихотворение мне не нравится, я нахожу его очень скверным. Однако оно любопытно: не столько тем, что сказано о студентах или о рабочем движении, сколько тем, *что раскрывается в самом Пазолини* (подчеркнуто мною.— **Ц. К.**). У него застывшее представление о классовой борьбе и о рабочем движении. Он не понимает студентов именно потому, что не понимает, каковы сегодня рабочие. Рабочий класс сейчас не тот, каким был в середине 50-х годов, совсем не тот».

Петруччоли высказался еще резче. Он сказал, что Пазолини вообще не понимает, что такое рабочий класс. Для него человечество делится не на классы, а на богатых и бедных, «на людей, от которых воняет или не воняет». Он просто не в состоянии разобраться в подлинной социальной диалектике.

Пазолини возразил обоим своим оппонентам:

«Все, что вы говорите о моем стихотворении, объясняется тем, что это плохое стихотворение, неясное. Я написал эти скверные стихи одновременно на нескольких регистрах. Поэтому они «сдвоенные», то есть иронические и в то же время самоиронические. Все словно взято в кавычки».

Затем Пазолини заявил, что тирада о полицейских — риторика, и другие места тоже риторичны, и вообще стихотворение сознательно «провокационно» в том смысле, что он, Пазолини, стремился вызвать настоящие споры. При этом неожиданно выяснилось, что он, Пазолини, к студентам, в сущности, относится превосходно:

«Мой гнев был направлен не столько против молодых, которых я хотел спровоцировать, чтобы вызвать их на откровенный и братский спор. Мое презрение направлено на тех взрослых, тех моих сверстников, которые хотят вернуть себе подобие чистоты, заискивая перед этими юношами...»

Но Фоа резонно заметил, что стихотворение, будучи опубликованным, существует само по себе и читатели ничего не знают о скрытых соображениях автора.

«Ваше стихотворение, Пазолини, появляется в определенном обществе и в определенный момент, в момент, когда молодежь, несмотря на свои иллюзии, находится в чрезвычайно трудном положении. Я говорю о студентах и о рабочей молодежи. По моему мнению, сейчас проводят согласованную операцию для того, чтобы изолировать юношеское движение. Для этого прилагают большие усилия, не брезгая никакими средствами. Была даже сделана попытка, к счастью, провалившаяся, мобилизовать против молодежи рабочие и профсоюзные организации. Подготовляют погром, не обязательно кровавый, но погром. Во всем этом объединении сил, стремящихся изолировать молодежь, не хватало голоса поэта. И голос поэта прозвучал и обвинил молодых в том, что они лгуны, что они мелкие буржуа...»

Петруччоли также считает, что налицо опасный маневр: достаточно следить за буржуазной печатью, чтобы убедиться в том, какую цель преследует этот маневр. Предпринимается все, чтобы помешать сближению студенческого движения с рабочими организациями.

«Поэтому стихотворение Пазолини ошибочно и неуместно: если цель наших противников — разделить наши силы, надо ясно определить нашу цель: мы стремимся к объединению этих сил... За исключением нескольких фантазеров, никто из участников студенческого движения не утверждает, будто раньше революцию делали рабочие, а сегодня ее делают студенты. Хотят найти своеобразный путь социалистической революции, в которой примут участие рабочие и их союзники, в том числе прогрессивные студенты».

Дискуссия в редакции «Эспрессо» продолжалась еще некоторое время, причем Пазолини перешел на позиции обороны. Как видят читатели по приведенным цитатам (а их легко умножить), его назвали «поэтом погрома», сказали, что он не понимает подлинной диалектики происходящих сейчас в Италии социальных и политических процессов, не понимает, что такое классы, и объективно выступил на стороне реакции. В конце концов Пазолини раздраженно заявил:

«Но я не следую никакой политической тактике. Если я ошибаюсь, меня это совершенно не трогает. Ведь я не политический деятель».

И в связи с репликой Айелло, напомнившего, что совсем недавно Пазолини назвал все свои стихи «политической поэзией», добавил:

«Это политика неполитического деятеля, писателя, не состоящего ни в одной партии».

Если не считать туманных рассуждений Пазолини о «неокапитализме», благодаря которому буржуазии якобы удается настолько «обуржуазивать» рабочих и крестьян,

что в конце концов «буржуазия становится самим обществом», и как бы субъектом мировой истории (тезис, встретивший самые резкие возражения), дискуссия в редакции «Эспрессо» закончилась, как и следовало ожидать, ничем: никакого сближения точек зрения и не могло произойти. В антитезе «Гражданская война» и «Революция», мне кажется, никто не мог толком разобраться, да и сам Пазолини не растолковал, что («черт побери») он имел в виду сказать концовкой своего стихотворения. Но как бы то ни было, дискуссия вызвала живой интерес и дополнительные отклики.

Подборку этих откликов, помещенную в следующем номере, «Эспрессо» озаглавил «Пепел Пазолини». Подзаголовок: «Международная дискуссия о его стихотворном выступлении против студентов».

Альберто Моравиа заявил, что он лично не любит полицейских, что студенты действительно буржуазные сынки, анархисты и имеют весьма отдаленное отношение к культуре. В целом, однако, он считает студенческое движение «самым важным, обнадеживающим и положительным событием, происшедшим за последние двадцать лет». Моравиа (который, кстати, тоже любит щеголять своей экстравагантностью) дал самую восторженную характеристику поэтическому творчеству Пазолини в целом.

Что же касается стихотворения, которое сам автор назвал «скверным»,— Моравиа находит его прекрасным. Гоффредо Паризе, известный нашему читателю как автор романа «Хозяин», также считает стихотворение прекрасным и горько упрекает Пазолини за то, что он обругал свое собственное произведение «из тактических соображений». Главная прелесть стихотворения, по мнению Паризе, заключается в том, что в нем сочетаются «высокое и низменное». Очень поддержал Пазолини известный итальянский писатель Гвидо Пьовене. Он заявил, что этот «стихотворный памфлет» никак нельзя понимать буквально. Пьовене ссылается на фразу, сказанную Пазолини во время дискуссии в редакции «Эспрессо» («Мое презрение обращено на тех взрослых...»), и добавляет, что дело отнюдь не в студентах,— Пазолини разгневан интеллектуальным оппортунизмом и лживостью слишком многих деятелей итальянской культуры.

> «Его возмутило интеллектуальное бесчестие итальянцев, именно против него он выступил, заняв позицию подстрекателя. Ценность этой позиции заключается в том, что она явилась пощечиной, данной оппортунистам. Пазолини противопоставил скандал скандалу».

Пьовене весьма сурово критикует студенческое движение за экстремизм, снобизм, отрицание ценностей современной культуры, за то, что студенты «находятся под влиянием поверхностных и грубых философских теорий». Однако все могут внести свой вклад в формирование этого «течения общественной мысли», и менее всех других это могут сделать те «льстецы-оппортунисты», против которых направлено «скандальное» выступление Пазолини.

Довольно презрительно отозвался о стихотворении Пазолини знаменитый итальянский поэт Эудженио Монтале: оно не прекрасное и не скверное просто потому, что это вообще не стихотворение, а излияние личных чувств. К студенческому движению Монтале относится довольно скептически: поживем — увидим, кое-что в студенческих протестах кажется двусмысленным.

> «Но двусмысленна и позиция Пазолини. Никакой он не марксист, хотя и воображает (если не ошибаюсь) себя таковым... Вдохновленный педагогическим азартом, он сам создал себе собственную религию».

В заключение Монтале не без яда замечает, что, по его мнению, Пазолини вряд ли заинтересован в том, чтобы разъяснить свою позицию. Отрицание, как таковое, стало «самодовлеющей категорией» и вовсе не преследует какой-нибудь определенной цели или результата.

Чрезвычайно резко отреагировали на стихотворение Пазолини деятели французской культуры Мишель Бютор и Франсуа Ревель. Первый заявил, что это личная реакция Пазолини на студенческое движение, «ни в какой мере не отражающая точку зрения итальянской, а также французской коммунистических партий». Особенно не понравился Бютору «куплет» о бедняках полицейских. А вообще все стихотворение неприятное и нелепое: «стихи в стиле почтовой открытки».

Между прочим, именно этот «куплет» насчет полицейских вызвал большой резонанс. В «Ринашита» автор заметки, озаглавленной «ППП полиция»* (подписано инициалами О. К.), пишет, что хоть Пазолини приучил всех к своим гиперболам и риторике, на этот раз он «хватил лишку»: Пазолини идеализирует полицейских и мысленно сближает их с любимыми героями своих книг — люмпен-пролетариями. Кроме того, он забывает, что когда отдельный полицейский становится частью целого — полиции, перед нами

> «карательные и агрессивные вооруженные силы, находящиеся в услужении буржуазного государства. Сегодня они избивают студентов, вчера убивали бедных крестьян Юга и рабочих Модены и Реджо, а завтра будут делать все, что им прикажут».

---

* ППП — Пьер-Паоло Пазолини.

Чтобы больше не возвращаться к вопросу о полицейских, приведу еще замечание Франсуа Ревеля:

«Сомневаюсь, чтобы Пазолини удалось найти у Маркса или у Ленина хоть одну цитату, которая подкрепила бы его предложение заменить союз между интеллигентами и людьми физического труда союзом между полицейскими и рабочими».

Однако самым убийственным для Пазолини представляется выступление профессора западноберлинского университета Иоганнеса Агноли. По убеждению Агноли, стихотворение Пазолини с политической точки зрения сливается с теми тенденциями, которые стремятся помешать сближению между студенческим и общеосвободительным движением. Агноли пишет:

«Мне очень неприятно за Пазолини, потому что я ценю его как художника. Но уже через несколько дней после опубликования его поэмы в Италии она цитировалась в Германии фашистскими и правыми газетами как классический образец».

«Эспрессо» дал Пазолини возможность ответить своим оппонентам. Поэт, видимо, хотел как-то разъяснить свою позицию, но, по-моему, его ответная статья еще более путаная, чем стихотворение. Итак, что же Пазолини пишет? Франсуа Ревелю он не хочет даже отвечать и называет его фарисеем. А вот оставшиеся безымянными студенты Пазолини взволновали («экстремистская и негативная позиция, как таковая», имеет для него «большую притягательную силу»). Пазолини, видимо, много размышлял над тем, как он теперь подведет, так сказать, теоретическую базу под свое злополучное стихотворение. И вот к чему он пришел: в самом лучшем случае,

«студенты бунтуют против отцов (против нас) не как революционеры, которые восстают против того, что они называют системой, но скорее просто как представители неокапитализма, то есть совокупности всего того, что отвергает и превосходит классический капитализм, новой технической и городской культуры, свергающей старую гуманистическую и деревенскую культуру».

Пазолини развивает свою мысль: даже у самых искренних студентов за подлинно революционными фразами борьбы («понимаемой в классических терминах марксизма-ленинизма») скрывается нечто не менее настоящее, а именно: их движение — «это попросту форма, в которой новая буржуазия борется против старой буржуазии». Но на этом мысль Пазолини не останавливается. Он заявляет:

«Я обвиняю студентов в том, что они — буржуа, придавая слову «буржуазия» смысл — как бы это сказать? — метафизический: почти как если бы слово «буржуазия» было названием ужасной болезни».

Из рассуждений Пазолини мы, кстати, узнаем, что когда он был еще подростком, буржуазное общество по каким-то особым причинам исключило его из своих рядов. Простить этого он не может, у него осталось чувство обиды и воспоминание о том, как «изгнанный из центра, я нашел утешение на окраине».

«Таким образом, я обвиняю наших студентов не в том, что они буржуа по данным переписи, но в том, что они больны тяжелой буржуазной болезнью. Но в то время, как у нас, отцов, эта болезнь была в первой стадии... сегодня у сыновей она в полном разгаре. Это уже не болезнь одного социального класса. Она начинает превращаться в болезнь всего мира».

Возвращаясь к студенческому движению в Италии, поэт подтверждает свои горячие симпатии к «экстремизму», а также «инфантилизму». Студенты, однако, должны осознать, что им необходимо сделать какой-то решительный выбор, ибо все, «что родилось левее, чем ИКП, должно обрести форму». Вопрос о взаимоотношениях с ИКП — ключевая проблема для итальянского студенческого движения. Перед студентами:

«в будущем вырисовывается прежде всего не Система, а ИКП, то есть весь рабочий класс».

Как будто прозвучала какая-то новая нота. Но тут же выясняется, что сам Пазолини, знавший партию «в другие (лучшие) времена», всегда яростно критиковал ее политику, «и не только культурную», и вообще давно уже «разочаровался» не только в Итальянской коммунистической партии, но и во всех социалистических странах Восточной Европы—«и так далее, и так далее, и так далее», как выражается Пазолини. Тем не менее рвать с партией все же не стоит, ибо она, как полагает Пазолини, не может быть исключением из общего правила и подвержена законам эволюции: «ИКП тоже может стать не тем, что она есть».

Уловить в путанице мыслей и эмоций Пазолини хоть какую-то логику трудно. Пазолини предлагает студенческому движению на выбор три пути: либо остаться

смутным и бесформенным («хотя в некотором смысле чрезвычайно демократическим и привлекательным»); либо создать «информальную партию» левее ИКП и соревноваться с коммунистами во влиянии на рабочий класс; либо, наконец, «заполнить собою ИКП, более того, овладеть ею». Пазолини продолжает:

«Если бы я должен был посоветовать студентам, какой из этих трех путей лучше избрать, я не сумел бы ответить. Последняя, неопределенная часть моего стихотворения — такая же плохая, как все стихотворение, но это еще не значит, что она неискренняя: с одной стороны, меня манит «вечный бунт», с другой стороны — любовь к рабочему классу требует осторожности и здравого смысла».

Финал статьи несколько неожиданный. Пазолини объясняет, почему он находит американских студентов «достойными восхищения», а также почему он хотел бы посвятить «настоящее стихотворение» Руди Дучке и вообще целиком поддерживает немецких студентов:

«Я полностью на стороне американских и немецких студентов, так как они действуют и говорят непонятным для своих отцов образом. Но этого абсолютно нельзя сказать об итальянских студентах, ведь все, что они говорят, могут понять их отцы (профессора, правительственные деятели, профсоюзные руководители, старые интеллектуалы, лидеры партий)».

То обстоятельство, что в Италии — как, впрочем, и во Франции,— два поколения отцов и детей «отлично понимают друг друга», является для Пазолини лишним доказательством того, что молодежь вовсе не революционна, а, действительно, выступает лишь как представитель неокапитализма. Только в том случае, если сыновья поймут вину и ошибки отцов и заговорят совершенно иным, не доступным предшествовавшему поколению языком, «сыновья станут настоящими революционерами». И, наконец, Пазолини сам к себе обращается с риторическим вопросом: зачем он говорит все это? Почему обращается к молодежи? «Ведь я окончательно понял, что моя непопулярность — полная и непоправимая». А делает он, оказывается, все это и стихотворение свое написал лишь потому, что он, Пазолини, «неустрашимый идеалист». Вопреки всему, он надеется заставить студентов понять, что быть буржуа — значит быть больным и что надо окончательно рвать с обществом, «которое предусматривает и принимает даже мятежных студентов»:

«Только подобное понимание может создать новый тип деятельности и новый язык, которые наконец-то окажутся скандальными».

■

Вот такой литературно-политический caso произошел в Италии. Вряд ли нужны к этому еще какие-либо комментарии. И хотя Пазолини, без сомнения, причисляет себя к тем деятелям культуры, которые стоят на позициях impegno, то есть определенных моральных и гражданских обязательств художника, это как-то несовместимо с его путаной, двусмысленной и весьма странной морально-политической импровизацией.

Ц. КИН

КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ

Накал гражданского темперамента — в традициях румынской литературы, будь то язвительная сатира великого Караджале или нравственные медитации Камила Петреску — писателя межвоенного периода. Румынская литература первых послевоенных лет, когда новое социалистическое государство только начинало строиться, жадно вбирала в себя жизнь во всей ее сложности, стремясь запечатлеть вздыбленное, взорванное время. В дальнейшем не обошлось без издержек. Появилась наряду с жизненно достоверной и литература, подгоняющая жизнь под схему, литература, так сказать, подкрахмаленная и выутюженная. Молодая румынская проза шестидесятых годов первоначально была естественной реакцией на догматизм мышления, шаблонность искусства, становящегося ремесленничеством; на смену железобетонной конструкции «производственного романа», да и не только его, пришли разнообразие форм, свобода композиции. Однако случилось так, что со временем у иных писателей свободная форма сделалась каноном, недоверие к пустой фразеологии вылилось в отрицание идейного пафоса, боязнь морализирования привела к отсутствию нравственного фундамента в литературе. Экстремизм отрицания обернулся догмой, сделался догматизмом наизнанку. Крайности, как известно, сходятся.

«Игнорирование идей в литературе объясняется в определенной степени тем, что идейная литература отождествляется с литературой, в которой идеи

выражены догматически и скучно. Созданная в основном посредственными авторами, она была одно время довольно распространена у нас»,—

пишет Помпилиу Марча в опубликованной в «Скынтейе» статье «Догматизм литературного иррационализма», стараясь понять, почему некоторыми румынскими писателями аполитичность литературы возводится в принцип.

Ряд статей, появившихся за последнее время в румынской прессе, выдает озабоченность деятелей литературы и искусства этой тенденцией. Разговор идет серьезный, без категоричности, без нажима в голосе. Тема разговора, его острота сформулированы уже в заголовках статей «Политическая направленность литературы» Пауля Ангела, «Моральная ангажированность искусства» Думитру Соломона, «Анахронизм абсолютистских тенденций в литературе» Аурела Мартина, «Можно ли назвать бессвязность признаком литературы?» Марина Минку, «Формулы исключительности в литературной критике» Александру Опри и др.

«Что означает творчество, которое не предлагает никакой программы? — спрашивает Пауль Ангел.— Само понятие «ангажированная литература», социальная завербованность литературы, как таковая, для некоторых из нас стала синонимом предрассудков, которые мы сегодня отвергаем. Самых слабых это толкнуло в объятия нового предрассудка, каким является отказ от всякой ангажированности. Для части писателей творить литературу завербованную означает находиться *вне* литературы, в то время как посвятить себя формальным стилистическим поискам, чистому экспериментаторству равносильно тому, чтобы быть *внутри* нее. Но между этими понятиями *вне и внутри* существует человек нашей эпохи с его мечтой и болью, с его самоотверженностью и трагедией. Кто его услышит и как, кто ему ответит и как?»

С грустью констатирует критик тот факт, что многие из книг, появившихся в последнее время, никого не интересуют, они обходят молчанием кардинальные проблемы существования человека нашей эпохи; они оставляют читателя холодным, ибо то, из чего складывается драма и пафос нашего времени, не отражается на их страницах.

«Разве может писатель удовлетвориться ролью ремесленника-надомника, полирующего слово, отказав себе в праве стать создателем общественного мнения, выразителем и творцом социального сознания? — задает вопрос критик.— Что общего имеет такая литература с ее высоким гражданским назначением как искусства гуманистического, философского и политического?!»

Двадцать лет назад, по мнению Думитру Соломона, который в статье, опубликованной в «Скынтейе», присоединяет свой голос к голосу своего коллеги из «Газеты литерарэ», никому бы не пришло в голову обсуждать проблему нравственного потенциала литературы. Слишком свежи были раны войны, чтобы кто-нибудь мог усомниться в морально-этических задачах литературного творчества. Сегодня, говорит он, скептицизм, ирония становятся самоцелью, а за ними скрывается новая инертность мысли, пришедшая на смену старой.

В истории литературы, утверждает Д. Соломон, не существует сколько-нибудь значительного произведения, художественная ценность которого не включала бы в себя и нравственные ценности. Это в равной степени относится и к румынской литературе.

«...Разве румынский народ, которому посвятили свои произведения Караджале, Ребряну, Садовяну, Камил Петреску, Аргези, согласится с экспериментами без смысла, каллиграфическими прописями, которые кое-кто из писателей стал рассматривать как единственный путь литературы будущего?!»

И П. Ангел и Д. Соломон признают, что книги пишутся не только из любви к искусству, но и из любви к людям, которые их читают. Предполагается, что между писателем и читателем любовь должна быть взаимной. Между тем Пауль Ангел отмечает как очень тревожный факт взаимное равнодушие читателя и писателя. Сначала, считает он, читатель отвернулся от литературы, втиснутой в узкие рамки заданной схемы. Потом некоторые писатели, вместо того чтобы сломать искусственные барьеры, сами отвернулись от читателя, начав адресовать свои произведения так называемой литературной элите. Они эпатируют читателя гипертрофией формы. Сумятицу чувств, хаос потока сознания, увлечение звуком, разорванность стиля выдают за сложность современной манеры письма.

Подлинное новаторство должно быть открытием нового в человеке, способствующим его движению вперед. Если новаторство сводится только к поискам новых форм, оно легко становится стереотипом, модой, эпигонством.

Новаторы не должны быть похожи друг на друга, иначе какие же это новаторы! А румынская критика единодушно отмечает, что из книги в книгу кочует скучающий молодой герой, модно одетый, скептически настроенный; в поисках развлечений он блуждает по современному городу с непременными его атрибутами, ставшими литературным штампом: модерными кафе из стекла и пластика, мертвым блеском неоновых реклам и равнодушной сутолокой улиц.

Конечно, не стоит сводить литературу сегодняшней Румынии всего лишь к одной тенденции, о которой идет речь. Думитру Соломон в уже цитировавшейся статье говорит о борющихся друг с другом тенденциях современной румынской литературы.

«В то время,—пишет он,—как некоторые молодые писатели заняты поисками все новых неизвестных в уравнении человеческой жизни, а их произведения полны свежих наблюдений, в то время как они рисуют человеческие типы и судьбы, вводят новые идеи и необычные углы зрения в интерпретацию современной жизни, высказывают моральное кредо в соответствии с концепцией прекрасного как «символа нравственности», другие пасуют перед сложной проблематикой современного общества, предлагая взамен геометрически замкнутый, ненаселенный мир, из которого удалены мысли и чувства, или фиксируют ряд ощущений, воспроизводят бессвязные записи, не подчиненные какой-либо организующей мысли. В результате нарушена связь с читателем...».

А раз с читателем не существует душевного контакта, напрасно было бы ждать от него понимания и признательности.

Поскольку среди выразителей тенденции аполитизма литературы чаще других называют имена молодых поэтов и прозаиков, которые, по выражению Аурела Мартина, «хотят утвердиться прежде всего путем отрицания, стремясь во что бы то ни стало писать по-другому, чем их предшественники» (в этом, по существу, заключается их программа), газета «Скынтейя» провела беседу за круглым столом на тему «Координаты эволюции молодого писателя». В ней приняли участие наиболее известные представители молодого отряда литературы, такие как Ион Александру, Марин Сореску, Никита Стэнеску, Корнелиу Омеску, Константин Стойчу, Николае Веля и др. В ходе беседы выяснилось, что молодых писателей не меньше других беспокоит утрата взаимосвязей литературы и истории, сектантское стремление свести многосложность человеческого существования к двум-трем абстрактным формулам, в которых главное место отводится не сознанию, а подсознанию.

«Надо отметить,— заявил Константин Стойчу,— что тенденция к сужению сферы анализа жизни, подражание моделям, ошибочное представление, что только исследование подсознательного, описание чувственного составляет живой материал прозы, очень опасна. Появление произведений подобного рода привело к тому, что в охвате событий и явлений нашей эпохи проза стала «опаздывать», что ее герои отдалились от социальных проблем времени и вынуждены существовать в замкнутом мире. Лишенные коммуникабельности, одинокие, они действуют вне каких-либо конкретных обстоятельств, вне реального бытия. Сегодня тенденция такого рода настораживает.

Даже если автор повторяет самого себя, это делает его монотонным,— продолжает Стойчу.— Какой же однообразной и бедной становится литература, изготовленная по единому рецепту, предписывающему экзотический жаргон и модную бессвязность стиля, которая якобы предполагает психологическую усложненность».

Стойчу отметил, что «всякое замыкание в каком-то одном способе выражения» приносит вред искусству, что оно «не имеет ничего общего с подлинным творчеством».

Прозаик Корнелиу Омеску, говоря о задачах, стоящих перед молодым поколением румынских писателей, подчеркнул:

«Я думаю,— сказал он,— что мое поколение еще не создало книгу нашего времени, которая могла бы стать его визитной карточкой. Если мы не напишем такую книгу, мы так и останемся поколением несостоявшихся. Но мысли лучших из нас, высказанные в разных обстоятельствах, свидетельствуют о желании и усилии написать книгу социалистической эпохи, книгу жизни нашего народа».

Еженедельник «Лучафэрул» недавно вышел в новом издании, объявив себя органом молодой румынской литературы. Главным редактором его назначен Штефан Бэнулеску — имя, известное сегодня не только румынскому, но и зарубежному читателю.

Формулируя свое кредо, «Лучафэрул» заявил, что широко открывает свои страницы молодым писателям, каждому из которых, вне зависимости от того, к какой литературной группе он принадлежит, дается возможность проявить свой талант. Чем разнообразнее будет представлена румынская литература, тем больше это соответствует целям еженедельника.

«Однако наша терпимость,— уточняет «Лучафэрул»,— вовсе не означает отсутствия определенного направления. Газета должна иметь свое лицо, свой профиль, свои идейные позиции. «Лучафэрул» отправляется в путь без предрассудков. Но это вовсе не значит, что без принципов».

«Лучафэрул» выступает за литературу, призванную решать общественные задачи. К решению этих задач стремится литература социалистической Румынии в лице ее лучших представителей. Отсюда и полемический запал в сегодняшнем обсуждении путей ее развития.

Е. АЗЕРНИКОВА

НАШИ ГОСТИ

О ТОМ, КАК НАХОДЯТ СЕБЯ

«Часто я втайне желаю, чтобы литература была такой волшебной палочкой, которая могла бы избавить... всех людей от злых чар, пробудить угасшие души, вдохнуть в них мужество, веру в себя, в свои неосознанные порой мечты, желания и способности».

Так говорит Криста Вольф в своей статье «Почему я пишу». Пожалуй, в этих словах ключ к ее творчеству, к книгам «Расколотое небо» и «Размышления о Кристе Т.». Первая из них — о судьбе двух молодых людей, живущих под «расколотым небом» Германии, об их личной трагедии,

происшедшей оттого, что у одного из них оказалась «угасшая душа»,— была сначала опубликована в «Иностранной литературе» *, а потом вышла отдельным изданием. Вторая в ближайшее время выйдет в свет в ГДР на родине автора, главы из нее печатались журналом «Зинн унд форм».

Когда Криста Вольф вместе с мужем, Герхардом Вольфом, литературоведом, побывала у нас в гостях, она рассказала необычную историю создания своей новой повести.

Криста Т. существовала на самом деле. Она была близкой подругой писательницы. Ей довелось прожить недолго — она умерла молодой. Эта незаурядная женщина таила в себе большие творческие возможности, которые так и остались нереализованными. Она могла бы стать, но не стала писательницей. Очевидно, ей не хватило веры в себя. Она много писала, но прятала написанное, никому никогда ничего не показывала.

— После ее смерти,— рассказывает Криста Вольф,— остался ящик, переполненный бумагами: рукописями, письмами, записками. Ее мужу тяжело было даже прикасаться к этому ящику. И он предоставил это мне. Я заглянула в ящик, в котором бумаги были в полном беспорядке, начала

* См. «Иностранную литературу» № 1, 1964.

разбирать их. И читала, читала, не отрываясь. Это длилось не дни, а недели.

Я заново открыла для себя человека, которого, казалось, хорошо знала.

Криста Вольф взяла эпиграфом к своей повести вопрос, заданный Иоганнесом Бехером: «Как это происходит, что человек находит самого себя?» Ответ на этот вопрос писательница, по ее словам, пыталась найти в течение двух лет, которые потребовались для работы над повестью.

Криста Т. не нашла своего призвания, этому помешал и ее собственный характер, и различные жизненные обстоятельства. Но она, и не найдя своего призвания, оставила след в душах тех людей, с которыми встречалась и общалась. Она не прошла по жизни бесследно.

— Я спрашивала себя: почему пишу о ней? — вспоминает Криста Вольф.— Ведь после нее не осталось ничего законченного, завершенного.

Писательница поняла — и в этом пафос ее произведения,— что человеческая жизнь не может и не должна пройти бесследно, если человек носит в себе то, что нужно другим.

Конечно, в повести есть и особые приметы времени, наложившего свой отпечаток на личность Кристы Т. И, что самое главное, в ней передается ощущение незаурядности этой своеобразной личности.

— Повесть окончена. Отрывки из нее я читала на читательских конференциях, в самых разных аудиториях,— рассказывает Криста Вольф.— Однажды я встретилась с иностранными преподавателями, среди них были советские товарищи, болгары, англичане, американцы. И все они проявляли живой интерес к вопросам, на мой взгляд, чисто немецким. Меня это поразило.

Последний раз я читала отрывки из повести в Готе, в Высшей технической школе. Публика была отнюдь не литературная. Я боялась, что все пойдет вкривь и вкось. А получилось иначе: слушатели задавали очень много вопросов. Вообще я должна сказать, что вопросы, которые задают на читательских конференциях, стали глубже и тоньше.

Через год Германская Демократическая Республика будет торжественно праздновать свое двадцатилетие. Роман Анны Зегерс «Доверие», прежде всего названный Кристой Вольф, принадлежит к числу книг, которыми писатели достойно отметят юбилейную дату. Криста Вольф также говорит о новых произведениях Эрвина Штриттматтера, Франца Фюмана, Гюнтера де Бруина, Эрика Нейча. Она сообщает о новом романе Германа Канта «Импрессум», который, как она надеется, выйдет в будущем году, о первом романе Бригитты Рейман «Франциска Линкерханд».

На наш вопрос об отличительных особенностях сегодняшней прозы ГДР Герхард Вольф отвечает:

— Раньше писателей больше всего волновала проблема преодоления прошлого, «прибытия» в социализм. Сейчас это «прибытие» уже состоялось. А круг тем, разрабатываемых писателями, становится все шире и шире. Они смелее ищут в литературе разных путей, соответствующих творческой индивидуальности каждого.

— Когда выйдут новые книги,— добавляет Криста Вольф,— станет яснее, в чем сегодня специфика литературного развития.

У нас много возможностей осмысления реальности. Их дает и философия, и история, и социология, и психиатрия. Но только литература может выполнить задачу «просвечивания» жизни. Важно, чтоб она не стала иллюстрацией к истории или социологии. Над этим сейчас размышляют наши прозаики.

В недавнем прошлом у нас были бурные дискуссии о задачах литературы — в связи с романами Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп» *, Эрика Нейча «След камней», Германа Канта «Актовый зал» **. Жаль, что таких дискуссий стало меньше.

И еще жаль, что мы иной раз боимся делать выводы из наших наблюдений. Помоему, это страх необоснованный. Ведь мы строим новое, а строить что-либо можно только на основе точных данных.

У нас много литературоведов, но мало критиков, откликающихся на самое животрепещущее в литературе.

Герхард Вольф считает, что поэзия ГДР на сегодняшний день лучше прозы.

— На этой почве у нас бывают семейные разногласия,— улыбается его жена.

По мнению Кристы Вольф, поэтам легче выразить свою творческую индивидуальность. Поэзия более субъективна, проза требует объективности. Герхард Вольф называет имена поэтов, у которых свой собственный голос: это Сара и Райнер Кирши, Фолькер Браун, Карл Миккель, Манфред Штрейбель, Бернд Йенцш. Он говорит о сборнике стихов Ганса Цибульки «Роза ветров», который скоро должен выйти из печати, о книге Эриха Арендта, о стихотворениях Георга Маурера.

Разумеется, мы интересуемся творческими планами наших гостей.

Криста Вольф связывает свои ближайшие планы с именем большого мастера современной немецкой литературы Анны Зегерс. Она составила сборник статей Анны Зегерс разных лет, который выйдет к юбилею ГДР и куда, в частности, войдет и то, что Анна Зегерс писала, находясь в годы изгнания в Мексике. Кроме того, Криста Вольф создала сценарий фильма по роману Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми».

Писательница готовит к печати и свои собственные эссе, разнообразные по темам. Некоторые из них навеяны впечатлениями от поездок по Советскому Союзу, где она бывала не раз.

— Мне очень хочется рассказать, как в Ленинграде мы познакомились с Андреем Федоровичем Достоевским, внуком велико-

* См. «Иностранную литературу» №№ 7—10, 1965.

** См. «Иностранную литературу» №№ 1—3, 1968.

го русского писателя. Он показывал нам дома, где жил Раскольников и где он убил старуху. Для этого человека все в литературе достоверно, все реально. И вот это ощущение полнейшей достоверности того, что написано в книгах,— толчок к раздумьям о великом значении литературы.

Криста Вольф была литературным критиком, прежде чем стала создавать художественные произведения. Тем больший интерес представят собой ее новые выступления в старом жанре; их наверное обогатит приобретенный ею писательский опыт.

Но, конечно, этим не ограничиваются творческие замыслы Кристы Вольф. По-видимому, она будет работать над сборником рассказов.

Герхард Вольф уже закончил одну книгу, посвященную Иоганнесу Бобровскому, недавно скончавшемуся талантливому прозаику и поэту ГДР. Сейчас он работает над второй книгой о Бобровском.

— Этот писатель войдет в историю литературы и на Востоке и на Западе. Он оказывает сильное влияние на молодых как в прозе, так и в поэзии. Восприятие его литературного наследия сопряжено со многими трудностями. Но прояснить то, что в творчестве Бобровского затемнено,— задача благородная и благодарная. Одна из характерных особенностей его творческой манеры — совмещение планов. Он пишет о прошлом так, как будто это наша современность. Он глубоко современен.

Короткая беседа подходит к концу.

— Думаю, что мы скоро снова будем у вас,— говорит Криста Вольф.

Л. ХАРЛАП

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

В СВЕТЛОМ МИРЕ

С. Доржпалам. Избранное. Перевод с монгольского. Редактор С. Северцев. Москва, «Прогресс», 1967. 79 стр.

Она совсем не велика, эта книга в мягком переплете с яркой двуцветной суперобложкой. Но четыре десятка помещенных в ней стихотворений С. Доржпалама дают возможность побывать в светлом мире поэзии, познать доброту сердца и радостную приподнятость чувств поэта. Прочитанные стихи оставляют впечатление, что с человеком, их написавшим, вы давно и близко знакомы, ибо всегда запоминается даже непродолжительное общение с тем, кто влюблен в жизнь, в людей и их труд, в образное поэтическое слово.

Ровесник народной революции в Монголии, Сухийн Доржпалам родился в 1921 году. Жизненный путь и творческая судьба его во многом схожи с судьбами других представителей новой монгольской интеллигенции. Окончив педагогические курсы, будущий писатель преподавал в средней школе. Перед способным и любознательным учителем открылись двери улан-баторского университета. Снова годы учебы, а затем — преподавательская деятельность в Высшей партийной школе. Первые его стихи, а затем и рассказы появились в печати в 1948 году. В 1956 году вышел первый сборник его стихов «Лирика», а в 1960 году — второй — «В светлом мире».

Писатель занимался на Высших литературных курсах в Москве. Учеба, работа (в последние годы на дипломатическом поприще), творчество — С. Доржпалам с упоением отдавался всякому труду, видел в нем основной смысл и радость жизни. Мир для него всегда был светлым, и, если набегали порою на голубой небосвод тучи, жизнелюбивый, признававший лишь силу правды человек старался рассеять их веским словом поэзии. В поэме «Сестре любимой» он писал:

Жизнь коротка. Много пестрых мгновений
соединяет она, словно нить.
Дни безмятежности, ночи волнений,
радость и боль — все пришлось пережить.

И только тяжкий недуг оказался сильнее его жизнелюбия. Книга избранных стихов поэта, вышедшая в издательстве «Прогресс», уже не застала его в живых, но осталась как память о нем, такая же светлая, какой была его жизнь.

Дыханьем, каждой каплей крови
Я твой, Монголия моя.

Это строки из стихотворения «Простые камни у дороги». Многократно и разнообразно воплощенная тема родины звучит то в стихах, посвященных памяти ее погибших бойцов («Улица мира»), то в лирических строфах о разлуке с Монголией.

«Чем я дальше от родины — ближе мне родина», — пишет С. Доржпалам. И рядом

с образом отчизны непременно возникает другой — такой же яркий образ матери. («Там, где я вырос», «Прекрасная моя мама», «Вяз», «Перед зимой»). Нередко они сливаются в единый образ отчизны-матери, мужественный, проникновенный, художественно убедительный.

Многие стихи поэта славят дружбу народов Монголии и Советского Союза, прослеживают ее истоки.

...воины, павшие здесь, породнили
русских с монголами кровью своей,—

замечает он в поэме «Сестре любимой», обращаясь к вдове советского бойца, погибшего в бою у Халхин-Гола.

Есть у С. Доржпалама стихи о любви, о чистых человеческих чувствах, стихи, несущие нам запах степи, обаяние монгольской природы. Тайна привлекательности этих произведений состоит, на мой взгляд, в жизненной позиции их создателя:

Всегда я изумленно буду жить,
На этот мир загадочный уставясь.

Говорят, что поэзия возникла в тот миг, когда человек впервые удивился. С этим вечно молодым удивлением писал стихи С. Доржпалам, и недаром утверждал он в стихотворении «Мой младенец», что

...каждый шаг по жизни
На первый шаг похож.

В творчестве С. Доржпалама обращают на себя внимание стихи, подсказанные жизненным опытом и долгими размышлениями, стихи, в которых поэт борется за духовную чистоту человека новой эпохи. Они дополняют портрет писателя. Больше того: энергичные, с афористически точно выраженной мыслью, эти произведения определяют творческую индивидуальность С. Доржпалама. Выразительны строки о нелюдимом добровольном затворнике, отгородившемся от жизни высоким забором («Забор»); размышления о замке́, который «из жадности», «из страха сотворен», утверждают в мысли, что ни сундуки, ни дома, ни сердца людские не должны иметь замков («Замо́к»)... Дым зависти улетает, но копоть на душе человеческой остается, замечает поэт в стихотворении «Дым и зависть». Он борется с черствостью сердец («Телефон»), злоязычием («Рана»), неверностью в дружбе («О дружбе»).

С. Доржпалам умел заглянуть в человеческую душу, поэтически выразить ее сущность («Родничок»); наблюдательный и справедливый, приходил он к мудрому выводу:

...если прожил жизнь свою достойно,
Без жалоб встретит старость человек.

О литературных интересах, о поэтическом вкусе С. Доржпалама говорят и его переводы: много труда и таланта вложил он, воссоздавая на монгольском языке «Маобитскую тетрадь» Мусы Джалиля, стихи Шандора Петефи, Николая Тихонова. Нужное людям творчество С. Доржпалама оставило заметный след в современной монгольской литературе. Посмертно в журнале «Цог» в Улан-Баторе опубликован цикл его последних стихов, которым присуждена первая премия журнала за 1967 год. Советским читателям, я уверен, будет близок светлый мир поэта, отраженный в его стихах.

ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

О ЛЮДЯХ АФРИКИ — ПИСАТЕЛЯХ И ИХ ГЕРОЯХ

Г. И. Потехина. Очерки современной литературы Западной Африки. Ответственный редактор А. Б. Давидсон. Москва, «Наука», 1968. 212 стр.

«Литература Африки,— пишет Г. Потехина,— призвана исполнить ту же важную общественную миссию, что и литературы всех стран мира: она поможет Африке узнать себя, а миру — понять Африку».

Ни политика, ни экономика, ни социология не способны заменить знания столь особенные и специфические, которые несет с собой африканская художественная литература. А потому и верная интерпретация этой литературы, точный научный анализ литературных фактов в неменьшей степени могут оказать значительную помощь в процессе познания африканской жизни. Именно этим целям и служит исследование Г. Потехиной о литературе стран Западной Африки.

Форма очерков, избранная автором книги, продиктована не только возможностью свободно обращаться к тем или иным заслуживающим внимания проблемам становления и развития западноафриканских литератур или к творчеству отдельных писателей. Такая форма кажется сегодня наиболее подходящей для изучения современного этапа развития (чаще всего неравномерного и неравнозначного) литературы многих африканских стран. Тем более что эта форма не мешает автору книги дать научный анализ историко-литературного процесса в бывшей французской Западной Африке в период 20—30-х годов, а также после второй мировой войны и создать всестороннее представление о творчестве крупнейших писателей Гвинеи, Сенегала, Берега Слоновой Кости и Камеруна.

Нарисовать реалистическую картину такой значительной стороны духовной жизни современной Африки, как художественная литература, нелегко. Недостаток конкретных знаний приводит нередко к тому, что африканские литературы рассматри-

ваются или как явление недифференцированное, или, что гораздо хуже, по образу и подобию литератур европейских, более привычных и для анализа, и для европейского читателя. Отсюда — искусственно установленные границы литературных течений, методов, направлений, схематическое противопоставление реалистов и модернистов без учета реальной специфики духовной жизни Африки.

Автору «Очерков» счастливо удалось этого избежать. Его осведомленность в этнографии, фольклоре, религии, социологии и истории Западной Африки способствует объективной характеристике литературы и позволяет делать выводы, идущие «изнутри» самого анализируемого материала, а не сквозь призму давно устоявшихся понятий, свойственных историко-литературному процессу других стран. (При этом автор отнюдь не отказывается от соотнесения и сопоставления африканских литератур с другими литературами мира, но лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, целесообразно и оправданно.)

Большой удачей в книге Г. Потехиной является показ того, как тесно связаны африканские литературы с фольклором своих народов. В главе о литературе Гвинеи интересный и подробный рассказ автора о гриотах мандинго — хранителях устной исторической традиции — прекрасное свидетельство устойчивости народного искусства и его огромного влияния на духовную жизнь современной Африки.

Подробно анализируя творчество крупнейших современных писателей Западной Африки: Сембена Усмана, Леопольда Седара Сенгора, Бернара Дадье, Фердинана Ойоно, Монго Бети и др., а также проблемы развития литературы 40—50-х годов, автор очерков широко освещает историко-культурный фон литературной жизни Африки в 20—30-х годах — истоки и развитие концепции негритюда, исследование связей, которые существовали между культурным движением франкоязычной африканской интеллигенции и негритянской интеллигенции Америки.

Г. Потехина справедливо строит основную часть композиции «Очерков» на характеристике творчества писателей из Камеруна, Гвинеи, Берега Слоновой Кости и Сенегала. Но, пожалуй, до конца выявить границы национальной специфики, отделяющие литературы Западной Африки одну от другой, автору пока не удается. Является ли географическое происхождение писателя тем признаком, по которому он может быть отнесен к той или иной африканской литературе? Лежат ли национальные различия литератур лишь в характере проблематики и в той «особой человеческой и материальной среде», которая, по мнению автора, составляет «реальность конкретной страны»? Условия, несомненно, необходимые. Но достаточны ли они для определения национального в литературе? Как быть тогда с теми колониальными писателями европейского происхождения, жившими в Африке, которым нередко удавалось вплотную приблизиться к отражению конкретной реальности данной страны,— ведь в то же время они принадлежат к французской или английской литературе?

Вопрос о национальной специфике литератур Африки осложняется, конечно, и жанровым их единством, и общностью того круга проблем, которые волнуют африканских писателей. Автор книги очерков, рассматривая творчество наиболее характерных для той или иной западноафриканской литературы писателей, в то же время верно определяет общие контуры развития литературных жанров и проблематики, свойственных Западной Африке в целом.

Так, в прозе, которая заявила здесь о себе сразу в крупных формах (повести и романы), постепенно к середине 50-х годов из автобиографического романа, отражающего личный жизненный опыт писателя, вырастает социальный реалистический роман. Романтическое воспевание славного прошлого в поэзии 40—50-х годов и идеализация патриархального общества сменяются в прозе мотивами протеста и сопротивления, резкой критикой социальной действительности, направленной против колониальных порядков. Героями западноафриканской литературы становятся люди, «смело вступающие в единоборство с колониальной системой»: Сэм из романа Бенджамина Матипа «Африка, мы не знаем тебя!», Тунди из «Жизни боя» Ф. Ойоно или Клембье—из одноименного романа Б. Дадье.

На рубеже 50—60-х годов эта тематика произведений перестает быть ведущей. Колониализм уходил в прошлое, и если эта проблема еще и волнует писателей, то основное место в их творчестве теперь постепенно занимает углубленный анализ «собственных ценностей», своего духовного и социального мира, ибо на пороге независимости необходимо было, как отмечает автор «Очерков», произвести своего рода инвентаризацию, уяснить, «с чем их страна вступает в новую эпоху». Для большинства западноафриканских прозаиков становится характерным критическое отношение не только к колониализму, но и к отживающим формам традиционного общества. Не случайно поэтому писатели сосредоточивают внимание не столько на достоинствах африканской действительности, сколько на ее пороках. Как замечает Г. Потехина, «знание своих слабостей — шаг к их преодолению». Но критика недостатков (и творчество камерунских писателей М. Бетти и Ф. Ойоно — яркий пример этого) выражается не путем противопоставления Африки и Запада или «старой доброй» патриархальной Африки Африке, «испорченной» влиянием Запада, а показом сложного взаимодействия духовной культуры современного мира с мировоззрением примитивных родоплеменных организаций.

Как отмечает автор, в большинстве произведений западноафриканских писателей пока еще больше проблем, чем решений. И несомненно, что творчество сенегальского писателя Сембена Усмана представляет особую тенденцию в литературном развитии

Западной Африки. Творчество этого писателя рассмотрено в книге Г. Потехиной как отмеченное «влиянием эстетики социалистического реализма». Умение С. Усмана видеть африканскую действительность в «исторической перспективе» и понимание тех перемен, которые происходят в Африке, придают действенность социальному анализу в его романах, ибо в них — не только критика, но и поиски позитивных решений многих важнейших вопросов современной Африки.

Большой круг проблем, который связан с анализом западноафриканских литератур, серьезно исследованный в «Очерках», во многом характерен и для духовной жизни всей Африки. Вот почему нетрудно согласиться с теми выводами и с теми прогнозами, которые даются в книге Г. Потехиной для развития африканских литератур в целом.

Еще и сегодня по всему африканскому континенту от севера до юга не утихают споры о том, каким путем пойдут африканские литературы и нужно ли отказываться от «европейского наследства» и европейских языков, чтобы обрести свою собственную читательскую аудиторию и преодолеть изоляцию читателя от писателя. Поэтому особенно важным, на наш взгляд, является заключение автора книги о том, что наличие собственной аудитории — условие необходимое, но не единственное для дальнейшего развития африканских литератур, ибо судьба их, как и судьба всего процесса «реперсонализации» культуры на этом континенте, «во многом определится тем путем, по которому пойдут молодые государства: их политическим строем и степенью завоеванной демократии».

С. ПРОЖОГИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ЙОЗЕФ РОТ—СПРАВА ИЛИ СЛЕВА?

Ioseph Roth. Der stumme Prophet. Roman. Köln — Berlin, Verlag Kiepenheuer und Witsch, 1966.
Ioseph Roth. Das Spinnennetz. Roman. Köln — Berlin, Verlag Kiepenheuer und Witsch, 1967.

Странная судьба у австрийского писателя Йозефа Рота: критика величает его классиком современной литературы, но пишет о нем скупо и вскользь. Этот пробел частично восполнен писателями, близко знавшими Рота,— Стефаном Цвейгом, Вайскопфом, Кестеном, Клаусом Манном, Цукмайером.

В воспоминаниях Эренбурга австрийскому романисту посвящена отдельная глава. Портрет Рота получился ярким, запоминающимся — он не теряется в пестрой и обширной веренице лиц, воссозданных мемуаристом. Эренбург высказал и несколько метких суждений о творчестве Рота. Справедливо считая «Марш Радецкого» (1932) одним из лучших романов, написанных между двумя войнами, он отмечает своеобразие этого главного произведения Рота, посвященного закату империи Габсбургов.

Отличительным свойством прозы Рота Эренбург считает поэтичность, поэтичность во всем, даже «в вязком, подробном, реалистическом описании будней». Йозеф Рот действительно был поэтом среди прозаиков.

Он писал поэтичную прозу — густую, насыщенную образами и метафорами, с тонкой ритмической организацией и филигранным словесным узором. У него был поэтический облик — иронически галантный и чуть небрежный. Он был беден и бескорыстен, неподдельно беспомощен и нерасторопен в житейских делах, которые предоставлял улаживать своим многочисленным друзьям. окружавшим его всюду, куда бы ни заводила его журналистская судьба: Рот щедро любил людей, и они платили ему такой же любовью. Он вел образ жизни поэта — постоянно скитался и странствовал, словно менестрель, по Европе, работая исключительно в кафе и барах, где проводил весь день: утром писал, а вечером занимал историями и каламбурами пестрое общество, неизменно собиравшееся у его столика.

Рот был так же непостоянен во взглядах, как непоседлив. Его взгляды поражают иногда наивной беспомощностью, за которой невозможно угадать глубокого знатока человеческой души. В самом деле, «трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота» (Эренбург), и понятен соблазн видеть в них лишь «иронические маски» (Кестен). Достаточно сказать, что одно время Рот уверял, будто спасти Европу от Гитлера может... Габсбург. Бруно Фрей вспоминает, как Рот, вернувшись из Москвы, куда его послали в 1926 году корреспондентом самой большой газеты в Европе «Франкфуртер альгемейне цейтунг», был сильно смущен тем, что революция, которой он так сочувствовал, не отменила деньги.

Рот-католик выглядел так же малоубедительно, как и Рот-монархист. Однако была во взглядах Рота область, в которой он проявлял твердость и последовательность до конца. Имя ей — антифашизм.

Таким остался Рот в памяти современников. Таким он предстает перед потомками со страниц своего творческого наследия. Оно довольно обширно: Рот после возвращения из русского плена и до самой смерти (он умер в 1939 году парижским эмигрантом) много писал и печатал — статьи, эссе, путевые заметки, рассказы, романы, которых до недавнего времени у него насчитывалось тринадцать. Литературная сенсация Австрии последних двух лет — два недавно найденных и ныне опубликованных романа

Рота — не дает основания пересматривать сложившееся мнение о нем как о крупном мастере критического реализма.

Первый из этих романов «Немой пророк» представляет собой компиляцию трех неоконченных вариантов, найденных в архиве недавно скончавшейся в Нью-Йорке французской переводчицы Рота. Осуществил компиляцию Герман Кестен.

Рот приступил к роману о русской революции в 1927 году — сразу же после возвращения из России. Он находился под свежим впечатлением от разгрома троцкистской группы, который был прокомментирован в буржуазной печати Запада как простая борьба за власть, что окончательно запутало писателя, и без того нетвердо стоявшего на социалистических позициях.

Растерянность, охватившая Рота, нашла отражение в набросках к роману, которые теперь — без особого успеха — Кестен попытался «сшить» воедино.

Фридрих Карган, будущий «немой пророк», как и многие другие герои Рота (как и сам автор), родился в одной из отдаленных провинций юго-запада российской империи, жил попеременно то в России, то в Австрии. Перед нами знакомая по многим другим произведениям Рота Галиция в начале века. Русско-австрийская граница с ее живописным ландшафтом и пестрым, разноязыким населением—контрабандистами, ворами, коммерсантами, шинкарями, украинскими крестьянами и венгерскими ремесленниками, еврейскими раввинами и русскими урядниками — стала для Рота тем же, чем штат Миссисипи для Фолкнера, а родной городишко Броды — его Джефферсоном. Именно здесь Фридрих Карган — на склоне безрадостной юности, последовавшей за еще более безрадостным детством — он родился как внебрачный сын купца и хлебнул горя в приюте,— знакомится с русскими революционерами, скрывающимися от царской охранки.

Под влиянием этого знакомства Карган сам становится революционером. Но движут им не идеи свободы, равенства, социальной справедливости, а желание отомстить миру за притеснения, нужду и лишения, за равнодушие к нему женщин, за вечную неудачливость. Благодаря упорству и природным способностям он со временем начинает играть видную роль в партии, но после успешного свершения революции становится жертвой коварства своего бывшего друга Савелия и вынужден отправиться в ссылку вместе с другими интеллигентами от революции, которая, как ему кажется, есть дело несгибаемых и нерефлектирующих людей — «неизменных, как принцип». «Симптомы бесчеловечного будущего с его техническим совершенством», которые он увидел в практике «неизменных, как принцип, людей», приводят его к пессимистической концепции истории, что и составляет суть его «немого пророчества».

Образ бледный, натянутый, геометрически стерильный — словно мертвая точка скрещения ровно вычерченных линий фрейдизма и экзистенциализма. Это довольно распространенный в литературе двадцатых годов тип авантюриста, использующего революцию для эгоистических целей своего, индивидуального, мелкобуржуазного в основе своей, бунта.

Герман Кестен, а вслед за ним рецензент «Форума» Мане Шпербер утверждают, что закончить роман Роту помешала преждевременная кончина. Довод весьма сомнительный — ведь от того момента, когда Рот забросил черновики, и до его смерти прошло двенадцать лет, в течение которых им было создано одиннадцать романов. За все эти годы Рот так и не завершил роман и не стал — как это было модно в те годы — публиковать «материалы» к нему. «Сшитый» воедино Кестеном, «Немой пророк» — на совести Кестена, которого даже в западногерманской печати уже обвиняли в тенденциозной — в духе идей «холодной войны» — работе над текстом Рота.

Неуклюжие попытки привлечь Рота на свою сторону, предпринимаемые вслед за Кестеном реакционными писательскими кругами, вызывают смущение и у видавших виды буржуазных критиков (Вильгельм Грассхофф, «Нейе рундшау» № 3, 1966 г.) — слишком уж хорошо известны прогрессивно-демократические позиции Рота конца двадцатых годов.

Так, в романе «Справа и слева» (1929), показав консолидацию и борьбу правых фашистских сил, лелеемых капиталом, и левых революционно-демократических сил, притесняемых «его препохабием», Рот недвусмысленно заявил о своей солидарности с левыми. Об этом же свидетельствуют статьи тех лет, направленные против фашизма. В 1932 году он писал в «Тагебух» о том, что Европе угрожает не большевизм, как об этом твердили тогда многие газеты на Западе, а фашизм, призывал интеллигенцию сосредоточить все силы на борьбе с «полусгнившими трупами в коричневых рубашках, которые разворотили свои могилы, согнули могильные кресты в свастику и стреляют из настоящих пистолетов в живых людей».

Антифашистские позиции Рота в художественной прозе 20-х годов столь же безоговорочны и убедительны, как и в публицистике 30-х. Рот хоть и был великим путаником в вопросах политики, но социальную опасность фашизма почувствовал с редкой прозорливостью и прямо-таки сейсмографической чуткостью — еще в то время, когда мало кто верил в реальность угрозы со стороны эксцентрических приверженцев Гитлера.

К тому моменту, когда фашисты захватили в Германии власть, стаж антифашистской борьбы Рота составлял уже десять лет. Еще в 1923 году им был написан остроразоблачительный, антинацистский роман-памфлет «Паутина», в минувшем году увидевший свет вслед за «Немым пророком».

Герой романа — Теодор Лозе, сын таможенника, презираемый в семье за то, что он «не выполнил свой долг на фронте — не погиб лейтенантом и не попал в списки награжденных»; тяготящийся своей судьбой

домашний учитель в доме богатого еврея Эфруси, человек ущемленный, жалкий, забитый, коротающий серенькие дни в сырой и грязной каморке или бесцельно слоняющийся по улицам среди отверженных проституток — вот эта невзрачная личность вдруг «находит свой шанс» в мутной воде некоей тайной организации с центром в Мюнхене, развернувшей оживленную деятельность в условиях инфляции, анархии, оголтелой спекуляции, охвативших Германию первых послевоенных лет.

Упомянутая тайная организация со временем вливается в фашистскую партию, и Лозе постепенно карабкается, не брезгая никакими средствами: ни предательством, ни подлогом, ни убийством,— по иерархической лестнице, возведенной бесноватым фюрером и его подручными. Начав с малого: галстук со свастикой, коллекция ножей, финок, кинжалов, револьверов, кипы национал-социалистской печатной продукции, он затем становится героем погромов и подавления рабочих демонстраций, его имя проникает в печать, которая прокладывает путь его стремительной карьере, венчающейся солидным постом в министерстве внутренних дел и женитьбой на баронессе.

В романе дана весьма широкая панорама фашизма: тут и трескучие пустые фразы о любви к народу, о социализме, ненависть к коммунизму и проповедь расового превосходства, тут и двурушничество молодчиков, составлявших душу «движения», их пьяные оргии и разврат при неизменной верности старой страстишке — скопидомству; шпионаж, взаимная слежка; продажность агентов, готовых бросить «идеи», если подвернется «дело» или улыбнется нежданное счастье в лице богатого дядюшки из Америки, как сбежавшему шефу Теодора Лозе доктору Требичу.

Действие романа в основном происходит в Берлине, но Рот показывает и само фашистское логово — Мюнхен, где под эгидой партии сходятся за пивными кружками всевозможные отщепенцы — студенты, бежавшие с общественной кассой, монахи-расстриги, соблазнявшие гимназисток, дезертиры, неудавшиеся актеры, шпионы, проститутки, карманники, сутенеры. Ближе к центру этой паутины стоят люди типа Лозе, в образе которого предугаданы многие черты будущего фашистского главаря: Лозе впоследствии вполне мог стать Гиммлером, Гейдрихом или Гессом. Этот озверелый, озлобленный мещанин — сплав банальности и брутальности, нигилист и пустышка, воплощение всяческого отрицания — он антисемит, антидемократ, антикоммунист, короче говоря, античеловек.

Античеловеки не перевелись и к нашему времени. Рот вряд ли мог предполагать, что его первому роману суждено стать остроактуальным дважды на протяжении полувека. Но случилось именно так. Буквально восставший из пепла, роман набран на основе обожженной подшивки венской «Рабочей газеты», где он первоначально печатался. Эта подшивка, хранящая следы пометок и исправлений, сделанных рукой Рота, была найдена в архивах голландского издательства Аллерта де Ланге, разгромленного фашистами, когда они вошли в Амстердам. Последние главы «Паутины» были напечатаны «Рабочей газетой» 6 ноября 1923 года, а 8 ноября в Мюнхене начался путч Людендорфа (который неоднократно упоминается в романе) и Гитлера.

Роман «Паутина», словно былинный герой, воскрес для борьбы со своим старым противником — фашизмом, возрождающимся ныне в Западной Германии под слегка измененной вывеской.

Алчность современных фашистов по-прежнему простирается и на Австрию, что не может не волновать австрийских литераторов. За ними стоит достаточно развитая традиция национальной демократической литературы, традиция, в русле которой находится и творчество Рота. Всякого рода сомнительным спекуляциям на романе «Немой пророк», со стороны тех, кто пытается использовать авторитет большого писателя в своих целях, противостоят десятки его произведений, и среди них «Паутина». У «Паутины» Рота теперь новые союзники — стихи и памфлеты Фрида, Целана, Эзенрейха, пьесы Хохвельдера, романы Леберта, Базиля, Зиммеля и многие другие произведения, вступающие в перекличку с той бурной эпохой, когда писатели, во многом близкие Роту по духу, любили выражать свою позицию в сжатой и поэтичной формуле: «Слева, где сердце».

Ю. АРХИПОВ

ПИСАТЕЛЬ, ЕГО ГОРОД, ЕГО НАРОД

Samim Kocagöz. Yağmurdaki kız. Istanbul, Set kitabevi, 1967.

Много лет назад в Ленинской библиотеке, просматривая анкарский «Журнал избранных рассказов» — его выпускал новеллист Салим Шенгиль, открывший путь в литературу многим турецким рассказчикам,— я напал на рассказ Самима Коджагёза «Аллах, государство и земля». Рассказ был написан с большим проникновением в строй чувств турецкого крестьянина, которое дается только любовью и мастерством, и вскоре был помещен в первой послевоенной антологии турецкого рассказа на русском языке.

Минуло почти два десятилетия. Самим Коджагёз выпустил шесть сборников рассказов, шесть романов. Его книги переведены на многие языки. По ним снимались кинофильмы, ставились пьесы... И вот мы едем с Самимом Коджагёзом по его родному городу Измиру.

Все, что дает благословенная измирская

земля — табак, фрукты, опиум, хлопок,— стекается в город, вывозится на кораблях в разные страны. И каждая ягода сушеного инжира — измирский инжир пользуется мировой славой — уложена, обернута в целлофан тонкими пальцами десятилетних девочек. Измирский район — богатейший в Анатолии. Но у вокзала Басмане ежедневно шумит невольничий рынок. За десять лир в день, то есть за один рубль, здесь можно нанять человека для любой работы — копать огород, таскать тяжести, убирать урожай, тесать камни. Со всей страны приходят сюда безработные, безземельные крестьяне в надежде найти заработок.

Хозяин заведения, где мы с Коджагёзом сидели за самоваром, прислушивался к разговору. Извинившись за любопытство, он не удержался и спросил: кто его гости... писатели? Значит, пишут в газетах?

Самим Коджагёз погрустнел. Пришлось объяснять, что сочинение книг тоже может быть профессией. Хозяин удивился — в богатом, торговом, шумном Измире книг не читали. И сейчас еще из каждых десяти жителей города — семь неграмотны. Потому-то все книги Самима Коджагёза, посвященные его землякам, вышли не здесь — в Стамбуле. Вообще в Турции прожить писательским трудом невозможно. В Измире — тем более.

Самим Коджагёз зарабатывает на жизнь не пером. Сын землевладельца, он летом занимается хозяйством в поместье в Сёке и лишь зимой приезжает в Каршияка — что около Измира, на другой стороне бухты,— чтоб работать над своими книгами.

В Измире в 1919 году началась национально-освободительная война против империалистов. Султан повелевал: «Согласно решению держав, Измир будет занят греческими войсками. Приложите усилия, чтобы народ занимался своим делом». И народ занялся тем, что считал своим прямым делом,— взялся за оружие, ушел в горы, чтобы спуститься победителем, вышвырнуть вон и оккупантов и султана. Об этих событиях рассказывают романы С. Коджагёза «Во весь опор» и «Люди в папахах».

После победы, в честь первого президента республики, вождя национально-освободительного движения, набережная Бириндж Кордон была переименована в проспект Ататюрка. Но все течет, все изменяется. Ныне на этой набережной разместился штаб НАТО в Восточном Средиземноморье. Туркам вход воспрещен. Точно так же воспрещен он и на специальный стадион, где американцы играют в свой заокеанский футбол.

Если недавно в Измире еще верили в дружественные намерения США, то теперь колонизаторская суть американцев ясна как день большинству народа. И борьба таких писателей, как С. Коджагёз, способствовала выяснению истины.

Есть у него рассказ «Мировой шофер», «Парень, с которого я писал портрет героя,— рассказывает писатель,— работал у меня трактористом, потом шофером. Как-то я его спросил: «Отчего встречные грузовики не отжимают тебя на обочину, а стоит за руль сесть мне — приходится снижать скорость, съезжать с дороги..» «Все просто, мой бей,— ответил он.— Завидев встречный грузовик, ты сразу сворачиваешь вправо. Вот наши и видят — за рулем господский сынок, бережет шкуру. Ну и обжимают. Хочешь, чтобы приняли за своего,— не уступай, жми влево!».

Тяжелый грузовик с ревом пронесся навстречу. Раздался гудок, мелькнуло в кабине смуглое улыбающееся лицо, поднятая в приветствии рука...

Это лицо, эта дорога, весь Измир снова встали перед моими глазами, когда я читал заглавный рассказ новой книги Самима Коджагёза «Девушка под дождем». Герой рассказа — шофер Али — каждый день делает по пять ездок из Менемена в Измир, возит на фабрику хозяйский хлопок.

— Ради Аллаха, не гони так,— умоляет его хозяйский писарь.— Мы ведь не гявурские головы везем к Мустафе Кемалю!

Али ездит лихо не потому, что жизнь ему не мила.

— Ты вот едешь блох ловить в расчетах,— говорит он попутчику.— А мы не сидим весь день, вытянув ноги под столом. Пять раз по восемьдесят — сосчитай-ка, сколько это выходит? Скорей приеду, скорей прилягу!

Но вот он замечает мокнущую под дождем девушку и останавливается, не задумываясь. Девушка, оказывается, работает на фабрике, опоздала на поезд. Опоздание же смерти подобно: ворота закрываются минута в минуту, и около них всегда толпа безработных.

В разговоре, который ведут в кабине шофер и работница — а они понимают друг друга с полуслова,— за злостью и лихостью Али читателю открывается его благородство и целомудрие.

В новой книге С. Коджагёза всего девять рассказов. Но это целый мир, весь город — его шоферы, подрядчики, поденщики, купцы,

переполненные служилым людом пароходики, курсирующие через бухту, портовые причалы, богатые виллы, кладбища, где школьники зарабатывают на хлеб, читая неграмотным суры корана; вся измирская земля, ее оливковые рощи, пастбища в горах, деревни, крестьяне, страшная в своей бессмысленной жестокости кровная месть, народные праздники с традиционной борьбой верблюдов... Не «народолюбие», а чувство неразрывной связи с народом питает вдохновение С. Коджагёза.

Быть может, попадись эти строки на глаза иным турецким писателям, они улыбнутся: «Измирский помещик и народный писатель». Но писателя делает писателем не происхождение, а убеждения. Как тут не вспомнить помещика из Ясной Поляны, который рассказал о русском крестьянине лучше, чем кто бы то ни было до него.

Я вспомнил о нем не зря: Лев Толстой — любимый художник С. Коджагёза. Он мог бы мне об этом не говорить: свидетельство тому его книги. Вот и последний рассказ «Великий Тюлю», где жизнь деревни изображена «с точки зрения» старого бойцового верблюда, при всем своеобразии писательского почерка С. Коджагёза невольно заставляет вспомнить толстовского «Холстомера».

С. Коджагёз писатель социальный. Но его рассказы не иллюстрации к социологическим истинам, а исследования характеров.

Итальянского режиссера Антониони както спросили, отчего героиня всех его фильмов — женщина. «Я полагаю,— отвечал режиссер,— что женщина — существо более тонко и высоко организованное и потому на ней прежде всего и сильней всего отзываются беды общества».

Если добавить, что женщина выступает также главной хранительницей национальных качеств народа — ведь не зря мы говорим «материнский язык», подразумевая язык родной,— то, мне сдается, именно этим объясняется, почему во всех рассказах последней книги С. Коджагёза не герои, а героини: девушка, работающая в поле с матерью, в то время как ее брат и отец прохлаждаются в кофейне, девушка из банка, работницахафыз (девушка, знающая наизусть весь коран).

Книги многих турецких писателей-реалистов мрачны, порой безысходны, ибо такова, дескать, жизнь их героев. Герои С. Коджагёза живут не легче. Но рассказы его, при всем трагизме, пронизаны светом. Нисколько не греша против истины, он умеет добыть этот свет, который обычно называют оптимизмом, из глубины народного характера.

Вот рассказ «На берегу». Два крестьянина за двенадцать с половиной лир нанимаются таскать из моря камни, чтобы хозяин шикарной виллы, не дай бог, не зашиб ногу во время купания. Тощие фигуры поденщиков вызывают у хозяина отвращение — испорчен прелестный вид.

Сердобольная жена его, увидев, что работники едят один хлеб, посылает им барское угощение. Крестьяне, однако, возвращают его на кухню: господская еда с непривычки-де повредит им желудки.

Они могут принять угощение лишь от тех, кто относится к ним по-людски, и тогда сами готовы отдать последнюю лепешку. Но хозяин виллы и его жена даже не поздоровались с ними и не пожелали удачи в работе, что непременно сделал бы каждый воспитанный простолюдин.

Молодой поденщик, размышляя, почему с ними не поздоровались, а затем прислали обед, вдруг приходит к неожиданному для себя выводу:

— А ведь они нас боятся!

— И пусть боятся! — отвечает напарник.

Книга рассказов Коджагёза об Измире, измирской земле и ее людях оказывается исполненным надежды и правды словом о народе — гордом, великодушном и мужественном, словом, особенно драгоценным теперь, когда Турция переживает подъем общественного сознания, предвещающий новые перемены.

РАДИЙ ФИШ

ПАРОЛЬ: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ И БРАТСТВО»

Gamarra, Pierre. Les Mystères de Toulouse. Paris, Les Éditeurs Français Reunis, 1967.

Пьер Гамарра хорошо известен советскому читателю и как создатель реалистических романов из жизни трудящихся современной Франции («Дети нищеты», «Сирень Сен-Лазара», «Жена Симона» и др.) и как автор увлекательных приключенческих повестей и сказок для детей.

Роман Пьера Гамарра «Тайны Тулузы» с интересом прочтут и взрослые и юные читатели. Название романа не случайно вызывает в памяти «Парижские тайны» Эжена Сю и «Марсельские тайны» молодого Эмиля Золя. «Тайны Тулузы» продолжают богатую традицию французского приключенческого романа — со смертельными опасностями, погонями, поединками и с завершающим искусно закрученный сюжет торжеством геройски смелого, благородного и ловкого героя, соединяющегося, наконец, с любимой девушкой.

Роман «Тайны Тулузы» и увлекателен, и в меру дидактичен, некоторый его схематизм искупается подлинным повествовательным мастерством. «Тайны Тулузы» отнюдь не только развлекательно-приключенческий роман. В доступной для самого широкого читателя манере Пьер Гамарра раскрывает большую, значительную тему, находя для нее необычное решение. Он обращается к истокам могучего движения современности — борьбе французского рабочего класса в 50-е годы прошлого века, когда в условиях полицейского режима Луи Бонапарта формируется классовая со-

лидарность французских рабочих, которая менее чем два десятилетия спустя приведет к возникновению Парижской коммуны. Повествование о героической борьбе французских рабочих с диктаторским режимом Луи Бонапарта звучит в романе чрезвычайно актуально. «Мы находимся в стадии, близкой к значительным переменам. И свидетельством тому служит продолжающийся кризис капиталистической системы, все возрастающее значение коммунистической партии, обострение классовой борьбы»,— говорил Пьер Гамарра в интервью «Советской культуре».

В 1852, 1854 и 1855 годах происходят массовые стачки и голодные бунты в Лионе, Марселе, Тулузе, Бордо, Ниме, Тулоне, Дижоне, Кольмаре, Амьене, Ренне, Нанте. Местом действия Пьер Гамарра выбирает Тулузу — свой родной город. Он включает в роман подлинные документы о жестоких полицейских репрессиях, когда рабочих сотнями отправляли на каторгу в Алжир и Кайенну, где они умирали медленной, мучительной смертью.

Имя и гордую кличку героя романа — подпольщика, борца за сплочение рабочих писатель взял из подлинных полицейских отчетов. Жак Берте, он же Жак Солей, то есть Жак Солнце, действительно существовал, пользовался широкой популярностью в рабочей среде и был неуловим, несмотря на рьяное выслеживание полиции, считавшей его главным виновником стачек и беспорядков.

История Жака Солнце начинается с трагического дня — 3 декабря 1851 года, о котором рассказывает пролог романа. В этот день в Тулузе начались выступления против государственного переворота, совершенного Луи Бонапартом. Из окрестных деревень в Тулузу, стремясь присоединиться к тем, кто выступил в защиту республики, потянулись группы крестьян. Конная жандармерия встречала их на подступах к городу и разгоняла, а при малейшем сопротивлении расстреливала. Среди этих крестьян вместе с отцом и матерью был и Жак Берте, семнадцатилетний юноша. Мать его была убита, отец отправлен на каторгу, где вскоре и погиб.

С этого дня Жак становится профессиональным революционером. Он разъясняет рабочим необходимость сплоченности и единства. На конспиративных собраниях он создает первые организации взаимопомощи.

Своим паролем подпольщики избирают слова: «Справедливость и братство!»

Слежка, погоня, рукопашные схватки с полицией, сходки, побег из тюрьмы составляют сюжетный стержень романа. Немалое место в романе занимает тайна сокровищ барона де Фобла. Полицейский шпик убивает барона де Фобла и, благополучно похитив его сокровища, обвиняет в убийстве Жака Солнце. От верной гильотины Жака спасают тулузские нищие — они отбивают его у полиции и, отняв у шпика украденные сокровища, дарят их Жаку Солнце для нужд борьбы. Это как бы символическое выражение уверенности героев романа в том, что все сокровища мира будут принадлежать их истинным творцам. Живописные сцены с участием нищих Тулузы отчасти напоминают Гюго.

Писатель сам подчеркивает преемственность, связывающую его с великим романтиком, предпослав «Тайнам Тулузы» эпиграф из «Отверженных»: «Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину». В одной из сцен романа рабочие декламируют строки из «Возмездий», и автор в специальном примечании подчеркивает, что в эти годы «стихотворения Гюго и особенно «Возмездия» переходили из рук в руки по всей стране».

Черты романтической притчи, присущие роману, и его документальная верность историческим событиям выводят «Тайны Тулузы» далеко за рамки приключенческого жанра, сохранив в то же время многие его свойства.

Воспроизведенное писателем своеобразие местного говора простолюдинов, живость диалогов, характерные фигуры людей из народа и великолепие пейзажей, в центре которых — река Гаронна, придают особую сочность этому роману, полному веры в будущее, когда, говоря словами Жака Солнце, «хозяином станет народ. Придет царство справедливости. Будут работа и хлеб для всех. Дети народа смогут вершить делами нации».

О. ТИМОФЕЕВА

ТЩАТЕЛЬНО И С ЛЮБОВЬЮ

Oktober — Land. Russische Lyrik der Revolution. Herausgegeben von Edel Mirowa-Florin und Leonard Kossuth. Berlin, Verlag Kultur und Fortschritt, 1967.

В издательской аннотации на сборник «Страна Октября (Русская лирика революции)» стоят очень точные слова: «Русская поэзия первых лет после Октябрьской революции — это вечно юное прошлое, которое никогда не пройдет».

Показать бессмертие и жгучую актуальность послеоктябрьской поэзии — таков, несомненно, был замысел составителей сборника, вышедшего в ГДР к 50-летию Октября. Замысел этот воплощен очень убедительно. Перед читателем зримо раскрывается история того, как рождалось и «набирало силу» все, что и сейчас составляет сущность советской поэзии; «собственная гордость» гражданина нашей страны, чувство личной ответственности за ее судьбу и судьбы всего мира, преданность идеям революции, высокая человечность. «Лирика революции» расположена в сборнике по годам — от 1917-го до 1924-го. Каждый год-раздел начинается с высказываний современников о литературных явлениях года, с выдержек из писем, воспоминаний, с декретов, определявших политику советской власти в области культуры. Крупская, Горький, Луначарский, Маяковский, Бонч-Бруевич, Брюсов, Блок, Есенин, Тихонов.

Асеев, Фурманов — вот чьи свидетельства о величайшем перевороте в мировой истории, об отражении его в сознании художника приведены в сборнике «Страна Октября».

Так же продуманно, как эти предваряющие «лирику года» тексты, подобраны и многочисленные иллюстрации сборника. Обложка журнала «Коммунистический интернационал» — рабочий, который разбивает молотом цепи, сковывающие земной шар; «Торжественное обещание при вступлении в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» — плакат молодого Моора, «1918 год в Петрограде» — картина Петрова-Водкина, барельеф Коненкова — крылатая Победа склоняет пальмовую ветвь над гробом тех, кто пал в «борьбе за мир и братство народов»; строчки Маяковского — «Ешь ананасы, рябчиков жуй»,— отпечатанные, как лозунг, на обложке сатирического журнала. И год за годом идут обложки книг и журналов, плакаты Моора, Родченко, Маяковского, Лентулова, Радакова, картины Кустодиева, портреты писателей — таких молодых! — работы больших художников или редкая и очень выразительная фотография.

Все это сделано так, что «непреходящее прошлое» живет и дышит на страницах книги.

«Лирика» отобрана так же тщательно и с любовью. О некоторых частностях можно было бы и поспорить.

«Двенадцать» Блока все-таки было бы лучше дать в более крупных отрывках. Может быть, недостаточно представлен самый ранний Есенин. Очень хорошо, что в подборку «лирики» вошли «Голуби» Багрицкого, но вряд ли стоило включать его раннее и туманно-риторическое стихотворение, посвященное Блоку.

Говоря о сборнике, надо отметить не только заслуги составителей, но и ту большую и серьезную работу, которую проделали переводчики — поэты ГДР. Переводы Иоганнеса Бехера («Коммунистическая марсельеза» Демьяна Бедного, отрывки из «150 000 000» Маяковского) — это неумирающая память о давней традиции дружбы и братства революционной поэзии советского и немецкого народов. Другие произведения Маяковского — от «Сказки о Красной Шапочке» до отрывков из поэмы «Владимир Ильич Ленин» — даны в переводе Гуго Гупперта. И это естественно. Австрийский поэт уже давно стал «классиком» перевода Маяковского на немецкий язык. Я не специалист в теории перевода. Но за долгие годы я эмпирически убедилась в том, что именно в переводах русских стихов на немецкий язык чаще всего удается сохранить не только размер, но и все особенности ритмического рисунка, интонации, самой «музыки» подлинника. Все это лишний раз подтверждают многие переводы сборника «Страна Октября». Конечно, и в нем не все одинаково хорошо. Так, Альфред Эдгар Тосс не сумел воспроизвести богатые и сложные ритмы «Двенадцати», точно так же как Гельмут Пресслер (одержавший в сборнике ряд побед) не смог передать интонации знаменитого отрывка из «Степана Разина» В. Каменского.

Правда, упрекать за это переводчика язык не поворачивается. Попробуй передай на другом языке —

Сарынь на кичку,
Ядреный лапоть.
Пошел шататься
По берегам.

В сборнике есть ряд хороших переводов Пауля Винса (например, стихотворение Ахматовой «Мне голос был») и Гейнца Чеховски («Голуби» Багрицкого), но решающую победу одержали в сборнике два поэта — Адольф Эндлер — переводчик Есенина и Гейнц Калау — переводчик Тихонова.

От «Небесного барабанщика» и до отрывков из «Песни о великом походе» в сборнике звучат не переводы стихов Есенина, а «Есенин по-немецки». Также одновременно «фактом» и русской и немецкой поэзии стали баллады Тихонова.

Сборник «Страна Октября» — это живое доказательство высокой культуры литературоведения и переводческого искусства в ГДР, а также и непреложное свидетельство братской дружбы народов двух социалистических стран.

Е. КНИПОВИЧ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Загребское издательство «Просвет» (Югославия) выпустило пятитомник избранных произведений М. Горького. Издание включает такие романы писателя, как «Мать», «Дело Артамоновых», пьесу «На дне» и другие произведения.

Радиокомпозиция по роману М. Горького «Мать» была недавно передана радио г. Скопле.

На сцене драматического театра югославского города Сомбора с большим успехом прошел спектакль «Мещане» по пьесе М. Горького. Союз драматических актеров республики Сербии признал этот спектакль лучшим спектаклем года в республике. Поставил пьесу режиссер Предраг Диулович.

В издательстве «Эдитер франсе рекни» вышли повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» и роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Чехословацкое издательство «Свет Совету» опубликовало сборник стихов А. Вознесенского «Ахиллесово сердце». В том же издательстве вышли роман В. Катаева «Святой колодец», а также повесть-сказка Ю. Олеши «Три толстяка».

Анкарский Художественный театр впервые показал турецкому зрителю пьесу Горького «Мещане». Высоко оценивая и пьесу и постановку, рецензент журнала «Дост» отмечает ее злободневность для современной турецкой действительности и выделяет игру актеров Тунджа Йондера (Бессеменов), Айбека Чёлока (Тетерев) и Элиф Тюркан (Татьяна), объясняя их успех верностью системе Станиславского, наследниками и продолжателями которого считают себя актеры и режиссеры этого театра.

Журнал «Дост», выходящий в Анкаре, опубликовал стихотворение Сергея Есенина «Письмо к матери» и цикл «Персидские мотивы». В кратком вступлении к публикации писателя Азиза Несина говорится: «Великий русский поэт Сергей Есенин почти совсем неизвестен в Турции. То, что до сей поры в Турции не издана книга его стихов,— огромное упущение... Самая характерная особенность Есенина — огромная эмоциональная глубина, превалирующая в его стихах, несмотря на обнаженность и простоту языка и поэтической формы».

В том же номере журнала «Дост» опубликован рассказ Ю. Олеши «Вишневый цвет».

Стамбульский литературный журнал «Май» поместил подборку стихов грузинских поэтов, в которую вошли произведения Иосифа Нонешвили, Иосифа Гришашвили, Ираклия Абашидзе и Анны Каландадзе. Подборке предпослана статья Б. Жгенти о грузинской поэзии в переводе известного турецкого критика Салахаттина Хилява.

Записки В. К. Арсеньева о его путешествии по Дальнему Востоку выпущены болгарским издательством «Земиздат» под общим названием «Сквозь тайгу».

В журнале «Блгаро-советска дружба» опубликованы стихи туркменских писателей Берды Кербабаева, Анны Ковусова, Аты Атаджанова и Нури Байрамова в переводе Анжела Тодорова.

„Държавно военно издателство" Болгарии выпустило вторым изданием роман А. Новикова-Прибоя «Цусима».

Еженедельник «Зоннтаг» в связи с недавней 75-й годовщиной со дня рождения Владимира Маяковского поместил подборку, в которую вошли отрывки из его произведений, письма поэта и статьи о нем.

Избранные произведения М. Зощенко под названием «Страдания Вертера» вышли в берлинском издательстве «Рюттен унд Лёнинг» (ГДР).

Роман-баллада «На чем держится мир» Ицхокаса Мераса выпущен в издательстве «Культур унд фортшритт».

В венгерском издательстве «Еврога» вышел сборник повестей советских писателей под общим названием «Альпийская баллада», куда включены произведения Васил Быкова, Энна Ветемаа, Владимира Амлинского, Ицхокаса Мераса, Григория Бакланова.

В том же издательстве вышла повесть Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура».

Большой популярностью в Венгрии пользуется вышедший в издательстве «Европа» дневник литовской школьницы Марии Рольникайте «Я должна рассказать». Журналистка Мария Сабо на страницах книжного бюллетеня «Тайекоштато» поведала читателям о судьбе этой девочки, называя ее «сестрой Анны Франк».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

«САЛОННОЕ» БУНТАРСТВО ДЖОНА ОСБОРНА

Для современного драматурга случай, пожалуй, беспрецедентный — у Джона Осборна ныне идут в Лондоне одновременно две новые пьесы: «Настоящее время» и «Отель в Амстердаме». Три недели пьеса «Настоящее время» шла на сцене театра «Ройал корт», где двенадцать лет назад «Оглянись во гневе» была принята как новое слово в английской драматургии. Теперь спектакль «Настоящее время» перенесен в один из театров Уэст-энда — «Дьюк оф Йорк», а на сцене «Ройал корт» идет «Отель в Амстердаме».

Казалось бы — это триумф драматурга, однако печать и критики самых разных направлений придерживаются другого мнения.

Джек Сазерленд пишет в газете «Морнинг стар»: «Центральная фигура пьесы «Настоящее время» — безработная актриса Памела — олицетворяет собой измельчавший и оскудевший вариант всех ноющих неудачников, населяющих пьесы Осборна...» Сазерленд добавляет, что автор заметно отступает «в какой-то постоянно суживающийся мирок, в котором нет никаких значительных идей; налицо признаки того, что таланту Осборна начинает грозить увядание».

Пьеса, построенная в основном как желчный монолог Памелы, в конце концов, по мнению большинства критиков, вызывает раздражение и скуку. Так, Ирвин Уорлд написал в газете «Таймс»: «После всех своих героев Осборн дал миру антигероиню... В сравнении с его предыдущими работами пьеса представляется тусклой и лишенной целеустремленности».

«Бунтарство» Осборна в пьесе «Отель в Амстердаме», по отзывам критики, носит «салонный характер». В ней рассказывается о том, как три супружеские пары (все так или иначе связанные с театральным миром) уезжают из Лондона на уик-энд в Амстердам без ведома кинобосса, на которого они работают. Центральная фигура спектакля — остроумный циничный сценарист Лоури, роль которого с блеском исполняет известный артист Пол Скофилд. Однако «бунт» персонажей пьесы сводится к тому, что они тайком от босса бездельничают в шикарном отеле и предаются обильным возлияниям, пребывая в состоянии полнейшей духовной опустошенности.

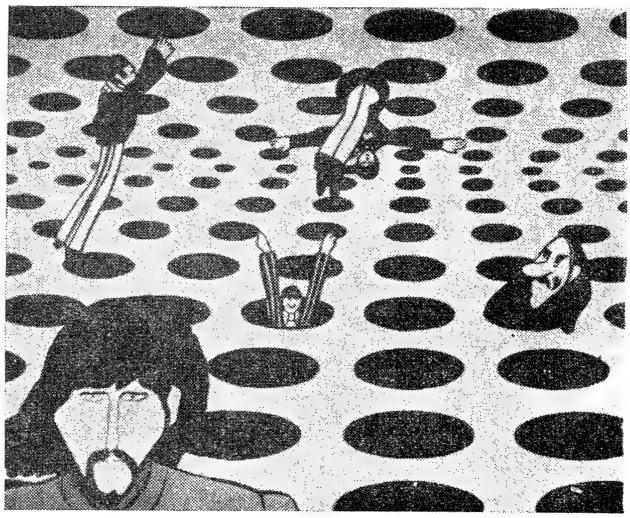
«По пьесам Осборна трудно себе представить, что мы живем в мире, в котором миллионы людей вовлечены в грандиозную борьбу за гуманизм, за человеческие права под лозунгами, призывающими к братству и солидарности,— отмечает рецензент «Морнинг стар».— Признаки утомления и оскудения таланта Осборна в последних двух пьесах объясняются тем, что он отделил себя от главных революционных сил в современном мире...»

Одновременно критики отмечают, что та публика, которая идет на пьесы Осборна, связывает свои надежды с воспоминаниями о Джимми Портере и с тем, что подобный герой может вновь появиться в его пьесах.

ВАНЕССУ РЕДГРЕЙВ ЗАСТАВЛЯЮТ МОЛЧАТЬ

Известная английская киноактриса Ванесса Редгрейв, выступившая в фильме Антониони «Фотоувеличение», находится сейчас в Италии, где недалеко от Падуи ведутся съемки фильма «Спокойное место в деревне». Это фильм о талантливом художнике, живущем в уединении. Его снимает итальянский режиссер Элио Петри. Ванесса Редгрейв исполняет в фильме главную женскую роль.

Не так давно Ванесса Редгрейв приняла участие в демонстрации перед зданием посольства США в



Кадр из мультфильма «Желтая подводная лодка битлов». *(Газета «Морнинг стар»)*

Лондоне против бомбардировок американской авиацией мирных городов и сел Вьетнама. С нападками на актрису немедленно выступила американская пресса. Однако Редгрейв решила снова высказать свою точку зрения на американскую агрессию во Вьетнаме — на этот раз на пресс-конференции, которую она устроила в клубе для иностранных корреспондентов в Риме.

«Я считаю, — заявила она,— что в наше время каждый человек должен бороться за лучшее взаимопонимание между народами, за братство и мир. Именно поэтому я всегда участвовала и буду впредь участвовать во всех манифестациях, ставящих себе эти цели. Я выражала протест и против производства английской ядерной бомбы, и против политики Джонсона, и против вмешательства США в дела других стран, независимо от того, где это имеет место — в Санто-Доминго или во Вьетнаме».

После пресс-конференции импрессарио Ванессы Редгрейв поставил ее в известность, что владельцы американской кинофирмы, с которой у нее подписан контракт, требуют, чтобы она молчала (эта студия финансирует, в частности, фильм «Спокойное место в деревне»), ибо ее публичные выступления наносят якобы вред популярности фильмов, в которых она снимается (среди них — еще не оконченный фильм об Айседоре Дункан, где Ванесса Редгрейв снималась в главной роли).

В силу многих причин (основная из них та, что в фильме «Спокойное место в деревне» снимается ее близкий друг Франко Неро, начинающий актер, которому она не хочет повредить) Ванесса Редгрейв не могла пойти на прямой конфликт с работодателями. И ей пришлось воздержаться от публичных выступлений, по крайней мере до тех пор, пока ее контракт с американской кинофирмой не утратит силу.

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА БИТЛОВ

Четверка ливерпульских певцов битлы выступила недавно в новой для них области творчества — в мультипликационном кино. При их участии создан цветной комедийный мультфильм под названием «Желтая подводная лодка битлов».

Этот фильм, по мнению критика газеты «Морнинг стар» Нины Хиббин, знаменует новое слово в области мультипликационного кино. Фильм, писала она, погружает зрителя в мир «битломании» — «с помощью остроумного сочетания фантазии, движения, рисунков, акварелей, фотомонтажей, динамики звука и цвета. Основные тона — желтый, пурпурный и зеленый. Во время своего путешествия на подводной лодке битлы встречаются с самыми невероятными, смешными существами. Эта мультипликация представляет собой фантастический, совершенно новый вид искусства».

В фильме даются записи четырех новых песен битлов и восемь песен из их прежнего репертуара.

БОЛГАРИЯ

ПОПУЛЯРНЫ В НАРОДЕ

Произведения живописи стали в годы народной власти достоянием не только городских, но и сельских жителей Болгарии. Печать сообщает о создании в стране сельских художественных галерей.

Начало этой большой культурно - просветительской акции было положено в 1960 году, когда в Великотырновском округе, в селе Стражице была основана первая такая галерея. Энтузиастами выступили здесь местные жители. Они начали ревностно собирать картины и скульптуры отечественных мастеров. Затем была открыта художественная галерея в Бризинском округе — в селе Брегове. В галерее, открывшейся в селе Брезово Пловдивского округа, собраны картины Златю Бояджиева, уроженца этого села, известного болгарского художника, Героя Социалистического Труда.

Каждый, кто приезжает в Розовую Долину, не преминет посетить село Богдан, чтобы осмотреть художественную галерею, в которой

наряду с картинами болгарских художников представлены репродукции выдающихся зарубежных мастеров.

Ныне в стране насчитывается около двух десятков художественных галерей. Они постоянно пополняются новыми экспонатами и неизменно пользуются популярностью у населения.

«У СВОИХ»

Тема участия болгар в Октябрьской революции привлекала многих авторов, пишет рецензент журнала «Блгаро-советска дружба». И все же новую книгу Ивана Узунова «У своих» читатель встречает с интересом, возможно, потому, что она рассказывает о жизни человека необычной судьбы, целиком посвятившего себя революционной борьбе за свободу трудового народа.

Книга повествует о жизни болгарина-коммуниста Лазара Белоречкого — гвардейца из эскадрона царя Фердинанда. Он решил для себя, что нигде и никогда не будет стрелять в своих братьев-рабочих. Судьба забросила Лазара Белоречкого на Украину, где он встал в ряды бойцов Октябрьской революции и погиб под ее знаменами.

Иван Узунов в своей книге рассказал также о поддержке русской революции болгарским населением — потомками болгар, бежавших в Россию от турецкого ига.

«Книга Ивана Узунова «У своих»,— заключает рецензент,— обогащает читателя новыми сведениями об участии болгар в Октябрьской революции. Это — ценный вклад в патриотическое и коммунистическое воспитание».

БРАЗИЛИЯ

КНИГА ПРОСЛАВЛЕННОГО ЗОДЧЕГО

«Иностранная литература» писала недавно (см. № 9, 1968) о жизненном и творческом пути выдающегося бразильского архитектора Оскара Нимейера. Как сообщает печать, вышла книга Нимейера «Почти мемуары». Это повесть о жизни, работе, размышлениях, встречах с людьми. Прославленному зодчему есть о чем рассказать: ведь помимо новой столицы Бразилиа по его проекту строятся здание ЦК Французской компартии в Париже, город Грасс на юге Франции, были построены здание ООН в Нью-Йорке, университет в Гане и другие здания.

С горечью пишет Нимейер о том, как чиновники из управления инженерных работ и аэронавтики отвергли его проект аэропорта для города Бразилиа. Архитектор долго работал над ним, стремясь сочетать в своем проекте последние научные открытия и инженерные расчеты с общим планом ультрасовременного города. Взлетно-посадочная полоса была запроектирована кольцевой, способной принимать все существующие типы самолетов, в том числе и сверхзвуковые.

Проект Нимейера был назван «коммунистическим» (!?) и отвергнут; в Бразилиа начато строительство аэропорта устаревшего типа. «Подобное стремление изуродовать новую столицу, создавая вопреки всеобщему мнению пассажирский аэропорт, не отвечающий духу архитектуры города, иначе как бесчинством, невежеством и произволом не назовешь»,— заявил Нимейер в беседе с корреспондентами.

В книге «Почти мемуары» Нимейер излагает свою точку зрения и на некоторые моменты новейшей национальной истории. Он приветствует смелое перенесение в свое время столицы с побережья в глубь страны, в центральную часть Бразильского нагорья.

По мнению обозревателей, книга Оскара Нимейера представляет собой несомненный интерес для самых разных слоев читателей.

ВЕНГРИЯ

УСПЕХИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Журнал «Таршадалми семле» опубликовал статью Эржебет Беркеш и Йожефа Богеля, озаглавленную: «Венгерское театральное искусство на подъеме».

Мы стали свидетелями рождения новой венгерской драмы, говорится в статье. Такие пьесы последних лет, как «Предатель» известного венгерского писателя Ласло Немета, «Любовь моя, Электра» Ласло Дюрко, а также «Пора мужества» — инсценировка одноименного романа Лайоша Мештерхази, — позволяют говорить о несомненных успехах национальной драматургии.

«В наших лучших драмах,— пишут авторы,— подняты актуальные проблемы жизни современного венгерского общества, а также — международного рабочего движения: единство теории и практики, критерии нравственности при социализме, социалистическая этика власти».

«Значительным шагом вперед,— говорится далее в статье,— явилось непосредственное обращение венгер-

Исполнилось 75 лет известному художнику-графику, лауреату Государственной премии им. Мункача Шандору Бортнику. Мы воспроизводим одну из работ художника — линогравюру «Кузнецы», заимствованную из газеты «Мадьяр немзет».

ских драматургов к вопросам социалистической морали». В качестве примера названа пьеса Шаролты Раффаи «Наедине с собой», поставленная театром Йожефа Катоны в г. Кечкемете.

Театральный репертуар обогатился за счет венгерской классики. Возобновление таких постановок, как драмы «Моисей» Имре Мадача, «Солдаты» Золтана Тури, «Невидимый человек» Гезы Гардони, по мнению авторов статьи, свидетельствует о приверженности передовым драматургическим традициям прошлого.

Венгерские зрители проявляют большой интерес к драматургии Советского Союза и других социалистических стран. С успехом, подчеркивают авторы, прошли постановки «Конармии» по И. Бабелю, «Записок сумасшедшего» по Н. Гоголю, а также пьес «Лисы, доброй ночи» И. Русняка (Чехословакия), «Гора» А. Соляна (Югославия), «Жестокая комедия» Д. Мехеша и «Друг мой, министр» А. Баранги (Румыния).

В заключение авторы отмечают, что развитие современной венгерской драмы проходит в обстановке столкновения различных художественных направлений. В театре идет серьезная борьба реалистических традиций с модернистскими тенденциями. Нужно помогать театру в постановке и решении общественных проблем, пишут авторы статьи и выражают уверенность в том, что венгерское театральное искусство будет идти верным путем — к зрелости.

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

ИХ ЖДУТ НА ЛИНИИ ОГНЯ

Вначале их было всего десять — юношей и девушек, которые в огне освободительной борьбы, в дни всеобщего революционного подъема 1961 года основали Ансамбль песни и танца Армии освобождения Южного Вьетнама. Артисты не перестали быть солдатами: выступая с концертами на

Выступление Ансамбля песни и танца Армии освобождения. *(Журнал «Вьетнам»)*

линии огня, они не раз отражали атаки врага; некоторые из них пали смертью храбрых.

За прошедшие годы ансамбль вырос, повысил свое артистическое мастерство. Их песни и танцы несут радость и вдохновение бойцам Народных вооруженных сил освобождения в короткие часы передышек между боями, во время недолгих привалов.

Ансамбль совершал большие гастрольные поездки по зарубежным странам. Зрители Советского Союза, ГДР, Венгрии, Кубы, Кореи, Китая, Камбоджи рукоплескали южновьетнамским артистам-воинам, восхищались их мужественным искусством.

ГДР

«В СЕРЕДИНЕ ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ»

Недавно телевидение ГДР показало инсценировку по рассказу Германа Канта «В середине холодной зимы» из сборника «Немножко южного моря». Автор инсценировки — Ульрих Тейн. «Так вслед за театром телевидение ГДР открыло для себя прозаика Канта»,— писал по этому поводу рецензент газеты «Нейес Дейч-

Габриэла Фрезиа и Петер Фридрихзон — исполнители главных ролей в телеспектакле «В середине холодной зимы».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ланд» (недавно «Иностранная литература» сообщала об инсценировке в театре романа Германа Канта «Актовый зал», см. № 8, 1968).

История двух молодых людей, которых случай свел холодной военной зимой,— электрика Пауля и служанки с хутора Анны — трогает своей искренностью и непосредственностью, продолжал рецензент. Роли Пауля и Анны исполняют не профессиональные актеры, а любители, участники самодеятельности. «Это не случайный выбор Ульриха Тейна, а принцип его работы,— отмечал рецензент.— Оба исполнителя играют с большой теплотой, они сумели передать всю силу любви, зарождающейся в это тяжелое время».

«Эта поэтическая история очень подходит для телевизионного экрана»,— заключает рецензент «Нейес Дейчланд».

ГРЕЦИЯ

ВАСИЛИС ВАСИЛИКОС О ТРАГЕДИИ СВОЕЙ РОДИНЫ

Василис Василикос, автор семи книг, самый молодой лауреат главной литературной премии Греции «Премии двенадцати», полученной им в 28 лет в 1961 г., живет в изгнании во Франции. Сейчас его имя в Греции значится на пятом месте в «черном списке» подлежащих аресту «политических преступников».

Издательство Галлимара выпустило недавно книгу Василикоса «Трилогия», в которую входят три коротких романа: «Растение», «Колодец» и «Ангелос Ангелидис». Книга написана до военно-фашистского переворота и символически воссоздает атмосферу, его породившую.

Еженедельник «Фигаро литтерер» поместил интервью с Василикосом, который сказал, что «в этих романах много аллегорий, но все они имеют корни в современной греческой действительности».

Писатель горько пошутил: «Премию двенадцати» сейчас в Греции не присуждают — закон запрещает собираться больше чем пяти человекам. Сейчас книги пишут полковники. А в стране господствуют произвол и абсурд. Вас могут арестовать за то, что заметят в ваших глазах «отблеск коммунизма».

Писатель привел такой пример беззакония: «Некто Ламбру, начальник секретной полиции, ввел свою собственную систему допросов. Предположим, он вызывает меня, политического заключенного, к себе. Полицейский открывает дверь и пинком вталкивает меня в комнату. Ламбру возмущенно кричит на него: «Как ты смеешь так обращаться с господином Василикосом? Чтобы я больше ничего подобного не видел». Затем он поворачивается ко мне: «Садись. Сегодня плохая погода. Кофе? Сколько сахару?» Я размякаю, благодарен ему... Затем: «Ладно, слушай, у меня для тебя припасен маленький документик. Ты его подпишешь — и все; ты свободен. Не хочешь? Дело твое. Тогда больше не будем об этом и говорить. Ты вернешься к своим товарищам. Им ничего не говори. Через три дня ты будешь освобожден. Итак, прощай». Вы выходите, и двое полицейских тотчас же набрасываются на вас и избивают до полусмерти. После добрых слов Ламбру вы ничего не понимаете. И у многих заключенных мутится разум».

Писатель верит в силу сопротивления греческого народа: В Греции, говорит он, «демократия в опасности. Современный режим пытается отучить молодежь мыслить о политике. Тем не менее демократические силы хорошо организованы».

ИСПАНИЯ

КНИГА О НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛЕ И МУЖЕСТВЕ

Недавно парижское издательство «Колексьон Эбро» выпустило в свет книгу испанского антифашиста Мелькесидеса Родригеса «24 года в тюрьме». Автор — участник национально-революционной войны испанского народа (1936—1939) против фашистских мятежников. В возрасте 22 лет вместе с сотнями тысяч других антифранкистов он был заточен в тюрьму, где провел лучшие годы своей жизни.

В каких только застенках не довелось ему побывать за 24 года: Беналуа и Ясериас, Порлиер и Алькаладе-Энарес и, наконец, снискавший себе мрачную известность Бургос... Родригес подробно описывает все те ужасы, через которые пришлось пройти тысячам и тысячам испанцев. Он подчеркивает при этом, что их победили, но не покорили, что франкисты не смогли сломить их, парализовать их волю и мужество. Родгигес пишет, что во франкистских тюрьмах люди, презирая смерть, отстаивали те идеи, которые Франко не смог победить.

В книге приводятся имена товарищей Родригеса, о которых он рассказывает с большой любовью и теплотой. Это — Хирон, Асканиа, Месон, Касарла и многие другие.

Идеи республиканской Испании продолжают жить в умах и сердцах испанского народа, пишет в своей книге Родригес. И в этом, по словам автора, проявляется великая вера в то, что «в Испании взойдет солнце свободы и справедливости».

НАД ИБАРРОЛОЙ — ВНОВЬ УГРОЗА ТЮРЬМЫ

Как сообщает печать, франкистские власти намерены приговорить к тюремному заключению сроком на 12 лет известного баскского художника - антифранкиста Агустина Ибарролу и его брата Хосе Мариа — видного руководителя рабочих Бильбао. Им предъявлено провокационное обвинение в том, что в мае 1967 года, во время крупной манифестации рабочих Бильбао, они якобы «напали на полицию». Братья Ибаррола были арестованы и переданы в ведение военного трибуна-

ла. С тех пор они незаконно содержатся в тюрьме.

Франкистские власти не могут простить художнику Агустину Ибарроле его мужественную борьбу за интересы трудящихся, которую он ведет всю свою сознательную жизнь. Еще в 1947 году он организовал свою первую выставку и вместе с другими художниками объехал многие промышленные поселки и деревни страны басков, показывая в своих картинах тяжелую жизнь простых тружеников города и деревни при франкистском режиме. Во время крупных забастовок в Астурии и Бискайе весной 1962 года Агустин Ибаррола с помощью своих произведений, экспонировавшихся в те дни в Бильбао, вновь раскрывал антинародный характер франкистского режима, художник арестован, подвергнут пыткам, а его дом почти разрушен и многие картины уничтожены. 21 сентября 1962 года вместе с поэтом Видалем де Николасом, членом ЦК КПИ Рамоном Ормасабалем, Хосе Мариа Ибарролой и другими антифашистами Ибаррола был приговорен военным трибуналом к длительному сроку тюремного заключения в Бургосе.

Но и в тюрьме художник продолжал борьбу. Его рисунки, тайно сделанные в камере и нелегально переправленные за границу, разоблачали зверства франкистских тюремщиков, воспевали мужество, несгибаемую волю заключенных антифранкистов. С успехом экспонировались эти рисунки на выставках в Париже, Лондоне, Амстердаме, Франкфурте - на - Майне, Брюсселе...

Протесты мировой общественности позволили Агустину Ибарроле после нескольких лет заключения выйти на свободу — и вот снова угроза тюрьмы.

Известие о готовящемся суде над художником вызвало гневное возмущение испанской и мировой общественности. В Париже был создан Комитет за освобождение испанского художника, в который вошли Пикассо, Карлос Альварес, Андре Массон, Аррабаль, Бернар Бюффе и другие. Комитет обратился с письмом к испанским властям, в частности, к министрам иностранных дел и информации, а также к командующему шестым военным округом Испании (район Бургоса) с требованием немедленного освобождения Агустина Ибарролы из тюрьмы.

ОЧЕРК О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО

В еженедельнике «Дестино» опубликован очерк писательницы Аны Марии Матуте о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Она побывала недавно в Советском Союзе; результатом поездки явился этот очерк, названный писательницей «Завещание». Из очерка Аны Марии Матуте испанские читатели впервые узнали о великом Кобзаре, о его детстве и юности, об истории освобождения его из крепостной неволи, о его трудной судьбе в царской России. Очерк иллюстрирован — воспроизводится портрет Шевченко, репродукции работ известных русских художников и другие материалы.

ИТАЛИЯ

«ВИАРЕДЖО-68»

В нынешнем году литературная премия «Виареджо» — самая крупная и почетная в Италии — присуждалась в тридцать девятый раз. Как известно, этой премией награждаются лучшие произведения в области художественной прозы, поэзии и очерковой литературы. Среди финалистов «Виареджо-68» были такие известные авторы, как Итало Кальвино, Либеро Биджаретти, Эльза Моранте, Марио Тобино, Джорджо Виголо и другие.

К моменту заключительного голосования у всех в памяти были еще свежи события, связанные с кризисом другой крупной литературной премии Италии «Стрега» (см. «Иностранную литературу» № 9, 1968). Многие обозреватели предсказывали, что выявившиеся при присуждении «Стрега» кризисные тенденции итальянских литературных конкурсов не могут не отразиться на «Виареджо». Так оно и случилось.

Решением жюри первое место занял роман Итало Кальвино «Ты и нуль». Не успела Леонида Репачи — основатель и бессменный руководитель этого конкурса — прочесть в переполненном римском «Ройал-холле» это сообщение, как Итало Кальвино заявил о своем отказе принять премию. Писатель мотивировал свое решение «протестом против литературных конкурсов в их нынешнем виде».

Таким образом, за короткое время разразился второй крупный скандал в связи с присуждением литературных премий в Италии. Эти события, по мнению литературных обозревателей, свидетельствуют о том, что с выбором лучших произведений итальянской литературы и их пропагандой далеко не все благополучно. Нередко на решение жюри оказывают нажим силы, далекие от литературы, а также издатели, заинтересованные лишь в том, чтобы любым способом протолкнуть «своего» автора и затем получить от издания его книг максимум прибыли.

«Необходимо добиться того,— пишет обозреватель газеты «Унита»,— чтобы конкурсы стали средством выявления истинных художественных ценностей в итальянской литературе. В этом отношении протест Кальвино весьма показателен. Он направлен не против премии «Виареджо», как таковой, а против существующего положения дел в итальянской литературе».

После отказа Кальвино принять премию спешно созванное жюри решило присудить первое место роману «Контрфигура» Либеро Биджаретти. Премию «Виареджо» за лучшее поэтическое произведение получил Джорджо Виголо — автор

сборника стихов «Свет напоминает». Лучшим очерковым произведением года признана книга Джулиано Прокаччи «История итальянцев». В этом году впервые присуждалась международная часть премии «Виареджо». Ее получил известный поэт с острова Мартиника — Эме Сезэр.

«ЗАБРИСКИ ПОЙНТ» АНТОНИОНИ

Так назвал свой новый фильм Микеланджело Антониони. Знаменитый режиссер будет снимать этот фильм в Соединенных Штатах. Забриски пойнт — название местности в штате Аризона, где происходит действие фильма. Его герои — молодые американцы.

«Постановка фильма о жизни молодежи — единственный для меня способ отойти от специфически голливудского стиля,— заявил режиссер в интервью корреспонденту французского журнала «Кайе дю синема».— Глаза и жесты молодых людей способны выразить определенные противоречия и конфликты — эмоциональные и политические,— которые характерны ныне для западного мира».

По словам Антониони, он нашел в США идеальную среду для сюжета своего нового фильма о современной политической жизни Америки с ее острыми конфликтами. Сценарий фильма еще не утвержден продюсерами, и потому режиссер не хочет заранее говорить о деталях. Однако он сказал, что в фильме «Забриски пойнт» найдут свое выражение жестокость и насилие, столь характерные для современной жизни Америки.

БИЕННАЛЕ В ПОЛИЦЕЙСКИХ НАРУЧНИКАХ

Открытие 34-й международной выставки искусства биеннале в Венеции в этом году проходило весьма необычно. На территории выставки по-хозяйски расположилась полиция и воинские части. Один из самых больших павильонов был срочно приспособлен для ночного отдыха блюстителей порядка. «Биеннале превращена в казарму»,— писала газета «Унита».

Власти объясняли концентрацию этих сил в Венеции тем, что якобы со стороны радикально настроенной молодежи были высказаны угрозы занять территорию выставки. Тем временем совместные манифестации студентов, художников и рабочих вокруг выставки проходили организованно и мирно. Суть их критики, которую разделяет значительная часть левых сил и деятелей культуры Италии, заключается в том, что до сих пор действует статут биеннале, утвержденный еще при фашизме. Этот статут антидемократичен и позволяет устроителям выставки игнорировать пожелания художников и критиков. Венецианские фестивали искусства приобретают все более замкнутый характер и служат главным образом популяризации художников-абстракционистов, в основном из США и других стран Запада. Левые силы Италии не раз предлагали придать биеннале представительный и творческий характер, но все остается по-прежнему.

В нынешнем году устроители выставки сократили число итальянских участников с 80 до 20 с небольшим. От участия в биеннале были отстранены крупнейшие художники Италии. Возмущение стало так велико, что даже те, кто был допущен к участию в выставке, в знак протеста повернули свои картины лицевой стороной к стене.

Франция и Швеция заявили о закрытии своих павильонов, некоторые павильоны так и не были открыты. Но и те, что открылись, не вызывают восторга у критики. «Трудно припомнить более бедную идеями и картинами биеннале»,— писал обозреватель газеты «Мессаджеро».— Похоже, что выставка пришла к полному упадку». «Устроители остались слепо верны своей любви к абстрактному искусству и не заметили, что время его давно миновало»,— отмечал корреспондент газеты «Коррьере делла сера». «Речь идет об упрямой попытке вновь поднять на щит абстрактную живопись, в то время как все хотят иного»,— добавил журналист из газеты «Стампа».

Демократическая общественность Италии потребовала прекращения вмешательства полиции в дела культуры и проведения коренной реформы биеннале. В знак протеста против действий полиции и войск на территории биеннале большинство ее участников закрыли свои картины и скульптуры полотнищами и плакатами.

Плакаты протеста против ввода полиции на территорию биеннале.
(Газета «Паэзе сера»)

МАРОККО

СБОРНИК СТАРИННЫХ ПЕСЕН

Вышла в свет подготовленная Мухаммедом аль Фаси книга «Старинные песни женщин Феса». Сборник — итог тридцатилетнего труда составителя, записавшего почти полностью забытые песни из уст тех немногих, кто их еще помнил. Вошедшие в книгу лирические песни исполнялись во время весенних празднеств, когда Фес утопает в глициниях и жасмине.

Рецензент журнала «Революсьон Африкен» пишет, что к этому сборнику можно по праву отнести слова Мухаммеда Диба о том, что «память народа — это наша национальная библиотека». Четверостишия, называемые «аруби», созданы безвестными авторами. Традиционная форма отнюдь не сковывает вдохновения их творцов. И хотя все аруби посвящены только любви, они отнюдь не однообразны и монотонны, пишет рецензент. «Каждая выражает любовь по-своему, пользуется оригинальными образами, иногда очень простыми, иногда наивными, но всегда глубокоискренними».

МОНГОЛИЯ

ПРЕДСТОЯЩИЙ ЮБИЛЕЙ

9 января 1969 года Союз монгольских писателей будет отмечать свое 40-летие.

В начале 1929 года возник кружок революционных литераторов Монгольской Народной Республики, который объединил молодых писателей, прокладывавших новые пути национальной литературы. Этот кружок и положил начало Союзу монгольских писателей, который, как отмечается в «Информационном бюллетене» Союза, «сыграл и играет большую роль в социалистической культурной революции в Монголии, в консолидации творческих сил монгольских писателей».

В состав юбилейной комиссии вошли видные писатели, общественные деятели и ученые Монголии; комиссию возглавляет председатель Союза монгольских писателей С. Удвал.

ПОЛЬША

ПРЕМИИ ПЕРЕВОДЧИКАМ

Присуждены ежегодные премии переводчикам польской литературы на иностранные языки обществом авторов — «Заикс». Лауреатом нынешнего года стал советский переводчик, журналист Михаил Игнатов. Он перевел на русский язык произведения Я. Ивашкевича, Ст. Пентака, Е. Путрамента, К. Филиповича, К. Брандыса, А. Рудницкого, Я. Пшимановского, Л. Пастернака, М. Жулавского и других польских писателей.

Премии «Заикс» удостоен также известный популяризатор польской литературы в Болгарии Димитр Икономов. В его переводах болгарские читатели познакомились с «Куклой» Б. Пруса, «Трилогией» Г. Сенкевича, «Пеплом» и «Предвесенним» С. Жеромского, «Воспоминаниями» М. Мочара, «Цветами борьбы» и «Дансингом в ставке Гитлера» А. Брыхта.

СНОВА О ЧЕТЫРЕХ ТАНКИСТАХ

—...Нам нужны: два противотанковых орудия, два миномета, две тысячи гранат, триста петард, двести ракет, столько же дымовых шашек, тысяча килограммов тротилла, отряд саперов, восемьдесят полностью экипированных и вооруженных солдат, полное оборудование полевой радиостанции... Вы записали, полковник? Все это срочно, потому что через неделю мы начинаем форсирование Одера.

Читатель, вероятно, уже догадался, что речь идет не об историческом сражении в 1945 году, когда польские и советские части, громя гитлеровских фашистов, форсировали Одер, а о... съемках фильма.

Режиссер Конрад Наленцкий руководит съемками следующих серий телевизионного фильма «Четыре танкиста и собака» по сценарию Януша Пшимановского (первые серии фильма были показаны по советскому телевидению.— *Прим. ред.*) В беседе с корреспондентом польского еженедельника «Экран», записавшего приведенный выше разговор режиссера по телефону с военным консультантом, Наленцкий рассказал:

— За сорок пять дней, которые остались от конца предыдущей серии «Танкистов» до окончания войны, произойдет еще тринадцать боевых эпизодов, которые мы покажем в тринадцати отрывках. Танк «Рыжий», в соответствии с исторической правдой, вместе с несколькими другими танковыми подразделениями будет включен в состав Первой польской дивизии. Известно, что Первая танковая дивизия закончила войну, штурмуя Вильгельмсхафен, немецкий гарнизон которого сдался в плен польскому полковнику, ныне генералу Франтишеку Скибинскому. Но солдат Первой танковой дивизии во время боев перебрасывали на различные участки фронта, так что их можно было встретить повсюду на территории Германии — вот почему танк «Рыжий» примет участие в двух главных сражениях: в форсировании Одера и штурме Берлина.

— Нам предстоит пройти через бои и стычки, попадать в засады, но, к счастью, никто из экипажа не будет ранен, хотя я-то сам буду однажды на волосок от смерти, причем у своих,— рассказал корреспонденту артист Веслав Голас.

— Как же так? — удивился тот.

— Наши примут меня за шпиона и приговорят к расстрелу. Это случится вскоре после моего прибытия в

Поля Ракса в одном из новых эпизодов фильма «Четыре танкиста и собака».

(Еженедельник «Экран»)

часть, когда меня еще никто как следует не знал. Из опасного положения меня выручит Шарик, который, как всегда, появится в самый неожиданный момент...

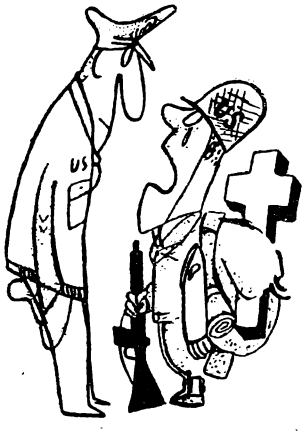
ИТОГИ КРАКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

В старинном польском городе Кракове состоялись два ежегодных фестиваля короткометражных фильмов — восьмой Общепольский и пятый Международный.

Гран-При общепольского фестиваля — «Золотой Дракон» — получил фильм Казимежа Карабаша и Станислава Недбальского «Год Франека В.» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 7, 1968). «Серебряный Дракон» присужден фильму Анджея Бжозовского «Археология» (см. «Иностранную литературу» № 8, 1968), а также телевизионным фильмам «Граница» Романа Вионченка и «Бросок на Арнхем» Винценты Рониша.

Гран-При международного фестиваля — тоже «Золотого Дракона» — жюри присудило советскому фильму «Замки на песке» режиссера Якова Бронштейна и Альгиса Видугириса. Специальной премии председателя городского совета города Кракова — второго «Золотого Дракона» — удостоен венгерский фильм «Концертиссимо» Йожефа Гемеса.

«Господин генерал! Солдат Смит прибыл в ваше распоряжение в полной боевой готовности...» — рисунок Е. Пухальского из сатирического журнала «Шпильки».



РУМЫНИЯ

«ЧУЖАК»

С интересом читателями и критикой был встречен новый роман «Чужак» Марина Преды, автора таких значительных произведений, как «Мородеты», «Расточители» (известных и советскому читателю).

Герой «Чужака» — молодой электрик Кэлин Сурупэчану. Действие романа развертывается в одном из населенных пунктов, который едва только возник и потому не обзавелся еще «ни стариками, ни воспоминаниями». Рождение нового города иллюстрирует как бы в миниатюре все неизбежные трудности исторического процесса индустриализации. Кэлин Сурупэчану спасает жизнь пьянице, чуть было не сгоревшему в цистерне. При этом он не принял никаких мер предосторожности и потому сам попадает в беду: ему приходится оставить свою профессию, от него уходит любимая женщина, не поняв и не приняв его самопожертвования. Он оказывается фактически «чужаком» в городе, который создавался у него на глазах и при его участии...

Роман написан от первого лица как монолог-размышление. Критика единодушно считает «Чужака» полемическим произведением, направленным против «лакировочно-поделочной» литературы. «Современная эпоха рассматривается в романе такой, какова она есть, люди такими, какими мы их знаем, история такой, какой она была,— пишет К. Димисяну в еженедельнике «Контемпоранул».— Так воссоздается подлинная картина мира с его теневыми сторонами, противоречивыми аспектами жизни и аномалиями общества, которое создается в движении.

Проблема моральных основ общества дана во всей ее сложности,— продолжает рецензент.— Этические нормы — как бы говорит автор романа — не спускаются сверху, словно инструкции, они рождаются в ходе исторического развития. Строя новый мир, нельзя забывать эту истину, нельзя игнорировать обстоятельства, нужно трезво и мудро смотреть на жизнь».

Аурел Мунтяну в том же еженедельнике дал следующую оценку новому произведению Марина Преды: «Я считаю «Чужака» одним из лучших романов последних лет, книгой, наиболее полно отражающей наше время».

США

ПОЛ НЬЮМЕН: «ДЕЛО СОВЕСТИ КАЖДОГО АМЕРИКАНЦА»

Пол Ньюмен — «звезда» Голливуда, получающий миллион долларов за съемки в одном фильме, вместе с другими деятелями культуры США протестует против внешней и внутренней политики своего правительства. Недавно он дал интервью корреспонденту американского журнала «Плейбой», в котором коснулся наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня перед США: «Вьетнамскую войну я считаю не только незаконной, но и аморальной. Поголовно уничтожать северовьетнамцев в необъявленной войне, выступая от лица марионеточного режима, не представляющего своего народа,— этого я не могу оправдать... Это и побудило меня участвовать в предвыборной кампании Маккарти».

«Известно, что Марлон Брандо закончил свой последний фильм и заявил, что впредь он отдаст свои силы разрешению негритянской проблемы в США. Что вы скажете по этому поводу?» — спросил корреспондент.

«Я горжусь им,— ответил Пол Ньюмен.— Он хочет доказать, что белые не только обеспокоены создавшимся положением, но и искренне хотят изменить его».

«Наряду с другими известными деятелями искусства вас не раз обвиняли в том, что вы используете свою популярность в политических целях, вторгаясь в область, в которой вы некомпетентны»,— сказал корреспондент.

«Напротив, думаю, что я не должен молчать и не должен менять свои убеждения, поскольку могу оказывать влияние. Политическая ситуация в мире касается нас, деятелей кино, в той же мере, что и всех остальных. Конечно, популярность обязывает взвешивать свои поступки, но, как и любой мыслящий и чувствующий американец, я не могу стоять в стороне. Я сознаю, что, вмешиваясь в политику, я делаю выбор между карьерой и своими убеждениями, но это дело совести каждого американца».

«Вы много занимались негритянской проблемой. Какой путь ее разрешения вы считаете наиболее эффективным?»

«Есть два пути — законодательный, доказавший свою полную неэффективность, и путь реальных практических действий. Сейчас, когда 22 процента негров в возрасте от 16 до 26 лет — безработные, главная проблема — трудоустройство».

«Значит, вы считаете, что недавно принятый закон об отмене дискриминации при найме жилищ не улучшил положения?»

«Сам по себе это неплохой закон, но ведь он касается небольшой группы материально обеспеченных негров! А что он дает детям в гетто? — сказал Пол Ньюмен.— К тому же все программы, направленные на уничтожение расовых противоречий в социальной и экономической областях, нереальны в обстановке, когда мы выбрасываем ежегодно 30 миллиардов долларов на войну во Вьетнаме. И это, так сказать, видимые миллиарды, я думаю, что еще 20 уходят на эту войну под другими предлогами».

«Из ваших предыдущих замечаний мне показалось, что вы оправдываете насилие со стороны негров?» — сказал корреспондент.

«Нет, я не сторонник насильственных действий. Но если вспомнить американскую историю, можно убедиться, что все наши политические завоевания сопровождались насилием. Сегодня совершается гораздо больше неоправданных насильственных действий, чем в прошлом».

«По-видимому, вы относите убийство доктора Кинга к той же категории действий?»

«Разумеется. Это акт белого расизма, но даже если бы это и было не так, сам по себе подобный факт ужасающ,— ответил Пол Ньюмен.— Если убийство станет в нашей стране методом политической борьбы, это будет означать, что пришло время пересмотреть всю нашу политическую систему».

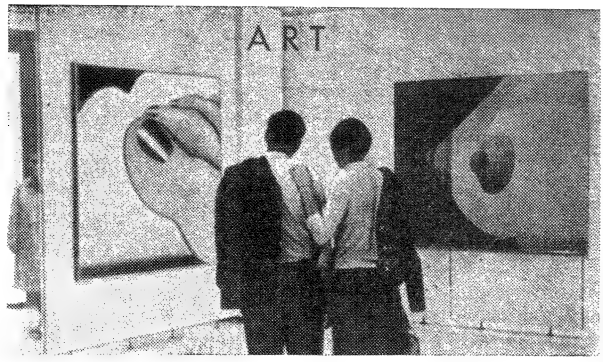
«Вам известно, что вас считают «секс-звездой»: будучи серьезным талантливым актером, как вы относитесь к этому?» — спросил корреспондент.

«Мне бы хотелось, чтобы люди видели, что у меня

«Фильм с очаровательной девушкой» — новая работа румынского кинорежиссера Лючиана Брату. Его героиня — выпускница средней школы, которой мерещится карьера кинозвезды. По отзывам критиков, авторы фильма мягко, с юмором высмеивают наблюдающееся у некоторых представителей молодежи стремление к тому, что им представляется «легкой жизнью».

(Еженедельник «Фильм»)

есть ум, душа, талант, политические убеждения, то есть нечто, выходящее за пределы голубизны глаз и прочих внешних достоинств. Мне бы хотелось, чтобы обо мне вспомнили когда-нибудь как о человеке, который стремился быть скромным, честным, который пытался способствовать взаимопониманию между людьми, не стоял в стороне. Каждый должен стремиться к этому, это главное».



На выставке, посвященной «грандиозной обнаженной американке».

(Еженедельник «Тайм»)

...И КУСОЧЕК ЛИМОНА

Поделки художничающих аферистов, выдающих примитивный экспериментализм и грубое дилетантство за «искусство XX века», нередко оседает и в известных художественных музеях и галереях США.

Американская печать сообщает о некоторых «новинках» в этой области.

...Пробоины от пуль в стене, разбитое стекло, осколки раздавленного зеркала, закопченный кусок глины, исполосованный ножом холст, разнесенная вдребезги мебель, ослепляющие вспышки света, оглушающие шумы...— все это встречает посетителя, заглянувшего в Музей искусств при нью-йоркском Финч-колледже, где открыта выставка произведений так называемого... искусства разрушения! По свидетельству корреспондента газеты «Балтимор сан», такого никогда еще не было ни в одном художественном музее Соединенных Штатов.

Девиз выставки — действие, непрерывность процесса. Режьте, кромсайте на куски, жгите, рвите — делайте что угодно, но только не останавливайтесь, создавайте «перпетуум-мобиле» в своем творчестве!..

Филипп Маккрэкен привлек внимание к своей «художнической» натуре четырьмя выстрелами из револьвера по электрическим лампочкам — так он представил перепуганным посетителям свою оригинальную композицию «Гаснет свет». Другой «эстет» — Арман — о своем призвании заявил также довольно лаконично: одним ударом он, как скорлупку, расщепил гитару; Ральф Ортиц избрал жертвой своего «вдохновения» диван...

Наиболее острые эмоции у посетителей выставки вызвала, судя по комментариям известного в США художественного критика Барбары Гоулд, композиция «Электрошок» Леса Левайне. Оно и не удивительно: ведь Л. Левайне свое эстетическое кредо выразил с помощью проводов, которые он протянул в пустой комнате и пустил по ним ток. Всякий, кто прикасался к ним, получал удар током...

Предметом недавней выставки в чикагском Музее современного искусства была «грандиозная обнаженная американка и окружающая ее реальность». В отличие от выставки в Финч-колледже здесь отсутствовали какие-либо «разрушительные» элементы; наоборот, женщина являла тут собой символ созидания, «зарождения нового».

На обозрение чикагским поклонникам изобразительного искусства предприимчивый поп-абстракционист выставил: 36 нарисованных женских пальцев, 13 пар грудей, 11 ног и 8 пар губ. Эту анатомическую коллекцию «живописно» обрамляют 6 апельсинов, 3 сигареты, 2 радиоприемника, 2 бутылки, один унитаз, один сандвич, стакан молока, автомобиль... и кусочек лимона.

ТУРЦИЯ

БЕСЕДА ПИСАТЕЛЕЙ

Стамбульская газета «Тюрк солу» опубликовала беседу двух известных прогрессивных писателей Турции Орхана Кемаля и Рифата Ильгаза, из которой можно составить некоторые представления о литературной жизни и условиях работы писателя в Турции.

Орхан Кемаль — крупнейший романист. Его последняя пьеса «72-я камера» была в прошлом году признана лучшей турецкой пьесой. Рифат Ильгаз — поэт, новеллист и сатирик, автор романа «Класс — дай боже!», ставшего в Турции бестселлером.

— Говорят, ты собираешься путешествовать? Это правда? — спросил Рифат Ильгаз у Орхана Кемаля.

О. К.: — Правда! Союз советских писателей пригласил меня в Москву на празднование 100-летия со дня рождения Максима Горького. Уж не помню, в который раз обратился я снова за паспортом... Обратился еще раз. Сам знаешь, как для нас, писателей, это важно — увидеть мир своими глазами. Но — ничего не попишешь: у нас — прошение, у падишаха — решение. Ах, получил бы я паспорт, собрал вещи, вскочил в поезд и, кажется, весь мир бы объехал, город за городом. (О. Кемаль не смог приехать

на юбилей М. Горького, так как власти снова не выдали ему паспорта.— *Прим. ред.*).

Р. И.: — Что бы ты хотел увидеть прежде всего?

О. К.: — Прежде всего — социалистические страны.

Р. И.: — Тебе, вероятно, хотелось бы поговорить с тамошними прозаиками? О чем?

О. К.: — Да, это очень важно. Между писателями социалистических и капиталистических стран существует большое различие. И в мировоззрении, и в их общественном положении, и во многом другом. Они ведь живут в ином, упорядоченном обществе,— писатели, вырвавшиеся из ярма капитализма, избавленные от его грандиозных надувательств...

Но мне хотелось поговорить с тобой о другом. Это может показаться несколько неожиданным. Ты знаешь, я три с половиной года сидел в тюрьме вместе с Назымом Хикметом. Иногда к нам попадали литературные журналы и газеты...

Р. И.: — Я как раз собирался спросить тебя, что думал Назым о нашей прозе и поэзии. В те годы, 1940 — 1943, Назым большое внимание уделял эстетике — то было время бурного развития нашего социального искусства.

О. К.: — Ты знаешь, не в моем характере делать комплименты, я расскажу, что Назым говорил о тебе. Я это очень хорошо помню. Этот Рифат,— сказал как-то он,— пишет социальные стихи. У него свой голос, великолепный язык.

Р. И.: — Из опубликованных в последнее время книг мы узнали Назыма со многих сторон. Но как об учителе о нем не говорилось.

О. К.: — В моей книге «Три с половиной года с Назымом Хикметом» я от всей души признаю, что он был моим истинным учителем... Назым научил меня видеть в жизни главное...

Р. И.: — Говорят, твои книги переводятся на африканские языки. Правда ли это?

О. К.: — Один из моих знакомых дал мне адрес Ассоциации писателей стран Азии и Африки, чтобы я послал туда свои книги. Я отправил пачку книг, но почта их вернула. Вот и вся история с моими переводами на африканские языки... Ну, а твои книги?

Р. И.: — Мои почему-то почта возвращает отовсюду. Может, находит их неподходящими, кто знает... Переведено два-три стихотворения, и только. Но, кажется, в одной стране собираются кое-что перевести. И прежде всего «Класс — дай боже!» Поживем — увидим.

АРЕСТЫ И КОНФИСКАЦИИ

В Турции усилилось преследование прогрессивных деятелей культуры, писателей, а также социалистических изданий.

Арестован поэт Метин Демирташ — за стихи, опубликованные в социалистической газете «Тюрк солу». Возбуждено уголовное дело против поэта Арифа Дамара, напечатавшего стихи в той же газете.

Ночью совершен налет на книжную витрину издательства «Май». Уничтожены книги на сумму 5 тысяч лир, разбиты витрины. Виновные «полицией не обнаружены».

Министерство образования рассматривает дело известного писателя Махмуда Макала. За опубликование книги «Анатолия под землей» ему грозит увольнение с должности учителя в школе для глухонемых.

Конфискованы книга В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» и роман «Цемент» Ф. Гладкова, выпущенные издательством «Гюн», книги Андре Мальро «Надежда» и турецкого публициста М. Анадола «Военная стратегия империализма в Турции», опубликованные издательством Агаоглу, а также книга Во Нгуен Зиапа «Народная война во Вьетнаме и Америка» (издательство «Хабора»).

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРЕМИЯ ДРАМАТУРГУ

Профсоюз революционных рабочих впервые в истории рабочего движения в Турции основал премию имени покойного режиссера Асафа Чигилтепе. Первая премия рабочего профсоюза была присуждена в этом году известному писателю и драматургу Орхану Кемалю за его пьесу «Каймакам из Яловы», поставленную на сцене стамбульского театра Ульви Ураз.

ФРАНЦИЯ

ЕДИНОДУШНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПОЭЗИИ ЭЛЮАРА

Нынешний год отмечен особым интересом во Франции к творчеству поэта-коммуниста Поля Элюара. Впервые в издательстве Галлимара вышло полное собрание сочинений поэта в двух томах, в которые включены стихотворения, созданные Элюаром с 1913 по 1952 г.

Издание подготовлено другом поэта — Люсьеном Шелером, который трудился над ним в течение шести лет.

В газете «Юманите» Люсьен Шелер рассказал: «Я стремился объединить литературные и исторические факты, чтобы осмыслить и поставить каждое произведение Элюара на его истинное место в жизни. Надеюсь, что я принес пользу и помог сделать какие-то выводы. А это и было моим главным стремлением. Я открыл много нового и для себя во время этой работы. Я уловил тончайшие связи между произведениями и мог бы говорить о каждом часе, составлявшем поэтическое время Элюара... Все элементы его творчества взяты из жизни, все они помогают в своей совокупности глубоко охватить реальность, неповторимость одного названия среди сотен других».

Обозреватель еженедельника «Леттр франсэз» пишет, что читатели давно ожидали выхода полного собрания сочинений Элюара. «На этих трех тысячах страниц собрано, кажется, все, что написано поэтом... Проделан огромный исследовательский труд, комментарии составляют 750 страниц мел-

Пабло Пикассо недавно передал в Музей Пикассо в Барселоне 58 полотен на тему «Менина» Веласкеса, как он обещал в свое время Хамме Сабартесу, своему другу, основателю этого музея. Кроме того, Пикассо передал портрет Сабартеса, созданный в Париже зимой 1901—1902 гг.
На снимке: Пикассо с портретом Сабартеса.
(Еженедельник «Леттр франсэз»)

ким шрифтом. Конечно, это не исключает появления новых исследований. Но дальнейшее изучение творчества Элюара теперь будет невозможно без этих двух томов, которые стали просто незаменимыми».

В последнее время, как сообщает печать, вышло несколько книг, посвященных Элюару и его творчеству. Так, еженедельник «Леттр франсэз» писал о выходе в свет в издательстве дю Сёй в серии «Вечные писатели» монографии Раймона Жана «Поль Элюар о самом себе». В книгу вошла краткая, но важная для понимания творчества поэта антология его стихов.

ЮГОСЛАВИЯ

ФИЛЬМ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ

Югославский режиссер Милан Любич провел в Польше в творческой командировке несколько месяцев, он участвовал в съемках фильма «Вестерплатте», а также в работах над другими картинами. В это время у него родился замысел фильма об участии польских партизан в освободительной борьбе против гитлеровцев на территории Югославии. Польская военная студия «Чолувка» взялась за реализацию этого замысла.

Фильм «Тропами югославских партизан» снимался в Югославии и в Польше. В нем использованы фотоснимки, портреты, старые кинохроники и другие архивные материалы. Но наиболее интересная часть фильма, как отмечает Милан Любич,— это встреча с ныне живущими участниками событий тех лет в обеих странах.

Вскоре фильм Любича выйдет на экраны Польши и Югославии.

ФЕСТИВАЛЬ В ОХРИДЕ

В городе Охриде (Македония) состоялся Балканский фестиваль народных песен и танцев, в котором приняли участие музыкальные коллективы Венгрии, Болгарии, Румынии, Италии, Турции, Югославии. На фестивале присутствовали гости из многих стран. Отныне фестиваль станет ежегодным и будет проводиться в первую неделю июля.

ЯПОНИЯ

ДВА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ТАКИДЗИ КОБАЯСИ

Исполнилось тридцать пять лет со дня гибели выдающегося пролетарского писателя Такидзи Кобаяси. По решению компартии Японии эта дата отмечается изданием двух собраний сочинений писателя.

Издательство «Синнихон сюппансэ» выпускает полное собрание сочинений Кобаяси в 15 томах. Это будет наиболее представительное, широко комментированное издание, которому предшествовала большая текстологическая работа. Второе собрание сочинений носит название «Библиотека художественных произведений Такидзи Кобаяси». Оно выпускается в семи томах издательством «Аоки сётэи».

Авторы этого номера

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ — WILLIAM GOLDING (род. в 1911 г.).

Английский писатель. Его роман «Повелитель мух» («Lord of the Flies»), вышедший в 1954 году, принес ему широкую известность. Затем вышли роман «Наследники» («The Inheritors», 1955), повесть «Скупец Мартин» («Pincher Martin», 1956), романы «Утрата свободы» («Free Fall», 1959), «Пирамида» («The Pyramid», 1967).

Мы знакомим читателей с творчеством талантливого романиста Англии, публикуя его роман «Шпиль» («The Spire», 1964), вызвавший во многих странах многочисленные отклики читателей и критики. О беседе с писателем в редакции «Иностранной литературы» см. статью Е. Стояновской «Уильям Голдинг, сочинитель притч» (№ 2, 1968). В разделе «Критика» этого номера публикуется статья А. Елистратовой о творчестве писателя и романе «Шпиль».

■

БЕРТА ВАТЕРШТРАДТ — BERTA WATERSTRADT (род. в 1907 г.).

Немецкая писательница (ГДР), автор ряда сценариев для радио, кино и телевидения. Большой успех в ГДР имел ее фильм «Пестроклетчатые» («Die Buntkarierten», 1949), за который писательнице была присуждена Национальная премия.

Рассказ «Дверь-вертушка» («Die Drehtür»), который публикуется в этой книжке журнала, принадлежит к числу последних произведений Б. Ватерштрадт, посвященных проблемам морали, семьи, брака, формированию личности в социалистическом обществе.

Рассказ был напечатан в 1968 г. в журнале «Нейе дейче литератур».

■

АХМАД КЕДИДИ.

Молодой тунисский поэт, пишущий на арабском языке, и общественный деятель. Сотрудничает в журнале «Синеклуб» (гор. Кайруан). Стихи, публикуемые в номере, получены в рукописи.

■

ФРЭНК ХАРДИ — FRANK HARDY (род. в 1911 г.).

Известный австралийский писатель, драматург, публицист. Советские читатели хорошо знают Ф. Харди по переведенным на русский язык романам «Власть без славы», «Трудный путь», книгам юмористических рассказов «Вагонетка со шпалами», «Легенда Бенсон Вэлли», «Новый полицейский» («Рассказы Билли Боркера») и др.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей главы из недавно законченной книги писателя «Пасынки Австралии» («Unlucky Australians»), написанной им под непосредственным впечатлением от событий, связанных с забастовкой аборигенов на скотоводческих фермах одного из самых отсталых районов Австралии — Северной Территории — в сентябре 1967 года, свидетелем которых он был.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 00872. Сдано в производство 31/VII-68 г. Подписано к печати 16/IX-68 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 28,44. Зак. 2415.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПЬЕСЫ, КИНОСЦЕНАРИИ, РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА.

■ ■ ■

В ПЛАНАХ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА НА 1969 ГОД СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Кобо Абэ (Япония) — СОЖЖЕННАЯ КАРТА (роман)
Мишель Бютор (Франция) — ИЗМЕНЕНИЕ (роман)
Петер Вейс — ГОСПОДИН МАКИНПОД (пьеса)
Эрико Вериссимо (Бразилия) — ПЛЕННИК (роман)
Шерли Энн Грау (США) — ХРАНИТЕЛИ ОЧАГА (роман)
Габриэль Гарсиа Маркес (Колумбия) — СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА (роман)
Анна Зегерс (ГДР) — ДОВЕРИЕ (роман)
Алекс Ла Гума (ЮАР) — КАМЕННАЯ СТРАНА (роман)
Эдвард Олби (США) — ВСЁ — В САДУ (пьеса)
Марио Помилио (Италия) — КОМПРОМИСС (роман)
Исабель Альварес де Толедо (Испания) — ЗАБАСТОВКА (роман)
Николай Хайтов (Болгария) — РАССКАЗЫ
Тамара Хови (США) — СТРЕМЛЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ МОШКИ (роман)
Пауль Шаллюк (ФРГ) — ДОН КИХОТ В КЁЛЬНЕ (роман)

■ ■ ■

РАССМАТРИВАЮТСЯ ТАКЖЕ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мигеля Анхеля Астуриаса, Марио Варгаса Льосы, Вольфганга Кёппена, Хулио Кортасара, Адриано Гонсалеса Леона, Камена Калчева, Джона О'Хара, Азиза Несина, Йордана Радичкова, Андре Стиля, То Хоая, Сембена Усмана, Карлоса Фуэнтеса, Иосиэ Хотта, Агустина Яньеса, Катеба Ясина и др.

В поэтической рубрике стихи Адониса, Денниса Брутуса, Мирослава Валека, Габора Гараи, Доры Габе, Петра Караангова, Эрнесто Карденаля, Карлоса Аугусто Леона, Луиса Суардиаса, Алана Силлитоу, Октавио Паса, Т. С. Элиота и др.

■ ■ ■

В РАЗДЕЛЕ «КРИТИКА» ПУБЛИКУЮТСЯ СТАТЬИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР, ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, ТВОРЧЕСКИЕ АНКЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ ПОМЕЩАЮТСЯ РЕЦЕНЗИИ НА КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, КАК ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И ВЫШЕДШИЕ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ПУБЛИЦИСТИКА» — СТАТЬИ ПО ВАЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОСТИ: НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ВЫСТУПАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ; ПЕЧАТАЮТСЯ ОЧЕРКИ, ДОКУМЕНТЫ, ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ О ЗАРУБЕЖНОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, КИНО И ТЕАТРЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ» — РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАН.

■ ■ ■

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.

Подписная цена:

на 12 месяцев — 9 р. 60 к.
на 6 мес. — 4 р. 80 к.
на 3 мес. — 2 р. 40 к.
Цена одного номера — 30 коп.